Ефим Гольбрайх

Былой войны

разрозненные строки

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Автор настоящих записей, — свидетельствовал Василь Быков, — безыскусно, но очень правдиво, со скрупулезной точностью участника и очевидца повествует о пережитом, тем самым внося свой благородный вклад во всенародную копилку памяти о тех героических днях, примет которых все меньше остается в нашем сегодня… Ефим Гольбрайх прошел всю Великую Отечественную войну. Был рядовым солдатом пехоты, комсоргом батальона и полка, командиром стрелковой роты, заместителем командира штрафной роты. Участвовал в обороне Москвы, Сталинграда, освобождении Севастополя, Украины, Прибалтики. Был ранен, награжден четырьмя орденами и многими медалями. После войны много лет работал в искусстве. В бывшем СССР и в Израиле вышли его книги «Солдатские судьбы», «Записки театрального администратора»; «Последние участники» и другие.

- Ефим Гольбрайх
  - Былой войны разрозненные строки
    - Слово об авторе и его книге
    - Вместо предисловия
    - Перед войной
    - На восток
    - Осень сорок первого
    - На фронте
    - Второй эшелон
    - После войны
    - Отзывы
    - Иллюстрации
  - Очерки. Эссе. Судьбы
    - Жуков. Штрихи к портрету
    - Суровые подробности войны
    - Дорога
    - Любимая женщина
    - Алексей Дикий и его студия
    - «Гершеле Остропoлер» и его автор
  - Статьи
    - Виктор Суворов и его» теория»
    - От Дворца к Храму
    - Я верю Черчиллю
    - Открытое письмо
    - Евреи, которые «не воевали»
    - «Стада ветеранов»

        - Несколько слов по поводу кинофильма «Штрафбат»
        - Реплика
        - Окрик
        - Миф и реальность
        - Это интересно
        - О евреях
        - Разные разности
        - Судьбы
    - Гольбрайх Ефим Абелевич
- notes
    - 1
    - 2
    - 3
    - 4
    - 5

Ефим Гольбрайх

Былой войны разрозненные строки

Слово об авторе и его книге

Автор этих записок, ветеран Великой Отечественной войны Ефим Абелевич Гольбрайх родом из Белоруссии. Его детство прошло в старинном белорусском городе Витебске, и во время войны он сражался в пехоте, и эти обстоятельства дают мне право с определенной причастностью судить о его строках. Надобно сразу сказать, что это суждение с самого начала моего знакомства с работой Е. Гольбрайха было и осталось весьма благоприятным для автора.

Принято считать, что минувшая война советского народа против немецко-фашистских захватчиков составляет целую эпоху в его истории, и как всякая эпоха, она содержит в себе часть бесценного общенародного опыта, сконцентрированного в четырех страшных годах и персонифицированного в непосредственных участниках этой беспримерной борьбы. Конечно, о войне написано много, но кто скажет, что тема ее исчерпана? Каждая новая книга о ней добавляет к общей картине народного бедствия нечто новое, создает новые образы и называет новые имена. Уже в этом одном состоит непереоценимое значение военной литературы.

Автор настоящих записей безыскусно, но очень правдиво, со скрупулезной точностью участника и очевидца повествует о пережитом, тем самым внося свой благородный вклад во всенародную копилку памяти о тех героических днях, примет которых все меньше остается в нашем сегодня. Здесь нет необычного, исключительного, многое из записок Е. Гольбрайха известно нам и по другим источникам, а многим и по собственному опыту. Но ведь каждый конкретный опыт это частица истории и она чему-то да учит. Разумеется, война учит многому, и эта ее наука часто открыто, публицистично выражается автором в его строках. А часто содержится в подтексте, освежая благородной мыслью факты и образы этих записок.

Отрадно заметить, что автор обладает завидной человеческой памятью и зорким взглядом, которые позволяют ему с такой живостью и достоверностью воскрешать картины минувшего. Читая его, явственно узнаешь быт и нравы довоенного Витебска, драматические события начала войны, бои на юге Украины. Глубоко впечатляют героические сцены обороны Сталинграда, явившейся суровой академией войны для молодого солдата

Е. Гольбрайха, фрагменты тяжелых боев на Сиваше, в Крыму и Прибалтике.

Множество образов солдат и офицеров проходят перед взором читателя, оставляя в его сознании какую-то черточку памяти о себе. Это тем более важно, что другой памяти о них, может, уже и не осталось на этой земле.

Скуп, лапидарен и емок язык записок. Автор счастливо избегает приблизительности и общих мест, образы его просты, ярки и выпуклы. Благородная печать трудной правды войны лежит на лучших страницах записок, согретых теплом человеческого участия и доброты. И, конечно, светлой памятью о тех, кто в трудное время был рядом, но их уже нет с нами сегодня.

Я желаю счастливой судьбы этим солдатским запискам.

Василь Быков

Вместо предисловия

Писать хотелось всегда.

Не решался. Казалось, что писатели не просто люди одаренные, но особые.

Особости в себе я не ощущал.

Александр Дюма старший как-то сказал: для того, чтобы писать, нужно обладать бесстрашной уверенностью в себе. Ее не было. С годами я убедился, что одного «бесстрашия» мало. Нужна еще и «искра Божия». Не могу утверждать, что у меня она есть или была. Но, может, пробегала?

После Победы о войне стали писать многие ее участники. Их книги получили полупрезрительное наименование «лейтенантской литературы»: «ну что они могли там видеть из окопа».

Из окопа виден быт войны, ее подробности, которые только и делают повествование достоверным.

Из этой «лейтенантской» плеяды вышли такие крупные мастера, как Виктор Некрасов, Григорий Бакланов, Василь Быков,

Эммануил Козакевич. С ними было не сравниться.

Но годы шли, и наступило время, о котором поэт сказал; пора, пора, уже в лицо нам дует воспоминаний тихий ветерок. Приходилось часто выступать, и однажды, после встречи подошел руководитель одного из театров, известный народный артист, обнял меня и сказал: «Мне кажется, я стал лучше».

Это было толчком. Первую книгу я написал очень быстро. В сущности, мне оставалось записать свои устные рассказы и систематизировать материал. Рукопись я послал Василю Быкову.

К моей великой радости, он вызвался написать к ней предисловие. Но и с его предисловием надо вспомнить авторитет и место В. Быкова в литературе и общественной жизни четверть века назад — рукопись пять лет ходила по инстанциям, вышла в усеченном виде, тем не менее, удостоилась нескольких теплых слов в «Новом мире».

Добрыми словами откликнулись на книгу Лев Славин, Вениамин Каверин, Алесь Адамович. Ролан Быков и Вячеслав Кондратьев собирались переиздать ее в Москве, Виктор Астафьев, справедливо упрекнув автора в газетности отдельных мест, не преминул отметить «такую редкость, как еврей в пехоте». Запали в душу слова Даниила Гранина: «книга понравилась точностью деталей, честностью и добротой».

Однажды перед встречей ко мне обратилась пионервожатая и деловито осведомилась: «Вы Герой Советского Союза? Я грустно ответил: Нет».

Через некоторое время она вернулась и с надеждой в голосе спросила: «Вы устанавливали знамя Победы над рейхстагом? Я совсем расстроился и печально повторил: Нет».

Но когда она заглянула в третий раз и в полном отчаянии поинтересовалась, был ли я узником Освенцима, я понял в моей военной биографии есть существенные пробелы…

Я пришел на войну рядовым солдатом пехоты, и мне просто повезло, что остался жив. Из моего поколения с войны вернулось три процента. Когда я написал эту книгу, моей старшей внучке было семь лет, она училась во втором классе и как-то, придя домой, спросила: «Дед! Ведь если есть такая отметка, как двойка должен же ее кто-то получать!» Я насторожился. Как все родители и деды, я был твердо убежден, что двойку может получать кто угодно, но только не моя любимая и в то время единственная внучка. И я ей об этом сказал. Но убедить ее, по-видимому, не удалось, потому что она хитро прищурилась и неожиданно сказала: «Дед, а дед! Вот почему мы все умеем играть на пианино, а ты нет!» Я почувствовал себя несчастным. Действительно, все и она тоже умеют, а я нет. Чтобы как-то восстановить

пошатнувшийся авторитет я сказал: «Зато я книгу написал!» Но это не произвело на нее впечатления. «Подумаешь! сказала она. Это каждый может! Ты же ничего не сочинил. Ты написал, как было!»

И это самая большая награда, которую я когда-нибудь получал.

Автор

Перед войной

В первом ряду: дядя Моисей, отец, во втором ряду: брат Аркадий, мама, я, сестра Тая. 1936-й год

Приметы ушедшего времени

В середине тридцатых годов, как сказал в одном из выступлений Сталин, «жить стало лучше, жить стало веселей», и эта его фраза сразу стала лозунгом, висевшим на всех заборах. Осенью 1935 года были снижены цены на хлеб, отменены карточки на основные продукты питания, а с 1 января 1936 года и на хлеб. Примерно в это же время были сняты ограничения по социальному происхождению для поступающих в ВУЗы. Было принято первое постановление о генеральном плане реконструкции Москвы, пущена первая очередь метрополитена. А любимой песней сразу после выхода кинофильма «Веселые ребята» надолго стала «Легко на сердце от песни веселой».

Вставали и шли на работу — говорили: на службу по гудку. Гудки были разные: густой и низкий на заводе «Красный металлист», звонкий и голосистый на фабрике «КИМ», высокий и дребезжащий на комбинате «Знамя индустриализации».

Непостижимым образом гудки соответствовали своим «хозяевам»: на «Красном металлисте» работали, в основном, мужчины, на чулочно-трикотажной фабрике «КИМ» сплошь женщины, а на новом комбинате «Знамя индустриализации» состав был смешанным.

Век паровых машин еще не закончился. Вдоль стен цехов, под потолком проходила трансмиссия длинный вращающийся вал с насаженными на него против каждого станка шкивами. На станке тоже имелся шкив, они соединялись кожаными или брезентовыми ремнями. Для выключения станка приводной ремень переводился на холостой ход. Ременные передачи были ненадежными, часто рвались. Но уже появились первые электромоторы. Шла индустриализация страны.

В стародавние времена в Витебске, на левом, высоком берегу Западной Двины, был воздвигнут величественный Успенский собор. В тридцатые годы несколько лет велись споры и дискуссии: сносить или не сносить. Победили воинствующие безбожники слово «атеисты» еще не было в ходу и решили собор взорвать. В окрестных кварталах заклеили окна бумагой, и однажды утром взрыв потряс город и души верующих. В то время еще не было такой тяги к старине, и молодежь, которая сейчас разыскивает иконы, одобрительно отнеслась к этой варварской акции. Заодно разрушили орган в польском костеле, и мальчишки бегали по городу с разнокалиберными трубками от этого необычного инструмента.

Грудой развалин лежал собор на крутом склоне получившей от него название Успенской горки. Собор был сложен на каком-то особо крепком растворе и не поддавался разборке. Его каменные глыбы оказались не по зубам довоенной технике. Лишь в послевоенные годы, когда восстанавливался почти дотла разрушенный город, разобрали и развалины собора. Теперь он упоминается в архитектурных справочниках и ностальгических статьях…

В те годы источников информации было несравненно меньше, и очень популярны были стенгазеты. Выпускались стенгазеты и фабричного производства, они продавались в писчебумажных магазинах и назывались «Ильичевка». «Ильичевка» была складная, состояла из восьми паспарту, складывалась в пакет чуть толще спичечного коробка и удобно укладывалась в портфель. А заметки вставлялись в уголки.

В майские праздники рабочие заводов и фабрик выезжали за город с семьями, прихватив провизию, самовары. Ехали весело, пели революционные песни, играли духовые оркестры. Даже небольшие предприятия имели духовой оркестр, и играть в нем

считалось уважаемым делом.

У пристани грузились на баржи. С интересом смотрели на лошадей, иногда их было две-три, запряженных цугом, тянувшим вверх по Двине тяжелые, глубоко сидящие в воде большие лодки или маленькие баржи лайбы. За лошадьми шел погонщик.

Однажды, удобно устроившись на бортах двух барж, стоявших бок о бок, я с детским любопытством наблюдал за веселой суматохой. Неожиданно баржи разошлись, и не успев сообразить, что произошло, я полетел в темный, узкий проход между ними… Плавать я не умел, сразу захлебнулся и широко раскрытыми от ужаса глазами увидел сквозь толщу воды, как отец в одежде прыгает за мной, а другие люди упираются в борта начавших снова сходиться барж… Потом сушились у костра. Мама оставалась дома, ей не сказали.

На демонстрациях несли на палках чучела Чемберлена и Керзона во фраках, в обязательном цилиндре или просто обобщенного «капиталиста» или «попа». Чучела дергали за веревочки, и «чемберлены» закатывали страшные глаза, вертели головой и махали руками. Народ смеялся.

По праздникам на аэродромах ударников первых пятилеток и детей катали на самолетах. Возле ажурного деревянного сооружения толпились желающие прыгнуть с парашютной вышки.

В Москве, во время одного из таких праздников, от неосторожного виража сопровождавшего истребителя погиб первый в мире восьми-моторный многоместный самолет «Максим Горький» гордость советского самолетостроения. Этот день стал днем национального траура.

В праздничных колоннах, среди веселого и парадного люда, сновали юркие пионеры и миловидные девушки в юнг-штурмовках. На груди у них были яркие красные банты, в руках копилки или простые железные кружки. Это был так называемый «кружечный сбор» в пользу МОПРа Международной Организации Помощи Революционерам. Монеты сыпались в них звонко и щедро. Дети кидали гроши была еще такая монета достоинством полкопейки.

Пионерские отряды были не в школах, а при фабриках и заводах, и вожатыми в них назначались заводские комсомольцы. В революционные праздники пионеры выступали в рабочих клубах со спортивными упражнениями.

После всевозможных перестроений на сцене возникала пирамида, на вершину которой по плечам и спинам нижних «ярусов» легко взбегала маленькая девочка с красным флагом и звонким голосом торжественно произносила: Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство!..

Готовые фабричные лекарства в довоенные годы почти не выпускались. В аптеках денно и нощно трудились провизоры, растирая пестиками в ступках снадобья и комбинируя порошки и таблетки по рецептам врачей. Если же лекарство было микстурой, надо было принести пузырек или бутылку. Лекарства отпускались бесплатно и только по рецепту врача. Впрочем, идя в продовольственный магазин, тоже брали с собой мешочек или газету. И даже объявления такие висели: «Товар отпускается в тару покупателя».

Парфюмерные магазины повсеместно имели вывески, на которых красовались большие интригующие буквы ТЭЖЭ. Эти четыре буквы оставались загадкой для многих поколений. Оказалось, что расшифровываются они разочаровывающей бытовой прозой: Трест эфирно-жировых эмульсий.

Разочарование и недоумение по поводу этих загадочных букв уже тогда вылилось в частушку:

На губах ТЭЖЭ, на зубах ТЭЖЭ,
На щеках ТЭЖЭ целовать где же?

Личные часы, особенно наручные, были редкостью. О человеке, который имел часы, так и говорили: «с часами». Самой популярной и чуть ли не единственной маркой были «кировские». По карманным часам узнавали представителей старшего поколения. Но таких было мало. В каждой квартире «тикали» ходики с тяжелыми гирями на цепочке.

С 1 апреля время переводилось на час раньше так называемое летнее время, а с 1 октября на час позже. Более рациональное использование светлого времени давало существенную экономию керосина и электроэнергии.

Долго экспериментировали с рабочей неделей. Поначалу были так называемые пятидневки: четыре дня работали, пятый выходной. По этому поводу в ходу была частушка:

Мамочка ударница, а папочка герой[1].
Четыре дня работают, а пятый выходной.

Но выходной день был не общим, а скользящим и вызывал много неудобств. Придешь за делом, а нужного человека нет, зашел назавтра этот есть, другого нет. Неудобно это было и в личном плане: выходные дни мужа и жены зачастую не совпадали. Пятидневка продержалась недолго, уступив место шестидневке: пять дней работали, шестой выходной. Выходные

дни были твердо определены и известны заранее: шестого, двенадцатого, восемнадцатого, двадцать четвертого и тридцатого числа каждого месяца. Тридцать первое было рабочим днем. Шестидневка прочно вошла в быт и существовала много лет, почти до самой войны.

Были и летние, более низкие цены на молочные продукты, которые с наступлением осени снова повышались.

Но однажды время осталось летним, а цены зимними[2]…

Одеты мы были более чем скромно. Как правило, я донашивал вещи старшего брата, на которых красовалось от двух (локти) до четырех (др. места) аккуратных заплат. От своей школьной подруги я как-то услышал: осенью ты ходил без головного убора, но в перчатках. Шиковал? Скорей всего шапки просто не было, а перчатки подарили.

Никаких украшений у наших девушек не было. Да и откуда им взяться? Если бы, поженившись, парень и девушка надели обручальные кольца, их немедленно исключили бы из комсомола. Девушка с золотыми сережками могла не подавать заявления — таких в комсомол не принимали. Золотые вещи были принадлежностью детей из состоятельных семей. Юнг-штурмовки и красные косынки очень шли нашим девушкам. Ребята по большей части ходили в косоворотках. Галстук, правда, уже не считался мещанством, но в силу еще не вошел.

Гремела война в Испании. Пилотки республиканской Армии сделались модным головным убором. После восьмилетки мальчишки рвались в военные училища (обучение в школе начиналось с восьми лет, военные училища давали среднее образование). Приезжавшие в отпуск курсанты были популярны у девушек и уважаемы у парней.

Но война гремела не только в Испании.

В июне-августе 1938 года вспыхнул вооруженный конфликт в районе озера Хасан.

В середине июля группа советских пограничников перешла маньчжурскую границу якобы в ответ на нарушение ее японским жандармом (на самом деле нарушения не было: он был застрелен советским командиром-пограничником на сопредельной территории) и стала возводить укрепления у высоты Заозерная. Командующий ОКДВА (Особая Краснознаменная Дальневосточная Армия) маршал Блюхер расследовал происшедшее и предложил наказать виновных. В ответ нарком Ворошилов обвинил его в неудовлетворительном руководстве и пораженчестве. В конце августа Блюхер был отозван в Москву, арестован и расстрелян…

По окончании военных действий советская пропаганда

объявила о «блестящей победе». И вот ее итоги: Красная Армия и пограничники потеряли убитыми около восьмисот человек (792) и более двух тысяч семисот (2752) ранеными. Японцы, соответственно: 826 и 913…

Говорить о карьере считалось позором. Время было суровое, новый быт более чем скромен. Новый Год считался религиозным праздником и отождествлялся с Рождеством Христовым. Впрочем, елку кое-кто, крадучись, уже проносил в дом.

Нашей комсомольской юности был чужд национализм или шовинизм. Антисемитизм не ощущался ни в школе, ни на улице. Это был «пережиток капитализма в сознании людей». С капитализмом было покончено, значит и с антисемитизмом тоже. Так учили. До горького разочарования было еще далеко…

Авторучки были редкостью и назывались «вечное перо». Их владельцы вызывали зависть и восхищение, а когда авторучки стали общедоступны, немало копий было сломано, прежде чем ими разрешили пользоваться в школе. (Самое смешное, что та же история повторилась через тридцать лет при переходе на шариковые ручки!)

Писать разрешалось только перьями № 86 эта цифра была выбита на перышке. Они нещадно царапали отнюдь не глянцевую бумагу наших тетрадей и воспитывали стойкое отвращение к письму, украшая наше «чистописание» жирными кляксами (сейчас и слова такого нет). В младших классах тетради по письму были в косую линейку. Считалось, что это помогает выработать красивый почерк с изящным наклоном вправо.

Бумага была проблемой и оставалась ею долгие годы. Один учебник выдавался на двоих, а нередко и на троих учеников. Тетради распределялись в школе, и чтобы растянуть их подольше, писали между линейками и на внутренней стороне обложки. Внешняя была занята таблицей умножения и системой мер и весов страна переходила от верст и пудов к километрам и тоннам.

Излюбленным развлечением мальчишек были воздушные змеи. Множество змеев, больших и маленьких, плоских и коробчатых, бесхвостых и с хвостом из мочала, иногда раскрашенных, реяло в хорошую погоду над городом, а затем, в бессилии, повисало на деревьях и проводах.

Не меньшей популярностью пользовались железные обручи от бочек и бадей. Смастерив из толстой проволоки захват с длинной ручкой, мальчишки неистово гоняли обручи по тротуарам и мостовым, издавая дикий шум и визг,

напоминающий скрежет тормозов. Обручи, по большей части конусные, норовили укатиться в сторону, и требовалось большое искусство, чтобы обруч не свернул и не упал.

Коньки с ботинками были несбыточной мечтой. Кто это мог позволить себе лишнюю пару ботинок? На тех, кто их имел, смотрели, как на представителей иного, прекрасного и неведомого мира. Конек, чаще всего один, привязывался к валенку и, отталкиваясь другой ногой, мальчишки носились друг за другом.

Были и платные катки. В выходные и праздничные дни, по вечерам, там играл духовой оркестр. Покажется странным, но заливалось не поле, а дорожка вокруг него. На самом поле находились зрители, и чтобы перебраться к ним, нужно было пройти по эстакаде, как через железнодорожные пути. Зрители были отгорожены от катавшихся дощатым, на невысоких столбиках, забором.

В Москве, на одном из первых соревнований по конькобежному спорту, под напором болельщиков забор затрещал, доска отлетела, и мчавшийся ближним к ограде конькобежец грудью налетел на нее… Вероятно, это и послужило причиной того, что зрители и спортсмены поменялись местами.

Не было двора, где бы ни играли в волейбол. Если не хватало денег на фабричную сетку, сооружали самодельную. Мячи, в том числе и футбольные, состояли из камеры и покрышки. Нужно было туго надуть камеру, завязать, заправить в покрышку и аккуратно зашнуровать. Процедура доверялась не всем. Это было искусство. И даже» клятва» такая была: чтоб тебе ни камеры, ни покрышки.

Жили тесно, большей частью в коммунальных квартирах. На общих кухнях разноголосо шумели примусы и домохозяйки, пахло керосином и бедностью. Ближе к войне появились бесшумные трехфитильные керосинки, временами немилосердно коптившие. Но стало тише, и женщинам не нужно было перекрикивать шум примусов. Радиоприемники были далеко не у всех, и стандартные черные тарелки репродукторов были неотъемлемой частью интерьера.

Игрушек, в современном понимании, в нашем детстве не было.

Однажды младшие братья отца, учившиеся в Москве и Ленинграде, привезли мне в подарок ружье. Хотя оно было игрушечное, но выглядело, как настоящее, стреляло пистонами и имело целых два ствола. Возможно, оно было откуда-то привезено, хотя едва ли, слово «импорт» не было еще известно.

При виде ружья глаза дворовых мальчишек загорелись и предводительствуемые, скорей ружьем, чем мной, они с диким визгом носились, играя в «Чапаева», пока в «восторге упоенья» я не хрястнул прикладом о колодезный сруб… Ружье переломилось. Я был в отчаянии. Никогда и ничего мне не было так жаль, как этого игрушечного ружья. До сих пор жаль.

В длинных захламленных коридорах стояли бабушкины сундуки, висели велосипеды, и нужно было осторожно пробираться среди этой рухляди, чтобы не набить шишки на лбу. По утрам в благоустроенных квартирах рабочий люд толпился у заветной двери, нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу…

Кухонные пересуды не исключали мирного общения. В случае нужды соседи помогали друг другу понянчить ребенка, помочь детям сделать уроки, занять трешку до получки.

Гитара считалась злейшим проявлением мещанства и приравнивалась к канарейке. «Скорее головы канарейкам сверните, чтобы коммунизм канарейками не был побит!» писал Маяковский. И гитаре был дан бой, в котором она потерпела поражение.

Досталось и гармони. Нешуточные баталии развернулись: быть ей или не быть. Решающее значение имела одноименная поэма Жарова: «Гармонь, гармонь! Родимая сторонка! Поэзия российских деревень!»

И гармонь осталась. А гитара исчезла с молодежного горизонта на долгие годы.

Ее заменил патефон.

Затем наступила очередь безобидной герани, а несколько позже канул в лету комод с семью слониками. Теперь их ищут по антикварным магазинам.

Асфальтированных тротуаров, тем более улиц, в городе было мало. В ненастную погоду ходили в галошах. В передней, особенно если являлись гости, собиралось множество пар. Расходясь, гости долго разбирали галоши, придирчиво разглядывая степень износа и синие чернильные метки на красной подкладке. Кто побогаче, вкалывал в подкладку желтые латунные инициалы, но путаницы все равно было много. Школьники носили с собой мешочки для галош.

Зимой морозы доходили до тридцати и более градусов, и занятия в школе отменялись. По утрам вылезать из-под одеяла в остывшей за ночь квартире было сущей пыткой. Замерзшие окна почти не пропускали света. Наплывы морозных узоров на стеклах достигали нескольких сантиметров. Пока в промерзшей кухне негнущимися, опухшими пальцами разожжешь самовар — жизни

не рад. Проскребешь ногтем дырочку, глянешь в окно брр!.. Выходить страшно.

И когда уже это лето наступит!

Крепкие лошади, от которых валил пар, вывозили с реки сверкающие на солнце голубые бруски льда. Их закладывали в погреба и засыпали опилками так хранился лед для «холодильников». О современных никто и не подозревал.

Зимой на базаре торговки это слово тогда не было бранным согревались довольно оригинальным способом. Сидя на табуретках и распустив вокруг длинные, до земли, плотные юбки, они ставили между широко расставленными ступнями чугунок с тлеющими древесными углями и, раздувая его, как утюг или самовар, создавали микроклимат.

Сливочное масло крестьянки продавали фунтами. Оно лежало аккуратными желтыми брусками на листьях лопуха и не таяло на солнце, а покрывалось мелкими бисеринками пота.

Неподалеку от нашего дома над низким входом в подвал висела вывеска «Прачечная имени Китайской Красной Армии». Работали там исключительно мужчины-китайцы. В клубах пара они бесшумно двигались в глубине помещения у деревянных корыт с белой мыльной пеной. У подвальных окон стояли столы, на которых они с умопомрачительной быстротой и виртуозным мастерством гладили белье.

На улице было интересно во все времена года.

Появлялся точильщик и, зайдя во двор, кричал нараспев: Точить ножи-ножницы! Бритвы править! Снимал с плеча точило с ножным приводом, и его немедленно обступала детвора поглядеть на фейерверк искр, стремительно срывавшихся с точильного камня. С оживлением встречали мальчишки и стекольщика: большая часть разбитых окон была на их совести…

Иногда по улицам водили прирученного медведя. Бурый, лохматый медведь с железной цепью или веревкой на шее и в намордник безразлично шел за своим рослым, крепким и таким же лохматым хозяином — цыганом с веселыми глазами. К всеобщему восторгу медведь ходил на задних лапах, танцевал и даже боролся с хозяином.

Изредка во двор заходили цыгане-лудильщики, и мы с восхищением смотрели, как ловко они разгоняют серебристое олово по горячему дну медных котлов.

Иногда по улицам мчались красные пожарные повозки с большими бочками с водой, ручными насосами и лестницами, звоном подвязанного под днищем колокола оповещая о пожаре. За ними неслись вездесущие мальчишки: Пожар! Пожар!

Топорники так назывались пожарные, имевшие у пояса небольшой топорик в чехле, были в ярко начищенных медных касках и брезентовой робе.

Глаза лошадей прикрывались шорами, чтобы не пугались непривычных еще автомобилей и не понесли. Крестьяне накидывали на головы лошадей мешки. А когда опасность миновала, мешки снимали и надевали на лошадиную шею торбу с овсом, и они уютно хрустели им, шумно дыша и непрерывно, как заведенные, обмахиваясь хвостами, косили по сторонам умными, спокойными глазами…

Один из соседей завел козленка. Маленький беленький козленочек сразу стал любимой забавой детей и охотно играл с ними. Он рос и скоро удержать его за пробившиеся рожки, когда он со всех ног несся, бросаясь на кого-нибудь из ребят, становилось все труднее. Мы жили на первом этаже, входная дверь, как правило, оставалась открытой. Однажды козленок заглянул в квартиру. В комнате стояло высокое, под потолок, еще от старого времени, трюмо в дубовой раме. Козленок посмотрел на свое отражение, повертел головой и поскреб пол копытцем. Тоже самое повторилось в зеркале… Это становилось интересным. Козленок наклонил голову, выставил рога и приготовился к бою. Отражение приняло вызов! Козленок рванулся вперед…

Такого зеркала у нас больше никогда не было.

Однажды в детстве, болея очередной ангиной, стоял на подоконнике и грустно смотрел, как на плацу занимаются строевой подготовкой красноармейцы соседней части. Сквозь плотно закрытое окно команды доносились слабо. Четкий строй красноармейцев неожиданно сломался, замешкался и, потоптавшись на месте, вдруг кинулся к нашему дому, как в атаку, только что без оружия. Я с интересом ожидал, что будет дальше. А дальше сильные руки подхватили меня, и уже на улице через плечо красноармейца я увидел, что наш дом горит. Языки пламени обнимают крышу, и над ней растет, расползаясь по ветру, черный дым пожара. А красноармейцы уже выносят вещи.

В Витебске был трамвай один из первых в России. (В столице республики, Минске, еще ходила конка). На перекрестках стояли стрелочники. При приближении трамвая они небольшими ломиками переводили стрелку, направляя вагон по нужному маршруту. Ближе к войне появились стрелки-автоматы. По весеннему теплу, к майскому празднику, зимние трамваи уходили в верхний парк, а вместо них в город с веселым звоном

сбегали яркие летние вагоны, открытые, с длинными жесткими скамейками по сторонам и ременными петлями под потолком, держась за которые пассажиры продвигались к выходу. Номера маршрутов обозначались цветными огнями. У задней двери возвышался кондуктор. Он продавал билеты, дергал за веревку звонка, давая сигнал к отправлению, и время от времени безуспешно увещевал пассажиров: Пройдите, граждане, вперед!

Сзади на буфере трамвая висели мальчишки. Это называлось «проехать на колбасе». Осенью над трамвайными путями появлялась надпись: Листопад! Берегись юза!

По полноводной еще Двине сплавляли плоты. Длинные сооружения из связанных между собой бревен имели спереди и сзади огромные правильные весла, вытесанные из целого бревна, и двое плотогонов направляли ими плот в нужную сторону. На плоту сооружался шалашик, нередко среди «команды» была женщина, теплился огонек, что-то варилось, сушилось белье. С берега вслед плоту неслись мальчишеские крики: Гануля! Дзяржи направа! На бык нападзешь! (Ганок — плот, белор.)

Возле моста через Двину укрепляли быки. Трое крепких мужчин, двое молодых и один пожилой, похоже, отец, стояли на мелководье с большими деревянными молотами на длинных ручках и по команде старшего, первым вздымавшего молот, не глядя друг на друга, поочередно били по свае, круто занося молоты над головой. Мгновенно возникал четкий ритм, и после каждого удара свая зримо уходила в землю. И люди, и молоты, и свая переставали существовать порознь. Все сливалось в непрерывный ритм.

А на берегу, на деревянных мостках, или стоя по колено в воде, женщины полоскали и отбивали белье. Иная так подоткнет юбку дух захватывает…

1937-й

Зловещие слухи поползли по городу. Тень легла на лица людей. По утрам узнавали: ночью забрали еще одного соседа. С этой семьей уже никто, кроме самых близких, не поддерживал отношений боялись.

В нашем девятом классе было три десятка учеников. У восьмерых арестовали родителей. У Вани Сухова взяли обоих и отца, и мать. Ваня и его сестра по-прежнему ходили в школу, красивые, бледные, молчаливые. Как они жили, что ели, оставшись одни…

Брали главным образом руководящих работников: председателя горисполкома, секретаря горкома, управляющего банком кто-то грустно пошутил банк лопнул.

У отца нашей одноклассницы в домашней библиотеке была брошюра Троцкого. В те годы это было не редкостью и не вызывало шока. Один из моих близких друзей прочитал ее, она ему понравилась, и он написал на ее полях: «Советую эту книгу всем прочесть» и щедро расписался. Этого оказалось достаточно. Через некоторое время после ареста отца девушки взяли и моего товарища. Продержали три с половиной месяца и выпустили ему было шестнадцать лет. Впрочем, возраст не всегда был защитой.

Врагов оказалось невероятное количество. Это было немножко странно советской власти ведь уже было двадцать лет! И не пришла в голову мысль, что такого количества врагов просто не может быть. Недоумевал. Но верил… «Лес рубят щепки летят» спасительная мысль, за которой хотелось укрыться.

Постучалась беда и в наш дом. Постучалась ночью, когда все уже спали. Постучалась, чтобы поселиться в нем навсегда. Постучалась и вошла в образе двух военных с эмблемой щита и меча на рукавах, в сопровождении двух насмерть перепуганных соседей понятых. Постучалась беда, поселилось безысходное горе.

У военных был усталый вид. Похоже, не первую ночь проводили они в трудах неправедных. Вели себя сдержанно, даже тактично. Когда отец что-то сказал матери по-еврейски, тихо попросили: говорите по-русски.

Наверное, только отец понимал, что видит нас в последний раз.

Мне шел шестнадцатый год, сестре едва минуло одиннадцать, старший брат учился в Ленинграде, там тяжело заболел и уже второй год лежал в больнице. Обыск был долгий. Скудное имущество наше тщательно проверялось, перелистывались все книги, бумаги. «Оружие есть?» равнодушно задали отцу обязательный, по-видимому, вопрос. Оружие? переспросил отец и с некоторым раздражением ответил, ножи, вилки». Личный гардероб отца: пальто и два костюма конфисковали и передали для продажи в комиссионный магазин. Мама заняла денег и пальто и один костюм выкупила — все надеялась, разберутся, выпустят.

В протоколе обыска, в качестве компрометирующего материала значилось: «Изъят комплект журнала «Нива» за 1907 год с портретами лиц царской фамилии». Именно так было записано. Это было и грустно и смешно. Впрочем, тогда это не

было так смешно, как сейчас. От царя нас отделял не такой уж большой срок, и еще жили люди, которые не прочь были его вернуть. Как выясняется есть такие и сейчас. Но к отцу это не имело никакого отношения. Напротив, будучи совсем молодым, он стал эсером и совершил покушение на известного черносотенца шефа жандармов Витебской губернии.

В партию, считавшую себя продолжательницей традиций «Народной воли», его вовлек двоюродный брат Азарий Гольбрайх. Произошло это еще до революции 1905 года. Отцу было шестнадцать лет. Витебская партийная организация, имевшая, как и везде, боевую дружину, вынесла решение ликвидировать шефа жандармов, крупного царского чиновника, отличавшегося особой жестокостью по отношению к революционерам, большинство из которых были евреи. И выбор, или даже жребий пал на отца. А может, он сам вызвался теперь не узнать.

Акция была приурочена к массовому гулянью в Губернаторском саду по случаю какого-то праздника. Заранее были исследованы все заросли и кустарники на высоком берегу Успенской горки, все крутые тропы к Двине, где наготове ждала лодка с гребцами.

Мама в тот теплый летний вечер была в Губернаторском саду с Азарием. Вдруг раздался выстрел, началась суматоха. Выяснилось, что убит шеф жандармов. У мамы непроизвольно вырвалось: «Это сделал Абель!» Ее спутник страшно разволновался: «Кто тебе сказал?» и этим только подтвердил ее предположение. Азарий взял с нее страшную клятву, что она никогда, нигде и никому об этом не расскажет. Ведь отцу грозила смертная казнь! Покушение прошло в соответствии с разработанным планом и осталось нераскрытым. Отцу удалось скрыться. Впоследствии он проходил по другому делу и был выслан на три года в Архангельскую губернию, где отбывал ссылку по соседству с Ворошиловым с 1907 по 1910 год.

Царская ссылка не советская. Давались какие-то деньги на пропитание, отец жил в крестьянской семье, с ними ел, спал, работал. Они ему говорили: Аба! Оставайся у нас. Мы тебя оженим. Где-то надо было отмечаться, кто-то изредка проверял. И все.

От эсеров он отошел.

А мама держала слово, данное Азарию, до окончания гражданской войны. В 1916 году отца, на всякий случай, вновь посадили как неблагонадежного. Было это на третий день после женитьбы, родители еще жили на разных квартирах. Освободила его Февральская революция.

О своей революционной деятельности и ссылке отец ничего не рассказывал, вначале считая нас маленькими, а потом это стало небезопасно. Узнали мы об этом от его братьев. В наши более-менее сознательные годы отец не вел никакой партийной работы. В большой семье, из которой он вышел, было четырнадцать детей. Все они выросли интернационалистами тогда это слово не было бранным, женились и выходили замуж за русских, работали в партийных и советских органах, в науке.

Отец сотрудничал в газете «Заря Запада», впоследствии «Витебский пролетарий», затем «Витебский рабочий», был распространителем еврейской газеты «Дэр эмэс».

Двое: мой отец и еще один его брат, были расстреляны.

В тридцатые годы, когда стала создаваться Еврейская автономная область, отец стал получать из Биробиджана длинные, на две-три страницы, телеграммы, мама пугалась. В нашем понимании телеграмма могла состоять из одной строчки: встречай такого-то, поезд, вагон… Отца звали на ответственную работу, предлагали хорошие условия. Но он не решился. Как знать, быть может, если бы уехал остался бы жив.

После войны, когда отца уже давно не было в живых, Е. Д. Стасова прислала матери два-три письма, в одном из которых была озадачившая нас фраза об отце: «…нашего старого партийца, хорошо знакомого мне в свое время, как секретарю ЦК партии». Думаю, что Стасова отца не знала, а написала об этом, чтобы своим авторитетом ускорить его реабилитацию и помочь матери получить квартиру.

… И потекли черные дни. Не только мы с матерью, но и вся наша улица, весь в ту пору небольшой наш город знали отца как честного человека, и это вселяло в нас надежду. Несколько раз мама писала Сталину, но ответа не поступило. Одной честности было недостаточно. И надежда сменялась все более стойким отчаянием. И без того небогатая наша жизнь совсем оскудела. Школу пришлось оставить, перешел в вечернюю, на работу не принимали еще не было паспорта. Помог комсомол.

Дважды в месяц носили в тюрьму передачи. Народу похватали много. В очереди собиралось по несколько сот человек, занимали с вечера. Возле тюрьмы стоять не разрешалось. Сменяя друг друга, мы с матерью, вместе с другими несчастными, ютились в подъездах и подворотнях близлежащих домов. Стояла поздняя белорусская осень, ночной холод пробирал до костей, зверски хотелось спать.

Надобность в передачах вскоре отпала…

Со Стасовой мне довелось встретиться и лично.

Ранней весной 1942 года она возвратилась из кратковременной эвакуации в Красноуфимск, куда выехала по настоянию правительства 16 октября 1941 года, в самый тяжелый московский день.

В этих записках я хочу сохранить атмосферу и отношение того времени. «Реабилитироваться» задним числом было бы лицемерием.

Стасова удивительно оправдывала свою партийную кличку «Абсолют», которую ей дал когда-то Ленин. Несгибаемая, бескомпромиссная. Вероятно, эти качества привели ее к категорическому неприятию Брестского мира. Поразил ее внешний облик. Высокая, худощавая, в светлой блузке и длинной, до пят, широкой книзу юбке, она напоминала бестужевку. Особенно поражали глаза: они горели, думалось тогда, огнем революции, в необходимости и правомерности которой никто из них не сомневался. Говорила она красиво, очень ясно и непривычно чистым русским языком. Впрочем, возможно, это объяснялось магией имени соратница Ленина!

Я пригласил ее в институт встретиться с группой студентов, участников обороны Москвы, рассказать о Ленине. Смущаясь, предложил прислать за ней машину в нашем распоряжении была полуторка.

— Я приеду на трамвае! сказала она тоном, не терпящим возражений. Ждите меня на остановке! — И она назвала день и час.

Я долго не мог успокоиться: Стасова на трамвае! В назначенное время она сошла с подножки, прямая, строгая, и тут же сделала мне внушение за то, что я вышел ее встречать легко одетый.

— Ну, что бы вы хотели узнать, услышать? — начала она.

Запинаясь от волнения, я спросил об ордене. Образ Ленина не вязался с наградами. Невозможно представить себе Ильича с орденами на груди, а между тем…

«Да, прервала меня Стасова. Ленин никогда не награждался. Когда он умер, секретарь Совнаркома Горбунов снял со своей груди орден Красного Знамени, которым был награжден незадолго до этого по инициативе и предложению Ленина, и прикрепил его на лацкан тужурки Владимира Ильича. С этим орденом Ленин и лежит в саркофаге».

И она стала рассказывать о Ленине.

Слушая собеседника, Ленин, как правило, подпирал рукой голову так, что один его глаз, слегка сощурившись, смотрел сквозь щель между указательным и средним пальцами.

Некоторых эта его особенность озадачивала. Впоследствии выяснилось, что у Владимира Ильича один глаз видел хуже и так он корректировал свое зрение.

Ленин был очень точен и свято соблюдал регламент различного рода заседаний, собраний, совещаний. Если кто-нибудь из выступавших не укладывался в установленное время, он вынимал карманные часы и красноречиво держал их за цепочку перед собой. Если же и это не помогало, начинал постукивать пальцем по стеклу часов. Чаще всего этот жест относился к «всесоюзному старосте» М. И. Калинину.

Известно, что Ленин не курил, и в его кабинете курить не разрешалось. А как быть таким заядлым курильщикам, как Дзержинский и Сталин? Они обычно уходили за угол голландской печи и курили в этом укромном уголке, предварительно открыв вьюшку, чтобы дым вытягивался. Когда наступало время голосования, Ленин, не видя их перед собой, спрашивал: Как голосуют запечных дел мастера? (Теперь сказали бы заплечных…)

Пришли годы, когда образ Ленина, к которому раньше художники не решались подступиться, стал занимать в искусстве все более прочное место. Стасова разделяла мнение Крупской, что в жизни Ленин жестикулировал гораздо меньше, чем в искусстве.

В одном из первых фильмов о Ленине есть сцена, где Владимир Ильич, беседуя на кухне с кулаком, присматривает за молоком и спрашивает у вошедшего Свердлова, понимает ли тот что-нибудь в кипячении молока. Кадры эти, очень теплые, с добрым юмором, никакого отношения к действительности не имеют. В жизни Ленин умел готовить. Когда они втроем, Ленин, Надежда Константиновна и ее мать, жили в Женеве, готовили по очереди. Когда наступала очередь Владимира Ильича, он готовил с удовольствием и не без тщеславия радовался, если его стряпню хвалили.

Как-то Ленин, Крупская и Стасова отправились на велосипедную прогулку в окрестности Женевы. На железнодорожном полотне остановилась дрезина, на которой приехала группа рабочих. Ремонтники разобрали инструмент, быстро и споро отремонтировали путь, сели, покурили, зарыли в ямку окурки и мусор, заровняли, расчесали граблями песок и уехали. Внимательно наблюдавший за их работой Ленин сказал: «Если бы русские рабочие умели так работать!» (Эту фразу еще можно повторить и сейчас.)

Многие подробности жизни и быта Ленина делали его ближе. Но в те годы Ленин и велосипед совершенно не вязались. Это

казалось кощунством. Не было понимания того, что велосипед в начале века был довольно распространенным видом транспорта, а Ленин и его спутницы людьми молодыми и здоровыми, и велосипедная прогулка была для них отдыхом и удовольствием.

Ленин на броневике! это было привычно и понятно.

Правительство переехало из Петрограда в Москву в марте 1918 года. Кремль не отапливался. В помещениях стоял жуткий холод. Проходя по коридору, Ленин почувствовал, что из-под одной двери идет тепло. В этой комнате жил Демьян Бедный, поэт в то время очень популярный и близкий к руководству. Войдя к Бедному, Ленин увидел посередине комнаты железную печурку, излучавшую заманчивое тепло. «Где достали такую роскошь? спросил Ленин. Дал знакомому печнику пол-литра, он и смастерил, ответил Бедный. Где я возьму пол-литра!» развел руками Ленин.

Демьян Бедный достал пол-литра, нашел печника и всю жизнь гордился, что спас Ленина от холода.

Сейчас только ленивый не лягнет Ленина. Да, Ленин не был рождественским дедушкой. Он был фанатиком идеи, изначально порочной. От этого произошли неисчислимые беды для России. Сейчас легко рассуждать. Не жил Ленин в богатых кварталах и не снимал фешенебельных квартир в эмиграции. Хорошо знавший его в эти годы Яков Бранденбургский вспоминал, что однажды застал Ленина за достаточно тривиальным занятием собираясь на велосипедную прогулку, будущий вождь мирового пролетариата красил чернилами прохудившуюся обувь…

Теперь «выясняется», что отец Ленина был гомосексуалистом, мать нимфоманкой, а старший брат Александр внебрачным сыном царя…

Многие приказы и распоряжения Ленина вызывают чувство смятения. Его образ потускнел, чтобы не сказать больше….

В 1923 году Ленин уже видел, что страна идет «не туда» и написал свою знаменитую статью «Как нам реорганизовать РАБКРИН» (Рабоче-крестьянскую инспекцию). Это означало коренной поворот в политике. Вожди всполошились. Все члены Политбюро, кроме Троцкого, выступили против публикации статьи. Куйбышев даже предложил напечатать для Ленина газету в одном экземпляре… На это не пошли. Но все члены Политбюро, даже такие личные враги, как Троцкий и Сталин, подписали письмо, в котором говорилось, что Владимир Ильич болен, неадекватен, и таким образом дезавуировали его статью.

В первые годы после смерти Ленина, его литографские портреты продавались в писчебумажных магазинах и стоили

четыре копейки. Их моментально раскупали. Висел такой портрет и у нас. Ленина любили. По крайней мере, так казалось. Мама Ленина никогда не ругала. Она только разводила руками и говорила: «Что он придумал?»

А мы не знали другой жизни и верили. Били себя в гулкую комсомольскую грудь и убежденно говорили: «Мама! Все будет!»

А она смотрела на нас печальными глазами и тихо говорила: «А я хочу сейчас…»

В статье «Несвоевременные мысли» Горький характеризует Ленина следующим образом: «Для Ленина Россия только материал опыта, начатого в размерах всемирных, планетарных. Его вера вера фанатика-ученого, а не метафизика, не мистика. Основная цель его жизни общечеловеческое благо. Ошибки Ленина ошибки честного человека. Суровый реалист, хитроумный политик Ленин постепенно становится легендарной личностью. Я снова пою славу священному безумству храбрых. Из них Владимир Ленин первый и самый безумный». Понадобились десятилетия, чтобы это осознать.

В первые годы после революции, когда желание избавиться от всего царского было горячо, случалось, что вместе с водой выплескивали и ребенка.

В нашем приграничном многонациональном городе были белорусские, русские, еврейские, а также польская и литовская школы. Большинство представителей национальных меньшинств, как тогда говорили, нацменов (по слухам, слово запустил в оборот Ленин) хотели обучать своих детей в русских школах. Не тут-то было! Учись на языке своей национальности гласила инструкция. В Белоруссии идиш был одним из государственных языков, и на гербе республики одна из надписей была на еврейском языке. Было ли это перегибом? Быть может, чиновники того времени лучше понимали, что без знания национального языка нельзя сохранить и свою национальную культуру. Но наше поколение вырастало в убеждении, что малые народности должны ассимилироваться и чем скорей, тем лучше, и что скоро наступит то счастливое время, о котором мечтал Пушкин «когда народы, распри позабыв, в единую семью объединятся». И считалось естественным и само собой разумеющимся, что языком этой единой семьи будет русский.

Чего здесь было больше: невежества или мечты?

Мама прекрасно понимала бесперспективность обучения еврейскому языку и затратила много усилий на борьбу с «наробразом» (ГорОНО), чтобы меня направили в русскую школу. Пока решался вопрос, учебный год уже начался. Я был

подготовлен, и мама повела меня во второй класс. Шел урок, ученики с любопытством рассматривали новичка. Учитель дал мне букварь и попросил прочесть место «мама мыла Машу», не то «Маша ела кашу». А я уже свободно читал детские книжки с мелким шрифтом! Такого унижения я вынести не мог и гордо молчал. И к огорчению мамы меня отвели в первый класс. Но русской школы.

Мама была очень красивой женщиной. Для каждого ребенка его мать самая добрая, самая красивая и самая лучшая на свете. В отрочестве, когда в семьях друзей начинают интересоваться родителями, мне не раз приходилось слышать: Твоя мама была самой красивой женщиной в городе. Я посмотрел на нее другими глазами и поразился: она была удивительно красива, и хотя была уже матерью троих детей и жизнь не баловала ее и до этого черты лица сохранили библейскую красоту и отточенность.

Во время первой мировой войны мама зачем-то побывала в Выборге, тогда считавшемся финским городом, хотя Финляндия входила в состав Российской империи. Город поразил ее удивительной чистотой, непривычным порядком и совершенно фантастической честностью финнов. Магазины не запирались, на центральной улице была витрина, тоже не запиравшаяся, за стеклом которой лежали различные предметы и вещи, потерянные жителями города и приезжими: кольца, серьги, зонты и пр. Нашедшие клали их за стекло витрины, а потерявшие приходили и забирали свое. Все это произвело на маму такое впечатление, что она помнила и рассказывала об этом через много лет.

До революции мать работала продавщицей это называлось приказчицей, в обувном магазине. Она понимала и могла объясниться по-польски и по-немецки, что в нашем городе имело существенное значение, так как многие аристократы тогдашнего Витебска были польского и немецкого происхождения, а они-то и были основными покупателями, и мать умела сделать так, что никто не уходил без покупки. В магазин часто наведывались поболтать с хорошенькой приказчицей молодые офицеры, и они считали неудобным уйти, ничего не купив. Хозяин ценил маму и на каждый праздник дарил ей… резиновые игрушки с пищиками, так что к моменту, когда мы стали себя осознавать, у нас собралось целое стадо.

Дома говорили по-русски, но зачастую звучали белорусские и еврейские слова что-то вроде смеси «французского с

нижегородским». Со свойственным ей юмором, мама имела обыкновение пересыпать свою речь прибаутками и пословицами на всех трех языках. Ее любимые пословицы, чаще всего обращенные к нам, детям: «никто тебе, как сам себе» (В смысле каждый человек кузнец своего счастья. Я бы добавил: «и несчастья») и «няма той крамки, дзе прадаецца татка да мамка», что по-белорусски означает: «нет той лавки, где продаются отец и мать». Некоторые выражения напрямую проистекали из нашей бедности: «бесер бухвейтик эйдер гарцвейтик» «лучше, чтобы болел живот, чем сердце», т. е. лучше доесть и маяться животом, чем выбросить. Грубоватой, но образной была характеристика нищеты: «афулэ тохес мох ун эс вакст нох» — «полна задница мха и растет еще — «отсутствует всякое имущество и нет перспективы им обзавестись», основанная на созвучии слов «мох» и «нох» (евр. еще). По поводу плохого, по ее мнению, фильма мать как-то сказала: «анивейре ди цайт, ун вегн гелт из шейм огирет» — «жаль времени, а о деньгах и говорить не приходится» — и это стало в семье нарицательным по поводу всякой бессмысленной траты времени и денег. Бренность всего земного выражалась пословицей: «гайнт бист ду а кейсер, ун морги бист ду а дрэк а грейсер» «сегодня ты царь, а завтра ты дерьмо большое», где рифмовались слова «кейсер» царь и «грейсер» большой. Тонким юмором звучала прибаутка: «фарфалн ди бигейме мит дер штрик» «пропала корова с веревкой», т. е. все, конец, а главное не так жаль коровы, как веревки… Если у кого-нибудь что-то не ладилось, мама направляла его пословицей, сродни той, где говорится об отношениях Магомета и горы: «аз дер ферд гейт нит цу дем вогн, нэмтн дем вогн ну дем ферд» «если лошадь не идет к телеге, берут телегу к лошади». К личным врагам относилось русско-еврейское «скорэ помэ зол эм брэнгейн агейм» «скорая помощь, чтобы его привезла домой».

Иногда «закон бутерброда» относился и к ней самой, и она с досадой говорила «алц мит ди путер ароп» «все маслом вниз». На «всех злых» опускалось шолом-алейхемовское: «сколько дырочек во всей маце, испеченной со дня исхода евреев из Египта и до нынешней пасхи, столько болячек им на язык». Это она относила ко всем фашистам и особенно к их лидерам поименно. Непосредственно Гитлеру адресовалось: «зол ер гижшволн вэрн ви а барг» и «брехт ер дн коп мит а штик галц» «чтобы он распух как гора и сломал голову с куском шеи».

К сожалению, в переводе еврейские пословицы и поговорки много теряют.

По поводу Гитлера ее слова оказались пророческими, и она

до этого дожила. Дожила она и до реабилитации отца. Он был реабилитирован в 1956 году посмертно. Очень интересовались, был ли он левым эсером или правым. Мать сказала: «Я девятнадцать лет не подымала головы, теперь она уже не подымается».

Ей установили персональную пенсию, дали благоустроенную квартиру в новом доме.

Через три месяца она умерла.

Долгие годы о судьбе отца ничего не было известно: «десять лет со строгой изоляцией» (т. е. без права переписки) устно и все. После XX съезда и разоблачений преступлений Сталина прислали «свидетельство о смерти»: «умер 14 марта 1944 года, причина смерти артериосклероз, место смерти прочерк. Дата выдачи 1 декабря 1956 года(!)

Через много лет удалось узнать правду. Вот некоторые подробности:…На втором допросе признал себя виновным — содрогаешься при мысли, что происходило между первым и вторым допросами… — «о чем ты успел передумать, отец, расстрелянный мой?» через неделю после ареста, 28 ноября 1937 года приговорен к расстрелу, 16 января 1938 года приговор приведен в исполнение. Место захоронения неизвестно. Далее из документа: «Свидетели по делу не допрашивались. Обвинение построено на противоречивых, неконкретных показаниях обвиняемых. Доказательств наличия в Витебске эсеровско-бундовской подпольной организации в материалах дела нет.»

Боже! В какой стране мы жили. И ведь продолжаем ее любить.

Когда Сталин умер мы все плакали. Не плакала только мама.

Как же теперь будет?

А так и будет! спокойно ответила она.

До сих пор циркулируют слухи о насильственной смерти Сталина. Вячеслав Молотов в беседе с В. Карповым сказал буквально следующее:

— Для таких подозрений есть основания. На трибуне мавзолея 1 Мая 1953 года он признался нам с Хрущевым и Маленковым: «Я убрал его очень вовремя…» На смерть от отравления косвенно указывают данные врачебного консилиума. Профессор Мясников вспоминал, что у Сталина были все симптомы отравления ядом. Однако в акте смерти это не было отражено.

Нелишне напомнить, что еще над теплым трупом вождя Берия сказал: «Я вас всех спас…» Может быть, и нас тоже. Но каков «спаситель»!

Красная армия

Быть может, для современных молодых людей это прозвучит странно армию мы любили. Победа в недалекой еще гражданской войне, казавшейся нам справедливой и необходимой, внушала уважение, романтика армейских будней была привлекательна, и юноши стремились стать краскомами красными командирами слово офицер в те далекие годы однозначно ассоциировалось с белым офицерством.

Любовь к армии живет во мне до сих пор и, не боясь показаться сентиментальным, скажу: мое сердце осталось под полковым знаменем. Как там у Булата Окуджавы: «Я все равно паду на той далекой, на гражданской. И комиссары в пыльных шлемах склонятся молча надо мной».

В свой первый «гражданский» отпуск я поехал через всю страну из Сталинабада в далекий Калининград, в гарнизон, где заканчивал службу… И можете смеяться сколько угодно.

До весны 1942 года я жил в Москве, учился на втором курсе физико-математического факультета МПИ им. Ленина. Студенческая жизнь известна стипендии не хватало во все времена. Ходил с ребятами подрабатывать на дровяной склад в Лужники, где ныне стадион (бывш. им. Ленина) благо, не далеко, и расчет сразу. В последние предстипендионные дни обедал в столовке несуществующего теперь Артамоновского трамвайного парка на Малой Пироговской, рядом с институтом, хлеб там лежал на столах, а тарелка борща стоила тридцать копеек. Денег все равно не хватало, и раз в месяц сдавал кровь.

На станции переливания крови не только хорошо платили, но и хорошо кормили. После сытного обеда, от которого давно отвык, не от большого ума пошел в баню. В какой-то момент медленно стало гаснуть электричество тогда это было не редкость, но мои соседи почему-то никак на это не реагировали и, как ни в чем не бывало, продолжали тереть друг другу спины. Когда стало совсем темно, понял, что свет померк только для меня. Я читал в классической литературе об обмороках, но они всегда случались с «кисейными барышнями» и к себе я этого никак не относил. С чьей-то помощью вылез в холодный предбанник и, присев в углу, долго смотрел на тускло мерцающую лампочку, пока она не разгорелась в полную силу. «Молоко на губах не обсохло, а туда же пить», с осуждением сказал банщик. К тому времени я только однажды попробовал пиво и оно мне не понравилось, а о водке только слышал…

Весной 1942 года меня провожали в армию. Я попал в 24-й

запасной танковый полк, расквартированный под Казанью, и здесь из меня ускоренными темпами стали готовить стрелка-радиста. Танки в полку были английские и предназначались, по-видимому, для действий в Сахаре выкрашенные в грязно-желтый цвет. Носили они, впрочем, ласковые и приятные для солдатского слуха названия «Валентайн» Валентина, но относились мы к ним настороженно: поговаривали, что в бою они вспыхивали, как порох. Мое неудовольствие усугублялось еще и тем, что по тревоге а их было немало и все больше по ночам мне надлежало выдернуть из амбразуры танка пулемет и бежать, взвалив его на плечо. Пулемет был тяжелый, килограммов двадцать, и имел квадратное сечение. Как ни положи острые грани, чуть ли не до ключицы прорезают плечо. На всю жизнь запомнил я фамилию конструктора этого злополучного пулемета Блен, чтоб ему пусто было!

А танков этих на фронте я не встречал.

Как-то в казарму пришел комиссар полка, отозвал меня в сторону и сказал, что вечером будет комсомольское собрание, на котором меня будут избирать комсоргом отправляющегося на фронт полка. Надо так надо. На всякий случай предупредил, что мой отец арестован органами НКВД, и дальнейшая его судьба неизвестна. Комиссар переменился в лице, поблагодарил за откровенность и умчался.

Выводы последовали незамедлительно.

Через несколько часов меня отправили в затерявшийся в Марийских лесах, неподалеку от города Йошкар-Ола небольшой поселок Суслонгер, где формировались маршевые роты. Так я попал в пехоту. По иронии судьбы я все-таки стал комсоргом полка, вначале стрелкового, а потом и самоходного, но это уже было, когда я перестал упоминать об отце. Об этом мне напомнили при досрочном увольнении в запас…

Суслонгерские лагеря это сотни длинных, каждая на целую роту, землянок с двухэтажными нарами и проходом посередине. Двухскатные крыши из круглого леса почти вровень с землей, укрыты лапником. Вместо постелей тот же лапник. Контингент разношерстный, все больше крестьяне, много малограмотных.

По утрам роты уходили на строевые занятия с деревянными винтовками. Кормили скудно: шестьсот граммов клейкого хлеба в день по двести граммов пайка на завтрак, обед и ужин. И теплая, мутная жидкость, именуемая супом и дружно прозванная баландой. Выщербленное дно эмалированной миски просматривалось сквозь это варево. Пили его через край, ложка не требовалась…

Как-то спросил старого солдата, участника империалистической, как тогда именовали Первую Мировую войну, что за название такое баланда. Он на полном серьезе ответил, что в ту войну был такой повар Баландин, от него и пошло. Может и правда.

Меня назначили проводить политзанятия. Пожилой, усталый комбат, из запасных, просил остаться до конца войны! писарем в батальоне. Неисчислимыми полчищами летали злющие комары. Стоило случайно или по нужде обнажить какую-нибудь часть тела, как они накидывались сомкнутыми рядами и зверски кусались.

На девятый день упросился с маршевой ротой на фронт.

В предвоенные годы армия, в основном, была крестьянской и называлась Р.К.К.А. Так, с точками, и писалось. Среди красноармейцев встречались малограмотные, а подчас и вовсе неграмотные. В популярной довоенной кинокомедии «Сердца четырех», которую многие еще помнят по участию в ней кумира тогдашней молодежи Целиковской, есть кадры, где командир помогает бойцу написать письмо домой. Эти кадры взяты из жизни. Новобранцев в армии учили многому, в том числе читать и писать. Красноармеец, вернувшийся со службы, был уже грамотным и — по тому времени — политически подкованным человеком. Односельчане относились к нему с почтением и нередко избирали его председателем колхоза (в те годы было множество небольших колхозов).

Но уровень грамотности, в общем, оставался невысоким и может быть по этой причине теперь это покажется, по меньшей мере, странным и неправдоподобным воинскую присягу принимали сообща.

На первомайском параде, а военные парады проводились два раза в году 1 Мая и 7 Ноября, полки выстраивались на площади. Строгими квадратами застывали батальоны пехоты, неторопливо покачивали головами в надраенных уздечках кони кавалерийских эскадронов в белых «башмаках» с перебинтованными в пясти ногами, на прилегающих улицах стояли дивизионы артиллерии. Из громкоговорителей разносились пролетарские песни, большей частью в исполнении Эрнста Буша. На трибуне партийные и советские руководители, высшие командиры и комиссары, ударники первых пятилеток, делегаты от заводов и фабрик.

Представитель гражданских властей, держа в руках листок, во внимательной тишине, громко микрофонов еще не было зачитывал текст, а красноармейцы хором повторяли за ним слова присяги: «Я сын трудового народа, — начинал руководитель, и

голос его далеко и четко разносился в чистом воздухе майского утра, «…трудового народа» — дружно отзывалась площадь, «… вступая в ряды Рабоче-крестьянской Красной Армии» продолжал выступающий.«…Красной Армии» единым выдохом откликались красноармейцы, «…принимая присягу» доносилось с трибуны, «… присягу» вторили колонны, «…торжественно клянусь!» «… клянусь!»

Это был торжественный и волнующий акт. Написанный Троцким текст воинской присяги был утвержден ВЦИК в 1918 году и оставался неизменным до 1939 года, до финской войны.

После принятия присяги начиналось прохождение войск.

Город был недалеко от границы, и его части посещали высшие военные руководители. Нередко приезжали популярные в те годы герои гражданской войны К. Е. Ворошилов и С. М. Буденный. Мы страшно завидовали одному из наших товарищей, которого, как и Буденного, звали Семен Михайлович. Не помню, сообщали ли об их приезде газеты. Мы узнавали об этом от нашего товарища сына командира полка.

Приезжали они на поезде, на перроне их встречала группа военных, никакой охраны не было видно, и мы, мальчишки, глазели во все глаза. На привокзальной площади их ожидали коноводы, держа в поводу хорошо ухоженных, красивых коней, нетерпеливо перебиравших ногами, позвякивая начищенной сбруей. Ворошилов и Буденный подходили к своим коням, ласково похлопав их, что-то одобрительно говорили, ловко вскакивали в седла и, сопровождаемые блестящей кавалькадой, ехали по Вокзальной улице в расположение полков. Прохожие узнавали их и провожали добрыми улыбками. Трамвайное движение не останавливалось.

Сразу после первомайского парада армия уходила в летние лагеря. Лагеря располагались в лесах, по берегам рек. Среди зелени возникали ряды белых палаток, идеально утрамбованная линейка, на которой строились на вечернюю поверку красноармейцы, выровненные по шнурку, задрав стволы, стояли пушки, поодаль сооружались коновязи.

Семьи комсостава жили в ближайших деревнях. По вечерам в лагерях играла гармошка, пели песни, «на круг» приходили деревенские девушки с семечками. Кино привозили редко, и тогда все замирало фильмы тех лет можно было пересчитать по пальцам. Движков не было, и добровольцы, ухватившись за длинную рукоятку, вручную крутили динамо-машину.

На дальние межокружные учения войска выезжали в

железнодорожных эшелонах. Через каждые два-три дня пути эшелоны останавливались, и устраивалась выводка лошадей. К широко раскрытым дверям теплушек приставлялись сходни, и по ним ездовые сводили упиравшихся лошадей. Застоявшиеся кони сначала медленно брели на поводу, а когда они разминались, красноармейцы взбирались верхом и рысью гоняли вблизи вагонов.

Осенью, после учений, или как тогда говорили, маневров, накануне Октябрьских торжеств войска возвращались в город.

Это был праздник.

Начиная с городских окраин и до самых казарм шпалерами стоял народ. Впереди оркестров бежали мальчишки. К воротникам шинелей музыкантов прищепливались ноты партии идущих следом оркестрантов. Сияла медь труб, торжественно проплывали зачехленные знамена. Особенную радость вызывало появление кавалерии. Оркестры кавалерийских полков сидели верхами. С карабинами через плечо, шашками на боку а в недавние еще годы и с пиками у стремени — в длинных до пят, шинелях, чтобы ноги не мерзли и лошадям теплее, ехали красные конники краса и гордость армии. На сапогах кавалеристов поблескивали шпоры, издававшие при ходьбе мелодичный звон предмет стойкой зависти мальчишек и восхищения девушек.

Всеобщее оживление вызывали воспитанники полков, как правило, из беспризорников, которых подбирали на улицах. Обычно они находились при музыкантском взводе и играли на малом барабане, постарше на каком-нибудь духовом инструменте, а в общеобразовательную школу ходили вместе с нами. В полках о них заботились, любили. Воспитанники ходили в ладно пригнанном обмундировании и сапогах, о которых мы могли только мечтать, и в красноармейских шлемах со звездочкой. На маршах и парадах маленькие музыканты гордо вышагивали в первом ряду полкового оркестра.

Каждый эскадрон имел лошадей строго одной, определенной масти: вороные и гнедые, рыжие и серые в яблоках последние казались особенно красивыми, ухоженные кони, гордо подняв головы, легко несли всадников.

Наконец появлялись пулеметные тачанки. Встречаемые одобрительными возгласами, они представлялись верхом военной техники. Глядя на них, становилось как-то спокойнее: ну, с такими не пропадем! Четверки лихих коней, отворачивая друг от друга головы, играючи везли это простое, в сущности, грозное изобретение гражданской войны, оказавшееся таким бесполезным и наивным в Отечественной…

Затем ехала артиллерия. Хорошо откормленные кони по четыре и шесть в упряжке, без всякого напряжения тащили внушительные пушки и гаубицы, ездовые сидели верхами, на передках и лафетах орудийные расчеты.

Личный состав считался по количеству штыков и сабель. Так официально и говорили: пехотный полк в составе стольких-то штыков, кавалерийский эскадрон в составе стольких-то сабель. Во время войны эта терминология постепенно исчезла. Взамен появилось выражение активный штык, имевшее строго определенное значение для учета солдат, непосредственно ведущих огневой бой.

А вот и новая техника. Ее встречали молча и уважительно. На грузовых автомобилях ЗИС-5 зенитные пулеметы, внушительно глядящие в небо счетверенными стволами. За ними двигаются огромные, во весь кузов, прожекторы, поблескивающие на заходящем солнце сферическими зеркалами.

Раскинув на все четыре стороны квадратные изогнутые трубы, чем-то напоминающие граммофонные, стоят на машинах звукоуловители.

За полками следовали крытые брезентом санитарные двуколки на огромных, как у арбы, колесах, с большими красными крестами на бортах. А дальше, сколько хватало глаз, шли бесконечные конные обозы. Армия входила в город к вечеру. В толпе встречавших было немало молодых женщин и девушек из деревни домработниц, или, как тогда не стеснялись говорить, прислуги. Многие из них учились, приобретали специальность и устраивались на фабрики и заводы, вместо них приходили новые. Почти каждая имела ухажера-красноармейца, нередко земляка, и вот теперь они выстраивались вдоль улиц, пристально вглядываясь в проходящие колонны.

Войдя в город, полки подтягивались, выравнивались и запевали:

> И от тайги до британских морей
> Красная Армия всех сильней!

Армейская жизнь подчинялась строгому распорядку, и неотъемлемой его частью был традиционный сигнал трубы. Сигналист считался в полку почетным человеком, по сигналу трубы привыкли жить не только красноармейцы, но и жители близлежащих кварталов.

Сигналы были на все случаи жизни. Старые солдаты давно подобрали к ним слова, и они передавались от одного срока службы другому без изменений: подъем «вставай, подымайся, это

тебе не дома!», обед «бери ложку, бери бак, нету ложки кушай так», отбой самый любимый сигнал всех поколений «ложись, отдыхай…». Существовали сигналы и для боевых действий. Издавались специальные нотные сборники армейских сигналов. Сейчас сигнал «Слушайте все!» для фанфар исполняется перед началом парада или торжественного собрания.

Ежедневно после ужина красноармейцы выходили на вечернюю прогулку, и улицы городов оглашались стройной песней. Особенно слажено пели курсанты:

Школа младших командиров Комсостав стране лихой кует. В смертный бой идти готовый За трудящийся народ.

Время от времени красноармейцы выезжали на заготовку лозы и к вечеру возвращались с приторочеными к седлам вязанками. На плацу укладывалось подобие рельсов, по ним бойцы на веревках тянули деревянного коня, а сидящий верхом на этом манекене красноармеец учился рубить установленную в специальных станках лозу. Начинающие кавалеристы нередко наносили сабельные удары по голове манекена, а ушей у многострадального «коня» и вовсе не было. За неуспешность списывали в пехоту.

Зимой была популярна езда на лыжах за лошадьми. Один красноармеец садился верхом, второй становился на лыжи и, держась за веревку, прикрепленную к седлу, мчался за скачущей во весь опор лошадью, выделывая пируэты и обдавая зрителей и прохожих фонтанами искрящегося снега.

Иногда на плацу устанавливалось странное сооружение, вроде высокой деревянной башни. Группа красноармейцев колдовала вокруг нее, нажимая на торчащие из сооружения жерди и рычаги, и через некоторое время, к нашему удивлению, из «башни» вываливался тюк спрессованного сена, аккуратно, крест накрест, перетянутый проволокой.

Но вот назначалась рубка лозы. Это был торжественный день. Как на праздник, собирались на плацу семьи военных, вокруг толпились любопытные. Настроение было приподнятое.

Первым на красивом стройном коне выезжал командир полка. Пустив коня галопом, он, с особым шиком старого конника, рубил лозу направо и налево так, что ни одна лозинка не повисала на шкурке, и, подскакав к последней стойке, на которой было прутяное кольцо, изящным движением бросал саблю, и она, прихватив кольцо эфесом, втыкалась в землю, слегка подрагивая, под аплодисменты и одобрительные возгласы собравшихся.

В мае 1941 года, за полтора месяца до начала войны, перед выпускниками военных академий Красной Армии выступил Сталин.

Со времени его предыдущего выступления на выпуске в 1935 году прошло шесть лет. За эти годы сменилось девять замнаркомов обороны, четыре начальника Генштаба, многие командующие округов, флотов, дивизий, арестовано около шестисот человек высшего командного состава, уволено из армии около сорока тысяч командиров. Большинство из них было расстреляно. К началу 1941 года в армии служили около 580 тысяч командиров, из них высшее образование имели только 7 процентов, среднее 56, окончили курсы 38, а 12 процентов вообще не имели образования.

В своем выступлении Сталин сказал: «У нас было 120 дивизий, теперь 300, они меньше по составу, но более маневренные, из 100 дивизий две трети танковые, а одна треть моторизованные». Не сказал он лишь о том, что 90 процентов парка танкового и 80 процентов парка самолетного легкие машины устаревших конструкций. Новых, современных моделей было не более 10 процентов. Итоги финской войны показали слабость Красной Армии: наши потери в пять раз превысили потери врага. Сталин без обиняков заявил, что война с Германией неизбежна и что если ее удастся немного оттянуть это счастье.

Все эти совершенно секретные сведения и данные, о чем собравшиеся были строго предупреждены, спустя несколько недель стали известны противнику от наших первых пленных…

С этой армией мы и начали воевать.

На восток

Такой снимок был сорван с витрины фотоателье

Граждане! Покидайте город!
Началась война.

Фронт неправдоподобно быстро подвигался к городу. По вечерам собирались вокруг географической карты: куда ехать? Карта была ученическая, маленькая, на ней все было близко, почти рядом.

Насколько руководство страны и высшее командование не отдавало себе отчета в происходящем, свидетельствует директива Народного Комиссариата Обороны и Генерального штаба, направленная в войска в 11 часов вечера 22 июня: «… перейти в контрнаступление против прорвавшегося на нашу территорию врага, отбросить его за госграницу и вести боевые действия на

вражеской территории». Директива предусматривала уничтожение группировки противника и к исходу дня 24 июня занятие города Люблина!

Шли первые бестолковые дни войны, еще теплилась зыбкая надежда, что как-нибудь обойдется, устроится, а слухи о зверствах фашистов уже достигли города. Они были ужасны, им верили и не верили. Мама спрашивала: может, не всех убивают? Ей отвечали всех!

По ночам над городом пролетали немецкие бомбардировщики. Они летели вглубь страны, тяжело нагруженные. Казалось, смертоносный груз войны тяжело ворочается в их паучьем чреве, и оттого они гудят неровно, часто переводя дыхание, с короткими, как бы для вдоха, паузами. Низко, на разные голоса, гудели заводские гудки, противно завывали сирены. От их истошного воя в груди все тоскливо сжималось. Мама с сестрой уходили на ночь в костел, его прочные своды многим казались надежной защитой и собирали под свой кров сотни людей. Окна домов крест-на-крест заклеены полосками бумаги.

Днем через город проходили войска.

Однажды несколько часов двигалась моторизованная дивизия, вероятно, одна из первых. Ехали мотоциклисты, на каждой коляске был установлен пулемет, сидел расчет. Это было внушительно. На перекрестках стояли группы людей: Теперь остановят! Отбросят!

Не остановили. Не отбросили.

Пополнения уходили на фронт и бесследно исчезали. Было непонятно и страшно. Только что на первомайском параде прошла такая Армия! Колонны демонстрантов несли лозунги: «Бить врага на его территории!» И вот отступают…

Появились беженцы из пограничных районов. Их можно было узнать издали. Наспех и во что попало одетые, в дорожной пыли, многие с детьми, неразговорчивые, они казались людьми из другого мира, знавшими нечто такое, что нам еще предстоит узнать. На их лицах застыло выражение скорби, испуганные дети зябко жались к матерям. Беженцев кормили на продпунктах и отправляли дальше, на восток. Это еще больше тревожило.

В помещении педагогического института развернулся госпиталь, несколько дней назад здесь сдавали экзамены, шумели и спорили в комитете комсомола, пылко влюблялись каждый раз на всю жизнь. Теперь к главному входу подъезжали автобусы, грузовики, санитарные двуколки, крестьянские повозки. Раненые,

кто мог, ковыляли сами, поддерживаемые сестрами подымались по ступенькам, тяжелых несли на носилках. Вот сняли с машины носилки и поставили в сторону, на лицо натянули шинель. Не довезли… Женщины смотрели сквозь ограду: нет ли своих, родных, знакомых. Многие плакали.

БЫЛ МИР, СТАЛА ВОЙНА.

По городу ходили вооруженные патрули из гражданского населения. Истребительные батальоны несли охрану, искали немецких парашютистов. В горкоме комсомола записывали в партизаны, в подпольщики.

И стар и млад ловили шпионов. Шпионы как на подбор были в темных очках и кожаных регланах… Подойдя к очередной группе, поинтересовался: что происходит. В центре группы мужчина с нашей улицы, двое крепко держат его за руки, третий обыскивает, проверяет документы. Толпа настороженно следит за их действиями и угрожающе гудит. Увидев меня, мужчина обрадовался. Я засвидетельствовал: свой, сосед, и его нехотя отпустили. «Никак домой не доберусь, пожаловался он. Седьмой раз задерживают». На ногах у него были краги накладные кожаные голенища — шпион…

Ранним утром 3 июля я стоял на посту на наспех сколоченной наблюдательней вышке и с беспокойством, до рези в глазах всматривался в безоблачное, голубое и чистое небо не летят ли немцы.

Студенческий истребительный батальон не был обмундирован, а вооружен чем попало, в том числе невесть как и когда попавшими к нам бельгийскими винтовками без штыков. Досталась такая и мне, и теперь, от нечего делать и чтобы не задремать, я ее рассматривал. Яркий летний день только разгорался.

Висевший на вышке и не выключавшийся с начала войны ни днем, ни ночью динамик, с четырехугольным, как у звукоуловителя, раструбом, неожиданно громко и сухо щелкнул и знакомым голосом Левитана произнес: «Внимание! Внимание! Говорит Москва! Работают все радиостанции Советского Союза!» Затем в течение нескольких секунд слышался какой-то непонятный шорох и разговор, в котором тихо, но отчетливо прозвучало: «Не волнуйтесь!» Мне показалось, что эту фразу произнес Левитан. В своих воспоминаниях Левитан пишет, что это Сталин успокаивал его. А что еще он мог написать? Трудно себе представить, чтобы Левитан решился успокаивать Сталина. Тем не менее, я совершенно ясно слышал голос Левитана,

перепутать который было совершенно невозможно. Доказательством может служить то, что Сталин начал свою речь дрожащим от волнения голосом, запинаясь, особенно на необычных и непривычных для нас словах: Братья и сестры! Из-за раннего времени шесть часов утра? Возможно. Но скорей всего за двенадцать дней войны он понял, что произошло. Было от чего волноваться.

Это было обращение к народу. Впервые мы поняли всю серьезность положения, почувствовали, что война будет тяжелой и долгой. Все это было так не похоже на бодрые сообщения газет, будто в Германии кончается горючее, и война долго не протянется.

Город эвакуировался.

Перед отъездом хотелось сделать казавшиеся неотложными, по старому, мирному времени, дела: рассчитаться с долгами, заплатить за квартиру, за электричество, сдать книги. В пустой, безлюдной библиотеке сидели с отрешенными лицами две женщины и нехотя, медленно увязывали пачки книг. Было совершенно ясно, что библиотеку эвакуировать не будут, с удивлением посмотрели на вошедшего, не сразу поняли, зачем пришел… После войны, случайно встретив одну из них, услышал: «Это вы за день до немцев принесли сдавать библиотечные книги?»

В военкомате сказали: о тебе не забыли, а семья может ехать.

На вокзале, куда я привел мать, брата и сестру, царило столпотворение. Узнать что-либо было невозможно, никуда не подступиться. В привокзальном сквере собрались женщины и дети семьи командиров Красной Армии. Сидели и лежали на узлах, корзинах, чемоданы еще только входили в моду. Женщины тихо переговаривались, непривычно притихли дети. После томительного ожидания повели к поезду. Семьи командиров были знакомы друг с другом. Нас здесь никто не знал, и смотрели подозрительно. Рассчитывать нам было не на кого и не на что. Тем более семье врага народа. Неожиданно подошел немолодой военный, ни о чем не спрашивая, взял вещи потяжелее, повел к вагону, помог матери взобраться на площадку, затолкал в тамбур и предупредил: Никуда не выходите. Ему они обязаны жизнью. Этот человек спас их от неминуемой смерти. Мама молилась за него до своего последнего часа.

Повезло. Вагоны были пассажирские. Людей набилось столько, что стояли в проходах. Никто не выходил. Ночью эшелон ушел.

И вот настал ДЕНЬ.

Ранним рассветом 9 июля над городом загремел гром. Но небо было безоблачно и пусто. Казалось, кто-то неведомый, пришедший из космоса, из непонятной, внеземной цивилизации, неумолимо грохочет в железные крыши города огромным молотом. Гулкое эхо долго и страшно прокатывалось в пустых кварталах и, не успев замереть, возникало вновь. Так продолжалось несколько часов.

На Советской улице, возле штаба, лежали на мостовой женщина и двое детей. Как видно бежали, так и настигла их смерть, младший поближе к матери, старший поодаль. Вокруг никого. Не слышно и голосов.

Возле одноэтажного тяжелого здания штаба уже не расхаживал часовой, и только квадратный след над входной дверью напоминал о вывеске: «Штаб 27-й Омской Краснознаменной дивизии имени итальянского пролетариата». Одно время дивизией командовал герой гражданской войны Витавт Путна, расстрелянный в 1937 году.

Стальною грудью врагов сметая,
Идет на битву двадцать седьмая.

На соседней Ветреной улице послышался дробный цокот копыт. От реки в город быстро поднимались брички. Возбужденные бойцы сбрасывали тюки прессованного сена. Вдоль дороги в беспорядке валялись противогазы. На перекрестке лежала в пыли кем-то в панике оброненная винтовочная обойма с патронами. «Ни одной пяди земли своей не отдадим» мы выросли с этим, это был не просто лозунг, это было мировоззрение поколения. А тут лежит целая обойма! Ведь она нужна там, в бою! Поднял. Протянул красноармейцу: «Нате! Возьмите!» Тот посмотрел непонимающими, испуганными глазами, бросил на дно повозки. Откормленные артиллерийские кони были в мыле, белая пена хлопьями падала в дорожную пыль. В выкаченных глазах лошадей застыл ужас. Что видели они там, за рекой?

На другом берегу Двины в город, через виадук, входили немецкие танки.

Земля вздрогнула и качнулась. Почти одновременно донесся сильный грохот. Взорвали мост, зазвенели и посыпались стекла, осколки повисли на полосках бумаги и сиротливо позванивали на ветру. Над городом поднимались пожары.

В военкомате уже никого не было. Двери и окна раскрыты

настежь.

В пустых кабинетах теплый ветерок тихо шелестит бумажками. На стене неровно висит картина Сварога «Ворошилов и Горький в тире ЦДКА». Ворошилов отстрелялся и довольно улыбается. У Горького лицо пасмурное. За ними, на грифельной доске мелом написано: В 55 555 = 25, Г-34… Это была очень популярная картина. Наряду с обязательным портретом Сталина она висела в государственных учреждениях, учебных заведениях, общественных местах.

У центрального фотоателье на Замковой улице разбито стекло витрины. Вынута одна-единственная фотография. Моя. Сфотографировался год назад, после окончания школы. Кто та девушка, которая в последние минуты перед уходом из города, когда все кругом рвалось и горело, разбила витрину и сняла фотографию?

Теперь уже не узнать никогда.

Разбиты витрины продовольственных магазинов. Внезапно в пустом и притихшем ничейном городе разнесся и стал быстро приближаться перестук копыт по булыжной мостовой. На центральную улицу рысью въехал крестьянский обоз. Лошадьми правили, в основном, женщины. Поразило какое-то общее у всех выражение лиц: смесь смущения и азарта, полуулыбка, полугримаса. Мародеры! Едут грабить опустевшие еврейские квартиры и магазины. Кто им судья? Не они, так другие…

Деревянные дома на окраине города горели по обе стороны улицы. От них было нестерпимо жарко.

Никакой обороны за окраиной не было. Наши части «отошли на заранее подготовленные позиции». Так будет потом сказано. К этой формуле еще долго и трудно придется привыкать.

На тропинке, в которую переходила улица, одиноко и неожиданно стоял пулемет «максим». Возле него устраивался в наспех отрытой ячейке командир в ладно пригнанной форме с тремя кубиками в петлицах преподаватель военного дела в нашем институте Сухоцкий. Рядом с ним молоденький красноармеец в не обмявшемся еще обмундировании и обмотках. Вдвоем против танков, уже входивших в город! Ничего! Встретим! бодро сказал старший лейтенант. Молоденький красноармеец смотрел умоляющими глазами…

Мимо проехал на велосипеде знакомый студент с физмата. Куда? В деревню. К тетке. А немцы? Пожал плечами.

Накануне оставления города наш студенческий батальон был

расформирован. Оружие приказали сдать. А самим… Никто ничего толком сказать не мог: идите на восток… Я почему-то уверен, что оружие, которое мы сдали, попало к полицаям….

По проселочной дороге уходили из горящего города жители. Вытянувшись цепочкой, скорбные и безмолвные, они быстро и напряженно шли, оглядываясь на объятый пламенем город. Вот женщина с малышом на руках, за юбку уцепилась пятилетняя девочка, рядом идет мальчик лет двенадцати. В его глазах недетская ненависть: была бы его воля остался воевать с фашистами, вещей с ними нет. Не до вещей. У женщины скорбное лицо, глаза запали. Она прижимает к себе ребенка, что-то говорит девочке и взглядом проверяет, не отстал ли сын. Это уже не эвакуированные. Это беженцы.

На обочине валяются чемоданы, узлы, корзины. Поначалу каждому хочется взять самое необходимое, но пройдешь немного и становится ясно: с вещами далеко не уйти. А кто с детьми и подавно. Ничего не дорого лишь бы спастись. Потом вещи разберут окрестные жители. А пока они лежат такие ненужные, и никто не смотрит в их сторону.

Уходить одному ужасно не хотелось. Забежал к Шуре Гельмес, благо дом почти напротив. Дверь не заперта. Никого. Вещи на месте, никаких следов поспешных сборов. Постучал, покричал. Молчание. След их так и не сыскался. Значит, погибли обе, и она, и мать. Почему-то я думаю, что фотографию сняла она…

Бетти. Предмет поклонения старшеклассников всего города.

Никого. Все ушли. Разбросанные вещи производят гнетущее впечатление. Забегая вперед, скажу, что Бетти и ее мама, после долгих мытарств, голодные, оборванные, с помощью местных жителей кое-как выбрались из пекла и попали в Свердловск. Там за Бетти стал ухаживать заместитель директора танкового завода. Он пришел к ее матери и спросил: Что Бетти нужно? Все, что начинается на «а» ответила еврейская мама на идише «а» неопределенный артикль существительных то есть ВСЕ!

Самый близкий товарищ Левка. Родители его все время разъезжали и, кажется, вообще жили врозь, а Левка жил с бабушкой в большой профессорской квартире. Имени-отчества ее никто не знал, она именовалась Левкина бабушка. Левка уже год служил в армии, а я по-прежнему навещал эту мудрую старуху. Она была интересным человеком, в прежние годы живала в Германии, знала немецкий.

Левкина бабушка сидела в просторной гостиной и вязала. Перед ней лежала раскрытая немецкая книга, и она читала, не переставая вязать. Может быть, вспоминала язык? Посмотрела на

меня поверх очков: «Уходишь? Я кивнул: А как же вы? Идти, я все равно не могу. Будь что будет. И как мама: Может, не всех убивают?»

Убили и ее…

А в нашем опустевшем доме все было по-прежнему. В углу за дверью стоял давно приготовленный мешок с немудреным скарбом: первый и единственный, сшитый «на заказ» по случаю окончания десятилетки и почти ненадеванный костюм, начищенные зубным порошком «парусовые» туфли на резиновой подошве, чтобы дольше носились, отцовские часы «Павел Буре поставщик Двора Его Величества», несколько фотографий.

Горел свет. Шла вода. Значит наши еще в городе. Значит, город еще не так пуст, как кажется. Значит, есть еще кто-то, кто остался делать свое последнее важное горькое дело…

Раздалось еще два сильных взрыва.

Взорвали электростанцию и водонапорную башню. Лампочка мигнула и погасла, струя воды, медленно вытекавшая из крана, стала худеть, превратилась в ниточку и иссякла. Редкие капли, как бы отсчитывая время, гулко звучали в пустой кухне.

Но не все еще было кончено.

Высоко на стене висел репродуктор неглубокий конус из плотной черной бумаги с металлическим обручем вокруг и никелированной перекладиной по диаметру с винтиком для регулировки в центре. Он висел, слегка наклонясь, и, казалось, с беспокойством следил за всем, что происходит в этом взбунтовавшемся мире. После сдачи личных радиоприемников в первые дни войны они были изъяты у населения — он оставался единственным источником информации.

Репродуктор жил своей, обособленной жизнью. Не звучали военные марши и популярные песни, не читались сводки Совинформбюро. Репродуктор молчал. Но его черная тарелка завораживала. Чувствовалось, что на другом конце провода еще есть жизнь. Временами из репродуктора слышался какой-то треск, он шипел, пощелкивал, как будто порывался что-то сказать, успокоить, утешить.

Но вот раздался щелчок и взволнованный, запыхавшийся мужской голос громко и отчетливо произнес: Граждане! Покидайте город! И через несколько секунд, в течение которых рушились последние надежды, голос более взволнованно, с каким-то даже отчаянием, повторил:

ГРАЖДАНЕ! ПОКИДАЙТЕ ГОРОД!

Репродуктор щелкнул и умолк. Теперь уже совсем.

И долгие четыре года, пока нелегкими фронтовыми дорогами возвращался к родному дому, как пепел Клааса, звучали в сердце слова:

ГРАЖДАНЕ! ПОКИДАЙТЕ ГОРОД!

…И никто другой

У военных нет слова «враг».

Во всех документах, донесениях и устных докладах фигурирует слово противник. Слово «враг» принадлежность художественной литературы и публицистики. А у солдат на фронте в ходу было два слова: «фриц» и «немец». Первое очень точно указывает на одного вражеского солдата, второе емко вбирает в себя группу или фашистов вообще.

Слово «фриц» удачно запустил на орбиту Илья Эренбург в одной из своих первых военных статей. И оно прочно вошло во фронтовой лексикон, Фриц очень редко Ганс обозначает одиночного противника, это один солдат, а если их двое, так и скажут: два фрица.

Немец, в солдатском понимании, противник вообще. А то, еще проще: «они» немцы, значит, или «он» немец, но тоже обобщенно.

Удивительно, как тонко чувствует солдат лексическую сторону языка!

Ожесточение пришло не сразу. В начале войны еще чувствовалось какое-то благодушие. «Победа будет за нами!» Уверенность в победе поначалу сыграла даже некоторую негативную роль. Раз все равно победим, так, может, и не нужно крайнего напряжения, может, вообще без нас… Еще не было чувства: ты и никто другой!

Немцы и на марше, и в бою, не глядя, поливали свинцом есть там кто или нет. А русский человек глазам не верит, он должен пощупать. Еще под Сталинградом можно было услышать грустный юмор: когда солдат идет в бой, у него сто пятьдесят патронов комплект, выдававшийся или дополнявшийся перед боем, а когда его приносят в медсанбат у него сто пятьдесят один… И выстрелить не успел.

Была и другая крайность презрение к смерти. Об этом много писали и возводили в доблесть. Но к середине сорок второго года «презрения» стало слишком много. А война еще не перевалила на победу. Иной раз так тяжело, что смерть кажется избавлением. И это не пустые слова… Постепенно писать о презрении к смерти

перестали. Покажется странным, но подвиг Александра Матросова стал пропагандироваться не сразу. И как выяснилось, подобный подвиг совершали и до него. Дело солдата не умереть, «рванув рубаху на груди», а уничтожить противника.

Сильнейшее впечатление произвел на фронтовиков Константин Симонов своим стихотворением «Убей его». Симонов был кумиром военной молодежи. Его стихи читали, и песни на его слова пели в землянках, блиндажах, окопах. Я знал весь его цикл «С тобой и без тебя», читал и пел (!) в походе, на привале нередко не группе солдат, а просто товарищу. Помню и люблю его стихи до сих пор.

«Если дорог тебе твой дом…» стихотворение покоряло проникновенными, берущими за душу словами. На солдат оно действовало не меньше приказов и обращений командования. Надо было видеть суровые лица людей, слушавших взволнованные строки. С особым чувством воспринимались они накануне боя. Однажды на комсомольском собрании батальона, после стихов «Убей его», в решении было записано словами Симонова: «Сколько раз увидишь его, столько раз его и убей!» Вероятно, сейчас это трудно себе представить.

Сейчас мы стыдливо замалчиваем это стихотворение. Оно не включается в сборники, отсутствует в репертуаре чтецов, посвященном юбилейным, победным датам. И только сам автор прочел его на своем последнем, незадолго до безвременной кончины, творческом вечере. Он понимал, какую роль сыграли эти стихи в судьбах людей и войны.

Сам Симонов в конце жизни был смущен и озадачен тем, что стихотворение «Убей его» рассматривалось, как прямой призыв к убийству. Нельзя вырывать его из контекста времени. Надо помнить, когда оно написано. Более точного попадания сделать никому не удалось.

Когда началась Отечественная война, советская власть не отметила еще и «серебряного» юбилея. В армии, особенно в пехоте, встречались малограмотные, по большей части крестьяне старших возрастов. Были и сыновья репрессированных, раскулаченных, у которых имелись все основания относиться к советской власти без большой любви.

Были и просто уголовники. Не все хотели воевать, класть головы за Родину. На передовой случались самострелы, дезертирство. В медсанбате самострел определяли сразу по точечным ожогам вокруг входного отверстия от крупинок пороха.

Нашелся такой самострел и у нас. Отстрелил себе палец. Поутру батальон вывели в ближайшую балочку. Солдаты

расположились амфитеатром по склону. Капитан из отдела контрразведки «Смерть шпионам» или попросту «Смерш» привел солдата. Без ремня, хлястик расстегнут, петлицы спороты. Капитан говорил о Родине, о присяге, о долге. Зачитал приговор Военного Трибунала. Ну, пошли! Солдат поднялся. Капитан за ним, в двух шагах. На ходу достал пистолет и выстрелил в затылок. Самострельщик без звука ткнулся в землю.

В начале войны, особенно в ее первые полтора-два года случаи переходе на сторону противника, мягко говоря, имели место. Социальная почва для этого была. Ужочень многих обидела советская власть. Появился строжайший приказ: родственников и земляков в одно подразделение не направлять «во избежание сговора и перехода на сторону врага». Приказ был настолько строг, что распределял людей лично командир полка.

Когда прибывшая из тыловых лагерей маршевая рота выстраивалась, ничего не подозревавшие родственники и земляки, друзья-товарищи, старались стать рядом, чтобы попасть в одно подразделение, в подавляющем большинстве случаев вовсе не для того, чтобы сдаться в плен, а чтобы в бою иметь рядом верного товарища, на которого можно рассчитывать в трудную минуту.

Командир полка «выдергивал» людей из строя не по списку, а указывая пальцем, рукой, и называл роту. А поодаль стояли командиры рот и составляли поименные списки. Никогда стоящие рядом или друг за другом новобранцы в одну роту не направлялись. Лишь спустя время, когда людей уже знали по их боевым и личным качествам, можно было попроситься к брату или товарищу. Но к этому времени образовывались новые связи, а старые обрывались и зачастую навсегда…

С маршевой ротой у меня связан неприятный случай. Придя в расположение полка, в ожидании распределения рота отдыхала на опушке леса. Прислонив вещмешок к дереву, я отошел. Когда, через несколько минут вернулся вещмешка не было… Все сидят. Все молчат. Все сто человек. У всех на глазах. Никто ничего не сказал. Я пришел на войну не из дома, а из общежития. Вещмешок мне собирали девушки с факультета, в основном, домашние. Горечь от этого случая осталась на всю жизнь.

С антисемитизмом я тогда этого еще не связывал. Отнес за счет уголовников.

Впрочем, еврей я был в роте один…

Письмо с фронта.

2 августа 1944 года. Шауляй.

Дорогие мама, брат и сестра!

Очень долго мы не получали писем, да и у нас их тоже не принимали. За все время мы много «путешествовали» на поезде и прошли пешком 300 километров от Городка почти до Балтийского моря, которое я скоро надеюсь увидеть. Отпуска мне получить не удалось, не пришлось и в Москву заехать. Зато в Витебске я был. Витебск город смерти. Картина ужасная. С Успенской горки он похож на гигантское, заросшее бурьяном кладбище. Он сгорел дотла еще в 1941 году. Между прочим, немцы вошли в город в пять часов дня, а я ушел в три часа, когда их танки уже были видны на том берегу Двины. На месте бывших улиц растет бурьян, так что даже фундаментов не видно, мостовые, по которым три года не ступала нога человека, поросли травой, эхо разносится, как в горах. Все мосты, виадук, вокзал, один из красивейших в России, железнодорожная станция, все, до последней будки стрелочника, взорвано и сожжено. Чудом уцелел новый мост, восстановленный после нас немцами. От Задуновской, Песковатика, Чепино, Зарученья не осталось и следа. Немножко сохранилась Марковщина. Ни один завод, фабрика или даже мастерская не работали все эти три года. Сохранились ветинститут и дома возле него, уцелели здания обкома ВКП (б), музея, клуба «Профинтерн» и кино «Спартак». В городе жителей ни души, и спросить о чьей-либо судьбе не у кого. 600 человек из 180 тысяч по довоенной переписи живут на окраинах, в землянках. Все евреи расстреляны, от мала до велика, главным образом, в 1942 году. Все оставшиеся в городе жители принудительно эвакуированы в Германию. Среди развалин, можете себе представить, уцелел единственный во всем центре наш дом. Дома, где жили Глезеры, Розины, новый дом во дворе все разрушены, а наш стоит, старенький, покосившийся, треснувший, печь развалилась, зимовать в нем нельзя. Из наших вещей не сохранилось абсолютно ничего, из мебели только письменный стол без ящиков, поломанный шкаф без дверцы. При мне там поселились две семьи из деревни.

Из знакомых я нашел только Павлову мать Бориса, с которым учился Аркадий, и Юрия, учившегося со мной. Она работает во вновь организованной больнице и живет там же под лестницей. Она рассказала, что еще в 1941 году прочла в газете объявление, зашла по адресу и узнала, что наша соседка Мария Гараева собрала все вещи, наши и соседей, продала и уехала в Германию.

И еще я встретил одну студентку, с которой учился в Витебском пединституте. Случайно ей удалось избежать эвакуации (так оккупационные власти называли угон в

Германию), три раза бежала с поезда. Рассказывает, что большинство витебских принудительно эвакуировано в Литву, главным образом в Вильно, и Германию. Действительно, я многих встречал, но из знакомых — никого. Побывал в Витебске на местах жилищ всех наших знакомых везде пепел и бурьян. Наш неказистый дом уцелел, как в насмешку…

Брандты оказались предателями. Старший вы, наверное, помните его по моим рассказам, наш бывший преподаватель, на внеклассные лекции которого по античной литературе и истории музыки мы так стремились, стал бургомистром, младший немецким пропагандистом. Сначала партизаны убили прямо в постели старшего, а через год — младшего.

Вот и все, что можно рассказать о Витебске.

Еще большее ожесточение вызывали сообщения о судьбах близких, родственников и друзей, оставшихся наоккупированной территории. У меня, к счастью, не оставалось в Витебске никого из родных. Но в Минске и Калуге они были.

Минск был занят немцами в первые дни войны. Тетя работала в Калодищах на радиостанции «Советская Беларусь» и могла бы еще успеть уйти с отступающими войсками. Но в городе у нее оставались две дочери, мои двоюродные сестры, старшая девятнадцати и младшая шестнадцати лет.

Сохранились стихи младшей. В них были горькие слова о том, как некоторые друзья и одноклассники в первые же дни оккупации перестали здороваться и при встрече переходили на другую сторону улицы. А потом было гетто.

Наступил последний час. Подъехали душегубки не все знают, что шоферами душегубок были только добровольцы. Когда стали выводить, старшая сказала матери: «Я попытаюсь бежать! Делай, что хочешь, доченька…» Она шла последней и спряталась за калитку. Эсэсовец, выходя со двора, оглянулся, никого не увидел и… закрыл калитку за собой. Она осталась.

Несколько дней сестра скрывалась. Полицаи в опустевшем гетто не появлялись. Ей удалось купить паспорт женщины со славянской фамилией, фотография которой более-менее соответствовала ее внешности она была блондинкой. Через некоторое время ее, вместе с другими молодыми людьми, угнали в Германию, но уже не в концлагерь, а на работы. Узнала, что супругов направляют не в трудовые лагеря, а распределяют среди помещиков и гросбауэров. Договорились с одним из окруженцев объявить себя мужем и женой, и вскоре действительно ими стали, оба были направлены в одно хозяйство, там у них родилась дочь, и хозяин ее крестил…

Младшая погибла вместе с матерью.

Что чувствовали они, когда их прикладами загоняли в душегубку? Что передумала сестра, стоя за калиткой, не смея надеяться?

Другая моя тетя, одна из сестер отца, перед войной каким-то образом возвратилась из ссылки из Красноярского края (ее муж был расстрелян в 1937 году). Там они с матерью моей бабушкой и сыном жили в глухой деревне, которую половодье отрезало от всего мира. Однажды бабушка вышла от горячей печи на крыльцо, простудилась, заболела воспалением легких и умерла. Лечить было нечем и некому.

В Москве тете жить не разрешили, и она с сыном поселилась в Калуге. Когда началась война, калужане и не думали эвакуироваться. Никому и в голову не приходило, что немцы могут так близко подойти к Москве. Когда положение стало угрожающим, тетя попыталась уйти, но повсюду натыкалась на позиции наших войск и, в конце концов, по совету одного из командиров, вернулась с сыном в Калугу. Остается гадать, почему он так «посоветовал»; надеялся, что удержим Калугу или по какой-то другой причине… По существу, ее просто завернули.

В первые дни оккупации ее неприятно поразило, что некоторые женщины, жившие по соседству и казавшиеся вполне лояльными, говорили о советской власти всякие гадости. У нее для этого были большие основания, но ей и мысль такая была чужда.

В помещении библиотеки, где она работала, поселились немецкие солдаты. Она стирала им белье, они помогали ей продуктами. Однажды она спросила, почему они не уничтожают евреев. Старший ответил: они фронтовые солдаты, а репрессии — дело эсэсовцев, которые еще не прибыли. Сыну она запретила выходить на улицу из-за его ярко выраженного еврейского вида, не без оснований опасаясь не только немцев, но и предателей.

Калуга была под немцем сравнительно недолго, два с половиной месяца. К концу оккупации, почувствовав, что их дни сочтены, за дело взялись эсэсовцы. Они согнали оставшихся в городе евреев: стариков, женщин, детей в синагогу, обложили ее дровами, соломой, облили бензином и подожгли.

Но по городу уже мчались советские танки!

Солдаты разобрали горящий завал и по тлеющим головешкам вывели несчастных, потерявших всякую надежду людей из пылающего здания. Был канун Нового 1942 года.

Кроме горя смерти близких, ощущения неизбежности

собственного ухода человеку отпущены и радости: счастье любви, радость свершений. Это горе и эта радость — для всех.

Но есть радость, доступная не всем. Это радость избранных. Воевали миллионы, но только немногим посчастливилось первыми, самыми первыми врываться в освобождаемые города и села.

Еще идет бой, еще на дальней окраине противник накапливается для контратаки, а из подвалов и погребов, полуразрушенных домов и землянок выбегают, выскакивают наши настрадавшиеся люди. Одетые в какую-то немыслимую рваную, поистрепавшуюся одежонку, закутанные, в завязанных до бровей платках, женщины, не поймешь, молодые или старые, дети, старики кидаются к нам, обнимают, плачут, виснут на наших плечах, некоторые пытаются по русскому обычаю из скудных своих припасов чем-то угостить.

Наши пришли! Наши пришли! И такая радость написана на их лицах, таким счастьем светятся глаза! Это надо видеть.

Для них война уже кончилась. А мы, взволнованные встречей, возбужденные еще не окончившимся боем, настороженно вглядываемся поверх их плеч — не высунется ли откуда автоматный ствол, и, освобождаясь от объятий, перебегаем редкой цепью к дальней окраине. А следом приходят артиллеристы и штабы и располагаются в уцелевших избах. А мы снова занимаем оборону за околицей…

Радость освободителей самая главная радость на войне. Кто ее испытал тот знает. Кому не довелось пусть поверит.

Этого хватит на всю оставшуюся жизнь.

Когда большая и лучшая часть жизни, во всяком случае, ее активный, наиболее деятельный период позади, пора подвести и некоторые итоги.

И вот что странно. Самым лучшим временем нашей жизни оказывается война! С ее неимоверной, нечеловеческой тяжестью, с ее испытанием на разрыв и излом, с ее крайним напряжением физических и моральных сил все-таки война.

В чем здесь дело? Только ли в тоске по ушедшей молодости? Нет, конечно. На войне нас заменить было нельзя. И некому. Ощущение сопричастности к великим трагическим и героическим событиям составляло гордость нашей жизни.

Я знал, что нужен. Здесь. Сейчас. В эту минуту.

И никто другой.

Беда ждала нас после войны.

В марте пятьдесят третьего умер Сталин, а в сентябре пришел Хрущев. Сталин держал большую армию и собирался воевать дальше, Хрущев же понимал, что не только «воевать дальше», но и содержать такую огромную армию разоренная войной страна не может, и стал ее сокращать. Объективно это было правильно, но, как это часто бывает, хорошее начинание, пока оно доходит до исполнителей, искажается и нередко превращается в свою противоположность.

После войны большинство молодых офицеров были еще не женаты, хотели демобилизоваться, пойти учиться или доучиваться (последнее было разрешено только рядовому и сержантскому составу), получить образование, специальность. Всем им было отказано. К пятьдесят третьему году они свыклись со своим военным будущим, полюбили или, по крайней мере, привыкли к нему, не мыслили своей дальнейшей судьбы вне армии, и для них это был удар. Катастрофа.

Без пенсии. Без образования. Иногда даже военного. Без специальности военные училища не давали тогда гражданской профессии. С квартирой в гарнизоне, который должны были покинуть и остаться без жилья. Смешно сказать, мы не имели даже гражданской одежды.

Зато все мы были уже женаты, обременены семьей.

До пенсии мне оставалось полтора года. Член Военного Совета сказал: а с кого я должен начинать? На тебя пальцем показывают. У тебя отец враг народа! До XX съезда оставалось три года. Да и кто бы мог это предположить?

Но были и такие, которым до минимальной пенсии оставалось несколько месяцев! Не щадили никого. О войне, о фронте, о ранах никто не вспоминал. Никакие заслуги во внимание не принимались. По армии прокатилась волна самоубийств. Некоторые офицеры спились. Пополнился и преступный мир… Это была трагедия поколения. Поколения фронтовиков.

Мы оба имели право на Москву, но жить было совершенно негде. Жена, «чистокровная» гнесинка, закончившая все три гнесинских учебных заведения (сейчас уже никто не помнит, что еще задолго до революции (1895) получившие дворянство крещеные евреи Гнесины создали и содержали музыкальную школу, впоследствии им. Гнесиных), пошла в министерство культуры. Там сказали: с квартирой или север или юг. Мы решили ехать и поработать в Таджикистане. Это «по» длилось почти сорок лет До отъезда в Израиль.

Это была страшная ломка. И через полвека вспоминаю об

этом с ужасом, боль ушла внутрь, но не исчезла. Я еще долго ходил в шинели, не в силах расстаться с армией даже мысленно. Да ничего другого и не было. Выкинуть в никуда боевых офицеров, воевавших за Родину, не раз раненых, с грудью орденов обида на всю жизнь.

Пронзительные слова поэта-фронтовика Александра Межирова:

«О, какими были б мы счастливыми,
Если б нас убило на войне!»

вмещают многие обиды и несправедливости.
В том числе и эту.
Наша молодость прошла в шинели.
Мы были на переднем крае истории.
Теперь это глубокий тыл…

На восток

Из первого окружения я выходил босиком.

Теплым июлем идти было поначалу даже приятно. Да и некому было подсказать, что с непривычки далеко так не уйдешь. На ступнях, пальцах образовались нарывы, идти стало мучительно тяжело. После привала поднимался с трудом и, делая первые шаги, чуть не кричал в голос. Но шел. Ноги расходились, боль притуплялась. Близ Вязьмы в одном селе старик дал мне лапти, чистые портянки, показал, как обуться. «Да ведь вы всегда босиком ходите и ничего! Нет, сынок, босиком это дома. А в дальний путь завсегда лапоточки обуваем».

Подошли бабы: «Оставайся у нас. Мы тебя к стаду приставим. Скажем: наш пастух, местный!» Уже не раз приходилось слышать, как ревут недоеные коровы, которых перегоняют в тыл. Повидавшие немецких десантников женщины, рассказывали: коровы не даются немцам доить — чужая речь, немецкого они не понимают…

Старик погоревал, что приходится оставаться под немцем: «Только около колхозной земли начали ходить, как около своей, и вот…»

Ничего, вернемся!

Поразительно, что уверенность в победе не оставляла и в этот тяжкий час. Может быть потому, что мы мало знали?..

Самое тягостное зрелище, которое испытал, выходя из этого

первого окружения — сотни и сотни мужчин, шедших на запад. Все в гражданском, многих не успели обмундировать, а кто и переоделся. Константин Симонов уже после войны напишет, что это были люди, не нашедшие своих призывных пунктов и потому возвращавшиеся на оккупированную территорию. Не все и искали. Некоторые говорили: «А хоть бы и пес, абы яйца нес». Местные разбредались по домам, а у кого дом остался по ту сторону фронта, нередко приставали к солдаткам в примаки: мужик в хозяйстве всегда нужен. Женщины выдавали их за своих мужей и тем спасали от лагерей военнопленных. Украинцев и литовцев немцы отпускали по домам. Сформированные из них карательные отряды отличались особой жестокостью. «Пальма первенства» принадлежит здесь литовцам. Около пяти тысяч евреев они уничтожили ДО прихода немцев!..

Справедливости ради надо сказать, что многие из оставшихся дома и приставших в примаки впоследствии пополнили партизанские отряды.

Но это уже когда война повернула на победу. Многие пошли и в полицаи. А из полицаев к концу войны в партизаны! И их приняли…

А тогда ежедневно встречал группы людей и одиночек, идущих домой. Некоторые смотрели на меня с сожалением и даже с презрением. Большинство же смущенно оправдывалось: Куда ж идти? Немец кругом. Силища какая прет, где нам! Да и Москва уже под немцем!

Гитлеровцы разбрасывали такие листовки, чтобы дезориентировать людей и посеять панику. Порой охватывало отчаяние: идешь-идешь, а они все впереди. Но о Москве даже и мысли не было, чтобы ее могли сдать. Через много лет прочел у Жукова, что Сталин не исключал вероятности оставления Москвы был неприятно поражен.

А тогда с пеной у рта спорил и с молодыми, и со старыми, чуть не за грудки хватал: Ну, и что, что немец впереди, выйдем! А Москвы не видать ему как своих ушей!

И все же, шедшие со мной от Витебска два гродненских комсомольца, мобилизованные на работу в торговую сеть из-за отъезда в тыл многих продавцов, после Ярцева повернули домой…

Некоторое время пробирался один. И как-то на лесной дороге встретил земляков еврейскую семью: отца, мать и троих детей. Старшего я немного знал. «Вы что, с ума сошли? Под немцем оставаться!» Мать с надеждой в голосе сказала: «Может, не убьют? У нас же дети. Да и кругом уже немцы не выбраться!» Старшего я

все же уговорил идти со мной. Отпустили. Прощались горько, видно предчувствовали беду. Так, вдвоем, и выходили из окружения. После войны его встретил: воевал, был ранен, награжден.

А родные погибли…

В молодые годы во мне мало проглядывало еврейского. А он вылитый. В какой-то деревне, на Смоленщине, мальчишки увязались за нами и беззлобно приговаривали: Бери хворостину, гони еврея в Палестину! Начитались листовок. А может, кто и подсказал…

Через многое потом пришлось пройти и на войне и после нее. Но самым тяжелым испытанием было это: когда так много людей шло на запад, а я порой один на восток.

Несомненно, где-то пробивались и выходили из окружения разрозненные подразделения и части Красной Армии.

Мне они не встретились…

«Далеко ль до Москвы? Да в прежнее время за две недели хаживали. А как идти-то? Да все прямо, сынок, все прямо!» Выйдешь за околицу, а там развилка, и спросить не у кого. Вот и гадай, по которой дороге идти. Брали восточнее. Компасом служили отцовские часы. Есть такой способ: если часовую стрелку направить на солнце, воображаемая линия посередине между этой стрелкой и цифрой 12 покажет юг.

В следующей деревне история повторяется: А все прямо!

Кто знает, тому прямо!

В тот год было много земляники. По обочинам дорог, по опушкам лесов выглядывала, вырывалась из зелени необыкновенно сочная, вкусная ягода.

И мы, первые окруженцы июля, то и дело наклонялись за ее ярко-красными шариками. Поневоле, еще тогда, пришло сравнение с каплями крови, щедро окропившими землю.

Скоро сольются они в реки…

На краю Белоруссии, в одном из поселков, не успели эвакуировать сыроваренный завод. Директор завода, пожилой человек с суровым лицом, раздавал отступающим красноармейцам круглые красные сыры, В вещмешках они не помещались, многие несли в руках, некоторые накалывали на штык. Ярко-красные сыры резко выделялись на серо-зеленом обмундировании, как надувные шары на празднике. Это выглядело неестественно, и оттого еще более печально.

Выходили из окружения в районе Ярцево-Духовщины. Шли

осторожно, поминутно озираясь. По всему чувствовалось, что наши уже близко.

Дорога уходила в распадок, по обе ее стороны невысокая насыпь заросла густой травой и мелким кустарником.

Вдруг из-за куста показалась странная фигура. Человек, завернутый в белую простыню, неловко спрыгнул с насыпи и, не обращая на нас никакого внимания, быстро перебежал дорогу, поднялся по противоположному склону и исчез в кустах. Следом показались еще две таких фигуры, одна из них женщина. Привидения? Может быть, немцы хотят нас попугать? Это было нетрудно сделать, сказывалась усталость и напряжение последних недель. Но таким странным способом…

Все оказалось еще хуже. Поблизости был сумасшедший дом. Эвакуировать его не смогли, персонал разбежался. Предоставленные сами себе душевнобольные разбрелись по окрестностям. Немцы ловили их и пристреливали…

Но бывало и по-другому. Мать моей одноклассницы Ады Бруксон была врачом в психиатрической больнице в Витебске. Больницу не эвакуировали. Уже будучи очень немолодым человеком и понимая, чем это грозит, она осталась со своими больными. Персонал знал, что она еврейка. Но никто не выдал. Два месяца продолжался этот подвиг, эта ежедневная игра со смертью. Наконец, ее предупредили, что немцам кто-то донес. Она ушла. Долго и мучительно пробиралась к своим, на счастье попала к партизанам. Наград не имеет. Ее награда долг врача.

Через тридцать лет я их нашел в Ленинграде. Ада сказала: «Мама! Фима пришел! Я не могу к нему выйти. Я не была в парикмахерской».

Вот были люди!

В районе Духовщины, усталые, измученные, заночевали близ дороги в одной деревеньке. Забылись тяжелым сном. Ранним утром разбудил шум моторов, крики. По шоссе двигалась на восток колонна немецких танков. В первые недели войны танки наводили ужас. Появился даже такой термин «танкобоязнь». Не скоро мы от нее избавились. Жители, стар и млад, кинулись к лесу. И у них страх велик, и у нас. Бежим к лесу с жителями наперегонки. Одна из женщин кричит: «Не бегите с нами! Из-за вас и нас расстреляют!» Почему из-за нас? Мы не были переодетыми красноармейцами, которых немцы разыскивали по лесам.

Поразительно, что элементарная мысль, которая пришла бы в голову каждому здравомыслящему человеку, даже не мелькнула.

Более того, не появилась она и спустя десятилетия, когда стал писать книгу. И лишь внося в рукопись поправки к новому изданию споткнулся, будто на столб налетел. Из-за нас! ЕВРЕЕВ!.. Это ж надо быть таким идиотом!

На фронте антисемитизм приобретал порой крайние формы.

…Полк выдвигается на исходные позиции. Марш тяжелый, колонна растягивается. В одной из стрелковых рот, вместе со всеми, идет солдат-еврей. Небольшого роста, интеллигентного вида, черноволосый, с большими удивленными глазами. Как все, тяжело навьюченный, идет, не разбирая дороги, не думая ни о чем, тянет солдатскую лямку.

В пехоте, в отличие от артиллерии, танковых и инженерных частей, связи, служило много людей невежественных, необразованных и просто бывших уголовников, легко поддающихся различным слухам. Особенно ненавидели интеллигентов.

Один из таких, рослый детина уголовного вида, видимо, прошедший зону, подходит к этому солдату и в упор стреляет ему в затылок!

Несчастный, не успев вскрикнуть, молча падает мертвым…

Тут должно было что-то произойти. Какое-то замешательство. Но ничего не происходит! И небо не падает на землю!

Колонна продолжает движение. Оглянулись и пошли дальше. Бандит уже давно всех предупредил, что убьет еврея. И настолько был уверен в своей безнаказанности, что не стал дожидаться боя, где это сделать несравненно легче. Мне говорят: Не может быть! Где был командир взвода? Да здесь он был, командир взвода. Здесь. Дай бог, чтобы ему исполнилось девятнадцать лет, он только из училища, на нем еще ремни скрипят. А этот отпетый уголовник взрослый мужик, неформальный лидер, его боятся, и никто с ним не будет связываться.

Остановить колонну, начать разбирательство, доложить о ЧП все будут недовольны, последуют неприятности, кого-то задержат в звании, кого-то орденом обойдут, в должности понизят. Полк идет в бой, и уже на следующее утро будут потери. Выход случайный выстрел. Случайных выстрелов и не только на войне сколько угодно.

И в тыл уходит обычная похоронка.

Но во взводе был еще один еврей. Бухарский. Надо сказать, что о существовании бухарских евреев в пехоте почти никто не знал. Цвет лица у них темный, и они больше похожи на жителей Средней Азии. Да и фамилии у них кончаются на «ов». Это вводило в заблуждение, и этого молодого солдата за еврея никто не держал.

В ужасе он бросился к убийце: «За что ты его убил? Он еврей! Ну, и что? — Из-за них война!»

В страшном смятении он выждал момент, когда никто не видит, изорвал и выбросил свою красноармейскую книжку, где в графе «национальность» записано еврей, и попав по ранению в медсанбат, сказал книжку потерял и на вопрос о национальности назвался таджиком.

Никаких сомнений это не вызвало: темный, прибыл из Сталинабада, свободно говорит и поет на таджикском. Выписали новую.

Кончилась война, вернулся домой. Начался обмен партдокументов. Вызвали в райком! У вас записано, что вы таджик, а вы же еврей! страшный грех: еврей «скрывается» под благородной национальностью. Рассказал, как было. Тогда еще уважали фронтовиков. Простили.

Это не вымысел. Этот человек, известный певец, один из основателей Таджикского оперного театра, народный артист Рафаэль Толмасов, был моим соседом и близким другом.

… Кто поручится, что этот случай был единственным?

Один из партизан, по понятным причинам скрывавший в отряде свою национальность, рассказал, что когда к ним в отряд пришел из окружения молодой красавец-еврей, национальность которого из-за внешности скрыть было невозможно, его тут же послали с группой на задание. Вернулись без него. Что? Был бой Нет. Шальная пуля из леса. Из леса? Шальная? И насмерть? Да немцы леса боятся как огня! Их туда танком не загонишь!

Никто ничего не выяснял.

В Москве, выйдя из окружения, пошел в военкомат становиться на учет. Всем интересно, что и как, расспрашивают, где мы, где немцы. Стал рассказывать, показал на карте. Объяснил, что значит «на… направлении наши войска ведут бои». Это оказалось для москвичей не только новостью откровением. Никто не понимал, что если наши войска ведут бои на направлении такого-то города, как сообщалось в сводках Совинформбюро, значит, этот город уже оставлен нашими войсками, он у немцев. Почему-то все — и совсем недавно я сам — вели отсчет от немцев, с запада, а надо было считать от нас, с востока… Гениальная находка руководства.

В увлечении не обратил внимания на шорох шин под окнами.

Вошли двое военных с эмблемой щита и меча на рукавах, вежливо попросили «следовать за ними». Кто-то из слушателей, смущенный «направлением», коренным образом менявшим сущность сводок, позвонил в НКВД. Шпионов тогда ловили с

перевыполнением плана.

Энкаведисты оказались хорошие ребята, проверили документы, попросили: расскажи, что ты им рассказывал. Слушали с интересом, внимательно, кое-что уточняли. Потом сказали: Иди. Только больше нигде этого не рассказывай.

И я пошел в МГПИ им. Ленина. Институт был на каникулах. Я был в лаптях, денег ни копейки и жить негде. Директор принял меня очень тепло и участливо, никуда не звонил, посмотрел мою зачетную книжку, зачислил на второй курс, выдал стипендию, обул-одел из каких-то годами не востребованных с институтского склада вещей уехавших и не вернувшихся студентов, и отвел в общежитие.

Этого доброго человека звали Серафим Петрович Котляров.

Вообще особисты относились ко мне хорошо.

Выходя из окружения, под Вязьмой, я встретил свежую, еще не воевавшую дивизию. Дивизия была хорошо вооружена и экипирована и производила внушительное впечатление. Хотелось в ней остаться. Попросился. Седой начальник особого отдела с двумя шпалами в петлицах, проверив мои документы, сказал: Иди, сынок! Ты еще успеешь!

И я успел…

Осень сорок первого

Первый раз немецкие бомбардировщики совершили налет на Москву 22 июля 1941 года, ровно через месяц после начала войны. Всего за годы войны на Москву был совершен 141 налет, немцы потеряли на подступах к столице и под самим городом 1305 самолетов. Москва к этим налетам была готова. На площадях, в скверах и даже на крышах гостиницы Москва и печально известного дома на Набережной были установлены батареи зенитной артиллерии, на подмосковных аэродромах сосредоточено шестьсот истребителей около двухсот из них погибло, в городе из гражданского населения повсеместно были созданы команды для тушения зажигательных бомб, называвшиеся почему-то унитарными.

По вечерам, когда начинало темнеть, из старых узких московских переулков выползали сто двадцать аэростатов воздушного заграждения. Поддерживаемые за лямки расчетом, нередко состоявшим из одних девушек, они были похожи на огромных серых рыб, а в вечернем небе уже казались фантастическими птицами, неподвижно застывшими на высоте, ниже которой немецкие самолеты не отваживались снижаться. Один немецкий бомбардировщик все же задел трос аэростата и рухнул в Москва-реку. Наутро толпы москвичей ходили на площадь Свердлова смотреть на вытащенные из реки искореженные остатки самолета, перенесенные затем в парк имени Горького. Выпрыгнувший с парашютом немецкий летчик приземлился прямо во двор одного из отделений московской милиции. И все же отдельным самолетам удавалось прорваться к Москве. Однажды днем неожиданно прорвавшийся самолет сбросил бомбу у подъезда Большого театра. Одна из бомб разрушила крытый рынок за старой Арбатской станцией метро. Метили в здание Главного Штаба, находящееся рядом, в двух шагах, но промахнулись. Бомба пробила перекрытие станции метро «Арбатская» одной из первых неглубоких и разорвалась в бомбоубежище… Погибло около ста человек. Было попадание в здание «Известий», на Никитской площади взрывной волной сорвало памятник Тимирязеву, попала бомба и в театр Вахтангова, и погиб дежуривший в ту ночь на крыше талантливый актер Куза.

29 октября бомба попала в здание ЦК партии на Старой площади, и снесла крыло, которое было срочно задекорировано и быстро восстановлено. В нем погиб приехавший из Куйбышева

драматург, тридцатисемилетний Александр Афиногенов, автор легендарной «Машеньки», вызванный в Москву за новым назначением.

Еженощно горели Фили, зловещее зарево было видно издалека.

Положение усугублялось тем, что около 80 процентов (в количественном отношении) зданий довоенной Москвы были деревянными! Улицы старого города были застроены двух-трехэтажными деревянными домами, оштукатуренными снаружи и оттого казавшимися каменными. Они горели как свечи. Немцы это знали и засыпали город бомбами-зажигалками.

Суровой зимой сорок первого сорок второго года в некоторые районы Москвы перестали подаваться электроэнергия и вода. Дома, как дредноуты орудийными стволами, ощетинились трубами железных печек. На дрова разбирались заборы, которых тогда было немало, и развалины от бомбежек. Вокруг домов образовались горы мусора и нечистот.

Мавзолей был закрыт и декорирован под двухэтажный дом. Саркофаг с телом Ленина эвакуирован в Тюмень. Естественно, об этом не сообщалось.

Не сообщалась и о том, что на ВТОРОЙ день войны, 23 июня(!), начался демонтаж экспозиции Оружейной Палаты. Экспонаты упаковывались и выносились в Тайницкую башню и подклет Благовещенского собора. Когда начались бомбежки Москвы, самое ценное уже находилось в Свердловске, о чем жители этого города не подозревали.

Рубиновые звезды Кремля были зачехлены, золотые купола закрашены, здания закамуфлированы, на крышах стояли зенитные пулеметы, на Ивановской площади зенитная батарея.

Но Кремль был слишком известен и заметен, и бомбы падали и на его территорию. Дважды они попадали в здание Арсенала, крупные фугасы разорвались рядом с Архангельским собором, Боровицкими воротами, у западного фасада Большого Кремлевского Дворца. 250 килограммовая бомба пробила свод Георгиевского зала, но не взорвалась, а только повредила паркет. Были жертвы.

На мемориальной доске, установленной на стене Арсенала, значится девяносто фамилий солдат и офицеров Кремлевского гарнизона…

Важнейшей, неотъемлемой частью Москвы было открытое 15 мая 1935 года московское метро. На торжественном собрании,

посвященном этому событию, в Колонном зале Дома Союзов перед комсомольцами-метростроевцами выступил Сталин. Он сообщил о награждении комсомола орденом Трудового Красного Знамени. Метро строил комсомол. Это надо признать и помнить.

Вопрос о строительстве метро поднимался еще до революции. Но когда встал вопрос о строительстве метро в столице социалистического государства, возникла дискуссия: можно ли советского человека загонять под землю! Предлагалось построить подвесную железную дорогу. В результате было принято решение строить под землей, но так, чтобы человек этого не чувствовал. Наиболее ярко это отражено на станциях «Комсомольская», «Дворец Советов» и «Маяковская» в их оформлении много голубого «неба».

В районе Казанского вокзала туннель рыли открытым способом. В один из моментов из-под земли вырвался сильнейший поток грунтовых вод. Сметая все на своем пути, он угрожал затопить вокзал. Ценой огромных усилий катастрофу удалось предотвратить. Вероятно, поэтому станция была названа «Комсомольской» работала там, в основном, молодежь.

Для ускорения работ туннель рыли с обеих сторон, к определенному часу проходчики должны были встретиться. Рассказывали, что у места, где должна была произойти сбойка, стоял главный инженер и с волнением смотрел на часы. Прошло несколько минут — не сошлись! И он пустил себе пулю в лоб… В следующую минуту строители встретились.

Строительство метро, несмотря на тяжелое положение, продолжалось и во время войны. Это станции: «Новокузнецкая», «Павелецкая», «Заводим. Сталина» (ныне «Автозаводская»). В оформлении этих станций присутствует военная тематика.

Единственной линией метро между старым московским парком «Сокольники» и новым им. Горького с десятью станциями: «Центральный парк культуры и отдыха им. Горького», «Дворец Советов», «Библиотека им. Ленина», «Охотный ряд», «Дзержинская», «Кировская», «Красные ворота», «Комсомольская», «Красносельская», «Сокольники», арбатским радиусом со станциями: «Калининская», «Арбатская», «Смоленская», продолженным в предвоенные годы до Киевского вокзала в одну сторону и до Курского в другую, и горьковским радиусом: «Площадь Свердлова», «Маяковская», «Белорусская», «Динамо», «Аэропорт», «Сокол». Все вместе, протяженностью двадцать шесть километров с двадцатью одной станцией, метро до войны перевозило немногим больше одного миллиона пассажиров в сутки, но играло не меньшую роль в жизни москвичей, чем ныне, когда оно раскинулось под столицей на триста километров, имеет

свыше полутораста станций, шесть радиусов, две кольцевых линии и перевозит в сутки девять миллионов пассажиров. (На 1 января 2006 года 170 станций и 3 кольца.)

В одну из первых воздушных тревог я спустился в метро «Сокольники». Во время тревог к перронам подавались поезда, в вагонах размешались больные, старики, женщины с грудными детьми, дальше по тоннелю на деревянных щитах, а то и просто на газетах или на том, кто что успел захватить, сидели, лежали люди, читали, кормили детей, тихо переговаривались и даже… рожали. Во время тревог в московском метро родилось двести семнадцать детей. Посередине перрона змеилась длинная очередь в туалет.

В ожидании отбоя пошел по туннелю и к концу тревоги, часа через полтора, дошел до конечной станции Парка культуры и отдыха имени Горького. Вдоль туннеля, на равном расстоянии друг от друга, были установлены круглые плафоны, и по ходу поезда, казалось, что мчишься вдоль какого-то бесконечно длинного корабля и это мелькают его освещенные иллюминаторы. Над эскалаторами висели транспаранты: «По эскалатору не бежать», «На ступени не садиться», «Стоять справа, проходить слева», «Тростей, зонтов, чемоданов не ставить».

Метрополитен носил имя Кагановича, вложившего много сил и организаторского таланта в его строительство. На этом настоял Сталин, сам Каганович был против. Когда метрополитену было присвоено имя Ленина, название станции «имени Кагановича» на некоторое время перекочевало к станции «Охотный ряд», а после его развенчания «имени Карла Маркса» и, наконец, вернулось на круги своя снова стала называться «Охотный ряд». «Красные ворота» были «Лермонтовской». «Кропоткинская» до 1947 года называлась «Дворец Советов» она находилась рядом с развернувшимся в предвоенные годы грандиозным строительством этого гигантского, четырехсотметровой высоты сооружения на месте снесенного Храма Христа Спасителя. Семья моей будущей жены жила на Остоженке (Метростроевской), и ее водили гулять к Храму, запомнившемуся ей великолепием и внушительностью. Предложение о строительстве Дворца Советов принадлежало не Кагановичу, как многие думают, а Кирову, но снести Храм не предлагал и он. По проекту, Дворец Советов венчался исполинской, восьмидесятиметровой статуей Ленина, в голове которой, как писали газеты, должна была размещаться библиотека.

Макеты и плакаты с изображением Дворца, чем-то напоминавшего послевоенные высотные дома, заполонили

витрины магазинов где, кроме них, нечего было выставить… и общественные места. Не избежал всеобщего увлечения и энтузиазма и автор, потратив почти весь учебный год, чтобы изготовить и выставить на Детской Технической Станции макет этого сооружения.

После войны на этом месте был построен плавательный бассейн.

… Было время разбрасывать камни. Настало время их собирать…

Храм Христа Спасителя был построен в честь победы над Наполеоном, и строился он сорок четыре года. Решение о его строительстве принял лично Александр I в знак благодарности Богу за победу. Он же внес основную сумму, остальное народные деньги. Император был уверен, что его спас Бог это отразилось в названии Храма. Но увидеть свою мечту воплощенной ему не довелось. Это сделал Николай I.

Когда возникла идея строительства Дворца Советов величественного символа революции, когда идеалы коммунизма казались желанными, близкими и достижимыми, когда всерьез предлагалось снести Николаевскую (Октябрьскую) железную дорогу только потому, что она построена при царе, идея сноса Храма и строительства на его месте Дворца Советов, с фигурой Ленина, видной из любой точки столицы, вовсе не казалась такой циничной и кощунственной, как сейчас.

Эта идея носилась в воздухе и казалась естественной.

Идея строительства Двора Советов была выдвинута С. М. Кировым на 1-м Съезде Советов в декабре 1922 года и задумана, как монумент в честь создания Союза Советских Социалистических Республик СССР. В 1928 году был объявлен всемирный конкурс. Он проводился в три тура. Первое и второе места разделили Б. Иофан, тогда еще не академик, и Щуко и Гельфрейх. Идеи обоих проектов были схожи, и было решено их объединить. Над фигурой Ленина работал скульптор Меркулов.

Было намечено несколько точек строительства, одной из которых была площадь Храма Христа Спасителя. Б. Иофан вспоминал, как однажды летним утром на этой площади собрались архитекторы, прибыли члены Политбюро во главе со Сталиным. «Кое-кто из нас недоумевал: а что делать с Храмом Христа Спасителя? Но тут Сталин задал нам встречный вопрос: А как вы думаете, разместится ли проектируемое здание Дворца Советов на площади, занимаемой Храмом Христа Спасителя? И тут мы поняли: мы смотрим назад, в прошлое, а он — вперед, в будущее.» (Из статьи Б. Иофана к 70-летию Сталина.) Так что,

фактически идея строительства Дворца Советов на площади Храма Христа Спасителя и соответственно его сноса, принадлежит Сталину. Академик Грабарь вынужден был дать заключение, что Храм Христа Спасителя «художественной ценности не имеет». (Заметим в скобках, что Чайковский, которому была заказана музыка, написав к открытию Храма увертюру «1812 год», в письме своему другу сетовал, что сам Храм ему не нравится…) Этому предшествовало заседание ЦК совместно с архитекторами, на котором Щусев и Жолтовский в один голос утверждали, что Храм художественней ценности не имеет. Сам Каганович предлагал строить Дворец Советов на Ленинских горах.

К началу войны на мощном фундаменте уже возвышались стальные фермы первых двух этажей. Вскоре они были разобраны для изготовления противотанковых ежей для Подмосковья и самой столицы.

Управление по строительству Дворца Советов существовало и после войны, и было дополнено словами»… и высотных домов». Сталин требовал регулярных отчетов о заготовке отделочного камня и т. д. Но однажды, когда уполномоченный архитектор пришел с очередной сводкой, секретарь Сталина Поскребышев прозрачно намекнул, что товарища Сталина этот вопрос больше не интересует…

Но это еще был не конец. Окончательное решение о прекращении строительства Дворца Советов было принято уже после смерти Сталина на специальном собрании в Доме Архитектора. На собрании присутствовал Хрущев. Когда его спросили: строить или не строить, он дипломатично ответил: «Вы архитекторы, вы и решайте!» И архитекторы решили не строить! В президиуме сидел печальный Иофан. Если бы Дворец был построен, он стал бы таким же символом Москвы, как Эйфелева башня в Париже или Биг Бен в Лондоне и статуя Свободы в Нью-Йорке.

Но вернемся к осени сорок первого.

16 октября остановилось метро.

Работники метрополитена стали получать расчет, вагоны метро выкатывались на поверхность, на железнодорожные пути, для отправки в тыл. Если при этом иметь ввиду, что из Москвы уже эвакуировались центральные учреждения, некоторые заводы, вузы, военные академии и училища, часть Генерального штаба во главе с маршалом Шапошниковым, и по городу на восток катили вереницы автомобилей, груженных всяческим скарбом, поверх которого полулежали с завязанными шапками-ушанками,

застегнутые на все пуговицы и крючки военнослужащие всех рангов, — нетрудно представить, как в этой обстановке подействовало на москвичей прекращение работы метро.

Накануне пала Вязьма.

На подступах к Вязьме было окружено четыре наших армии, четыреста пятьдесят тысяч человек. (По германским данным шесть армий, шестьсот пятьдесят тысяч.) Для сравнения скажем, что трехсот тридцатитысячная группировка немцев под Сталинградом суровой зимой 1942–43 годов сопротивлялась более двух месяцев. Германские войска разгромили наш Западный фронт за неделю… Сталин послал на фронт Молотова и Ворошилова разобраться в обстановке. Но их единственное предложение сводилось к тому, чтобы отдать под суд Командующего Фронтом Конева. Спас его Жуков, вступивший в командование фронтом, взяв к себе в заместители.

Западный фронт перестал существовать.

Дорога на Москву была открыта.

Командующий окруженными войсками генерал Лукин получил лаконичную телеграмму: «Из-за неприхода окруженных войск к Москве Москву защищать некем и нечем. Повторяю некем и нечем. Сталин».

Это была трагедия.

На рубеже сентября-октября немцы прекратили атаки на Ленинград он уже начал голодать и стали перебрасывать войска под Москву. 6 октября Сталин отозвал Жукова из Ленинграда. 7-го Жуков примчался в Кремль прямо с самолета. Состояние вождя повергло его в шок. Перед ним сидел растерянный старик, который дребезжащим голосом сказал: «Товарищ Сталин не предатель. (В третьем лице) Товарищ Сталин слишком доверчив»(!) Взяв себя в руки, Сталин поручил Жукову выехать на фронт, разобраться в обстановке и восстановить положение. То, что он увидел, не поддается описанию. Связь с остатками войск была утеряна. Разрозненные группы бойцов и командиров, бросив тяжелое вооружение, пробирались к Москве, другие сдавались в плен… Организованно выходила лишь группа Рокоссовского. Сам генерал шел пешком, отдав машину для раненых. Командующего Резервным фронтом Буденного Жуков просто отстранил.

Сталин понимал, что необходима передышка потери Красной Армии были огромны, большинство военных заводов находилось в стадии эвакуации и поручил Берии по своим каналам предложить Гитлеру нечто вроде Брестского мира: войска остаются на достигнутых рубежах, боевые действия

прекращаются. Предложение было сделано через болгарского посла Стаменова, который, будучи нашим патриотом, горячо сказал: «Что вы делаете! Они вас никогда не победят! Хоть до Урала дойдут!», но предложение передал. Однако Гитлер, не без оснований уверенный в своей победе, никак на него не отреагировал.

Но велись и более серьезные переговоры. Советские и германские разведчики, между которыми с 1938 года существовало тайное соглашение о сотрудничестве, связались, и 20 февраля 1942 года в оккупированный немцами Мценск прибыл первый заместитель наркома НКВД Меркулов, а от Германии начальник штаба рейхс-фюрера СС группен-фюрер Вольф.

Сталин предложил прекратить военные действия с 5 мая 1942 года до 1 августа 1942 года. Затем германские войска должны отойти на оговоренные рубежи, а к концу 1943 года совместно с вооруженными силами СССР начать военные действия против Англии.

В этом случае СССР рассмотрит условия мира с Германией и обвинит в разжигании войны международное еврейство. (Далеко смотрел.) Там же указывалось, что в случае отказа от этих требований германские войска будут разгромлены, а германское государство прекратит свое существование. Столь наглые требования результат еще не прошедшей эйфории от декабрьского (1941) разгрома немцев под Москвой, под впечатлением которого Сталин сказал: «Еще полгодика, максимум годик…» В его же приказе Наркома Обороны № 110 от 23 февраля 1942 года по случаю Дня Красной Армии говорилось: «Сделаем 42-й год — годом окончательного разгрома врага».

Впереди было еще три с половиной года войны, Сталинград, Курск.

Через неделю, 27 февраля 1942 года, Меркулов сообщил Сталину германские предложения. Немцы предложили оставить границы до конца 1942 года как есть, по линии фронта, покончить с еврейством, отселив всех советских евреев в лагеря в отдаленных районах Крайнего Севера для дальнейшего уничтожения.

Сталин еще не был к этому готов. И переговоры прекратились.

Примерно в то же время на имя Сталина и Молотова в швейцарские банки были переведены значительные суммы в валюте. Не для того, чтобы оба фанатика-большевика благополучно закончили свои дни в безвестном и безопасном

далеке, да и вряд ли это было возможно, а для того, чтобы в случае поражения финансировать народную войну против оккупантов.

… Около полугода перед войной и в самом ее начале Генеральный Штаб возглавлял Жуков. Невозможно объяснить, почему за эти месяцы, когда война уже неотвратимо нависла над страной, о чем неоспоримо свидетельствовали ежедневные сводки его собственного разведуправления, Генштаб не разработал не только концепции отражения противника, но и сколько-нибудь вразумительной тактики на случай внезапного нападения врага. Вину за трагические неудачи первых недель и месяцев войны вместе со Сталиным должен разделить и Генеральный Штаб…

15 октября в 11 часов утра Молотов вызвал в Кремль наркомов и предложил им покинуть Москву и выехать в те места, куда перебазируются их наркоматы. В тот же день Государственный Комитет Обороны принял постановление о срочной эвакуации из Москвы. В нем говорилось о необходимости «произвести взрыв предприятий, складов и учреждений, которые нельзя эвакуировать, а также электрооборудования метро, исключая водопровод и канализацию».

В ночь на 16 октября Берия собрал на Лубянке совещание первых секретарей московских райкомов. Он говорил об эвакуации и о раздаче продуктов из магазинов населению, «чтобы не досталось врагу».

Печально знаменитая ночь с 15 на 16 октября 1941 года. Около трех часов пополудни из репродукторов раздалось привычное: «Внимание! Внимание!» Но и без этих настораживающих слов достаточно было щелчка ни на минуту не выключавшегося динамика, как все головы, как по команде, поворачивались к черной тарелке репродуктора. Женский голос произнес: Сейчас будет выступать представитель Моссовета! Затем прерывающийся, взволнованный мужской голос сказал, что в связи с тяжелым положением на фронте под Москвой гражданам столицы рекомендуется покинуть город…

Но самым ужасным, потрясшим до обмороков москвичей, да и всю страну, было то, что перед привычными словами «От Советского Информбюро» Левитан произнес не «Говорит Москва!», а «Говорит Куйбышев!»

Больше это не повторялось. Но и одного раза было достаточно. Это был удар. Как ни подготовлены были москвичи предыдущими сообщениями о положении на фронте, в глубине души каждый надеялся и верил, что Москва не будет сдана.

Теперь эта надежда была поколеблена. И многими москвичами овладела паника.

Этому способствовало вечернее сообщение Совинформбюро от 15 октября, опубликованное на следующий день всеми газетами, в котором единственный раз за всю войну, прозвучала неосторожная, быть может, фраза: «В течение ночи с 14 на 15 октября положение на западном направлении фронта ухудшилось (именно это непривычное слово и сыграло роковую роль — Е. Г.) Немецко-фашистские войска бросили против наших частей большое количество танков, мотопехоты и на одном участке прорвали нашу оборону». И дальше не следовала ставшая уже привычной утешительная фраза «наши войска отошли на заранее подготовленные позиции», что чаще всего было откровенной дезинформацией, или, что «приняты меры для ликвидации прорыва»…

Это даже трудно себе представить, какая началась паника!

Придя поутру на свои заводы и фабрики, рабочие оказались перед закрытыми проходными. Продовольственные предприятия стали бесплатно раздавать продукты своим сотрудникам. Часть милиции была отправлена на защиту Москвы, правопорядок был ослаблен, оживился уголовный мир. Некоторые магазины были разграблены, и на улицах города появились самодовольные красные рожи, увешанные кругами колбасы и кусками (рулонами) мануфактуры под мышкой.

Но были и очереди в женские парикмахерские: немцы придут, надо хорошо выглядеть. Нашлись бы и люди, которые встретили бы их хлебом-солью… Открылось и несколько новых кафе. Немцев ждали…

Вероятно, у власти были основания подозревать часть интеллигенции в шаткости настроений. Но и у интеллигенции появились сомнения в отношении власти. Косвенным образом это проявилось в исчезновении с улиц города людей в шляпах…

В учреждениях раздавались звонки, суровые голоса называли фамилии и от имени НКВД предупреждали, что если эти люди к утру следующего дня не покинут Москву будет считаться, что они ждут немцев…

В районе заставы Ильича (бывш. Абельмановской) стоял небольшой, всего в несколько вагонов, состав. Паровоз непрерывно дымил, время от времени со свистом выпуская пар. Двери вагонов наглухо закрыты, вдоль состава прохаживается охрана. В один из дней к составу, будто бы, подъехал Сталин. Некоторое время он молча ходил вдоль поезда, потом подошел к машине, хлопнул дверцей и вернулся в Кремль. Скорей всего, красивая легенда.

Это имело решающее значение. Паника не захлестнула город окончательно, и Москва не была оставлена. «Сталин с нами! Сталин в Москве!» при нашем тогдашнем отношении к «великому вождю» это можно понять.

До сих пор нет достоверных данных, оставался ли Сталин в Кремле все это время. В постановлении Политбюро содержался секретный пункт об эвакуации Сталина. Был ли он выполнен? Во всяком случае, с 15 по 19 октября самые критические дни — никаких признаков жизни он не подавал. Вот свидетельство сына Г. М. Маленкова, Андрея. «Однажды отец в откровенном разговоре сказал, что в октябрьские дни сорок первого года из всех членов Политбюро в Москве оставался он один. «Да, один!» подтвердил он. Все руководство, во главе со Сталиным, из Москвы выехало. Сам Сталин отсутствовал десять дней.» (Из воспоминаний А. Г. Маленкова.)

Один из охранников с пеной у рта утверждал, что несколько раз встречал Сталина в подземном бункере, сооруженном для него в Куйбышеве. Был ли это сам Сталин? Известно, что у него был двойник, еврей, Евсей Либоцкий, после смерти вождя отправленный доживать свой век в Душанбе. В газете «Вечерний Душанбе» были опубликованы его воспоминания. Он писал, что его семья была уничтожена органами НКВД, а члены Политбюро его люто ненавидели…

К 100-летию со дня рождения Бориса Ефимова московские власти преподнесли ему необычный подарок: его повезли в «бункер Сталина», неподалеку от Станции метро «Измайловский парк», где под недостроенным и заброшенным стадионом, как они уверяли, и находился Сталин в эти дни. Но кто это может сейчас подтвердить? Иных уж нет, а те далече…

В книге «Десять десятилетий» Борис Ефимов вспоминает свой разговор с Эренбургом в редакции «Красной Звезды», где они оба работали в годы войны.

— Положение серьезное, Илья Григорьевич! Вы находите? — с иронией переспросил Эренбург и убежденно добавил. — Они будут здесь через два дня! Сегодня у нас вторник? (15 октября 1941 года.) Они будут здесь в пятницу. Я уже видел это в прошлом году в Париже.

Между тем, эвакуация шла полным ходом.

Десятки тысяч людей, рабочие заводов и служащие учреждений, старики, женщины, дети стекались к Казанскому и Курскому вокзалам. Площади перед ними, прилегающие улицы, переулки и тупики были запружены народом. Лежали горы вещей и всякого домашнего имущества: корзины, узлы, чемоданы,

детские коляски и бабушкины сундуки. Здесь же спали, ели, плакали и смеялись сквозь слезы.

Но больше плакали, расставаясь, быть может, навсегда… Люди постепенно менялись, одни уезжали, другие прибывали, некоторые, отчаявшись уехать, возвращались домой. Вещи оставались без хозяев: приходи бери, с собой в переполненные вагоны разрешалось взять немногое.

Из-за недостатка подвижного состава к отходящим товарно-пассажирским поездам цеплялись вагоны метро. Ехать в них было пыткой. Стояла поздняя осень, вагоны не отапливались, мало того, они еще имели прекрасную вентиляцию, такую необходимую под землей и такую ненужную и беспощадную на долгом пути в неизвестность. Вагоны метро не делятся на купе, где можно было разместиться семьей, не имеют полок, чтобы разложить, веши, нет и тамбуров выйти подышать, покурить. Но это еще что: они рассчитаны на высокие платформы, каких в те годы на обычных железных дорогах не было, и на редких остановках, когда поезд может тронуться в любую минуту, ни выйти из вагона, ни тем более взобраться обратно! Зеркальные, во всю стену, окна вагонов делают их похожими на фешенебельную новинку, предназначенную для особо важных лиц. Не удивительно, что стоящие на переездах патриотически настроенные деревенские мальчишки принимали этих несчастных беженцев за позорно бросившее Москву и спасающее свою шкуру высокое начальство и забрасывали эти вагоны гнилыми помидорами и камнями…

Железная дорога справиться с таким потоком отъезжающих не могла. За несколько дней до этого через Москву на восток двинулись крестьяне и жители Подмосковья. По Охотному ряду гнали стада коров, отары овец, тянулись конные обозы и трактора с сельскохозяйственной техникой. Это еще больше усилило панику.

Паника, охватившая город, имела довольно четкие очертания. Менее ярко выраженная в центре, она сосредоточилась на вокзалах Казанском в особенности и Курском, а ее стрела вскоре направилась строго на восток, на шоссе Энтузиастов, начинавшееся у Заставы Ильича. Эта дорога оставалась единственным путем в тыл на Владимир и Муром. По этому пути нескончаемым потоком двинулись автомобили и прочий транспорт. На окраине города их останавливали на контрольно-пропускном пункте и проверяли, и тогда на какое-то, все более продолжительное время, останавливался весь поток.

Шоссе Энтузиастов, а многие еще по-старому называли его Владимирским, то самое, по которому уходили в сибирскую ссылку царские арестанты, мало изменилось с той далекой поры. У Прожекторного завода было троллейбусное кольцо, чуть дальше трамвайное, и через несколько кварталов Москва, в сущности, кончалась.

Само шоссе представляло довольно узкую асфальтовую ленту, с неширокими горбатыми мостами и путепроводами, без тротуаров, по которому, вдобавок, еще ходили трамваи.

В эти критические дни шоссе пытались, по возможности, расширить: снесли несколько чересчур выпиравших на дорогу хибарок по измайловской стороне и заасфальтировали полосы по метру полтора с обеих сторон, что, не без оснований, было воспринято, как подготовка к эвакуации, сильно подействовало на город и, в особенности, на жителей прилегавших к шоссе районов.

Но шоссе все же оставалось узким, горбатым и неудобным. Просторная его лента в нынешнем виде, с красивыми широкими мостами и путепроводами, тротуарами, на которых цветут пышные липы, но еще без подземных переходов (их соорудили позднее) дело послевоенное. Реконструкция шоссе началась сразу после войны и длилась несколько лет. Работали там пленные немцы.

В эти дни движение по шоссе шло в несколько рядов и только в одну сторону из Москвы на восток. Навстречу двигались только редкие трамваи. Стремясь объехать остановившийся транспорт, кто-то первым выехал на трамвайные пути, за ним потянулись другие, и вот уже пустые трамваи, покинутые вагоновожатыми и кондукторами, сиротливо стоят одинокими островками в пульсирующем море автомашин. В течение дня движение все больше замедлялось и к вечеру остановилось совсем…

Образовалась гигантская, многокилометровая пробка, начинавшаяся у контрольно-пропускного пункта и заканчивающаяся чуть ли не в центре Москвы, у Заставы Ильича, где сама площадь и впадающие в нее улицы позволяли развернуться.

Пробка представляла собой пестрый конгломерат грузовых и легковых автомобилей немногочисленных тогда марок, трамваев, пароконных бричек и подвод, всевозможных тележек и даже детских колясок с домашними вещами. А по обочинам шоссе молча шли вереницы людей: мужчины, женщины с узелками, корзинами и небольшими чемоданами.

Не разговаривая друг с другом, хмурые и озабоченные, они деловито пробирались сквозь сутолоку. Это были рабочие заводов

и фабрик, эвакуированных из Москвы, которым не хватило места в эшелонах с оборудованием и станками, и теперь шедшие пешком в назначенные пункты сбора.

С наступлением сумерек сквозь затор стали пробираться неровные колонны-цепочки учащихся московских ремесленных училищ. Молодые ребята и девушки в черных шинелях и таких же черных шапках-ушанках, лавируя между плотно стоящими рядами транспорта, во главе со своими воспитателями и мастерами, уходили в тыл, чтобы осесть в подмосковных городах, или в пути, на отдаленных станциях, погрузиться в эшелоны. У каждого через плечо перекинута белая наволочка с продуктами, выданными на дорогу. В наступившей темноте эти белые наволочки были видны далеко и еще долго мелькали среди скопища машин, резко выделяясь белыми пунктирными линиями.

В тот день, в этой сложной и непредсказуемой обстановке, когда неизвестно, придется ли когда-нибудь увидеться вновь, я навестил свою будущую жену. Семья жила в 443-й школе, где отец был директором. (Когда после войны началась борьба с космополитами, его вызвали в районо и сказали, что еврей не может быть директором русской школы. Он подал заявление об уходе и вскоре скончался…) Федоровские жили возле Прожекторного завода во Владимирском поселке на Владимирской улице, и Владимир Осипович именовался друзьями «удельным князем Владимирским». Это был добрейшей души человек. Преподавал он математику не самый любимый школьниками предмет. Естественно, приходилось ему назначать и переэкзаменовки. С этими учениками он все лето совершенно безвозмездно занимался сам, а его жена их кормила…

Сама она много лет заведовала учебной частью младших классов. В крупных московских школах было по шесть-семь первых классов. Учительницы прибегали к ней: Дина Соломоновна! Почему вы Марьванне дали восемь евреев, а мне только двух! Успеваемость, по которой оценивался труд учителя, давали еврейские дети.

Школа находилась на шоссе Энтузиастов, жили они рядом, и это обстоятельство сыграло решающую роль в их отъезде в эвакуацию.

Неподалеку, за Новыми домами, день и ночь дымили громадные трубы ТЭЦ, устилая низко нависшее над городом серое осеннее небо хлопьями черного дыма. Жгли архивы.

Возвращаться пришлось пешком. Москву я знал больше по трамвайным маршрутам и теперь, пробираясь сквозь плотный поток идущих навстречу и занятых своими невеселыми мыслями

людей, спрашивал, как пройти. Но люди не понимали, не останавливались, не отвечали, как-то странно смотрели и шли своей дорогой.

Они уходили из родной Москвы.

У Заставы Ильича поток людей начал редеть, площадь Дзержинского была пустынна, мимо Политехнического музея одиноко звенел пустой трамвай. Я вскочил в его открытые двери трамвай шел на Пироговку, в Артамоновой парк, рядом с МГПИ, где мы находились на казарменном положении. Легли не раздеваясь. Никто не спал.

Казалось, вся Москва кинулась на восток, в тыл.

Но это было не так.

В 12 часов дня 16 октября по радио выступил секретарь Московского комитета партии А. С. Щербаков и произнес краткую, взволнованную речь, запомнившуюся так: «Мы столкнулись с таким позорным явлением, как паника в Москве. Некоторые директора заводов и других предприятий на машинах бегут из Москвы по шоссе Энтузиастов вместе с кассирами и зарплатой для рабочих. Мы будем беспощадно расстреливать их. (Несколько человек расстреляли у трамвайного кольца за домиком для вагоновожатых и кондукторов, где был контрольно-пропускной пункт. Е. Г.) Обороной Москвы руководит лично товарищ Сталин. Он в Кремле».

Затем было объявлено, что в четыре часа будет выступать председатель Моссовета Пронин. В четыре часа объявили, что выступление Пронина переносится на пять, потом на шесть часов. И, наконец, сказали, что выступления не будет… Все это время по радио передавали марши, и никаких сообщений.

Вечером было объявлено постановление Моссовета о возобновлении работы метро и московских предприятий.

Москвичи вздохнули с облегчением.

21 октября в «Известиях» и других центральных газетах — все они с этого дня стали выходить в уменьшенном формате было опубликовано Постановление Государственного Комитета Обороны, объявляющее столицу с 20 октября на осадном положении. Оборона Москвы на рубежах 100–120 километров возлагалась на Командующего Западным фронтом генерала армии Г. К. Жукова, а на ее подступах на начальника Гарнизона столицы генерал-лейтенанта П. А. Артемьева. С 12 часов ночи и до 5 часов утра вводился комендантский час. Провокаторов, шпионов и прочих агентов врага предписывалось расстреливать на месте. Под Постановлением стояла краткая подпись:

Председатель ГКО И. Сталин. Железной рукой наводился порядок.

Вновь заработало метро.

На магистралях и переулках взводились баррикады, устанавливались бетонные надолбы и противотанковые ежи из крест-накрест сваренных рельсов. Метро и одиннадцать основных мостов города были заминированы, пешеходное движение по ним было запрещено. Патрули по обе стороны мостов останавливали машины и сажали в них людей, которым нужно было попасть на другой берег.

В подвал Большого театра было завезено триста тонн динамита. (Так в квитанции — Е. Г.) Неужели и его было решено взорвать?! Были заминированы Колонный зал Дома Союзов и гостиница «Метрополь».

Москва готовилась к уличным боям. На Центральном аэродроме бывшее Ходынское поле размещался стрелковый корпус, предназначенный для этих боев. Шоссе Энтузиастов было очищено: кому положено выехали, кому нет вернули. По пустынному, и казавшемуся от этого широким, шоссе проезжали редкие автомашины, торопливо шли одинокие пешеходы. Восстановилось движение трамваев.

Навстречу своей гордой и трагической судьбе проходили отряды вооруженных гражданских людей. Шли пожилые люди, интеллигентного вида мужчины в очках (до войны «очкариков» не призывали), юноши, почти подростки, в рядах виднелись женщины. Вооружены они были плохо, у некоторых за плечами были охотничьи ружья… Отряды шли с развернутыми знаменами. Лица людей были суровы и решительны.

Ополчение вставало за Москву.

Моральный дух москвичей окреп. Этому в немалой степени способствовали торжественное собрание на станции метро «Маяковская», посвященное 24-й годовщине Октября, и неожиданный для всех, сенсационный военный парад 7 ноября 1941 года на Красной Площади.

В ночь с 5 на 6 ноября Военный Комендант Большого Театра была, оказывается, и такая должность подполковник Рыбин, впоследствии начальник охраны Сталина, получил приказ подготовить сукно для стола президиума и утром доставить его на станцию метро «Маяковская». Когда он туда прибыл, на импровизированной сцене уже репетировал вызванный с фронта ансамбль песни и пляски НКВД под руководством Зиновия Дунаевского. Солистка ансамбля Е. Сапегина пела «Что мне жить и тужить, одинокой». Из Куйбышева прибыли народные артисты

СССР И. С. Козловский и М. Д. Михайлов. Козловскому нездоровилось, он кутался в шарф и был явно недоволен, что его вызвали во фронтовую Москву. А Михайлов, распахнув кожаное пальто, бодро расхаживал по перрону и пробовал голос. Прибывшие для участия в концерте артисты размещались в вагонах метро, стоящих у перрона.

После репетиции рабочие концертного зала им. Чайковского установили две тысячи стульев из театра Сатиры (впоследствии в этом здании находился театр эстрады, перешедший затем в «Дом на Набережной», и работал «Современник»; ныне оно не существует), оперетты (после закрытия филиала Большого Театра, куда перешла оперетта, помещение прочно занял театр Сатиры), и им. Моссовета. Стол президиума составили из обыкновенных двух-тумбовых канцелярских столов.

По традиции торжественное собрание было назначено на 18 часов. А в пять часов вечера гитлеровское командование, стремясь во что бы то ни стало сорвать собрание, бросило на Москву двести пятьдесят бомбардировщиков. Но прорваться к центру города им не удалось. Потеряв тридцать четыре самолета, немецкие асы повернули обратно.

По полуофициальной версии, правительство выехало из Спасских ворот Кремля и на автомашинах проследовало до станции метро «Белорусская», здесь руководители спустились в метро и поездом вернулись на Маяковскую, якобы для дезориентации вражеской разведки.

На самом деле, секретная линия из Кремля существовала уже тогда.

Более того, строительство МСН Метро Специального Назначения начиналось одновременно со строительством пассажирского, никогда не прекращалось и было строго засекречено. Его протяженность на рубеже веков составила триста двадцать километров, правда, всего с двадцатью станциями вблизи стратегически важных объектов.

Собрание началось в точно назначенное время.

После доклада Сталина состоялся концерт. Особым успехом пользовались Козловский и выступивший первым с патриотической арией Сусанина Михайлов. В заключение выступил Краснознаменный ансамбль песни и пляски под руководством Александрова. Правительство сидело в первом ряду.

Но особенно поразил и обрадовал всех парад. Мы услышали о нем, когда он уже транслировался с Красной Площади, и были потрясены. Я даже подумал, что это транслируется прошлогодняя

запись. Обстановка была такая, что сама мысль о параде казалась не просто неправдоподобной кощунственной. Послевоенные историки и публицисты называют обстановку тех дней критической. Такой она и была. Гитлер настолько был уверен в успехе, что с войсками, наступавшими на Москву, отправил несколько вагонов красного норвежского гранита для сооружения памятника, казавшейся ему близкой и неизбежной победе. За войсками следовали эшелоны с парадным обмундированием для торжественного марша победителей на Красной Площади, а в обозе одной из частей берегли белого коня, на котором фюрер собирался въехать в город. Было выделено двести тысяч марок на поимку «врага рейха номер один» Юрия Левитана, чтобы вывезти его в Германию и заставить из Берлина оповестить мир о победе рейха.

Белого коня, должно быть, съели сами немцы во время их декабрьского отступления из-под Москвы. Судьбу парадных мундиров выяснить не удалось. А вот красный норвежский гранит действительно пошел на памятник.

Правда, несколько необычный им облицован цокольный этаж большого послевоенного дома по улице Горького (ныне Тверской), рядом с Центральным телеграфом, на углу Тверской и Огарева. По-видимому, был задуман грандиозный памятник: гранита хватило и на филиал театра Моссовета и на некоторые другие здания.

И все же, несмотря на крайне тяжелую обстановку, Сталин решил провести 7-го ноября традиционный военный парад на Красной Площади, по существу, под носом у немцев. Поначалу был назначен и воздушный парад, но из-за ненастной погоды и плохой видимости он был отменен. Парад готовился в глубокой тайне. Как всегда в таких случаях, приводилось в порядок обмундирование, чистилось оружие, проводились строевые занятия.

Подготовку оркестра Сталин поручил Буденному. Когда тот приехал проверять, как выполняется приказ — пришел в ужас! В одном из спортивных залов на окраине Москвы собрали около семисот ничего не подозревающих музыкантов. Не то что на парад на улицу их неудобно выпускать. Большинство из них было уверено, что их собрали для отправки на защиту Москвы, на передовую, которая была рядом, и пришли, кто в чем: в шинелях, бушлатах, телогрейках, в сапогах, ботинках с обмотками, с котелками и противогазами. Некоторые были в пилотках, натянутых на уши, в шапках-ушанках.

Руководителем оркестра был назначен старейший русский

военный капельмейстер (дирижер) полковник царской и Красной Армии Василий Иванович Агапкин, автор популярного до сих пор марша для духового оркестра «Прощание славянки», написанного им в 1912 году, когда началась первая балканская война. К маршу были и слова:

Наступает минута прощания. Прозвенел уже третий звонок. Говорю я тебе «До свидания. Уезжаю на Ближний Восток».

Кое-как приведя разношерстный состав в относительный порядок, Агапкин вывел свое воинство на Красную Площадь в семь часов утра: из-за экстремальных условий начало парада было перенесено с девяти часов утра на восемь. Стоял лютый, небывалый для ноября, тридцатиградусный мороз. Играть было невозможно клапана замерзли.

Агапкин распорядился играть половиной оркестра, другая половина в это время отогревает маленькие инструменты за пазухой, а большие прикрыв полой шинели. Когда закончилось прохождение пехоты, Агапкин вдруг обнаружил, что не может сойти с подставки сапоги примерзли. Замешательство дирижера заметил один из командиров оркестра, подбежал и буквально отломил его от подставки. Едва они вдвоем оттащили ее к зданию ГУМа, началось прохождение техники.

Парад продолжался ровно один час, для точности и одну минуту.

А на ближайших улицах участников парада ждало сто сорок трамвайных вагонов, чтобы отвезти их на передовую!

Весь партийный и советский аппарат находился на казарменном положении, и когда в пять часов утра связные разъехались по райкомам и райисполкомам, всех застали на месте.

Сообщили о параде и киностудии научно-популярных фильмов большая часть кинохроники находилась на фронтах. То ли долго не заводилась в такой мороз машина, то ли по какой другой причине, съемочная группа опоздала, не сразу прорвалась к Мавзолею, и времени на проверку аппаратуры не оставалось: Сталин уже начал свою речь. Утро выдалось темным, шел снег, мешавший нормальной съемке. Не шел и звук!

Больше повезло киногруппе, стоявшей у ГУМа. Режиссер, видимо, не извещенный о переносе времени начала парада, на съемку опоздал, и когда началось прохождение войск, женщина-оператор Мария Сухова стала снимать проходившие колонны солдат крупным планом. Эти исторические кадры и вошли в фильм о параде на Красной Площади 7 ноября 1941 года.

Снимавший выступление Сталина режиссер Ф. И. Киселев, вконец расстроенный, ночью помчался к председателю

Кинокомитета И. Г. Большакову и доложил обучившемся. Большаков схватился за голову: Мы погибли! Но куда деваться Ожидая самого худшего, позвонил Сталину. Сталин выслушал его не перебивая и неожиданно спокойно сказал: «И что вы предлагаете?» У Большакова отлегло от сердца. Сталин согласился повторить свою речь в помещении. Утром шел снег, он хорошо виден на шинелях и лицах солдат. На лице и одежде Сталина снежинок не видно имитировать не решились. На Мавзолее, несмотря на сильный мороз, Сталин стоял в фуражке, чтобы не разрушать привычный образ. Так он и снялся. (Некоторые утверждают, что в шапке-ушанке. Скорей всего, и то и другое верно: во время своей речи он стоял в фуражке, а когда закончил надел шапку, мороз был нешуточный.)

Съемка была назначена ночью. К четырем часам тридцати минутам утра выгородка в Георгиевском зале Кремля была готова. Огромные окна зала раскрыли напустить холодный воздух, чтобы у Сталина во время речи изо рта шел пар (это не получилось). Вошел Сталин. Присутствующих поразил его вид: маленький рябой согбенный старик. Ничего общего с портретами. Сталин повторил свою речь, память у него была отличная.

Но звук не шел и на этот раз!

Все понимали, чем это грозит. Согласовывать с Большаковым было некогда. Обмякший от жары юпитеров Сталин уже уходил. Киселев забежал вперед: «Товарищ Сталин! В кино полагается делать дубль!»

Сталин с сомнением посмотрел на него, молча вернулся к микрофону и повторил свою речь в третий раз.

На этот раз записали.

Через несколько месяцев, увидев Большакова на каком-то совещании, Сталин скажет ему: «А ваш режиссер смелый человек!»

В ту ночь Киселев поседел.

На фронте

Командир 163-й штрафной роты капитан Щучкин и его заместитель старший лейтенант Гольбрайх

Дорога

Старшина подвел к небольшому странному холму, который при ближайшем рассмотрении оказался грудой ботинок. Обувь была новая в смысле неношеная, непривычного желто-коричневого цвета, связанная попарно за шнурки. На внушительной подошве, прочность которой не вызывала сомнений, поблескивали ровные ряды крупных выпуклых шляпок металлических гвоздей. Не без оснований сомневаясь, понадобятся ли они мне осенью, а тем более зимой до этого еще дожить надо по неопытности выбрал по ноге, с недоумением глядя на старых солдат, выбиравших размером побольше. На внутренней стороне ботинок красовалась загадочная нерусская надпись «серия АД.№ 7.5». Это был первый импорт в моей жизни.

К удивлению, ни к осени, ни к зиме я не был убит и даже ранен. Зато мое легкомыслие незамедлительно было наказано. Днем ботинки хорошо намокали, а ночью смерзались и превращались в «испанские сапоги» — изощренное орудие пыток инквизиции. Пытка продолжалась, пока не началось наступление и не появились трофейные сапоги.

К ботинкам выдали по паре добротных, цвета хаки, обмоток, сразу же по меткому солдатскому определению получивших название «трансформаторы» или «разговоры». Возни с ними было немало, в походе то и дело слышалось: «Разрешите выйти из строя! Обмотка размоталась!» Я так натренировался, что «трансформаторы» как бы сами заматывались вокруг ноги, оставалось только заправить концы.

Обувь была английская, сделанная на века и, по моему глубокому убеждению, довольно давно. Ботинки полностью утратили какую бы то ни было эластичность и совершенно не гнулись ни в каком направлении, закралось подозрение, что они были изготовлены еще во времена англо-бурской войны, долго лежали без движения в армейских цейхгаузах, и вот союзники, обрадованные возможностью от них избавиться, с удовольствием сбагрили их нам. Вместо второго фронта.

Для пехоты самая плохая дорога прямая.

Глянешь: без конца и без края пролегла, устремилась к горизонту ровная лента шоссе. Господи! Это ж, сколько еще пройти надо!..

А на извилистой дороге то холм, то перелесок, то овраг, а то и просто поворот. И хоть знаешь, что сегодня предстоит пройти все те же сорок километров, глаз непроизвольно намечает кажущийся финиш. Идешь и думаешь: там, за холмом…

За холмом все та же дорога.

На пехотном солдате всего навешано, как на том ишаке. По пять лямок на каждом плече. Иного, кто ростом не вышел, из-за снаряжения и не видно. Скатка и вещмешок, и противогаз, будь он не ладен, и каска, и саперная лопатка, и фляга, и котелок, еще и сумка полевая или планшет. В противогазную сумку, бывает, еще и противотанковую гранату пристраиваешь. Два подсумка с патронами само собой. И все это не считая оружия: винтовки или автомата.

Пот льет ручьями. Банальную эту фразу следует понимать буквально. Пот застилает глаза солеными слезами, стекает за воротник, плечи становятся темными, в ботинках хоть ложки мой. Вода не каждый раз попадается в пути, не всегда солдату удается постираться. На просушенных солдатских гимнастерках проступают белесые пятна соли. Снимешь можно поставить, стоит

коробом.

Что такое пыль фронтовых дорог сейчас представить довольно сложно. Почти до конца войны пехота передвигалась пешим порядком по грунтовым дорогам, истертым в пыль до самого центра земли. Ноги утопали в пыли так, что ботинок не было видно, обмотки превращались в сплошные серые сапоги, на которых кольца уже не обозначались.

По команде: Привал вправо! Солдаты валились в пыль, некоторые, даже не положив под голову вещмешка, устраивались в кювете, чтобы ноги были повыше и отлила немного кровь. Кое-кто приспосабливался ложиться «валетом», и чтобы голова не утонула в пыли, клали ее на бедро товарища.

Обгоняя пешие колонны, проезжают автомашины, артиллерия, танки. Поднимают такую тучу пыли, что дышать нечем. Пыль хрустит на зубах, проникает повсюду. Белеют только зубы и белки глаз. Закроешь веки с ресниц слетает пласт пыли.

Запах полыни… Он так прочно въелся, что и через десятилетия кажется ощущаешь его. Будто и сейчас вокруг тебя ее непритязательные кустики. Полынью отдавало все: еда, которую привозили на передовую, чай, земля, обмундирование. Даже оружие пахло полынью. Казалось, от ее запаха не избавиться никогда.

Странное дело: теперь, когда восстанавливаешь в себе этот запах, он не раздражает, а кажется далеким и милым воспоминанием. «Я помню запах скошенной полыни» — даже песня такая есть.

В освобожденных селах встречать нас было нечем, нечем угощать. Женщины угощали семечками. Немцы презрительно называли их «русский шоколад». А мы ничего, щелкали. Семечки помогали скоротать дорогу. Я щелкал не очень умело, не было сноровки. У меня семечки превращались в своеобразный спидометр: шинельный карман отщелкал — десять километров прошел.

Деревенские мальчишки нередко посмеивались: Гляди! Дяденьки военные остановились, карту смотрят, сейчас дорогу спрашивать будут. Карты были устаревшие. «Гладко было на бумаге, да забыли про овраги». Впрочем, может, и не сбились с пути. Может, просто поступил новый приказ, и изменилась задача. Нам не говорят.

Хуже нет, когда колонна вдруг останавливается, разворачивается на сто восемьдесят градусов и начинает движение в обратном направлении. Перед этим долго стоим, молчим, потом поднимается тихий ропот. Хорошо, если лето. А

если распутица или вовсе зима? Ни стать, ни сесть, ноги гудят, и зубы пощелкивают. Подойдешь к товарищу: Скажи «тпру!» «Тю-у-у» губы не шевелятся, замерз солдат. Если дождь тоже не лучше: мокнешь медленно, методично, промокаешь до последней нитки и ходишь потом дня два-три, а то и всю неделю, смотря по погоде, сырой и противный. Посмотришь на ребят пар идет от шинелей.

А еще бывает марш-бросок. Как-то предстояло за сутки пройти восемьдесят километров. Стояла поздняя южная осень, днем подтаяло, а ночью на дорогу лег гололед. Кони стали. Еще не перекованные на зимнюю ковку, они стояли на дрожащих разъезжающихся ногах и не трогались с места.

Каждому дается по четыре 82-х миллиметровые мины. С покосившихся столбов сдергиваем обрывки проводов, связываем за стабилизаторы и вешаем на шею. Идем тесно, поддерживая друг друга под руки. С миной падать не рекомендуется. Особенно во второй раз… При ударе она могла встать на боевой взвод…

На больших переходах солдаты старших возрастов отстают, некоторые занемогают. Колонна растягивается. Одного ободришь, другому руку подашь, а этот совсем плохой. Его сейчас стреляй спасибо скажет. Беру у него винтовку. Хоть и свой автомат все плечи отмотал, его и на одно плечо, и на другое, и на шее, и в руке понесешь, и куда бы только его не забросил, если бы… Если бы не война.

А солдат этот и на привале за своей винтовкой не идет…

Старые солдаты ухитряются спать на ходу. Пристроят голову на левое плечо, на скатку, идут, закрыв глаза, и спят. Смотришь ушел в сторону крепко, значит, уснул, второй сон видит. Берешь его за плечо и ставишь на место, в строй. Он не просыпается.

С каким нетерпением ждешь привала на ночлег!

Со многими боевыми товарищами довелось спать под одной шинелью, иных уж нет, а те далече… Нет братства сильнее фронтового. Шинель одно из проявлений его. С близким товарищем под одной шинелью и теплее, и спокойнее. Это целая наука.

Вообще-то, на двоих две шинели. Это просто так говорится: под одной шинелью. Под голову, как правило, идут вещмешки и варежки, на землю расстилаются плащ-палатки, а уж укрываемся шинелями. Та, что поновее на плечи и на грудь идет, та, что попотрепанней на ноги. Оба ложимся на один бок. Если есть благословенная возможность разуться, ноги укладываем в плечи нижней, более потрепанной шинели: одна пара ног в одно плечо, другая в другое. Верхнюю шинель, поновее, натягиваем на грудь и

на плечи: плечо одного — в правом плече шинели, плечо другого в левом. Получается что-то вроде спального мешка, тепло и уютно. Если уж очень холодно — верхняя шинель натягивается на головы: одна голова в одном плече, другая — в другом.

А когда один бок занемеет, а другой замерзнет поворачиваемся оба сразу, как по команде. И чуткий солдатский сон продолжается.

В ночь с 6 на 7 ноября дивизия совершила марш-бросок из под Сталинграда на Дон.

Под Сталинградом я сделал «головокружительную карьеру», стал сержантом, командиром отделения из одиннадцати человек которого осталось четверо: двое погибли, пятеро ранены.

Мела пурга. Дул пронизывавший ветер, превративший несильный, в общем, мороз в настоящее бедствие. В темноте, скользя и падая, проклиная все и вся, с трудом различая в слепящем колючем снеге спину идущего впереди, колонна стала растягиваться. Вскоре шли уже наугад, полу-замерзшие, круто наклонясь вперед, на ветер, пробивая головой белесую тьму, лишь изредка распрямляясь и тараща глаза в поисках маячивших впереди бестелесных фигур, чтобы не сбиться с пути.

У меня был товарищ, на несколько лет старше, до войны работавший в Сибири на золотых приисках. В этом было что-то загадочно-романтическое, я смотрел на него снизу вверх. Мне казалось, что золотоискатели люди из старого, досоветского мира, в нашей жизни ни им, ни добываемому ими «презренному» металлу не может быть места. Он никогда не был в театре, не увлекался чтением, зато он прекрасно умел слушать. Нашим долгим беседам способствовало то обстоятельство, что мы оба одновременно стали сержантами, командирами отделений одного взвода и в долгих пехотных походах сотни километров прошагали рядом. Особенно нравились ему рассказы о Москве, в которой он никогда не был, о столичном метро, которым в те годы гордилась страна, о театрах. Иногда я пересказывал ему содержание книг.

И в этот раз мы, как всегда, шли, стараясь держаться друг друга. Колонна вскоре растянулась, стала таять в мареве тумана. Товарищ, более крепкий и выносливый, постепенно отрывался, уходил вперед. Его широкая спина еще некоторое время маячила впереди, но вот растаяла и она… Не было сил крикнуть вдогонку, свирепый встречный ветер вбивал голос в горло и, казалась, можно было подавиться собственным криком.

Зато в небе никого. Тихо. Нас не бомбят и не обстреливают. Холодно. И хочется есть. Невдалеке забрезжил огонек хутора. На

деревянных ногах вхожу в избу, прошу разрешения погреться. Изба жарко натоплена, стою у порога, оттаиваю. За столом два интенданта и краснощекая веселая хозяйка пьют и едят. Видят, сукины дети, солдат у порога стоит, посинел весь, рук и ноги не гнутся, ему бы кружку кипятка без заварки, уж куда больше. Так нет! (Замечу в скобках, что в казачьих местах встречали нас сдержанно…) Постоял, отогрелся немного, помянул в сердцах их родителей и пошел дальше своей солдатской дорогой.

Стал вырисовываться силуэт какого-то строения. Дом у дороги, ни окон, ни дверей, частично, видно на топку, сорван пол, но крыша цела. Температура, как на улице, но так не дует. В доме пока никого, постепенно народ набивается. Пришедшие первыми ложатся на пол, последние друг на друга. Как в сказке: дом без окон, без дверей, полна горница людей. Кому надо выйти по нужде в темноте ступают прямо по спящим. Солдаты не просыпаются, только бормочут спросонья что-то неразборчивое.

Донские степи не Белоруссия и Украина, не Смоленщина. Там шаг шагнешь деревня. А тут топаешь-топаешь, а села все не видать.

Пехотная судьба известна: пока на своих двоих доберешься до населенного пункта там уже штабы, артиллерия-кавалерия и другие части, имеющие транспорт. К какой избе не сунешься: Стой! и для убедительности клацают затвором. Хуже всего солдатам из Средней Азии. Приставили винтовки к плетню, сели, руки в рукава и дремлют. Замерзнут! Силой поднимаем и заставляем бегать, чтобы разогрелись.

Солдаты среднеазиатских республик на фронте обобщенно назывались узбеками. Воевали они плохо. И тому были причины: к началу Отечественной войны советской власти не исполнилось еще и четверти века, а в некоторых из этих республик и того меньше. Молодые эти ребята не понимали, почему и за что они должны погибать за тысячи километров от родных мест. Известны случаи, когда в Ташкенте узбекские матери ложились на рельсы, чтобы воспрепятствовать отправке своих сыновей на фронт и комендантский взвод их растаскивал. Уже тогда можно было слышать на улицах крики мальчишек: Узбекистан для узбеков! Из-за плохого знания, а порой и незнания русского языка их старались направить в строительные подразделения, но значительная масса попадала и в боевые части. Командиры батальонов и рот на полном серьезе говорили: меняю десять узбеков на одного русского солдата. И это не было издевкой. Комбату нужно выполнять задачу. Ему не до шуток.

Студенты медицинских вузов, эвакуированных в эти края и проходивших практику в местных госпиталях, были поражены огромным количеством раненых в левую руку… Это «голосовавшие» на передовой в ожидании выстрела немецкого снайпера…

Снимаем плетни, скрытно тащим к берегу и в воду. Намораживаем переправу. Рукавицы за пазуху, уплывут старшина новых не даст. И помогают мало, набухают и примерзают к плетню, пусть лучше руки примерзают, по крайней мере, не потеряются. Поочередно отрывая пристывшие пальцы, оставляя на прутьях клочья кожи, держим плетень, чтобы не развернуло и не отнесло течением, ждем, пока схватится ледком. На плетнях быстро нарастает «сало», ноябрь как-никак.

19 ноября форсируем Дон в районе хутора Мело-Клетский. Рано утром, после мощной артподготовки, бежим по этой самой намороженной переправе. Черными глазницами на белом льду реки поблескивают свежие полыньи от снарядов и мин. Закручиваясь в воронки, несется в них темная, холодная вода, только что принявшая в свое безмолвие многих наших товарищей. Покрытые льдом и слегка припорошенные снегом плетни «зыбаются» под ногами. Всхрапывают и пятятся лошади.

Но люди не кони! Вперед!

Страшно…

А что делать? Страшно не страшно, а надо идти.

Началось окружение Сталинградской группировки.

Бомбежка по площадям

Теперь все знают, что земля круглая. По телевидению показывали снимки из космоса. Неведомо куда несется небольшой беззащитный шар, сиротливо затерянный в бесконечном пространстве. Овладевает какое-то щемящее чувство. И это мы? Весь мир? Вся цивилизация? Как же нужно его беречь!

А земля всегда казалась плоской. Ее шарообразная форма еще в школе воспринималась чисто умозрительно.

Но однажды в бескрайней степи я увидел Землю на таком большом пространстве, что ее кривизна ощущалась физически. По краям далекого горизонта она как бы заваливалась, уходила в дымку и исчезала.

Эта Земля горела.

Горела не земля в смысле почвы, на которой мы растим наш хлеб и наших детей и в которую уходим чаще всего до срока.

Горела планета Земля.

Пожар был неправдоподобно огромен. От края до края горизонта, насколько хватало глаз, простиралось пламя. Казалось, огненный венец продолжается за гранью видимого, жаркими клещами сжимая весь земной шар. Из космоса, вероятно, Земля представлялась пылающим кораблем под огромным черным парусом, несущимся к своей неотвратимой гибели.

Море огня бушевало. Местами взвивались сполохи, языки пламени взмывали в поднебесье и растворялись, исчезая в дыму. На всем протяжении огненного венца, резкой гранью отрываясь от него, вздымалась громадная черная туча, и казалось, на всем белом свете ничего больше нет, кроме сверкающей полосы огня и этой тяжелой черной тучи, в смертельном объятии прильнувшей к земле. Туча уходила на много километров в высоту, постепенно сужалась, серела, светлела и высоко в небе заканчивалась маленьким белым облачком, слегка развернутым по ветру.

И это девственно белое облачко в ярко голубом небе над громадой огня и черного дыма потрясало.

Так горел Сталинград.[3]

Земля вставала дыбом. Она рвалась вверх, вырастая в огромную мутно-серую стену. Стена быстро и неровно, рывками росла в длину и, поднимаясь к небу, замедляла свой бег. Рядом с ней дымной полосой ложилась на землю и росла вторая стена. Казалось, воздвигается, вырастая из земли, фантастическое здание. Доносился гром. Он звучал непрерывно, слегка и не надолго затихая, чтобы с новой силой ворваться в уши и сердца.

Это был гром войны, и стены эти стенами смерти.

Самолетов не было видно, и от этого было еще страшнее. Где-то под самым солнцем они растворились в ясном голубом небе, и лишь по едва заметным, расплывающимся облачкам зенитных разрывов можно было определить их полет.

Впоследствии в районе Самбекских высот Саур Могила, Матвеев Курган, получивших название Миусского фронта, в Дмитровке, по ожесточению и упорству боев названной Малым Сталинградом, еще не раз на собственной шкуре пришлось испытать так называемую бомбежку по площадям. Хуже нет кассетного бомбометания. Бросит немец желтый двухметровый цилиндр, он поболтается в воздухе, раскроется, и несколько десятков мелких бомб косяком идут на цель. Неба не видно! А эта цель мы. Если надежного укрытия нет или в поле попался пиши пропало. Та, что над тобой эту пронесет. А вот та, что с недолетом твоя…

Но и простая бомбежка не легче. С утра пораньше «рама»

летает немецкий самолет корректировщик, прозванный «рамой» за двух-фюзеляжную конструкцию. Это уж верная примета: жди гостей. А вот и они. Из-за горизонта на большой высоте выползают колонны «хейнкелей». Раздается тревожная команда: «Воздух!» Озираясь, привычно ищем щель. «Хейнкели» приближаются длинными изогнутыми линиями, звеньями по три самолета. Начинаем считать: три, три, три можно сбиться со счета. Три, три, три когда же будет конец? Три, три… Слева сто восемь, справа девяносто шесть, по центру уже некогда считать…

Ведущий самолет выбрасывает репер дымовую шашку, сигнал к началу бомбежки.

Резко застучали зенитки. Небо густо зацветает плывущими по ветру белыми барашками. Невдалеке барражируют наши истребители ждут, когда зенитчики разгонят колонны, и можно будет атаковать небольшие группы и одиночные бомбардировщики. У каждого «хейнкеля» в хвосте пулеметная турель, колонна создает сплошную завесу огня — не подступишься.

Но и на нашей улице праздник! Снаряд попадает в одну из машин и, по-видимому, угодил в бомбу. Самолет взрывается. Разваливается на части, обломки летят вверх, в стороны и вниз. В ту же секунду от взрыва загорается соседняя машина, от нее отделяются два комочка, и не успевают над ними раскрыться купола парашютов, как она в беспорядочном падении врезается в землю. Над местом падения ввинчивается в небо столб черного дыма. Но и это еще не все! Задымил и, оставляя за собой длинный косой шлейф, резко пошел на снижение третий самолет этого звена! Случай редчайший сбиты сразу три вражеских самолета. Над фронтом раздается такое ликующее «УРА!», что на минуту перекрывает грохот бомбежки.

А она идет своим чередом. Приближается. Грохот нарастает. Уже различим истошный вой летящих бомб. Всколыхнулась земля. Солдаты нервно скручивают «козью ножку» и глубоко затягиваются. Я некурящий. Проверяю, все ли пуговицы застегнуты на воротнике, и расправляю по поясу гимнастерку. Все. Больше делать нечего…

Земля гудит и вздрагивает. Рядом. Визг становится нестерпимым. Это уж точно наша. Господи! Только бы без мучений… Удар! Угол блиндажа оседает. Кто-то охает. Следующая прямая… Опять рядом. Следующая чуть дальше. Дальше… Дальше… Пронесло? Еще не верим. Еще все внутренне сжаты и напряжены.

Полоса бомбежки медленно удаляется и внезапно

обрывается. Тишина. Наступает минута молчания. Внутренним взором каждый ощупывает себя, жив ли, цел ли… Раздаются команды, доносятся крики раненых. Выползаем, отряхиваемся, связисты с катушками налаживают связь. Фронт оживает.

В радио-роте у меня знакомая девушка. Мы симпатизируем друг другу, хотя видимся редко, ни разу даже не поцеловались. Вера ранена. Осколок прошел по виску и повредил глаз. (Не говорят ли теперь дворовые мальчишки: эта кривая с третьего этажа?) Раненых уже увезли. Грустно сидят девушки. Некоторые плачут. На них обрушился главный удар. Ни среди убитых, ни среди раненых не найдем начальника одной из радиостанций.

Прямое попадание? Но что-то же должно остаться. Уже приходили из СМЕРШа: не сбежал ли? Откапываем и буксиром вытаскиваем, выдергиваем из земли искореженную машину. Так и есть. Он выбрал самое безопасное место между передним колесом и стеной земли. Но именно сюда и попала бомба… Несем тело в братскую могилу. Нас сопровождает какой-то странный звук из пробитой головы с шипением вываливается мозг…

Смотрим в небо. Еще недавно ничего не было видно вся земля в воздухе. Лишь там, где должно быть солнце, чуть светлее. Постепенно тьма редеет, и сквозь дымную мглу показывается солнце. Странное. Оно, как белая тарелка, и на него можно безболезненно смотреть.

Это солнце войны. Оно не светит и не греет, кажется посторонним и пугает своей неестественностью.

Но где-то там должно же быть наше привычное, яркое и теплое светило?

И оно появляется.

Северо-западнее Сталинграда

Поздним летом 1942 года в ежедневных сводках Совинформбюро появился абзац, долгие месяцы неизменно начинавшийся словами: «Северо-западнее Сталинграда наши войска вели бои…»

Здесь, в степи, у разъезда «564 километр» занимал оборону наш 594 стрелковый полк.

Название разъезда запомнилось. Когда германские войска были окружены, к этому разъезду должен был выйти немецкий парламентер с белым флагом. Не вышел.

На железнодорожном пути стоял эшелон. На платформах тридцатьчетверки. Несколько танков каким-то образом успели

сползти на поле и в беспорядке застыли вблизи железнодорожного полотна. Горько было видеть эти неподвижные боевые машины, не сделавшие, быть может, ни одного выстрела. Какая трагедия войны здесь разыгралась? Скорей всего, эшелон шел в Сталинград, когда дорога неожиданно оказалась перерезанной, паровоз расстрелян в упор, и пути назад уже не было.

Ночью над нашими окопами раздался ужасающий грохот. Вскочили, похватали винтовки. Как-то уверенней себя чувствуешь с оружием в руках.

Открылось необычное, невиданное зрелище. Из клубящейся черной тучи за нашими окопами вырывались и стремительно неслись по небу в сторону противника огненные шары, оставляя за собой мерцающий кометный след. Кто-то крикнул: «Катюша»! Так вот они какие! О них ходили легенды. Но мы видели их впервые. Впоследствии много раз приходилось наблюдать «работу» гвардейских минометных частей, как они официально назывались. Но тот первый залп над нашими головами был особенно впечатляющим.

В ответ противник открыл ураганный огонь по клубам дыма и пыли. Но было поздно. Дав залп, «катюши» развернулись и быстро уехали. Что предназначалось им досталось нам…

А потом был бой. Длительный, тяжелый и упорный. Мы «улучшали свои позиции», как принято говорить в таких случаях. Немцам пришлось оттянуть часть войск от центра города, где создалось тяжелое положение, и перебросить на наш участок. В этом и состояла наша задача, так кратко обозначенная в сводке Совинформбюро «наши войска вели бои…»

Измотанные, усталые, сидим в траншее. Прислонившись к стенке окопа и поставив между колен свою СВТ, невесело думаю: это Сталинград, как еще далеко до Берлина! И не доживешь до победы…

У приклада упала тяжелая капля крови. Не удивился. В бою участвовало непривычно много наших самолетов. Впервые с начала войны мы не взывали к богу и черту: где же наши! Капля крови упала на сухую землю и закаталась в пыль. Земля не приняла ее. Слишком много крови было здесь пролито. Вторая капля упала в первую и разбрызгала ее. Уже и с неба капает кровь. Отрешенно смотрел, как обгоняя друг друга, падали красные капли, постепенно расплываясь в небольшое пятно. Что с неба капает кровь, казалась понятным и неудивительным. Но почему у моих ног? Провел рукой по лицу ладонь в крови. Осколок прошелся по верхней губе. Грустно усмехнулся: поцелуй

войны. И не почувствовал. Несколько дней не улыбался. Впрочем, и поводов не было…

Во время атаки танк намотал на гусеницу провод. Прервалась связь с одним из батальонов. Двое связистов ушли и не вернулись. Командир полка подполковник Худолей молча посмотрел на меня. Говорить ничего не надо. Так же молча беру в руки провод, выскакиваю с НП и, пригнувшись, сейчас, в затишье, время снайперов зигзагами бегу к догорающему танку. Экипаж его покинул, но немецкий снайпер держит это место на прицеле. Чуть поодаль батальонный комиссар Дынин, накануне пришедший в полк не то из политотдела, не то из медсанбата, где мог бы воевать до победы. Человек он был немолодой, но билось в нем горячее сердце патриота, и он попросился в стрелковый полк. По имени на фронте называть не принято, фамилия у меня трудная, звания я еще не имел, может, поэтому, а может, для значимости называл он меня обобщенно: Комсомол! И я этим гордился. В то утро он подозвал меня перед атакой и сказал: «Комсомол! Личным примером!» И выразительно глядя в глаза, повторил: «Личным примером!»

И вся наука. Легко сказать «личным примером»! Надо вскочить первым, когда единственное и естественное желание поглубже зарыться, спрятаться в землю, грыз бы ее и рыл ногтями, только бы слиться с ней, раствориться, стать незаметным, невидимым. Вскочить, когда кругом все грохочет, рвется, свистит и завывает, когда смерть торопливо и жадно отыскивает именно тебя, как там, у Семена Гудзенко: «мне кажется, что я магнит, что я притягиваю мины», чтобы обязательно убить, и хорошо, если сразу. Подняться, когда твои товарищи еще лежат, прижавшись к теплой земле, и будут лежать еще целых несколько секунд вечность! Вскочить в неистовом крике «Вперед!», которого все равно никто не услышит нельзя…

Уж сколько об этом писали, сколько еще напишут, а все, как в той детской книжке: если у тебя в детстве болели уши, тебе не надо рассказывать, а если не болели тоже ни к чему, все равно не поймешь.

Иной раз посмотришь на небо и думаешь в последний раз вижу. И заколотится сердце отчаянием. В те несколько мгновений, когда стоишь один на смертном поле войны, все снаряды и мины, все осколки и пули летят только в тебя. Больше, вроде бы, и не в кого. Как сказал поэт: «Сейчас настанет мой черед. За мной одним идет охота». А когда все встают, как-то легче.

На всех, может, и не хватит…

Подняться первым нелегко. НО НАДО. Есть приказ. Есть долг. Есть присяга, о которой никто, никогда не вспоминает. Поразительно!

Теперь многие сомневаются, что мы шли в бой со словами: «За Родину! За Сталина!» Шли. Во время атаки солдаты не выкрикивают лозунгов, а просто кричат нечто среднее между «а» и «у», чтобы подбодрить себя и напугать противника. Но перед наступлением призыв звучал в речах политработников и командиров. Автору это известно не понаслышке. Довелось быть комсоргом и стрелкового батальона и стрелкового полка, и если эти строки прочтет кто-нибудь из командиров, пусть вспомнит куда и с какими заданиями они посылали своих комсоргов.

В величии и гениальности Сталина мы не сомневались. Что? Тридцать седьмой год? Так ведь кругом враги. Об этом и в газетах написано, и сам Сталин об этом сказал. Погиб в тридцать седьмом и мой отец. Ну, с ним-то все ясно. Он в эту мясорубку попал случайно: «лес рубят щепки летят»…

Теперь, когда все мы знаем, сколько жестоких, напрасных, ненужных жертв, сколько миллионов погибло по вине Сталина, приходишь в ужас, и горькое сожаление, что столько лет был обманут и что ничего уже нельзя исправить отравляет жизнь. Эта трагедия никогда не изгладится из памяти.

Оба связиста лежат рядом с танком. Снайперская работа. До вечера их не вынести. Плюхаюсь рядом. У одного из связистов в руке провод. Снайпер заметил какое-то движение, не разобрал в оптическом прицеле что к чему и перепутал. Пуля сухо щелкнула по шинели убитого. «Мертвый спасает живого» мелькнула где-то читаная фраза.

Не пошевелиться. Втиснувшись в спасительную землю, нашариваю второй конец провода, на секунду коснувшись холодной уже руки товарища. Если сейчас все делать по наставлению скорей всего не будет ни связи, ни меня. Беру в зубы конец провода, сильно дергаю, изоляция снимается, зуб раскалывается. Оба конца крепко зажимаю зубами. Связь есть. Замираю на такой уютной, согревшейся под солнцем земле, дожидаюсь, когда кончится затишье. Сейчас от снайпера не уйти.

Мимо проползает комиссар полка Дынин. Он вместе с нами ходил в атаку и теперь решил вернуться на НП. Поравнялся со мной. Приподнимается на левом локте. В то же мгновение под лопатку влетает пуля! И выбивает из шинели столбик пыли… Лицо синеет. Значит, в сердце…

Дождавшись заварушки, вскакиваю и броском сваливаюсь в окоп КП батальона. Комбат ухмыляется: прибыл к месту службы. По восстановленной линии поступил приказ: сержант такой-то назначается комиссаром батальона. Убыль в войсках была такая, что дивизией командовал подполковник, а нашим полком — одно время — старший лейтенант. Так что удивляться нечему.

Комбат протягивает котелок. Кормили нас, в основном, пшенной кашей, на которую мы уже же не могли смотреть — это чувство сохранилось на всю оставшуюся жизнь и вожделенной для последующего поколения таранькой, от которой зверски хотелось пить, А воды не было. Привезут ночью чай по пол-котелка на брата, хочешь пей, хочешь умывайся. Интенданты старались как-то скрасить меню командиров. В котелке были макароны, пережаренные с американской тушенкой! Царская еда! Никогда, ни до, ни после никакое блюдо не казалось мне таким вкусным. Но не успеваю достать из-за обмотки ложку, как начинается артиллерийско-минометный налет. Сижу согнувшись, прикрывая котелок грудью. Но даже грудью защитить макароны не удается, от взрывной волны песок попадает в котелок, и макароны скрипят на зубах.

Еще долго я помнил немцам эти жареные макароны. И скрипел на них зубами.

Не только из-за макарон…

Рядом с нами окоп артиллерийских наблюдателей. Под шум войны мы с ними перекрикиваемся. В нескольких десятках метров позади наших окопов, к небольшой высотке, на которой расположен НП, неловко перебегает по открытой местности солдат. Эх! Не надо бы. Демаскирует нас! И мы, и артиллеристы кричим: «Ложись!» и добавляем: «чтоб ты был здоров», и что-то в этом роде. Но солдат не слышит, либо не понимает и торопится поскорей добраться до цели. Немцы не могут его не видеть, но молчат, ждут куда спрячется, соображают, сукины дети!

С видимым удовлетворением солдат переваливается в окоп артиллеристов. Что они ему там говорят, мы уже не слышим. Мгновенно все вокруг превращается в настоящий ад. Сжимаемся в комок. Безжалостный плуг войны перепахивает высотку вдоль и поперек. И еще раз. И еще… Тяжелая мина попадает прямо в окоп артиллеристов! Глухой взрыв тяжело выплескивает за бруствер двух офицеров-корректировщиков и связиста. Незадачливый солдат остается на дне окопа. Ни стона, ни вздоха.

Прямое попадание.

В сумерки собираемся возле танка. Почти по чеховской «Хирургии» ребята с хохотом вытаскивают плоскогубцами

отколовшуюся часть зуба. После тяжелого дня все-таки развлечение.

Танк еще дымится. Время от времени внутри него что-то рвется, и языки пламени пробиваются в щели. Мимо проходит нерусского вида пожилой солдат, скорей всего уроженец Средней Азии. В руках у него винтовка и на штыке раскачивается котелок с пшенной кашей. С чисто восточной невозмутимостью он ставит его разогревать на догорающий танк.

Есть-то надо. Война продолжается.

Жестокость

Написал и задумался. Нужно ли писать ВСЮ правду о войне? Правильно ли поймут молодые, не знавшие войны, ту меру жестокости, которая была необходима, чтобы победить? Необходима ли? Всегда ли? Как установить критерий необходимости в обстановке, когда собственная, один-разъединственный раз дарованая жизнь висит на волоске, таком тонком, таком неверном и может оборваться каждое следующее мгновение, как только что, на твоих глазах, оборвалась жизнь твоего товарища… Воина НЕ естественное состояние человечества.

Что значит вперед? Что значит ни шагу назад? За этими словами стоит железная воинская дисциплина. И это не случайные слова, в них суровая сущность войны.

По последним данным последним ли? Безвозвратные потери противников на поле боя составляют у немцев 3 млн., у нас 12…

Потрясает разница в смертности наших военнопленных в 1-ю Мировую войну 5 % и во 2-ю 48 % (по некоторым данным до 60 %). В 1-ю Мировую войну офицеры и генералы хранили верность присяге, а у Власова служили многие полковники и генералы Красной Армии. По-разному вели себя в 1-й и 2-й мировых войнах и народы Северного Кавказа. О присяге никто и не вспоминал.

Как отнестись к тому, что каждый 17-й военнослужащий германских вооруженных сил был бывшим гражданином СССР (главным образом во вспомогательных войсках).

Осуждено Военными трибуналами около миллиона (995 тыс.) человек. Из них половина (440 тыс.) направлена в штрафные роты и батальоны, расстреляно 136.7 тыс., остальные направлены в тюрьмы и лагеря.

Я не берусь ни определить меру жестокости необходимой для Победы. Ни оправдать, ни осудить.

Когда в центре Сталинграда сложилась тяжелая обстановка, дивизия была переброшена северо-западнее города с целью оттянуть на себя часть сил противника. Высадились в километрах двухстах от исходного рубежа. Дальше железнодорожные станции и пути были разбиты немецкой авиацией.

Шли по жаркой степи почти без отдыха, валились с ног, а шли. Командир и комиссар полка шли пешком, коней своих вели на поводу.

Полк с ходу вступил в бой. Потери были велики. Один из батальонов так поредел, что старые солдаты, участники еще первой мировой войны, оставшись без командиров, убедили остальных сняться с позиций и уйти в тыл на отдых и переформировку. Наверное, так оно раньше и бывало, но теперь шла другая война. Меня послали следом, я нашел и вернул остатки батальона из второго заслона на передовую.

Путь во второй эшелон лежал по балке Солдатской. Балка длинная, километра два, если не больше, извилистая, не очень глубокая. В ней разместились штабы, вспомогательные службы, связь, боепитание, полевые кухни, санроты. Здесь же стояли тяжелые минометы, время от времени гулко ухающие в сторону противника. Все это закапывалось, зарывалось в землю, пологие склоны балки были сплошь изрыты щелями, возле которых копошились, что-то укрепляя и прилаживая, солдаты. Некоторые сидели и с наслаждением курили разнокалиберные самокрутки день был теплый.

Это ж, сколько народа во втором эшелоне! А на передовой раз, два и обчелся….

Через несколько часов, когда с остатками батальона возвращался на передовую, балки было не узнать… Война прошлась по ней, да, видно, не один раз. Скорей всего здесь поработали пикирующие бомбардировщики. Все изрыто, исковеркано. Ни одной уцелевшей щели, ни одного окопа, узкая дорога посередине балки завалена разбитой техникой, перевернутыми изломанными бричками. Еще дымится опрокинутая кухня с солдатскими щами. И трупы, трупы, трупы… Убитые лежат еще там, где настигла их смерть не дошла еще очередь убрать. Уцелевшие, полуоглохшие, не пришедшие еще в себя от дикого разгула войны солдаты перевязывают раненных товарищей, пристреливают покалеченных лошадей. Подавленные, с трудом пробираемся по балке, осторожно переступая через трупы людей и лошадей, как будто можно им повредить.

Это ж, сколько солдат побито! Вот тебе и второй эшелон! Нет,

на передовой лучше… Еще только раз за всю войну довелось увидеть столько убитых. Даже еще больше. Было это под Рычковой Горой. Сотни трупов лежали вповалку, штабелями, друг на друге.

Но то уже были немцы.

Именно в эти тяжелые дни, когда немцы были все еще недалеко от Москвы, Ленинград умирал в блокаде, и противнику удалось в Сталинграде выйти к Волге, поступил приказ Сталина № 227, более известный, как приказ «Ни шагу назад». По этому приказу создавались штрафные роты и батальоны и заградотряды, которым предписывалось останавливать отступающих любыми средствами… Приказ зачитывался в ротах и батареях.

«Сегодня, 28 июля 1942 года, войска Красной Армии оставили город Ростов, покрыв свои знамена позором», — говорилось в приказе.

Суровые слова Сталина: «Народ утрачивает веру в свою Красную армию» острой болью отзывались в сердцах солдат. Более сорока послевоенных лет этот приказ, хорошо известный на Западе, тщательно скрывался от советского народа и лишь в перестроечные годы был опубликован в Военно-историческом журнале. За рубежом больше акцентируют внимание на его карательной части. Да, она была жестока. Приказом, в частности, предусматривалось выселение семей предателей и дезертиров. Но и положение было критическим, и вера в победу на пределе.

Бессмысленно спорить сейчас, хороший или плохой был приказ. В тот момент необходимый.

Минрота шла тяжело. 82 миллиметровым минометам конная тяга не положена, только для боеприпасов. Один несет на плече ствол, другой на спине плиту. Ствол весит девятнадцать килограммов, плита — двадцать один пятьсот, станина четырнадцать. В жару, под непрерывно палящим солнцем, эти килограммы кажутся тоннами. Мысли плавятся и исчезают. На задворках сознания скребется шкурная мысль: «А-а! Пропади оно все! Упасть бы под этой проклятущей плитой, пусть раздавит все легче, чем такие муки…» И ведь идешь! И откуда только силы берутся?..

Командовал минротой лейтенант Александр Ободов.

Он был кадровым офицером, до войны успел окончить военное училище, дело знал хорошо, солдат жалел, и они его любили. Он был года на два старше меня в юности это много, офицер, а я сержант, тем не менее, мы дружили.

Саша вел роту, стараясь не растерять людей, матчасть. В роте было много солдат старших возрастов, идти с минометами им было трудно. Приходилось часто отдыхать. Рота сохранила походный порядок, но отстала от полка сначала на сутки. Потом на двое…

Чтобы облегчить положение, Саша решил взять лошадь в колхозе. Старик-крестьянин сказал: «Сынок! Ни пахать, ни сеять, ни убирать не на чем! Что есть будете?» И у Саши не поднялась рука. Надо было сказать: «На себе, отец, будете и пахать, и сеять, и убирать». Не сказал. И коня не взял. (А я бы взял?)

Но война не жалеет и не прощает.

В тот день мы не продвинулись ни на шаг. Я сидел на телефоне, когда позвонил командир дивизии. Я передал трубку командиру полка: «Почему не продвигаетесь?» спросил командир дивизии. Командир полка стал что-то объяснять. «А вы кого-нибудь расстреляли?», Командир полка все понял и после некоторой паузы произнес: «Нет. Так расстреляйте!»

Это не профсоюзное собрание. Это война. И только что прогремел 227-й приказ.

Вечером, когда стемнело, командиры батальонов, рот и политруки были вызваны на НП командира полка. Веером сползлись вокруг. Заместитель командира стал делать перекличку. После одной из фамилий не остывший еще голос взволнованно ответил: «Убит на подходе к НП! Вот документы!» Из окопа протянулась рука, и кто-то молча принял пачку документов. Совещание продолжалось.

Я только вернулся с переднего края, старшина сунул мне котелок с каким-то холодным варевом, и я доедал его сидя на земле.

С НП доносились возбужденные голоса. После контузии я слышал плохо, слов не разбирал. Из окопа НП, пятясь, стал подниматься по ступенькам Саша Ободов. Следом, наступая на него и распаляя себя гневом, показались с пистолетами в руках комиссар полка, старший батальонный комиссар Федоренко и капитан-особоотделец, фамилия которого не сохранилась. (Это было еще до введения единоначалия, когда командир и комиссар имели равные права, подпись была у командира полка, а печать у комиссара.)

— Товарищ комиссар! — в отчаянии, еще не веря в происходящее, повторял Саша, — Товарищ комиссар! Я всегда был хорошим человеком!

Раздались хлопки выстрелов. Заслоняясь руками, Саша отмахивался от пуль, как от мух. На лице у него появилась

первая, бескровная еще, муха.

— Товарищ комиссар!

Вторая. Тоненькая струйка крови показалась на щеке. Третья.

— Това…

Саша умолк на полуслове и со всего роста рухнул на землю. Ту самую, которую так хотел защитить.

Он ВСЕГДА был хорошим человеком. Было ему двадцать два года.

Немцы непрерывно освещали передний край ракетами и низко расстилали над нашими головами разноцветный веер трассирующих пуль. Время от времени глухо ухали мины. Ничего не изменилось. Война продолжалась. Но на одного хорошего человека стало меньше…

Кто-то крикнул: «На партсобрание!» Сползлись вокруг парторга. Долго, не глядя друг на друга, молчали. Не сразу заговорил и парторг. Взволнованно выкрикнул: «Товарищи коммунисты! Вы видели, что сейчас произошло! Лучше погибнуть в бою!» Так и записали в решении: «Слушали: Биться до последней капли крови. Постановили: Умереть в бою».

Теперь многие стесняются своего членства в партии.

Я — нет.

Я не партийный функционер, не был прикреплен ни к спецмагазину, ни к спецполиклинике, не ездил в санатории и на курорты, не пользовался никакими благами партийной номенклатуры.

Я вступил в партию под Сталинградом. Ночью к моему окопу подползли комиссар и комсорг полка, они дали мне рекомендации, третья комсомольского бюро. Никакого собрания не было. Политотдельский фотограф сидел у противоположной стены окопа до рассвета вспышки он сделать не мог, это была бы последняя вспышка в его жизни, да и в моей щелкнул и поскорее уполз. (Комсомольские билеты были на фронте без фотографий.)

Зато привилегию я получил сразу.

Вызвал комиссар: «Ты теперь коммунист! Будет зеленая ракета вскочишь первым: «За Родину! За Сталина!» и вперед! Личным примером!» Легко сказать… Вскакивать не хотелось. Ни первым. Ни последним. Это после войны появилось много желающих. Тогда их почему-то было меньше.

У Александра Межирова есть стихи: «Коммунисты! Вперед!» Так было. И вскакивал. Как будто внутри пружина заложена. И бежал. И кричал. Что? Не знаю. Все равно этого никто не слышал. И я сам тоже.

Накануне был тяжелый день. Противник непрерывно атаковал. Еле отбились. Нехотя вставало солнце, первые, робкие еще лучи осветили траншею. Молодой лейтенант, командир пулеметного взвода, после тревожного полусна, поднял бинокль, чтобы осмотреть оборону противника. Луч солнца попал на линзу. В ту же секунду прозвучал выстрел снайпера. Но он его не услышал. Почувствовал сильный, резкий удар в голову и с горьким отчаянием успел подумать: «Все! Отвоевался…». Пуля попала под левый глаз и вышла в затылок.

Сколько лежал не знает. Вдруг почувствовал, как по телу прошла судорога, стал бить озноб. С удивлением обнаружил, что, вроде бы, жив. Сознание вернулось, голова была тяжелой, ее невозможно было поднять, заплывшие глаза не открывались, челюсти свело.

Пальцами раздвинул веки и увидел, что лучи солнца косо, как и перед роковым выстрелом, стелются по земле. Значит, дело идет к вечеру. Сколько же он пролежал? Часов десять? Он лежал на спине. С трудом повернулся набок. Вокруг убитые. Свои и чужие. Никого не слышно. Подтянул автомат, кое-как перевалился на живот и стал ползти. Самому из глубокой траншеи не выбраться, нужно найти пологий склон. Долго ли полз, коротко ли время остановилось. Дополз. В этом месте через траншею прошел танк. Полежал, собрался с силами и стал карабкаться наверх. На вершок поднимется, автомат подтягивает без оружия в медсанбате не примут. Цепляясь пальцами, обламывая ногти, на локтях выполз из траншеи.

Косые лучи солнца по-прежнему веером расходились по небосклону. Повсюду лежали убитые. Бой прокатился в какую сторону? и затих. На горизонте показалась редкая цепочка людей. Они шли к передовой. Время от времени наклонялись. Санитары! с облегчением вздохнул он, и пополз навстречу.

До слуха донесся пистолетный выстрел. Не обратил внимания. Раздалось еще два сухих хлопка. Насторожился. Присмотрелся. Люди были в нашей форме. Похожи на азербайджанцев.

И вдруг он понял! И будто молния ударила ему в голову!

Это не санитары! Это мародеры… Пристреливают раненых и обирают убитых. И снова черное отчаяние овладело им. Остаться в живых после смертельного ранения и погибнуть от рук своих! Какие это свои? Они хуже фашистов.

Пристрелят! горько думал он, продолжая ползти. Встретились. С трудом вывернув голову, попросил: «Ребята! Пропустите!»

И они его пропустили.

То ли сжалились над его молодостью, то ли автомат, которым он все равно не мог воспользоваться, произвел впечатление. Но они его пропустили!

Еще не веря в свое второе спасение, пополз дальше и к утру приполз в медсанбат.

…Медсанбат был другой дивизии, и его не приняли. Но дали кусочек хлеба. Есть он не мог. Рот не открывался. Отщипывал маленькие кусочки, проталкивал сквозь зубы и сосал. И полз дальше. Отдыхал и снова полз. Так дополз до госпиталя. Там приняли и перевязали. На какие сутки после ранения? Пятые? Седьмые? Счет времени потерялся.

Это не выдумка, это мой товарищ Алексей Тихонович Дуднев.

Фронтовики знают, что медсанбаты, как правило, принимали раненых только своей дивизии и очень неохотно из других соединений. Сейчас можно возмущаться сколько угодно. В наступлении идет такой поток раненых, что их не успевают обрабатывать. Вокруг палаток медсанбата скапливаются сотни людей, нуждающихся в помощи. Сестры стараются запомнить, кого привезли раньше, кто из тяжелых нуждается в срочной операции. Из операционной доносятся душераздирающие крики. Не хватает перевязочного материала. Силы медперсонала на исходе. Хирурги спят по несколько минут, прислонясь к стене. Не удивительно, что в этих условиях раненые из других дивизий воспринимались как «чужие». И это было им ужасно обидно и казалось кощунством. Фронтовая печать не раз об этом писала. Оправдывать это нельзя. Но понять можно.

В батальоне был молодой солдат Черепанов. Так случилось, что батальон освобождал его родное селю, где оставались мать и девушка. Село была занято неожиданно, никто не подозревал, что русские так близко. Дом находился на окраине. Распахнув дверь, он увидел свою мать. Но в каком виде! Мать была сравнительно молодой женщиной, едва за сорок. Она была накрашена, завита и совсем не выглядела несчастной. Рядом, в таком же расфранченном виде, стояла его девушка… Забежали соседи, сказали, что мать открыла публичный дом для немцев и вовлекла в эту грязь его девушку! Черепанов весь затрясся. И застрелил мать! Хотел застрелить и девушку, вошедший комбат не дал.

Публичные дома для оккупантов были не редкостью. Этих женщин ненавидели больше, чем немцев.

Училище было в Молотове (Пермь), где Давид Кушнер жил. В 1943 году, надорвавшись на непосильной работе, умерла мать. Единственный сын. Братьев и сестер не было. Отца он не помнил. Пошел к начальнику училища генералу Коратаеву. И тот отказал! Училище, мол, будет грузиться на фронт. Это было вранье. И они оба это знали. Что делать? Мать. Больше никогда не увидит. И он ушел в самоволку. Всю ночь просидел у ее изголовья. На похороны не остался. Хоронили соседи. На проходной его уже ждали. Сорвали погоны, отобрали ремень, отстегнули хлястик, руки назад. Построили училище: «ПОД ВИДОМ (!) похорон матери пытался дезертировать. Надо расстрелять, но мы решили отправить в штрафную роту». Никуда не отправили. Десять суток просидел на строгом аресте хлеб и вода. Устроили спектакль для курсантов.

Под Шяуляем, когда перевал войны был уже позади, нашу оборону перешел человек. Был он без оружия, в поношенной гражданской одежде, никаких документов при нем не было. Быть может, бежал из лагеря и пробирался домой? На свою беду он ни слова не понимал, ни по-русски, ни по-немецки. Позвали литовца то же самое. А он говорил и говорил, пытаясь что-то объяснить. Скорей всего это был латыш иди эстонец, но никто не знал ни латышского, ни эстонского языка. Проще всего было отправить его в вышестоящий штаб. Но с ним надо послать конвойного. Расстрелять проще. Как говорил «великий вождь»: нет человека нет проблемы. Я пытался предотвратить расправу. Начальство посмотрело на меня с недоумением. Еще и обругали.

Та смерть не дает мне покоя до сих пор.

К концу войны ожесточение достигло крайних пределов. С возрастом становишься сентиментальным. Но то, что фашисты делали на нашей земле простить нельзя. «Немцы не считают советских за людей». От частого употребления эта фраза стерлась, потеряла свой изначальный смысл.

Любимым развлечением фашистов было, построив в ряд военнопленных или гражданских лиц, особенно комиссаров и евреев, выстрелить в ухо крайнему сколько человек сразит пуля. И это еще считалось невинной забавой. Специально натренированные собаки, натравливаемые на мужчин, выгрызали половые органы, маленьким детям отворачивали головы, как гайки, женщинам засовывали во влагалище горящие головешки. Были вещи, о которых писать страшно. На нюрнбергском процессе они были засекречены на пятьдесят лет. Но и сейчас нет сил об этом написать.

И все же, по зрелому размышлению, пока рукопись ждала своего часа, я пришел к выводу, что написать надо. Решение далось мне нелегко. Слишком чудовищным было содеянное. Речь идет о живых «подушках» и «полу-подушках», которые заказывали себе некоторые офицеры СС.

«Подушка» это девушка или молодая женщина, которой ампутируют обе ноги до паха, а на культи натягивают половые губы, и обе руки по плечи. Иногда руки оставляют и тогда это «полу-подушка». Идя в гости или на вечеринку, офицер брал «подушку» подмышку, а «полуподушка» обхватывала его сзади за плечи. Все эти жуткие подробности рассказал на процессе профессиональный хирург, производивший эти операции по указанию офицеров СС. Другие заключенные относились к несчастным с болью и жалостью, опекали их, кормили и обмывали…

И спустя полвека кровь стынет в жилах, когда пытаешься представить себе этот ужас. Не случайно, после всех преступлений, открывшихся на Нюрнбергском процессе ЭТО трибунал засекретил на 50 лет.

На территории Румынии начальник связи 74 стрелковой дивизии майор Наум Альшанский обнаружил брошенную немцами грузовую автомашину с ящиками мыла. На каждом куске была вдавленная надпись на немецком языке «Это мыло сделано из чистейшего еврейского жира»… Мыло было захоронено на местном еврейском кладбище, уцелевшие евреи произнесли заупокойную еврейскую молитву «кадиш». Бойцы и командиры по еврейскому обычаю стояли с покрытыми головами.

Не намного лучше вели себя в Германии и мы… Но до такого зверства не доходило.

К тридцатилетию окончания войны в Германии был издан двухтомник, переведенный потом на многие языки, в том числе русский, «Преступления против немцев». С немецкой пунктуальностью в нем были собраны факты издевательств и расправ над гражданским населением. Отрицать это было невозможно: все было заактировано, запротоколировано, засвидетельствовано, сфотографировано в отличие от нас, у них были фотоаппараты.

Советское руководство не стало их отрицать. Было сказано: «Нельзя ставить на одну доску преступника и его жертву».

Звездочка

Зимой сорок второго сорок третьего года в гигантском Сталинградском котле переваривалась, огрызаясь и не желая сдаваться, трехсот тридцатитысячная армия Паулюса. Гитлер запретил им капитулировать, обещал помочь, бросил на прорыв кольца армию Манштейна во главе с танковой группой генерала Готта. За последние недели мы с боями прошли сотни километров, позади были взорванные мосты, разрушенные железнодорожные пути, раскисшие дороги. Тылы отстали, люди валились с ног от усталости. Дивизия оказалась на внешнем обводе кольца, одной из первых приняла удар, была смята и отрезана от своих.

Окружение… Слово хорошо знакомое нам с сорок первого года. И хотя начался уже сорок третий, неприятный осадок сохранился. Лица потускнели, на них легла тень. Стало тоскливо и неуютно. Неизвестность угнетала.

Обстановка осложнилась еще накануне. Ночью перед нашей обороной слышался гул танковых моторов. Стало ясно немцы готовятся к прорыву. Все офицеры штаба полка на переднем крае. Боеприпасов в обрез. Рокот моторов усиливается. Командир полка дал противотанковую гранату и указал на огромный валун, лежащий у самой дороги. Камень выпирает из крутого склона оврага, бросать придется левой рукой. Неудобно, но под гусеницу попасть можно.

Головной танк медленно приблизился, лязгнул гусеницами и остановился. Не добросить, далековато, да и не попасть в темноте. Напряжение достигает предела. Граната врастает в руку. Неожиданно танки попятились, их утробное урчание постепенно удаляется. Не решились ночью спуститься в овраг. Напряжение немного спадает. Расходимся по своим местам.

Под утро задремал, уронив голову на полевой телефон. Снаряд разорвался под самым окном. Осколки стекла посыпались за воротник шинели. На улице встревоженный крик: «Танки!»

Штаб полка уже не отвечает. Со стороны штаба, держась ближе к домам, перебегают в нашу сторону какие-то фигуры. Может, свои?

Шинели уж больно темные… Немцы! Бросаемся к оврагу. Немецкие танки изменили направление и обходят нас. Отступаем под защиту своей артиллерии вон она, по ту сторону огромного ровного поля. А может, поле только кажется нам огромным, может оно не такое уж большое его нужно перебежать под огнем противника, укрыться негде. Отчетливо видны выдвинутые на прямую наводку орудия. Они молчат. Вот уж добежим, спросим: почему не стреляли! Горячие слова кипят в наших сердцах.

Развернув башни в нашу сторону, танки ведут беглый огонь. Господи! Только бы сразу! Если рядом не окажется близкого товарища не подберут. Это не кино. Это война, и требовать этого нельзя. О Лапине и Хацревине еще не было известно. Выходя из Киевского окружения, один из писателей был ранен, второй остался с ним, и оба погибли.

Но вот и пушки. Подбегаем, готовые схватить артиллеристов за грудки, и… слова застревают у нас в горле. На каждый ствол по три снаряда. Только для прямой наводки. Поспешно занимаем оборону перед артиллерийскими позициями. Но немцы нас не тревожат. Оставляют на потом…

Ночью поступает приказ выходить из окружения мелкими группами. Это последнее дело. Но ничего не поделаешь. Выходить надо. В моей группе одиннадцать человек, все незнакомые, из разных подразделений.

Незадолго до этого я получил свой первый офицерский чин и вместо трех треугольников сержанта вколол в петлицу квадратик, именуемый, почему-то кубиком, или, по-солдатски, кубарем, я стал младшим лейтенантом, чем изрядно смутил своего старшину-сверхсрочника, у которого был в подчинении.

Немцы еще не успели организовать сплошную оборону. Первую линию проходим в темноте сравнительно легко. Но выйти к своим не удается. Куда ни кинемся всюду немцы, стыков не нащупаем. Светает, и деться нам некуда. Залегаем в бурьяне вблизи большака. По дороге непрерывным потоком, к фронту и в тыл, движутся немецкие автомашины, снуют мотоциклы, проезжают обозы, с передовой везут раненых.

Здесь недавно прошел бой, по обочинам лежат перевернутые автомашины, стоят обгорелые танки, искореженные орудия, разбитые брички. И неубранные трупы лошадей и солдат.

С дороги мы должны казаться грудой тряпья. Не видеть нас немцы не могут но, по-видимому, принимают за убитых. А мы еще живые…

Если немцы нас обнаружат… Об этом лучше не думать… Еврею попасть в плен нельзя. Лучше застрелиться сразу. А не хочется. Русские ребята проще относились: ну, что делать, на то война. На сколько нас хватит? У одного автомат, у остальных винтовки и по горсти патронов, ни одной гранаты…

Днем подтаяло, дорогу развезло. Немцы норовят проехать по суше, вытоптали бурьян по обе стороны большака метров на сто. Холодно. Встать погреться нельзя видно с дороги. И есть нечего. Но другого выхода нет только лежать и ждать. Лежим, мерзнем,

тихо переговариваемся. Обменялись адресами: кто в живых останется сообщит родным о нашей судьбе. Томительно тянутся часы, время как будто остановилось.

Наконец, стал клониться к вечеру и этот нескончаемый день. Начинает смеркаться, быстро темнеет.

С наступлением ночи движение на дороге не ослабевает. Даже становится более интенсивным теперь противник не боится нашей авиации. Мимо, в нескольких шагах, два немецких солдата волокут станковый пулемет. Покосились на нас, примолкли, но подойти не решились. Может, приняли за своих, может просто побоялись рисковать. Удаляются.

Не успевает улечься волнение, как с дороги сворачивает еще один фриц. Здоровый детина в маскировочном костюме белой стороной наружу (костюмы были двусторонние, летом выворачивались зеленой стороной). Прошел в двух шагах, посмотрел равнодушным взглядом, пошел дальше.

С беспокойством смотрим ему вслед. Не передумал бы. Точно. Прошел шагов сорок, остановился, потоптался на месте, видно, сомнения одолели.

Возвращается. Автомата не снял, значит, думает, убитые, в карманах пошарить. Любопытство его погубит. Он — один, нас одиннадцать.

Заманчиво притащить языка. А не выйдем что о нем говорить…

Предупреждаю: Не стрелять! Дальше как в кино.

Рядом со мной лежит автоматчик в шапке-ушанке с не завязанными тесемками. Немец подходит к нему, наклоняется, берет двумя пальцами за ухо шапки, приподымает и видит открытые, живые глаза! Испугавшись, резко поворачивает голову ко мне, а у меня рука на локте и в ладони тускло поблескивает пистолет.

Рот немца открывается в немом крике, челюсть отваливается, а звука нет. Автоматчик поднимается на колено и с придыханием, как при колке дров, ударяет немца прикладом между глаз. Но в этот момент один из группы не выдерживает напряжения и стреляет…

Выстрел служит нам сигналом: Вперед! Вскакиваем и мчимся через дорогу. Без языка. Он навсегда остался на нашей земле. Бежим так, что сердце перемещается в горло и вот-вот задушит. Датчики бы на нас установить, все рекорды были бы нашими…

Вокруг нас поднимается беспорядочная стрельба. Но мы уже по ту сторожу большака. В изнеможении валимся в бурьян. Бежать все равно нет уже сил. С трудом отдышались. Все целы. Это большое счастье. На шинели, натянутой на винтовки, далеко

не пронесешь. А бежать и вовсе невозможно.

Теперь надо сориентироваться. Стрельба идет повсюду, не поймешь, где свои, где чужие. Но вот километрах в десяти заиграли катюши. Катюши верный ориентир там наши! У немцев такого нет.

Впереди виднеется большое село. Из этого района вели огонь катюши. Через огороды бросаемся к крайнему дому. В селе идет бой. Светящиеся пунктиры трассирующих пуль, перекрещиваясь, летят навстречу друг другу. Осторожно выглядываю. Улица пустынна. Показался солдат. Темно. Обмундирования не разобрать. Похоже на наше, но не исключено, что немецкое. Напряжение достигает предела. Хочется скорей к своим. Хоть та же война, но спиной о своих опереться.

Выждав, пока солдат поравняется с домом, выскакиваю, кидаюсь наперерез и, прежде чем он успевает что-нибудь сообразить, хватаю его правой рукой за грудки, а левой на всякий случай за карабин: Ты кто?!

А он перепугался и молчит…

Текут секунды. Подбегают еще двое моих ребят: Ты чей? От волнения не соображаем, что не худо бы и по-немецки его спросить.

В нетерпении хватаю его рукой за шапку. В ладонь впиваются острые уголки…

Звездочка.

Наши.

На Сиваше

«На Сивашах» сказали бы старые солдаты, участники гражданской войны. Впрочем, многие из нас, ветеранов Отечественной, и по сей день, встречаясь по праздникам, тоже говорят: «А помнишь, на Сивашах…» Может быть не очень грамотно, зато более емко. Сиваши во множественном числе есть что-то масштабное.

844-й стрелковый полк, в котором я тогда воевал, двумя батальонами занимал оборону на узкой полосе суши между Айгульским озером и собственно Сивашем. На правом фланге нашего батальона проволочные заграждения уходили в воду. За нами на крошечном участке полуострова артиллерия и штабы, впереди противник, кругом вода.

Небольшой плацдарм простреливается до самой переправы. Длинная, километра три по воде через небольшой островок переправа наша связь с Большой Землей. Связь эта частенько рвется немцы непрерывно бомбят и обстреливают переправу. Из наших окопов кажется, что от переправы уже ничего не осталось и уж, во всяком случае, никого там не осталось в живых. Но переправа снова оживает! Это просто сказать. Я и ныне преклоняюсь перед мужеством саперов и понтонеров Сивашской переправы.

Через неширокую нейтральную полосу порой мелькают в окопах горчичного цвета мундиры румыны. Позже, к весне, не без основания сомневаясь в своих собратьях по оружию, их сменили немцы.

Земля сухая, безлесная, местами проступают серые пятна соли. Воду привозят издалека, не хватает дров топить кухни, случалось топили толом, кому-нибудь скажи не поверят. На блиндажах никаких накатов, еле-еле землей присыпано, и от мин не спасение.

…Снаряд влетает в блиндаж. Мгновенное горькое отчаяние. Все сжимаются в комок… Взрыва нет! Головы нехотя вылезают из плеч, как из панциря черепахи, осторожно распрямляемся. Руки нехотя отрываются от груди.

Болванка! — с облегчением бросает кто-то — Выбрось! — не своим еще голосом говорит комбат ординарцу. Ординарец не торопится: Хай трошки охолоне!

Однажды по нейтралке заметался невесть откуда приблудившийся заяц. Крики и улюлюканье поднялись с обеих сторон. Раздалось несколько выстрелов. Мы улюлюкали сильнее,

и заяц, не разобрав, где свои, где чужие, с перепуга перебежал к немцам.

В последних числах марта неожиданно замела поземка. Три дня свирепствовали поначалу казавшиеся безобидными снег и ветер. Окопы замело доверху! Все вылезли из блиндажей и землянок: и мы, и немцы друг у друга на виду откапывали огневые позиции и траншеи, с опаской и любопытством поглядывая на противника.

Война прекратилась! Природа оказалась сильнее! Неправдоподобно, но факт. По взаимному негласному «джентльменскому» соглашению, на передовой воцарилась непривычная тишина. Слышались только голоса людей, державших в руках мирные лопаты вместо винтовок. Странно было видеть, как по обе стороны недавно полыхавшей огнем нейтральной полосы враждующие армии копаются на тихой земле, как крестьяне, вышедшие в поле для снегозадержания.

Это была редкое и удивительное зрелище.

Но вот прозвучал первый выстрел. Кто его сделал? Мы? Они?

Передышка кончилась. Война продолжалась.

Перед началом наступления нашему батальону вечером 7 апреля 1944 было приказано произвести разведку боем. От КП батальона до переднего края нужно было пройти по ходу сообщения, наполовину залитому водой, метров четыреста. Утром мы уже здесь были. Вместе с помощником начальника политотдела по комсомолу капитаном Шкуриным вручали комсомольские билеты.

Михаил Васильевич Шкурин был моим самым близким фронтовым другом. Эта дружба продолжалась до самой его смерти. После войны он окончил Военную Академию и командовал одной из первых ракетных дивизий на Дальнем Востоке. Михаил не только хорошо относился к евреям он их любил. Ценил в них добросовестность, чувство ответственности, высокий профессионализм. Не случайно все три его заместителя были евреями. Дивизия была на хорошем счету, занимала первое место в Округе по боевой и политической подготовке. На свою «беду» он еще был женат на еврейке. Когда подошел срок присвоения очередного звания, его вызвали в Москву, в Управление кадров Министерства Обороны и без обиняков, прямо и просто, по-солдатски, сказали: «Ты генерала не получишь никогда. У тебя жена еврейка». Он подал рапорт и вышел в отставку.

Справедливости ради надо сказать, что среди фронтовых командиров встречались и такие, кто с уважением, хоть и без

большой любви, относились к евреям, ценили их преданность и умение, своевременно представляли к очередному званию и не обходили заслуженными наградами. Таким был полковник Шкурин.

Рассуждения о том, что на войне не было антисемитизма, сродни бредням о том, что евреи не воевали. А на фронте солдату-еврею находилось место лишь у входа в землянку, где никакая плащ-палатка не спасала от холода. Если непосредственный командир или начальник был антисемитом, а такое было отнюдь не редкостью, офицер-еврей задерживался в звании, последним представлялся к награде и терпел другие неудобства, а порой и издевательства. Знаю это по себе…

Как курьез, приведу действительно имевший место случай, когда командир дивизии, наступавшей в направлении Бердичева, несколько дней стоял у стен города, ничего не предпринимая для его освобождения, чтобы дивизия не получила наименование Бердичевской…

Но вернемся к Шкурину. В те далекие годы он часто приходил ко мне в батальон, и мы вели задушевные разговоры. Однажды, на большом переходе, холодные и голодные, постучались ночью в одинокую избу. Стариковский голос не сразу ответил. На тебе крест есть? совершенно не по должности спросил Михаил. Ты лучше спроси, есть ли у него картошка сказал я. Ни того, ни другого, по-видимому, не оказалось, дверь так и не открылась.

Близится вечер. Плюхать по жидкой глине хода сообщения особенно не хочется. Выскакиваем за бруствер и бежим. Шлепается мина. Заметили. Да и не мудрено, место ровное, как стол. Сразу три разрыва. Нас уже двое: комсорг полка Александр Кисличко и я. Замполит батальона Приворотский исчез. Не останавливаемся. Кругом свои. В каждом окопе связисты, арт-наблюдатели, санитары помогут. (Через месяц, перед штурмом Сапун-Горы, Приворотский вернулся из госпиталя со свежим розово-синим шрамом на лице.)

Добежали. Запыхавшись, прыгаем в окоп, забираемся в подбрустверный блиндаж. Сейчас начнется артподготовка. На земляном полу валяется немецкий ножевой штык. Поднимаю и быстро, несколькими взмахами, сбрасываю с сапог налипшую глину. Сидящий в противоположном углу Саша, не глядя, протягивает руку. Подаю ему штык. Саша аккуратно счищает с сапог глину, медленно, тщательно выскребает каждую землинку из рантов. Мысли его где-то далеко. Задумался. Глаза отсутствуют. С беспокойством наблюдаю за этой ювелирной работой. Не к добру.

До начала артподготовки остаются считанные минуты. Снова вылезать в эту хлябь, сапоги снова станут пудовыми. Но и оставаться в подбрустверном окопе небезопасно. Они не имеют перекрытий и часто оседают не от прямого попадания даже, а от близкого разрыва.

Рядом, в боковой ячейке, где, по-видимому, раньше стоял миномет, умирал солдат. Он был ранен утром, ранен тяжело, в живот. До вечера его было не вынести. И он это знал. Мучительно было осознавать, что мы ничем не можем ему помочь. Он полулежал-полусидел, прислонившись к стенке траншеи, и молча смотрел на товарищей, то и дело пробегавших мимо его убежища. В его глазах не было ни мольбы, ни укора. Он никого не окликал, не звал, ни к кому не обращался с просьбой или упреком. Он понимал, что умирает, не жаловался, не роптал. Было что-то удивительно русское, мужественное, даже возвышенное в том, как он умирал. Просто шла война, и пришел его час.

А через сколько-то времени придет и наш…

Выбираемся. Ход сообщения упирается в траншею. Этот перекресток хорошо пристрелян тяжелой немецкой артиллерией, но и деваться больше некуда. Смотрим на часы. В вечернем воздухе звучит одинокий орудийный выстрел. Разом вскипает все пространство за нашими окопами. Грохот такой, что не слышно, даже если кричать в ухо. Противник приходит в себя. Начинается контрбатарейная стрельба.

Тяжелый снаряд ударяет надо мной в стенку траншеи. Земля качнулась. В мгновение взметнулись тонны грунта и обрушились. Черное отчаяние затопило грудь. Откопают через двадцать лет, как красноармейцев Фрунзе. А пока без вести пропавший… Быстрой лентой в тускнеющем сознании промелькнули несколько кадров: отец, спасающий меня, тонущего в детстве, усталое лицо матери, ее натруженные руки на коленях, еще что-то невнятное, затухающее. Зеленые круги… Все.

Вдруг чувствую на лице грубые мужские руки. С трудом открываю глаза: Саша! Живой? — озабоченно спрашивает он. Живой! — отвечаю. Как нашел? По шапке! — доносится до меня, и Саша, пятясь, отползает от этого опасного места. Счастливое везение: шапку отбросило взрывом и не завалило землей, а если бы засыпало и он начал копать с ног… Рвется еще несколько снарядов. Один попадает прямо в мой «курган». Изо всех сил верчу головой, чтобы сбросить посыпавшуюся снова землю. Но все равно остается лишь небольшая дыра, через которую с трудом дышу и ругаюсь на чем свет стоит. Но никто не подходит. Потом я их спрашивал: «Вы, что же это, черти полосатые? А мы слышали,

что ты ругаешься значит живой!»

Лежать становится невыносимо тяжело. Все тело болит, руки и ноги сводит судорога. Подленькая мысль нет-нет, да и шевельнется: вдруг наступление не удастся, и наши откатятся обратно? На войне всякое бывает. Обнаружив мою нелепо торчащую из земли голову, немцы с удовольствием устроят из нее мишень. Я беспомощен. Могу только ругаться. Атака кончается. Мимо, обходя образовавшийся завал, проводят нескольких пленных. По траншее кто-то пробирается и виртуозно матерится. По голосу и мату узнаю нашего старшину. Окликаю его. Но он контужен, не слышит и в темноте, перебираясь через завал, наступает мне на голову, едва не оторвав ухо.

По траншее идет парторг батальона капитан Нечитайло и сержант Сидоренко. Несут на передовую водку в высокой металлической консервной банке от американской колбасы. Натыкаются на мою торчащую из земли голову: Це вы?! Хватают лопаты и начинают откапывать. Освободили плечи и пытаются выдернуть меня из земляного плена, не тут-то было! От взрывов земля спрессовалась и не отпускает. Пополам перервете! Копайте дальше! Наконец вырывают. Только сапоги остаются в земле.

Пока откапывали — водку кто-то унес! Реакцию описать не берусь…

Первый вопрос: Где Саша? Был с тобой! Печальная догадка пронзает мозг. Ройте здесь! Все устали, копать никому не хочется. Ройте! чуть не за пистолет хватаюсь. Через час находим Сашу…

Снаряд ударил над ним, и никого рядом не оказалось…

Утром нам удалось занять безымянную высоту на берегу Айгульского озера. Небольшая, в сущности, высотка, менее ста метров, такие на военных картах не нумеровались, господствовала над единственным здесь перешейком, по которому только и могли пройти наши войска и развить наступление в глубину Крыма.

Но и потери были большие. Когда опомнились после боя, на высотке нас собралось из батальона всего семнадцать человек…

Сидели немцы тут долго, высота хорошо обжита, траншеи отрыты в полный рост, блиндажи в несколько накатов, даже мебель кое-какая есть. «Эвакуировались» немцы с высоты во «внеплановом» порядке, побросали оружие, что, вообще, на них не похоже, боеприпасы, продовольствие, даже вино какое-то французское на наш неизысканный солдатский вкус кислятина.

Немцы не смирятся с потерей контролирующей высоты, это понимают и наши. Время от времени от наших старых траншей, из которых вчера вечером началась разведка боем, а сегодня

утром развивалось наступление, поднимаются нам на помощь густые цепи пехоты. И каждый раз немецкая артиллерия открывает шквальный огонь. Цепи залегают.

С тяжелым чувством смотрим себе в тыл, на свои давешние позиции. С высоты хорошо видно, как снаряды и мины рвутся прямо в рядах наступающих. До ночи подкрепления ждать нечего. Не пройти.

Сунулись и немцы. Такая же картина, только наоборот, теперь клочья полетели от них. Наша артиллерия нас прикрыла. Уже веселее.

Так и сидим между двух огней.

Вечереет. Вася Тещин спускается в огромную воронку, вырытую утром тысячекилограммовой бомбой. Я сижу на ее краю, переобуваюсь. Солдатская сушилка известна: перемотал портянку сухим концом, высохнет на ноге. Правда, какая погода, а то и оба конца сырые.

Василий вылезает из воронки, расправляет под ремнем гимнастерку, достает ракетницу и стреляет. Смотрю на него с осуждением. К чему лишний шум, тихо и хорошо. Но еще прежде, чем эта ленивая мысль принимает осознанные очертания и прежде, чем он успевает открыть рот, по его лицу я вижу обстановка переменилась!

— Танки и пехота противника! — кричит Вася.

Мгновенно оказываюсь рядом с ним. При свете падающей ракеты на фоне черного горизонта отчетливо видны четыре танка и до двух батальонов пехоты. Немцы уже развернулись полукругом и цепями обходят высоту. Увидев, что они обнаружены, немцы открывают огонь. Передний танк стреляет. Из башенного орудия вырывается кинжал огня и мгновенно исчезает, подобно языку змеи, как бы втягивается обратно в ствол. С его острия огненной каплей срывается небольшая огненная комета с коротким искрящимся хвостом и — нам кажется — медленно летит в нас. Как зачарованные, не в силах отвести глаз, смотрим на ее светящийся след. В последние мгновения, приближаясь к нам, она ускоряет свой красивый и роковой полет и с космической скоростью, промчавшись между Васей и мной, стоящими в двух шагах друг от друга, обдает нас своим холодным, смертным ветром.

Где-то позади нас снаряд ударяет в сорокапятку, которую артиллеристы выкатили на прямую наводку, и опрокидывает ее.

Кидаюсь к трофейному крупнокалиберному пулемету. Пулемет мне незнаком, да и весил я тогда не намного больше пулемета. Пока дал очередь, он меня на полметра отпихнул.

Стреляем все. И из своего и из трофейного. Подбираем гранаты. Я кидал недалеко, предпочитая немецкие на длинной ручке с пуговкой они удобнее.

Сзади слышен неясный шум, движение, отрывистые команды. Это наши, что днем не могли добраться до высоты, быстро идут на помощь. Выкатываются еще две противотанковые пушки и с ходу открывают огонь. Один из танков вспыхивает. Из его люков выпрыгивают черные фигуры. Второй дымит и останавливается. Остальные два танка пятятся и уходят. За ними в беспорядке отходит пехота.

Наша взяла!

В Крыму

До войны я не бывал в Крыму. Путевки были редкостью, а ездить в Крым отдыхать на свои могли только состоятельные люди.

Апрель сорок четвертого был теплым и мягким позагорать бы, отогреться после Сиваша… В первую ночь в Джанкое немолодая солдатка несколько раз отмачивала мою голову в горячей воде, пытаясь отмыть землю, накануне крепко вбитую взрывом в пышную тогда шевелюру. Ребята приволокли со станции трофеи: огромные сыры, похожие на колеса, с дыркой посередине, в которую солдаты просовывали винтовку, чтобы удобнее было катить, и несколько ящиков шоколада. Шоколад был плиточный и тоже круглый, по две плитки в коробочке. Сыр большого энтузиазма не вызвал, а на шоколад навалились. И. как оказалось, напрасно… Утром солдаты стали менять у населения шоколад на хлеб. Одну коробочку я доносил в полевой сумке до конца войны. Сберег для сестры.

Стремясь оторваться, противник быстро отходил к Севастополю, чтобы засесть в долговременных укреплениях, оставшихся от нашей обороны 1941–1942 годов. Двести пятьдесят дней держали оборону наши солдаты и матросы. Сколько-то немцы удержатся против нас?

Быстро продвигаемся в глубь полуострова. Пытаясь нас задержать, противник непрерывно бросает в дело авиацию. Мы идем под непрекращающийся грохот бомб и треск пулеметных очередей.

Комбат приказал идти с мин-ротой. Усталые, пропыленные и пропотевшие минометчики медленно бредут по берегу Сиваша,

неся на натруженных спинах и плечах разобранные 82 миллиметровые минометы. Воздух! раздается в отдалении тревожная команда. Воздух!

— Воздух! — эстафетой приближается крик. Вот они! От солнца на нас заходит девятка юнкерсов. Поздно заметили. Заходить от солнца известная хитрость: на солнце смотреть тяжело, глаза слезятся, видно плохо. Самолеты уже перестроились в боевой порядок, в круг, сейчас закрутится колесо бомбежки. Первый уже пикирует, метров триста от нас. Ничего. Осколки поверху пройдут, и взрывная волна ослабеет.

Но почему заметался в панике расчет, с которым иду? Один сбросил ствол, другой лихорадочно срывает с плеч лямки плиты. Смотрю с недоумением и тревогой. На лицах ребят ужас неизбежной, неотвратимой смерти. Ребята опытные. Значит, видят что-то, чего я не вижу.

На войне порядок один для всех: падай, где стоишь, разбираться будешь после. Падаю. В ту же секунду над головой раздается дикий вой выходящего из пике бомбардировщика. Значит, бомбы он уже сбросил…

Самолет, который я увидел, был не первый, а второй. Тонкую черточку первого я пропустил, не заметил на солнце. Уже почти лежа на земле, успеваю увидеть из-под руки бомбы летят прямо на нашу группу. Посередине одна на тысячу килограммов — в рост человека с хорошей полнотой, по краям две по двести пятьдесят. Для нас достаточно и одной, маленькой…

И тут я вспоминаю как там у Симонова: «а бомбы не спеша летели, как на замедленном кино», — что я иду по самому краю обрыва, и иду я по краю не просто так, а по какой-то интуиции, подсказанной опытом, и еще не успев прижаться к земле, толкаюсь правой рукой, переворачиваюсь через спину большая бомба проходит надо мной рукой подать! и лечу с обрыва. Две бомбы одновременно рвутся наверху…

В Сиваше дно илистое, большая бомба уходит глубоко и дает вертикальный выброс.

И возможность об этом рассказать…

К ночи батальон занял оборону на высоте, полого спускавшейся в долину. Выставили боевое охранение, солдаты попадали кто где, в воронки от бомб и снарядов, кому повезло в старые окопы. Рыть новые нет сил. Да и неохота. С рассветом снова наступать, передохнуть бы немного. Не тут-то было! Подозвал комбат и, пряча глаза, сказал: Посмотри соседей на флангах. Заодно приведи кухню. Людей покормить надо.

Ничего себе «заодно». Есть все равно не будут, в наступлении

кое-какие трофеи всегда имеются. А устали так, что короткий сон всего дороже. Но делать нечего, надо идти. Как сказал поэт: «мы пред нашим комбатом, как пред господом Богом чисты».

Комбат понимал, куда меня посылал у самого ноги не ходят. Сосед оказался только один нашего же полка батальон на правом фланге, но ведь и кухню найти надо. Где был хоз-взвод прошлой ночью, я знал, но старшина тоже не ждет и ищет свой батальон.

В походе старые солдаты стараются держать полевую кухню в поле зрения, следят за ее дымящейся трубой. Опытные командиры посылают кухни вперед колонны, и она тянет за собой людей. Если свернула в лесок, и вовсе радостно скоро привал. А уж после боя и говорить не приходится!

На юге сумерек нет. Это вам не Ленинград с белыми ночами. В Крыму солнце село глаз коли. Только стемнело закипела степь: тысячи бричек, сотни автомашин везли боеприпасы, продовольствие и фураж, забирали раненых, свозили к братским могилам убитых. Подтягивалась артиллерия, меняли позиции танки. Над головами летали ночные бомбардировщики, свои и чужие, и время от времени с неба падали бомбы. Натужно гудели моторы, ржали лошади, звучали команды вперемежку с крепкими словами, сыпались проклятия Гитлеру, войне и темноте.

В кромешной тьме тяжело ворочался, зализывая раны, отдыхая и набираясь сил, огромный механизм войны, чтобы завтра снова подняться во весь свой грозный рост.

Удивительно, но в этом кажущемся хаосе был свой порядок, каждый знал свою задачу, куда он идет и зачем, и упорно продвигался к своему рубежу.

Еще более удивительно, что в этой несусветной неразберихе, где не только засветить фонарик спички никто не зажигал, а курящие мучились, задыхаясь и кашляя под плащ-палатками, среди этой мешанины людей, лошадей, бричек, автомашин и боевой техники, я, к радости старшины и повара, потерявших всякую надежду найти свой батальон, кухню нашел! Ныряя под лошадиными головами, уворачиваясь от дышел орудий и радиаторов автомашин, окликая и спрашивая, бессчетное число раз спрашивая и окликая чужим, охрипшим голосом нашел!

Так я совершил свой единственный подвиг на войне.

Но, как это нередко случается с добрыми делами, мой «подвиг» остался никем не замеченным и не вознагражденным. Если не более того.

Взяв коня под уздцы, с сознанием выполненного долга, подвел кухню к расположению и, оставив ее внизу, стал подниматься к своему переднему краю, по пути расталкивая

спящих солдат: Ребята! Идите ужинать! (Или завтракать?) Кухня внизу. Солдаты просыпались, не сразу осознав, зачем я их разбудил, последовательно посылали меня подальше кто вместе с кухней, а кто и без нее…

На высоту лег туман. Он укрыл солдат белым ватным одеялом, и они зябко поеживались под ним. Туман уже начал сползать в долину, как будто кто-то стягивал со спящих покрывало: «скоро вставать, скоро воевать».

Из густого молока тумана неожиданно вырисовался ствол с дульным тормозом. Несколько секунд он как бы парил в клубящемся мареве и вдруг прочно врос в лобовую броню танка. Туман медленно сдувался с высоты, постепенно сворачивался, один за другим обнажая темные силуэты танков. Целая колонна тридцатьчетверок! И когда они так скрытно и неслышно подошли! На душе сразу стало веселее.

На высоте было тихо, с переднего края слышался говор, слов было не разобрать, слышал я после контузии плохо, сказывалась и усталость. Сознание выполненного долга и предвкушение близкого отдыха снизило порог бдительности и постоянного напряжения на передовой.

И я на минуту выключился из войны.

Ветер сдвинул с луны рваную тучку, и выглянувший в просвет месяц осветил передний край. Но этого мгновения оказалось достаточно, чтобы сердце оборвалось куда-то вниз и стало биться в неприличном месте. То, что я увидел, заставило волосы (а они тогда у меня были в количествах, не поддающихся точному учету), зашевелиться на голове.

А сапоги приросли к земле. При свете луны на бруствере только что выкопанной траншеи поблескивало оружие.

Но оно лежало стволами ко мне!..

Только сейчас я заметил, что грунт выброшен в мою сторону. Немцы! Вот почему я не разобрал слов не по-русски! Я прошел своих, и боевое охранение меня пропустило, не заметило. Задремали, наверное. Два немца, на которых я натолкнулся, видимо часовые, сидят в неглубокой траншее и, повернувшись друг к другу ко мне в профиль, невеселый ведут разговор.

Дальнейшее хорошо известно из литературы и кинофильмов. В подобной ситуации советский воин забрасывает противника гранатами и приводит в штаб полка немецкого генерала.

Ничего этого со мной почему-то не случилось. С трудом отрывая ноги от земли, пячусь, стараясь не шуметь и не выпуская их из виду. Но нервы не выдерживают, поворачиваюсь и бегом. Услышав шум, немцы спохватываются и открывают огонь. Несколько трассирующих пуль быстрыми огоньками

прошмыгнули в ногах. Поздно! Я уже прыгаю в воронку от бомбы и прямо на голову своему комбату. «Кухню привел!» запыхавшись, докладываю ему. А комбат только задремал и визиту не обрадовался: «Пошел ты со своей кухней!» неоригинально сказал он, и, посмотрев на свои трофейные часы со светящимся циферблатом, уже спокойнее добавил: «Ложись спать! Скоро атака!»

Приморская Армия начала наступление весной сорок четвертого года с плацдарма под Керчью, захваченного еще поздней осенью сорок третьего. Часть войск расположилась в катакомбах, там было спокойно в смысле бомбежки и артобстрела, но приходилось передвигаться почти ощупью. В этих катакомбах ютились тысячи людей, не успевших эвакуироваться при отступлении, в основном женщины и дети. На них было страшно смотреть. От голода, отсутствия свежего воздуха и недостатка движения они превратились в скелеты, обтянутые кожей. Эвакуировать их на Большую Землю не представлялось возможным — плацдарм простреливался насквозь, продовольствие поступало в ограниченном количестве, только для войск.

Когда начиналась раздача приварка, дети выстраивались вдоль стен, держа в руках кружки, миски, консервные банки и молча смотрели на проходящих с котелками солдат огромными — во все лицо — недетскими глазами.

И каждый отливал по ложке. Пока дойдет до своего места — в котелке дно видно.

Одним из первых на этот плацдарм переправился на плотиках взвод Александра Дерюгина. И только он поднял людей в атаку рядом разорвалась мина. Удар был такой, что отдалось в затылке. Подбежал санитар, наложил на ногу жгут. Ночью на носилках поднесли к отходящему пароходу. У трапа стоял военврач и в темноте сортировал раненых: Куда ранен? Тяжело? Легко? Тяжелых в трюм. Легких на палубу.

— Почему в трюм? — спросил Саша.

— Ты тяжелый. Все равно не выплывешь.

И правда, если пароходик потопят, легкораненые хоть за доску ухватятся.

Суровая и жестокая правда войны.

Рота должна занять оборону на реке Черной. Есть такая, от нее до Сапун-горы рукой подать. Да не сразу подашь бой там был тяжелый. Место нам известно, рекогносцировка была. Решаем сократить путь и из-за небольшой высоты выходим в распадок

прямо перед нашими будущими позициями. Втроем идем впереди: командир роты Вася Тещин, прозванный в полку за храбрость и имя Василий Иванович Чапаем, я и молоденький лейтенант, только из училища, моложе нас на пол-войны.

Только перевалили высотку тень мелькнула перед глазами. Тень мелькнула быстро, круто снижаясь на уровне глаз. Мина! Снаряд летел бы более полого. Маленькая такая, может быть даже из ротного миномета. Но для нас достаточно. Сейчас сверкнет пламя, а взрыва мы и не услышим. Ни упасть, ни заслониться рукой, ни втянуть голову в плечи — ни на что не остается времени. Мгновенное горькое отчаяние. Три года гонялась за солдатом и вот, нашла. Утлый челн уже готов перевезти через Реку Вечности и Солдат с веслом уже стоит за спиной.

Чуда не происходит. Мина попадает лейтенанту в грудь… Но мы… Мы остаемся живы! Все не веря, и не понимая, оглушенные и забрызганные чужой кровью, не решаясь посмотреть на то, что только что было нашим товарищем, мы понимаем: не мы первые попались в этом распадке он у них давно пристрелян. Кинуться назад не спасение, мины найдут нас на обратном скате. Остается один выход вперед! Лишь обменявшись полувзглядами, мы понимаем друг друга и бросаемся к немецким траншеям. И все за нами. Опешившие от такой наглости и неожиданности немцы не успевают перенести огонь, а мы уже прыгаем в старые, полу-обвалившиеся окопы нашей старой обороны.

Чем ближе к противнику тем безопаснее.

Восход и заход солнца самое подходящее время для снайперов. Лучи идут параллельно земле, и стоит чему-нибудь блеснуть: оптическому прицелу, консервной банке, новенькой, только что полученной медали, мгновенно следует выстрел.

По траншее переднего края идем с сержантом Сидоренко. На секунду задерживаемся у пустого пулеметного гнезда глянуть в сторону противника. Это автоматизм. Когда и куда бы ты ни шел по траншее все время поглядываешь на немецкие позиции.

У Сидоренко на груди гордо поблескивает накануне вечером врученная командиром полка медаль «За отвагу». Луч солнца упал на медаль, и она сверкнула. В ту же секунду раздался выстрел. Пуля ожгла ему висок и сухо щелкнула в противоположный бруствер. Глаза сержанта подвернулись вверх, обнажив белки, оглушенный он стал оседать. Я подхватил его под мышки, он тут же пришел в себя, с остервенением рванул с груди медаль и размахнулся швырнуть ее за бруствер.

«Погоди! останавливаю его. Ты ее спрячь в карман». Опытные солдаты колодку пристегивают к гимнастерке, а медаль опускают

в нагрудный карман.

И на груди, и не блестит.

Знамя на Сапун-горе

По счастливой случайности Севастополь был освобожден 9 мая 1944 года, в будущий через год День Победы. В памяти народной эти даты слились, и день освобождения города-героя отмечается одновременно с праздником Победы. (Бои на Херсонесском мысу продолжались до 12 мая.)

Севастополь. Средоточие российской военной и морской славы.

Немцы стянули сюда огромное количество войск и техники со всего Крыма. Они находились в более выгодном положении, занимали господствующие высоты, использовали наши долговременные укрепления, на которых осажденные севастопольцы отражали атаки в 1941–1942 годах.

Ночью мы переправились через неширокую, но быструю речку Черную, перед которой топтались, а вернее ползали весь день под прямой наводкой, не поднимая головы. Лежать под прямой наводкой не очень-то приятно (а под обычным артобстрелом приятно?). В долговременной обороне успеваешь присмотреться и притерпеться к батареям противника и, увидев, особенно в сумерки, вспышки выстрелов, уже знаешь: это по соседям, а это — наша, и успеваешь до прилета снаряда прыгнуть в укрытие. При стрельбе прямой наводкой траектория полета снаряда не превышает высоты цели и время между выстрелом и разрывом настолько мало, что сухой, короткий звук выстрела «бах» практически сливается с чуть более замедленным и хриплым разрывом «трах».

Темной громадой высилась перед нами Сапун-гора ключ к Севастополю. Перед ней была высота поменьше, на ней сидели немцы. Вечером, когда стало смеркаться, и противник решил, что на сегодня война уже закончена, мы тихо, без выстрела, стали взбираться на нее. Ползком пробираясь в темноте, перелезали через какие-то, довольно часто попадавшиеся, разбросанные в беспорядке мешки, которыми, по-видимому, были укреплены позиции немцев. Один «мешок» вдруг застонал и заворочался. Наши солдаты! Днем пытались взять высоту с ходу, Санитары! Один еще жив…

Подобравшись к первому дзоту, я успел заметить в амбразуру, как один из немцев, стоя спиной к нам, прикуривает

папиросу. Старший лейтенант Псел «уронил» в дзот через вытяжную трубу гранату и, отскочив в сторону, сказал: «Нате! Прикурите, гады! У бывшего севастопольского моряка Алексея Псела были с немцами свои счеты.

Высота наша. Немцы заметили нас слишком поздно. Теперь на Сапун-горе, прямо напротив нашего расположения, виден вход в железнодорожный туннель. Там, прикрытые толщей горы, разместились немецкие штабы и командные пункты.

По-видимому, эта высота имела большое значение, потому что командир корпуса генерал Кошевой прислал майора из оперативного отдела проверить, действительно ли мы ее взяли и та ли это высота.

Но и противник спохватился, что потерял важный подступ к Сапун-горе, и на следующий день с утра начал наступать. Атаки следовали одна за другой. Лейтенант-артиллерист, находившийся в нашем батальоне для корректировки огня своего артдивизиона, и двое его радистов отстреливались вместе с нами. Особенно ожесточенно рвались на высоту подразделения крымских татар-предателей. Они знали, что их ждет. Командир 2-й роты лейтенант Муратов из Казани, услышав отчетливо доносившиеся возгласы на татарском языке, совершенно вышел из себя. Его нельзя было удержать, русским языком он владел неважно и лозунг «За Родину! За Сталина!» как-то естественно трансформировался у него в более популярный и не менее действенный «Впирод! Ебона мат!» Он первым бросился в контратаку. Смерть настигла его у самых вражеских траншей, осколок попал в голову. Ночью мы вынесли его и похоронили. Все его любили в батальоне: и бойцы, и командиры, беззлобно посмеиваясь над его отвращением к свинине.

Среди крымских татар предателей было, вероятно, не больше, чем в другой национальности, но сформированные из них карательные отряды отличались неслыханной жестокостью. Это вызвало ропот недовольства даже в дружественных Германии странах, и Гитлер вынужден был разоружить и расформировать эти отряды. В дальнейшем они воевали в линейных частях германской армии.

Но это не должно было стать основанием для жестокой и несправедливой акции поголовного выселения их из Крыма.

Фронт сузился. Войск было достаточно. Раненые не хотели уезжать в тыл дальше медсанбата, надеясь принять участие в штурме. Не без основания опасаясь, что часть снимут с передовой и отведут во второй эшелон, командиры всеми правдами и

неправдами отстаивали участие своих подразделений в наступлении так велика была магия слова Севастополь.

Ударный батальон был сформирован из остатков 844-го стрелкового полка на базе его первого батальона, куда я накануне штурма был переведен из своего родного третьего. Перед наступлением в подразделениях были созданы штурмовые группы, и каждой вручили знамя кому выпадет солдатское счастье установить его на Сапун-горе. Вспоминая об этом, в книге «Годы военные» маршал Кошевой упоминает и мою трудную фамилию. Есть она и в Отделе Освобождения Севастопольской панорамы.

Первая попытка овладеть Сапун-горой была предпринята 26 апреля. Успех гарантировал бы освобождение многострадального Севастополя в течение последующих двух-трех дней как подарок стране к празднику 1 Мая. Накануне командование решило во что бы то ни стало взять языка. Это и во всякое время трудно, а тут оборона противника, сильно сжатая, плотная и, все время начеку.

Командир полка вызвал четырех солдат: Владимира Алпатова, Анатолия Пархоменко и двух Александров, Колесникова и Шакая. Пожилой военный в плащ-палатке, под которой знаки различия не были видны, сказал: «Ребята! Я член Военного Совета. Тому, кто возьмет языка Героя, остальным Знамя». Разведчики молчали.

Ночью все четверо перемахнули через наш передний край и поползли по нейтральной полосе. Добравшись до спирали Бруно колючей проволоки, густо растянутой перед траншеей, залегли возле наших убитых, несколько дней назад безуспешно пытавшихся захватить первые траншеи немцев. Было уже тепло, трупы распухли и разложились, лежать возле них было тяжело, но все же какое-то укрытие.

Из немецкой траншеи кто-то, видно, чтобы не уснуть, методически, через равные короткие промежутки времени, посылал мины из ротного миномета. Маленькие эти мины летели с легким пришептыванием пш-пш-пш и негромко рвались на нейтралке. Время от времени в небо с шипением взлетали ракеты, вокруг становилось светло и еще более опасно. Одна из ракет, не успев догореть в воздухе, упала на спину Пархоменко. От удара и ожога Анатолий вскрикнул и вскинулся, в ту же секунду немцы взяли его на кинжальный пулеметный огонь, и он мгновенно упал мертвый.

Пока немцы били в одну точку, Шакай и Алпатов отползли в сторону и в те редкие мгновенья темноты, когда предыдущая ракета уже догорела, а следующая еще не успела осветить

нейтральную полосу, они, прижимаясь к земле, добрались до своих и доложили, что Пархоменко и Колесников убиты.

Но Колесников был жив! Находясь рядом с Анатолием, он под непрекращающимся огнем пулемета пододвинулся к одному из трупов и, прикрывшись полой шинели убитого, замер.

Так он пролежал сутки.

Когда на следующую ночь он с трудом перевалил через бруствер нашей траншеи, его нельзя было узнать. Весь почернел, из-под обломанных ногтей сочилась кровь…

Штурм Сапун-горы начался утром 7-го мая. Чтобы добраться до нее, нужно было пересечь долину, вдоль которой по невысокой насыпи проходила железная дорога. Долина была так широка и так открыта, что перебежать ее под огнем противника представлялось абсолютно невозможным. Я надеялся добежать живым или доползти раненым, после подберут только до насыпи.

Это был тяжелый штурм. Несколько раз мы поднимались в атаку и снова залегали. Наша авиация и артиллерия работали беспрерывно, подавляя огневые точки противника, чтобы дать нам подняться. Во второй половине дня удалось ворваться в немецкие траншеи. Забыв всякие позывные, охрипшим и срывающимся голосом я кричал нашему начальнику штаба: «Мануйлов! Мануйлов! Перенесите огонь! Переносите огонь выше по Сапуну! И — вперед, и — выше».

Но это оказалось не так просто. Сзади по нам били оставшиеся на Сахарной Головке немцы она была очищена только на следующий день, сильный огонь велся с вершины горы, да и гора оказалась гораздо выше, чем это казалось издали. Лезешь на нее, лезешь, вроде уже и вершина близка, а это только уступ, терраса, и гора начинается снова.

Вначале знамя было в чехле, чтобы не выделяться и не привлекать внимания противника. Его нес парторг роты Евгений Смелович, а не комсорг, как в первые годы его представляли экскурсоводы панорамы. Перерезанный пулеметной очередью, он был убит, и не на вершине, как это «художественно» изображено на диораме, а на склоне горы, когда знамя было еще в чехле.

Командовал штурмовой группой командир первого взвода первой роты младший лейтенант Петр Завьялов. Он подбежал, сорвал чехол и вручил знамя молодому необстрелянному солдату, прибывшему к нам с пополнением на Сиваше я его и в комсомол принимал Ивану Яцуненко. Иван брать знамя не хотел. Это был его первый бой, и он находился не в лучшем состоянии. И выбрал его Завьялов не из политических соображений, а из чисто боевых: солдат со знаменем не солдат, ни стрелять, ни

бросить гранату, а нас осталось уже немного. Знамя он все же взял. И тогда его отец, Карпо Яцуненко, схватил ручник ручной пулемет и побежал впереди сына. Этот трогательный момент в Севастопольской диораме не отражен вовсе. А жаль.

За ними поднялись все, кто оставался в живых. Под незатихающим огнем, почти лежа, установили знамя непосредственно перед немецкой траншеей, в которой еще сидели гитлеровцы, и закрепили его двумя камнями.

Илья Пирог был ранен в ногу. К нему подбежала медсестра. В этот момент Илья увидел, как из-за камней высовываются два автоматных ствола.

Левой рукой успел Илья перебросить туда гранату, автоматы исчезли, но знамя, задетое пулей, стало падать. Илья удержал его и пододвинул третий камень, надежно закрепив знамя.

Было около семи часов вечера.

9 мая утром начался штурм Севастополя.

Только под Сталинградом пришлось видеть такой энтузиазм бойцов и командиров, как при штурме Севастополя. Многие из штурмовавших были сталинградцами, и может быть тогдашняя победа рождала новую.

Вначале немцы отстаивали каждую пядь. Но часам к двенадцати удалось выбить их из траншей, и они покатились к городу. Неожиданно от Севастополя стали подниматься в контратаку густые цепи немецкой пехоты. Еще и еще! Да их там тысячи! Нас осталось не так много. Появилась реальная угроза, что сбросят с Сапун-горы. При одной мысли, что ее придется брать еще раз, стало не по себе. Тысячи солдат и офицеров полегли в Инкерманской долине два дня назад и все сначала?.. Лихорадочно занимаем оборону и кричим в телефоны и просто, обернувшись назад: Артиллерия!! И как множество раз до этого и не раз после, артиллеристы выручают пехоту. Поднимается шквал огня. Снаряды и мины рвутся в гуще немецких цепей. Контратака противника захлебывается, немецкие цепи залегают.

Бог войны выручает царицу полей.

Правее нас на город наступали части 2-й Гвардейской Армии. Когда их передовые подразделения достигли бухты Северная, немцы уже успели взорвать мост и спешно окапывались на противоположном берегу. Не дать закрепиться! Форсировать с ходу! Но на чем? Предприимчивые солдаты уже разувают разбитые немецкие автомашины и надувают камеры. Но этого мало. Вдруг кто-то заметил, что возле находившегося поблизости кладбища штабелями сложены новенькие, что называется с иголочки, гробы, предусмотрительно заготовленные для

немецких офицеров. Двое расторопных ребят приволокли гроб, поставили на воду не течет, добротно сделан. Один сел, покачался не тонет! Второй примостился на другом конце. Все наблюдали с нескрываемым интересом. Убедившись, что гробы не тонут, солдаты мигом их похватали, поставили на воду, расселись попарно и, подгребая саперными лопатками, поплыли на ту сторону.

Десант на гробах!

Такого и в кино не увидишь.

Над нами появляется шестерка ИЛов. Вероятно, перед вылетом пилотов ознакомили с обстановкой, но она уже успела измениться. Штурмовики разворачиваются и на бреющем полете заходят… на нас! Тут и простым глазом видно, где свои, где чужие: мы лежим головами к Севастополю, а немцы ногами. Видно, летчики ребята молодые, да и не остановишься в воздухе рассматривать, что к чему.

Случай, впрочем, на войне не такой уж редкий для авиации и артиллерии. На своей шкуре не раз испытал. По этому поводу на фронте ходила грустная байка: дать по своим, чтобы чужие боялись.

Первый самолет уже с подлета открыл огонь. Как назло, кончились ракеты. Что делать? Сейчас своих постреляет! Вскакивая, перехватываю автомат в левую руку и, сорвав с головы шапку-ушанку, с остервенением потрясаю ею в воздухе, добавляя к этому впечатляющему жесту словесную «пулеметную» очередь солдатского фольклора, хорошо усвоенного за три года войны. Из всей этой эмоциональной речи единственно безобидным было междометие «Ах»…

Помогло! Летчик ведущего самолета, по-видимому, командир эскадрильи, свесил голову, прилип к фонарю кабины, довернул машину на меня, прижал пониже, потаращил глаза в больших очках и помахал рукой в краге: Понял, мол, свои! Провожая его сердитым взглядом и погрозив на прощанье кулаком, заканчиваю свою речь чем-то вроде, чтоб ты был здоров. (За точность цитаты не ручаюсь.)

Штурмовики пошли на второй круг и появились над противником.

Вероятно, это был единственный случай «прямого» разговора пехоты с авиацией.

Обидно мало написано о летчиках-штурмовиках. Все больше об истребителях и дальних бомбардировщиках. Штурмовики это пехота неба. Созданные для борьбы с танками противника и уничтожения его живой силы на переднем крае и в ближних

тылах, летали они не быстро, не высоко и не далеко. Неожиданно появлялись на бреющем полете и, прежде чем их успевали заметить, нависали над траншеями, забрасывая бомбами и поливая огнем пулеметов и маленьких катюш. По ним вели огонь, кто из чего горазд: и из стрелкового оружия, и из пулеметов и минометов.

С волнением следили мы из окопов за боем, ждали возвращения самолетов. Летят! У одного бок вырван, у другого в крыле дыра небо видно, третий дымит и плюхается на землю, едва перевалив нейтральную полосу. Кидаемся к самолету, вытаскиваем ребят, затаскиваем к себе, перевязываем, кормим, поим, чем нашлось. Они, возбужденные, не остывшие после боя, громкими молодыми голосами рассказывают и показывают руками, как было дело, и сидят с нами, пока стемнеет, и уходят в свои части, где уже, быть может, на них пишут похоронки…

После налета штурмовиков в стремительную атаку бросились все. Артиллерия не успевала переносить огонь. Бегущие, на ходу оборачиваясь, кричали: Передайте артиллерии перенести огонь! Бьют по своим! И снова вперед. А команду своеобразной эстафетой передают дальше. В третьем часу дня над городом взвился красный флаг. Севастополь снова стал нашим. Но город был разрушен, и к вечеру многие части вернулись на Сапун-гору. Счастливые и радостные от победы, оттого что Севастополь наш, что война отдалилась на какое-то время и расстояние, разожгли костры и сидели, выпивая и закусывая, чем интенданты порадовали и что Бог послал трофеи, стало быть, как и при всяком наступлении. В темноте от подножия Сапун-горы, со стороны Севастополя и со стороны Инкерманской долины стал подниматься и быстро разрастаться импровизированный фейерверк из всех видов оружия. Стал известен приказ Сталина о присвоении севастопольских наименований частям и соединениям и о салюте в Москве в честь освобождения города.

Внезапно прямо передо мной возник громадный красный, с черными прожилками столб огня, похожий на перевернутую, и поставленную на вершину пирамиду. Еще один. И еще. Это не салют! Бомбы! Разбивая лбы, ныряем друг на друга в большую воронку, вокруг которой на всякий случай сидели.

Рано демобилизовались. Немцы еще на Херсонесском мысу, и до их ближних аэродромов рукой подать. Война еще не закончилась.

Вернемся к знамени.

Спустя столько десятилетий, наверное, не очень понятно, почему так много о знамени. Знамя символ. Водружение его знак

победы. За штурмовыми группами, которым вручено знамя, наблюдают тысячи глаз. И те, кто непосредственно участвует в боевых действиях, и те, кто их обеспечивает. А уж всякое начальство и высокое командование не отрывает глаз от биноклей и стереотруб, и когда Знамя появляется такой восторг, такая радость, такое «Ура!» разносится на позициях… Когда появилась возможность встать во весь рост и оглядеться, увидели вдалеке еще одно знамя. Но это не огорчило нас. Самое трудное сделано. Впереди Севастополь!

Кубарем скатываюсь с Сапун-горы и бегу через долину на старый КП батальона доложить комбату. В блиндаже у него собрались под бетонными сводами сорок первого года какие-то люди, вроде бы и военные, со знаками различия и полевыми сумками, но форма сидела на них как-то нескладно, без того изящества, которое свойственно настоящему фронтовику. У многих были фотоаппараты, на коленях лежали блокноты. Корреспонденты! Увидев меня, они оживились. Возбужденный и запыхавшийся, я лихо откозырнул, собираясь доложить комбату, но он меня опередил и взволнованно, с надеждой в голосе, спросил: «Ну, что? Установили знамя? Установили! в счастливом возбуждении выкрикнул я. И, стремясь быть объективным, уже тише добавил: Только, по-моему, там еще до нас кто-то установил», — честно поделился я своими сомнениями.

(Впоследствии выяснилось, что первыми установили мы штурмовая группа 1-го батальона 844-го стрелкового полка 267-й Краснознаменной стрелковой Сивашской дивизии. Из-за этого моего «доклада» комбату произошла некоторая путаница и в документах музея освобождения Севастополя одно время значилась другая дивизия, а все фамилии наши. В связи с возникшей полемикой звание Героя Советского Союза было присвоено И. К. Яцуненко лишь в 1954 году, к 10-летию освобождения Севастополя.)

Лица присутствующих потускнели. На комбата было больно смотреть. Разочарованные корреспонденты позакрывали блокноты и, раздраженно запихивая их в полевые сумки и планшеты, стали выбираться из блиндажа.

Когда все разошлись, комбат, выдержав мхатовскую паузу, в течение которой, мне казалось, я неудержимо проваливался сквозь землю, глядя куда-то мимо меня, тусклым, безнадежным голосом убежденно сказал: «Первый раз вижу еврея такого дурака!»

Последующая жизнь не раз подтверждала этот диагноз…

В Прибалтике

Небольшой литовский городок был занят немцами без боя. Проснувшись поутру, жители увидели разгуливающих по улицам солдат. Маленький мальчик подивился невиданной доселе, темной военной форме. Его отец был партийным работником и разбуженный на рассвете стуком в окно, полуодетый, выскочил и ушел следом за покидавшим город советским активом. Больше мальчик отца никогда не видел.

В низкое окно мальчику была видна толпившаяся у лавчонки на противоположной стороне улицы очередь за хлебом. Мимо проходил немецкий фельдфебель. Заметив какой-то непорядок, он подошел к очереди: «Орднунг!» фельдфебель грубо растолкал собравшихся, перестроил их и, прилепив цепочку к стене, довольный, оглядел свою работу. Неожиданно он вгляделся в одного из стоящих: «Юде?» Седой старик утвердительно кивнул. Немец вывел его на середину улицы, достал из-за голенища гранату и, размахнувшись, сильно ударил несчастного по голове. Обливаясь кровью, старик замертво упал на мостовую с раскроенным черепом. Потрясенная очередь не шелохнулась. «Орднунг!» Еще раз гаркнул фашист и с сознанием выполненного долга, стуча коваными сапогами, пошел дальше.

Новый порядок был установлен.

Мальчика и его мать приютили на дальнем хуторе, где их никто не знал.

Шло время. К концу войны мальчик уже стал понимать что к чему.

Однажды он увидел, как на опушке близлежащего леса показалась группа людей в непривычной военной форме. Они о чем-то оживленно говорили, потом решительно двинулись вдоль леса, даже не взглянув на одинокий хутор у дороги.

Некоторое время опушка была пуста. Затем из леса вдруг хлынул поток военных. Безостановочно вытекали из-под деревьев неровные колонны, издали казавшиеся толпами. Винтовки, карабины, автоматы, разобранные минометы на плечах, разношерстное обмундирование, кто в сапогах, а кто еще и в валенках, в ботинках с обмотками, в шинелях и бушлатах, телогрейках и полушубках, в шапках-ушанках и фуражках. Тысячи и тысячи людей непрерывно выплескивались из леса. На головных уборах был значок, памятный мальчику по далекому мирному детству — пятиконечная звездочка.

Красная Армия шла к своим последним победным битвам.

После освобождения Крыма и Севастополя, 51-я Армия неожиданно оказалась в глубоком тылу. Солдаты и офицеры, уставшие от непрерывных боев, полуоглохшие, пропыленные и

просоленные, с изумлением прислушивались ко вдруг наступившей тишине. Как будто война окончилась, и наступил долгожданный мир. Мылись, стирались, чинили обмундирование и загорали на солнышке. Солдатское белье развешивалось на кустах и раскладывалось на траве в открытую — немецкая авиация уже не летала над Крымом. С недоумением смотрели на медработников, предостерегавших об опасности солнечных ожогов.

Но до конца войны оставался еще год. Отдых длился недолго. Погрузились в эшелоны и двинулись на север. Разгрузились в Городке, в сорока километрах от моего родного Витебска.

Тягостное впечатление производили руины городов и сел. В молчании проходила пехота через сожженные деревни, где регулировщики уже успели поставить таблички с названиями, но кроме этих табличек никого и ничего, лишь кое-где печные трубы и остатки фундаментов.

Началось освобождение Прибалтики.

Противник поспешно отступал. Немцы попали в «котел», из которого так и не смогли вырваться до конца войны так называемая Курляндская группировка противника.

Немцы не успели опомниться, как с ходу был освобожден красивый литовский город Паневежис. Здесь только что прошла война, но город казался мирным и ухоженным. Поражало непривычно большое количество велосипедов, рядами стоявших в специальных решетках возле предприятий, учреждений, магазинов.

На подступах к Скуодасу нашу небольшую группу посадили на самоходки. Бой шел уже по ту сторону городка. Неожиданно из стоящего на холме над дорогой длинного сарая раздалось несколько орудийных выстрелов. Загорелась первая и последняя в колонне, пятая, машина. Оказавшиеся заклиненными между ними, три орудия, развернулись и, натужно преодолев глубокий кювет, быстро пересекли неширокое поле и, скрывшись в ближайшей посадке, открыли беглый огонь. После первых же выстрелов соломенная крыша сарая вспыхнула. Из сарая, пятясь, выползла немецкая самоходка «Фердинанд», но не успела развернуться и загорелась. Из люков попрыгали и побежали немецкие танкисты. Скрываются за холмом.

Спрыгиваем с горящей самоходки на противоположную от огня сторону. Немцы ведут по горящим самоходкам огонь из пулемета. Пули порывистым градом цокают по броне. Нет механика-водителя. Люк открыт. Механик Валиев обмяк и тихо стонет. Пытаюсь взять его под мышки. Куда там. Он взрослый мужчина килограммов на восемьдесят, а во мне от силы

пятьдесят. А пули цокают. Это хорошо, что цокают. Хуже будет, когда не будут цокать… Подбегает еще один самоходчик. Вдвоем вытаскиваем раненого, кладем на плащ-палатку и тащим в безопасное место.

В каком-то разоренном местечке неподалеку от Шауляя, через которое только что прокатился бой, подошла пожилая женщина и на непривычно чистом русском языке сказала: «Солдаты! Помогите похоронить мужа. Его убили. (Не сказала кто, наверное, наши.) Он лежит в поле. Его съедят свиньи!» И она показала на видневшееся неподалеку тело покойного, возле которого уже бродили разбежавшиеся с фермы свиньи. Перед войной у Шейнина я читал, что свиньи едят покойников. Но тут, среди войны, это звучало настолько неожиданно, что мы опешили. Женщина не причитала, не плакала. По-видимому, это была семья русских эмигрантов, осевших здесь после революции. Что-то аристократическое ощущалось и сейчас в манере ее поведения, чувстве собственного достоинства, с которым она обращалась к нам в эту трагическую минуту. Они занимали двухэтажный чистенький особнячок, в сущности, довольно скромный, но представляющийся нам, по нашим тогдашним понятиям, верхом архитектурного совершенства. Женщина была высокая, худощавая, седоватые волосы обрамляли когда-то красивое лицо, держалась она прямо, даже изящно. Но главное, что поражало язык. Он разительно отличался от того, к которому мы привыкли на фронте. Это был язык Тургенева, нынче уже никто так не говорит.

В Шауляе упорный бой разгорелся в районе кожзавода. Но вот уже солдаты выносят новенькие седла и переобуваются в хромовые сапоги. К вечеру город был в наших руках, хотя в отдельных местах еще была слышна перестрелка.

Когда наш батальон подходил к городу, на самой окраине, где дорога поднималась на холм, лежала убитая девушка. В черном платье, молодая, открытыми голубыми глазами смотрела она в чистое небо своей родины. Кто она? Как попала под руку отступающим фашистам? Спросить было не у кого.

Шауляй в этом бою пострадал мало, почти не было разрушений, лишь в отдельных местах пожары изуродовали прекрасное лицо города. В целом город хорошо сохранился к большой радости его жителей и освободителей.

Но эта радость, как часто бывает на войне, оказалась преждевременной. В августе сорок четвертого, войска окруженной Курляндской группировки предприняли попытку вырваться и уйти в Германию на соединение с основными силами вермахта.

Завязались ожесточенные бои. Положение осложнялось тем, что основные силы и средства были брошены на главный театр военных действий на Берлин. Прибалтийский Фронт считался второстепенным.

Наш батальон занимал оборону в районе местечка Кужей (Кужи) под Шауляем. На редкость солнечное лето сменилось теплой сухой осенью. В одно такое погожее утро на дороге перед нашей обороной появилась танковая колонна противника. Стало тревожно. Задержать танки было нечем, из-за недостатка войск оборона была сильно растянута. Вообще-то, позади нас, в глубине обороны, дежурил ИПТАП истребительно-противотанковый артиллерийский полк, поджидая, откуда появятся и куда направятся танки. Полк был полностью механизирован и очень подвижен. Но где он сейчас?

По цепи поступила команда: с танками не связываться, любой ценой отсечь пехоту.

Пехоту мы не пропустили. Но с немецкими танками в собственном тылу не очень-то уютно… Наша сорокапятка выдвинулась на прямую наводку, в неравном бою расчет погиб. Но немцы не догадались проутюжить позицию, торопились. Командовал этим орудием украинский парень, огромный детина, о таких в народе говорят: косая сажень в плечах. Он был контужен, но быстро пришел в себя. Увидев, что танки прошли передний край и удаляются в глубину нашей обороны, он раскинул свои огромные ручища, схватил лафет, развернул пушку вслед прорвавшимся танкам и стал посылать снаряд за снарядом. Последний в колонне танк загорелся! Дружное «Ура!» разнеслось над окопами. Имени этого парня никто не помнит. В полку его добродушно ласково называли Полтавская Галушка напишем эти слова с прописных букв.

Когда немного притихло, командир батальона майор Иващук, тот самый, которому я докладывал о знамени на Сапун-горе, подвыпив, выехал из посадки. Рядом разорвался снаряд. Лошадь испуганно прянула в сторону. Комбат остановился, повернувшись к немцам, погрозил им кулаком. Второй снаряд лег под лошадь…

Через несколько дней, когда стало ясно, что немецкий прорыв не удался, поехал в медсанбат проведать раненых и вдруг остановился как вкопанный: прямо передо мной, у крайней палатки темнел свежий холмик, и на наспех сколоченной пирамидке было написано майор Иващук.

В санбате сказали, что у него нашли залитое кровью письмо, в котором разобрали мою фамилию. Наверное, вспоминал меня недобрым словом за нелепый доклад после штурма Сапун-горы…

Августовские бои были очень тяжелыми. Многие мои товарищи сложили свои головы и спят вечным сном в литовской земле. Прошли годы и те литовцы, кто воевал на стороне гитлеровской Германии, глумятся над их заброшенными могилами…

Как переменилось время!

Особенно тяжелые бои велись за Шауляй, а село Кужи было практически стерто с лица земли. Серьезно пострадал и сам город. Пехоты не хватало, и сплошной оборонительной линии не было. Возле новой четырехэтажной школы, в которой разместился госпиталь, выкатили на открытую позицию 76 мм. пушку. Здесь было танкоопасное направление, и пушку установили на прямую наводку. Мощный студебеккер отошел в укрытие. Наводчик Каххор Саидов с тревогой всматривался вдоль улицы. Танки не показывались, хотя на соседних улицах время от времени слышался шум моторов. Неожиданно Каххор услышал крики и увидел, как немцы, просочившиеся в госпиталь, выбрасывают из окон раненых! Потрясенный изуверством фашистов, Саидов хотел развернуть пушку и ударить по школе, но там же свои! Расчет пытался откатить пушку, но без тягача далеко не уедешь, это не сорокопятка. Подбежавший командир батареи, старший лейтенант Степанов приказал взорвать орудие. Каххор снял панораму, затолкал через дульный тормоз тряпку, зарядил осколочный снаряд и, привязав веревку к рычагу спускового механизма, резко дернул. Взрыв разорвал ствол, пушка перевернулась, едва не задев его щитом.

А через три дня противник был окончательно выбит из города. Но госпиталь уже был пуст…

Вспоминается и трагикомический случай. Мы были молоды и не ангелы. Ничего удивительного, что одного из нас пригласила молодая ладная девушка. Обстановка была неясная, я молодой офицер, на всякий случай, предупредил товарища: «Если что я на хуторе, и указал на стоящий невдалеке дом со службами. «Если что» не замедлило случиться, часть быстро перебазировалась. То ли обстановка не позволила, то ли просто забыли, но на хутор никто не побежал. Сладкую дрему прервала сама хозяйка, молча показав во двор, где неторопливо размещалась группа немцев. Надо сказать, что немцы в Прибалтике так не свирепствовали, как рядом, в Белоруссии. Когда мой товарищ вывел из сеней велосипед, великодушно предоставленный ему хозяйкой, они не обратили внимания на молодого мужчину в нательной рубахе, бриджах и сапогах — мало ли народа ходило в полувоенном — и на сверток на багажнике, в котором лежала свернутая

гимнастерка с документами и наградами. А мужчина сел на велосипед и не торопясь выехал за ворота.

Впервые после войны встретились с ним в Москве на 30-летии Победы. Показался полнеющий мужчина с орденами и медалями на гражданском костюме.

Опираясь на палку и прихрамывая, он шел к нашей группе. Я помнил бравого молодца, хоперского казака не похож… Но это был он, Михаил Васильевич Шкурин, полковник в отставке. Обнялись. Разговорились. Он показал на одного из ветеранов: Вот тот капитан, которого я просил предупредить «если что». Подозвали: «Ты что же такой-разтакой?» Ты сказал: «Я пошел на хутор. Предупредить «если что» не просил…»

Естественно, когда я написал книгу, первым, кому я послал рукопись, был мой самый близкий фронтовой товарищ Михаил Шкурин. Он уточнил некоторые фамилии и имена, места боев и даже нарисовал схему нашего наступления на Сапун-гору. Но этого ему показалось мало, и он разразился эпиграммой, сколь правдивой, столь и ироничной:

От критики тебе немало будет свистов
За самовосхваление, табак и водку.
За то, что в одиночестве громил фашистов.
А в это время комсомол делил селедку.

Что касается вышеописанного эпизода, Михаил сказал: «Это была не литовка, а известная латышская певица Эльфрида Пакуль, которая вслед за войсками пробиралась в свою родную Ригу».

Кстати об эпиграммах. Когда книга вышла, я получил от своих близких друзей и учителей Аси Григорьевны и Якова Ильича Гордонов последний был моим руководителем диплома по Булгакову еще более хлесткую эпиграмму. Почти по Пушкину:

Как хорошо на белом свете!
Сегодня мир мне очень мил,
Василий Быков нас заметил
И, снисходя, благословил.

Воистину; не ругай себя сам об этом позаботятся твои друзья.

Мы уже давно воевали вблизи Балтийского моря, и само название Прибалтика говорило о его близости. Балтика, Балтфлот эти слова были овеяны для нашего поколения

романтикой Октября и гражданской войны, моряки-балтийцы опора и гордость революции. Теперь странно об этом говорить и писать, но тогда так было.

И вот море рядом, а мы его еще ни разу не видели. Шли первые счастливые послевоенные дни, слово «мирные» еще почему-то не приходило в голову. Во всем ощущалась какая-то необыкновенная легкость и свобода, и нестерпимо захотелось увидеть море. И не просто море, а закат на море!

Большинство из нас, и я в том числе, люди сухопутные, не только никогда не отдыхали на море, но и просто никогда его не видели. Море мы больше представляли по произведениям ныне забытого Станюковича. О Хемингуэе тогда почти никто и не слышал, Александр Грин не был так популярен, как сейчас, а Виктор Конецкий как писатель еще не родился.

Запрягли трофейный фаэтон и ближе к вечеру поехали. Ехали-ехали, солнце уже стало садиться за дюны, а моря все не видно. Но оно должно же быть где-то рядом! Его близость ощущалась во всем: в прохладе раннего вечера, свежести воздуха, приятном летнем ветерке, слегка колебавшем серые метелки редкого камыша.

И вдруг я понял! Так мы никогда не доедем! Мы едем вдоль берега. Сворачивай! Помчались без дороги прямо по дюнам и, перевалив очередной бугор, вдруг увидели море.

Солнце уже наполовину скрылось в воде, и кругом была разлита такая красота, что все умолкли.

В 1962 году мне довелось побывать в Литве с гастролями мастеров искусств Таджикистана. Ведя программу концерта в Шауляе, сказал, что уже не в первый раз в этом прекрасном городе, был здесь во время войны и участвовал в его освобождении. В антракте за кулисы пришло много народу, расспрашивали, просили написать в газету и даже требовали автограф. «И помнит мир спасенный»…

Увы. Прошло много лет. То, что казалось незыблемым и вечным, коренным образом переменилось. Новое поколение литовцев не может помнить. Но оно и не хочет знать. Теперь в героях ходят те, кто воевал заодно с немцами. А как же кровь наших товарищей? Пролита напрасно? Их могилы зарастают травой, их памятники разрушаются. И память о них исчезнет вместе с нами.

В первые послевоенные месяцы, когда немецкие военнопленные, возвращаясь вечером с работы, колонной шли по улицам прибалтийских городов и довольно стройно пели, открывались окна верхних этажей и женщины бросали им цветы…

Все советские города начинались с барачных поселков. Пригороды западных городов поражали отсутствием времянок. На окраине города стояли длинные четырехэтажные дома с множеством подъездов. Изгибалась улица изгибался и дом. Отдельная (!) двухкомнатная квартира, по существу более чем скромная, показалась уютной. Неприятно удивил совмещенный санузел. Работавший в Доме Офицеров консерваторский профессор Гудериан, не забывавший, представляясь, предупредить, на всякий случай, что он не брат «того Гудериана» знаменитого танкового генерала, с сожалением посмотрел на меня и сказал: «Герр капитан! У нас считалось неприличным пойти в гости к человеку, который живет в двухкомнатной квартире…»

Центр Кенигсберга был застроен красивыми особняками, не похожими друг на друга. Все они располагались в парках, перед каждым лужайка, сквер, в подвальных этажах гаражи, с успехом использовавшиеся нашими новоселами под коровники… Приходилось иной раз возвращаться ночью. В городе было неспокойно, по ночам то и дело раздавались выстрелы. С небольшим трофейным «вальтером» я никогда не расставался. Калитка в железной ограде, окружавшей один из коттеджей, приоткрыта, и в проеме стоит собака. И молчит! Вспомнилось: не та собака кусает, что лает, а та, что молчит и хвостом виляет. В темноте поздно заметил. Нарочно оставили, поворачивать нельзя кинется следом. Сую руку в карман не попаду, так попугаю, и, стараясь смотреть ей прямо в глаза, иду навстречу. Подхожу…

Чугунная!

Старшее поколение прибалтов хорошо знало русский язык. Это был государственный язык царской России.

Встречали нас поначалу хорошо по крайней мере, так казалось.

Бабьим летом сорок четвертого, когда исход войны был предрешен, как-то обступила нас группа крестьян: Как же так получилось? Такая огромная страна, такая могучая Красная Армия?…

Так вероломно и внезапно!

Как внезапно? А мы говорили вашим командирам, что в воскресенье здесь будут немцы! (22 июня, в день начала войны, было воскресенье.)

Мне показалось, что я схожу с ума!

Как: говорили нашим командирам, что в воскресенье здесь БУДУТ немцы. Не «начнется война», а БУДУТ! Они знали. А мы нет?

Значит и не внезапно и не вероломно?

Это было сильнейшей травмой. Понадобились годы, чтобы боль и горечь ушли вглубь.

Впрочем, и Жуков писал, что о Зорге он узнал после войны.

Мы тем более.

Пленный

Мне повезло. Я не попал в плен.

Не было бы ни этой книги, ни меня.

Все послевоенные годы не дает покоя мысль о военнопленных. Из почти пяти миллионов советских военнопленных около четырех миллионов пленные 41-го года. Из-за бездарности командования, ошибок и неразберихи (лучшие военные кадры были истреблены в 1937–38 гг.) целые армии были окружены и попали в плен. Многие и сдались, перейдя на сторону врага, но основная масса была захвачена. Приказом Сталина № 270 от 16 августа, менее чем через два месяца после начала войны, все пленные были объявлены изменниками родины. Их судьба трагична. Более половины из них были уничтожены или умерли от голода в плену, а вернувшиеся должны были пройти через лагеря НКВД.

Вот судьба одного из них, которого я хорошо знал.

В ноябре 1940 года Худойкула Мукумова призвали в пехоту, выдали пятизарядную, еще николаевскую винтовку и начались занятия. Красноармейцы строили на берегу Днестра доты, рыли вдоль берега траншеи, противотанковые рвы.

22 июня в четыре часа утра немцы бомбили Могилев-Подольский. Полк находился в летних лагерях. По тревоге разобрали винтовки, противогазы. Политрук бодро сказал: «Завтра в восемь часов утра будем пить чай в Берлине». Худойкул удивился: «Разве до Берлина так близко?…»

Но наступали не мы, а немцы. Лейтенант сказал: «Полк отступает, чтобы дать ему отойти, надо уничтожить минометы: За мной!» показал, где минометы. Одиннадцать человек, оставшихся от взвода незаметно подкрались, окружили, взяли в плен вместе с минометами. Это были первые пленные. Полк не нашли. А с пленными что делать? Простые солдаты, плачут. Решили их отпустить. Еще не было того ожесточения, которое вскоре придет. Сказали: «Идите до своих!» и отпустили с миром. Знать бы каково самим скоро придется!..

Километрах в двухстах за Могилев-Подольским налетела

авиация. Уберечься не удалось. Осколок попал в живот. На счастье медсанбат оказался недалеко, быстро прооперировали. Было голодно. Санбат располагался в колхозной конюшне, раненые обдирали убитых лошадей, варили и ели. Через несколько дней швы сняли. В ту же ночь немецкие самолеты бомбили медсанбат, следом появились танки и пехота. Легкораненые и медперсонал разбежались. Попробовал и Худойкул. Не смог. Он и еще один русский солдат, Василий, попали в плен. Было 11 ноября 1941 года.

Колонну пленных гнали несколько дней почти без отдыха. Есть не давали. В деревнях местные жители старались хоть чем-то помочь, подкормить. Подойти близко к колонне не разрешали. Издали бросали бутылки с молоком, вареные яйца, картошку, но и это не всегда удавалось: конвой начинал стрелять. И не в воздух, а по людям…

В районе города Тульчин полдня отдыхали в степи за колючей проволокой. Есть и пить не давали и здесь. Некоторые не выдерживали, бросались на проволоку. Снова построили колонну, кто не смог идти — пристрелили… По пути срывали росшие по обочинам дороги колючки и ели. Но вскоре и они остались под снегом… Так добрались до Винницкого лагеря. Здесь впервые стали «кормить». В одиннадцать часов утра на весь день давали по половнику баланды. И все. Хлеба ни крошки. У большинства пленных никакой посуды не было. Худойкул брал это варево в пилотку, стараясь не расплескать, не пролить, успеть выпить. Где там Отходи! И бьют кнутом.

После раздачи баланды погнали на станцию. Погрузили в вагоны, хотя «погрузкой» это можно было назвать едва ли: заталкивали в теплушки, как мешки. Набили так, что можно было только стоять. Ему повезло, попал в угол, а то бы задохнулся, как многие его товарищи. Двери не открывались. Живые ехали вперемежку с мертвыми. Вагон был обварен железной решеткой, да так густо, что и кулак не просунешь, и нет сил разогнуть. Один из пленных проскреб ногтем! дырку в крыше, но и там оказалась решетка…

Разгрузились в поле под Бердичевом. Из вагонов вынесли человек двести умерших. Живым приказали их похоронить, но некоторые настолько ослабели, что не могли этого сделать, их расстреляли из пулемета рядом с трупами.

Наступила зима. Немцы собираются у костров, сидят, греются, курят. Пленные под открытым небом. Большая яма от удобрений, с остатками селитры, полна мертвецов, они разлагаются. Каждый день яма пополняется десятками новых трупов. Ботинки у Худойкула развалились, обмотки потерял,

шинели нет, весь в грязи, во вшах, волосы отросли до плеч. Подошел товарищ, грузин. Посмотрели друг на друга и заплакали.

Часов в одиннадцать ночи увидели, как двое пленных подошли к ограде и стали копать. Рыли ногтями. Часа через два подкоп был готов. Пленные разделись догола, чтобы не зацепиться за проволоку одеждой, и полезли в лаз. Худойкул сказал грузину: «Что будем делать? Они ушли. У тебя силенка есть? Давай ты, потом я, ответил грузин. Все равно умирать.» А лаз уже наполнился водой. Худойкул быстро разделся и полез. Чуть не захлебнулся. Грузин, видимо, замешкался. Поднялась тревога, стрельба, взлетели ракеты. Худойкул кинулся в болото, лежал в ледяной воде, ждал, затем вскочил и снова бежать.

Тех двоих уже не было видно. Подошел к железной дороге, там еще два ряда колючей проволоки. Пролез. Услышал гул приближавшегося поезда, спрятался в камышах. Промчался воинский эшелон. На открытых платформах сидели немцы и горланили песни. Значит, пока еще их берет…

Перелез на другую сторону насыпи. Темно, ничего не видно, руками нащупывал дорогу, наткнулся на замерзший кочан капусты, стал грызть, как собака. Но легче не стало. Замерз страшно. Понял, что сейчас умрет.

Вдруг увидел полоску света. Подошел к небольшому домику. И зайти боязно, и выхода нет. Постучал. Старческий голос спросил: «Кто? Пленный. Старушка открыла, дико закричала и потеряла сознание так он был страшен! Голый. Обросший. Ребра наружу. В грязи. Одни глаза. Выбежал старик с ухватом, кинулся: «Ты человек или нечистый дух?!» Это не юмор. Это нечеловеческий ужас. Я пленный. Старик поднял женщину, поднес к ее носу колечко лука, она пришла в себя. Дали ему половину картофелины в мундире, глоток воды и на печь.

Но уснуть не удалось. Кочан не пропал даром, начались дикие боли в животе. Стал кричать. Помочь ему старики ничем не могли. Перед утром старик его поднял, дал фуражку тракториста, промасленные штаны и сказал: «Иди, пока темно и никого нет. Кого встретишь не говори, где был. Дом сожгут, а нас повесят».

Далеко уйти не успел. Поймали полицаи и сдали в местный лагерь. Работали на высокой насыпи. Кто упал или сделал шаг в сторону убивали на месте. Конвой шел метрах в пяти-шести сзади. Напарником оказался земляк из Ташкента. Худойкул спросил: «Со мной пойдешь? Ты что? Стреляют! (т. е. расстреляют) И так, и так смерть.» И Худойкул бросился в яму, С обрыва ничего не заметили. Кругом кустарник, проскочил до подхода следующего конвоя и залег. Немцы вдруг открыли

стрельбу, уложили нескольких пленных. Худойкул не выдержал, вскочил, один из охранников заметил, дал очередь из автомата, но не попал. Худойкул упал. Конвойный, видимо, решил, что он убит, проверять не пошел, поленился. Колонна ушла.

Наступила весна, потеплело, не за горами и лето. Километрах в шестидесяти от Винницы повстречался в поле мальчик, пасший корову. Не хотелось так думать, но он и донес. Больше некому. Пришли аж четверо полицаев на одного доходягу, кинули в бричку и в тот же лагерь.

Никого из прежних военнопленных в лагере уже не было… Здесь Худойкул впервые увидел человекоедение пленный вгрызался в руку недавно умершего… Худойкул испытал не страх — всего уже навидался — жалость к этому человеку.

Мысль о новом побеге не оставляла ни на минуту. На пятый день заметил земля под сторожевой вышкой свежая, рыхлая, видно вышку ставили недавно. Что, если сделать подкоп прямо под вышкой? Рискованно?

О каком риске можно говорить, когда смерть идет по пятам!

Стемнело. На вышках зажглись прожектора, они светили вдоль ограды, под самой вышкой было темно. Незаметно пробрался и залез под мосток. И именно в это время началась смена караула! Подошел наряд, восемь немецких солдат. Разводящий едва не наступил Худойкулу на ногу, тот едва успел ее подтянуть. Часовой посветил фонариком, но ничего подозрительного не заметил. Под вышкой была канава, полная воды. Худойкул начал захлебываться, тонуть… Стал рыть землю. Сорвал ногти, пальцы были в крови, но на эти мелочи не обращал внимания. Снова разделся догола, чтобы не зацепиться за что-нибудь, и пролез на ту сторону. Удачно. Тревога не поднялась.

Дошел до Кировограда.

И здесь его в третий раз поймали полицаи…

Этот лагерь охранялся покрепче. Бежать не было никакой возможности. Через какое-то время посадили в вагон и повезли в неизвестном направлении. Ехали месяц.

Можно, конечно, сказать, что ехали в нечеловеческих условиях. Но так сказать значит, ничего не сказать. Двери вагона не открывались. Умершие подолгу лежали среди живых. Один раз в день давали баланду, для этого в стене вагона было прорублено отверстие. Никакой посуды у пленных не было, кто подставлял пилотку, кто просто ладони. Худойкул брал «еду» в подол гимнастерки. От этого она вскоре сгнила, и почти все проливалось.

От голода и нечеловеческих условий многие себя потеряли. В вагоне стало действовать право сильного. Кто посильнее,

ухитрялся получить и два раза, слабых к окошку не подпускали, отталкивали, и они, обессилевшие, тихо и незаметно умирали в своих углах. За месяц пути Худойкулу удалось получить баланду не более пятнадцати раз. Человек десять-двенадцать скончались от голода.

Наконец привезли. Худойкул удивился охрана в беретах! Попробовал спросить по-немецки не понимают, по-русски тем более. Говорят в нос. Французы! Так вот куда занесла судьба!

Подошел декабрь сорок третьего года. Охрана стала перегонять колонну в другое место. Шли ночью. В полночь налетел невиданной силы ураганный ветер, ломал, вырывал с корнем деревья. Пошел град со снегом. Темно, не видно друг друга, но не видно и охраны. Вот случай! Другого не будет. Надо до утра уйти подальше от этого места..

Соскользнул в канаву. Вода шла через голову. С трудом выбрался. Прошел километра полтора, повстречался еще один пленный. Оба почти голые, в тряпках, исхудавшие до невозможности. Посмотрели друг на друга и заплакали. Стали замерзать. Поняли, что умрут.

Невдалеке прошел мужчина в берете. Француз. Оглядел их, ничего не сказал. Ушел. За полицаями? Но двигаться все равно не было сил. Минут через двадцать француз вернулся, принес две бутылки молока и по булочке. Жестами объяснил: кушайте понемножку, заболеете.

Но и от этой еды им стало плохо… Худойкул увидал в яме два трупа, по ним уже ползали черви. Но возле них лежали два немецких автомата! И две коробки с патронами! «Гриша! Иди сюда!.» «Это нам Бог послал», сказал Григорий. На немцах оказалось еще целое обмундирование. Григорий он был покрепче забрался в яму, снял с немцев брюки, куртки, сапоги. Сапоги были Худойкулу велики, но какое это имело значение!

На следующий день француз пришел снова. Увидев двух немецких солдат, да еще с автоматами, он кинулся бежать. Насилу его остановили. Француз оказался работником в ближайшем хозяйстве, повел их в имение, завел в конюшню и закидал сеном. Каждый день приносил поесть, выходили они только ночью. Однажды во дворе остановилось несколько немецких фур. Солдаты стали брать сено для лошадей! Григорий и Худойкул приготовили автоматы. Но все обошлось. Жестами они объяснили своему спасителю, что хотят в партизаны. Он понял и ночью повел их в лес, километров за двадцать от населенного пункта.

Отряд был небольшой, но приняли охотно, тем более с оружием. Когда союзники открыли, наконец, второй фронт,

партизанский отряд, разросшийся к тому времени до двухсот человек, получил задание задержать и уничтожить большую немецкую колонну. Каждому выдали по две гранаты и по бутылке с бензином забросать и поджечь немецкие машины. Подошла колонна. Вышел немецкий офицер и стал сверять с картой указатели, которые партизаны предусмотрительно развернули в другую сторону. Командир подал условный сигнал, и в немцев полетели гранаты, бутылки с горючей смесью, затрещали автоматные очереди.

Но и немцы не растерялись, успели сообщить своим, и начался сильнейший артиллерийский налет. Все смешалось. Солнца не стало видно, Худойкул успел заранее отрыть подбрустверный окоп, а то бы не уцелеть. Налет длился минут двадцать. Траншею сравняло с землей. Все перерыто, перекорежено. Многие партизаны погибли. Погиб и товарищ Худойкула по побегу Григорий…

Зверски хотелось пить. Рот и нос были забиты землей. Вспомнил, где была лужа, кинулся, она была закидана землей, стал разгребать, откапывать и только добрался до воды и наклонился — налетели какие-то совершенно черные люди в незнакомой военной форме, что-то кричали на непонятном языке, подняли на руки, сунули в рот какую-то таблетку и, непрерывно галдя и радостно жестикулируя, куда-то потащили. С трудом вспомнил: когда-то учитель в школе говорил, что есть такие черные люди — негры. А «таблетка» это жвачка, или, как тогда говорили жевательная резинка. Это и были негры.

Американская армия.

Кончилась война. Французы сказали: кто хочет вернуться на родину записывайтесь. Сначала летели самолетом, потом три дня шли пешком. Подошли к мосту. На американской стороне все тихо, спокойно, а на нашей играют оркестры, развеваются флаги, висят лозунги, во всю мощь работает радио, звучит музыка.

Худойкул страшно разволновался. От волнения не мог говорить. Собственно, это была еще Германия, но наши. Наши!

Обмен происходил на мосту, и процедура была до удивления проста: один к одному. С нашей стороны сто человек: французы, бельгийцы, итальянцы кого только не было! И на нашу сторону сто человек. Столовая и кинотеатр работали беспрерывно. Так прожили с неделю. Приехала комиссия. Офицеры объявили: У кого есть документы предъявите! У Худойкула был документ, выданный французскими властями. У кого не было куда-то увезли. Куда неизвестно. (Это тогда было неизвестно, Теперь известно в лагеря НКВД.)

Ему повезло. У него была справка, и его не отправили в

лагерь. Но справка затерялась в архивах КГБ, и в течение сорока лет он не считался ветераном войны: был в плену и все, весь разговор. Мне понадобился целый год упорных поисков и хлопот, пока удалось обнаружить и получить эту справку из недоступных архивов КГБ, и Худойкул Мукумов получил через столько лет(!) удостоверение участника войны и орден.

А другие?

Штрафная рота

В штрафную роту я попросился сам.

Солдат, как, впрочем, и офицер, на войне своей судьбы не выбирает, куда пошлют, туда и пойдешь. Но при назначении на должность в штрафную роту формально требовалось согласие.

Штрафные роты были созданы по приказу Сталина № 227 (правильно 00227,т. е. секретный) от 28 июля 1942 года, известному, как приказ «ни шагу назад», после сдачи Новочеркасска и Ростова. В результате «ростовской катастрофы» выражение, некоторое время фигурировавшее в военно-исторической литературе, затем бесследно исчезнувшее, Красная Армия откатилась к Волге, началась Сталинградская битва, и положение страны стало критическим, вера в победу на пределе.

… В каждой общевойсковой армии три штрафных роты. Воздушные и танковые армии штрафных подразделений не имели и направляли своих штрафников в общевойсковые. На передовой находились две штрафных роты. В них из соседних полков ежедневно прибывало пополнение: один-два человека. Любой командир полка имел право своим приказом отправить в штрафную роту солдата или сержанта, но не офицера. Сопровождавший приносил выписку из приказа, получал «роспись» в получении и все формальности. За что? Невыполнение приказа, проявление трусости в бою, оскорбление старшего начальника, драка, воровство, самоволка. Штат штрафной роты: восемь офицеров, четыре сержанта и двенадцать лошадей находится при армейском запасном полку и в ожидании пополнения потихоньку пропивает трофеи…

Из тыла прибывает эшелон уголовников, человек четыреста и больше, и рота сразу становится батальоном, продолжая именоваться ротой. Сопровождают их конвойные войска, которые сдают их нам по акту. Мы охрану не выставляем. Это производит дурное впечатление, тогда как проявленное доверие вызывает к нам некоторое расположение. Определенный риск есть. Но мы на это идем.

Что за народ? Тут и бандиты, и уголовники-рецидивисты, и укрывающиеся от призыва, и дезертиры, и просто воры. Случалось, что из тыла прибывали и несправедливо пострадавшие. Опоздание на работу свыше двадцати минут считалось прогулом, за прогул судили и срок могли заменить штрафной ротой. С одним из эшелонов прибыл подросток, почти мальчик, таким, по крайней мере, казался. В пути уголовники отнимали у него пайку, он настолько ослабел, что не мог самостоятельно выйти из вагона. Отправили его на кухню.

Срок заключения заменялся примерно в следующей пропорции: до трех-четырех лет тюрьмы месяц штрафной роты, до семи лет два месяца, до десяти выше этого срока не существовало — три месяца.

В штрафные роты направлялись и разжалованные по приговору Военного трибунала офицеры. Если этап большой и своих офицеров не хватало, именно из них назначались недостающие командиры взводов. И это были не худшие командиры. Желание реабилитироваться у них было велико, а погибнуть… Погибнуть и в обычной роте дело нехитрое. После войны статистики подсчитали средняя продолжительность жизни командира стрелкового взвода в наступлении восемь дней…

Штраф снимался по первому ранению. Или, гораздо реже, по отбытию срока. Бывало, вслед раненому, на имя военного прокурора посылалось ходатайство о снятии судимости. Это касалось, главным образом, разжалованных офицеров, но за проявленное мужество и героизм иногда писали и на уголовников. Очень редко и, как правило, если после ранения штрафник не покидал поля боя или совершал подвиг, представляли к награде. О результатах своих ходатайств мы не знали, обратной связи не было.

В одном из кинофильмов («ГуГа») есть эпизод, где старшина бьет, в смысле «учит» штрафника, да еще по указанию командира роты. Совершенно невероятно, чтобы такое могло произойти в действительности. Каждый офицер и сержант знают, что в бою они могут оказаться впереди обиженного… Штрафники не агнцы божьи. И в руках у них не деревянные винтовки. Другое дело, что командир роты имеет право добавить срок, а за совершение тяжкого преступления — расстрелять.

И такой случай в нашей роте был. Поймали дезертира сами штрафники, расстреляли перед строем и закопали поперек дороги, чтобы сама память о нем стерлась, сейчас писать об этом нелегко, но время и отношение было другим.

Владимир Карпов, писатель, Герой Советского Союза, сам хлебнувший штрафной роты, пишет, что офицеры штрафных рот со своими штрафниками в атаку не ходили. И да, и нет. Если есть опытные командиры из штрафников можно и не ходить. А если нет или «кончились», надо идти самим. Большей частью именно так и бывает. И такой случай имел место.

Два зама: старший лейтенант Василий Демьяненко и я повели роту в атаку. Когда задача уже была почти выполнена, меня ранило осколком в грудь. (До сих пор помню первую мысль: «Не упал! Значит, легко!»)

Ни мы, ни немцы не ходили в атаку толпами, как в кино. Потери были бы слишком велики. Движется довольно редкая цепь, где бегом, а где и ползком. В атаке стараешься удержать боковым зрением товарища. Демьяненко был шагах в тридцати от меня, увидел, что меня шатнуло, и я прыгнул в воронку. Подбежал: «Куда?»

Молча показываю дырку в полушубке. «Скидай!» Весь диалог два слова. Он же меня перевязал. Осколок прошелся по карману гимнастерки, в котором лежала плотная пачка писем и фотографий из тыла (учитывая наш возраст, не только от мамы), это и спасло, иначе он прошел бы навылет. В медсанбате ухватили за выглядывающий из-под ребра кончик и выдернули, предварительно произведя традиционное обезболивание. И я вернулся в роту.

Как же я, все-таки, туда попал?

При очередной переформировке я оказался в офицерском резерве 51-й Армии. Командовал Армией генерал-лейтенант Яков Григорьевич Крейзер после войны генерал армии. Командующий Уральским Военным Округом, получивший звание Героя Советского Союза в 1941 году, будучи командиром 1-й Московской Пролетарской дивизии, один из шести известных евреев, отказавшихся подписать печальной памяти письмо Сталину с «просьбой» о депортации евреев в Сибирь, чтобы спасти их от «справедливого народного гнева».

В тылу я был впервые. Поразило огромное количество праздных, казалось, офицеров всех рангов, с деловым видом сновавших с папками и без. Неужели для них всех есть здесь работа?

Чем ближе к передовой, тем меньше народа. Сначала тыловые, хозяйственные и специальные подразделения, медсанбаты, артиллерия покрупнее, потом помельче, ближе к передовой минометчики, подойдешь к переднему краю —

охватывает сиротливое чувство — куда все подевались?.. На войне, как и в жизни, каждый знает, чего он не должен делать.

В офицерской столовой еду разносили! В тарелках! О самообслуживании никто и понятия не имел. Я был потрясен. По поселку парами прогуливались молодые женщины и девушки в синих госпитальных халатах. Не сразу сообразил, что меня в них озадачило: ни бинтов, ни костылей, ни руки на каретке. Спросил у проходящего офицера: «Ты что, дурной! Это венерический госпиталь.» Мужчин не лечили. Только, если попал в госпиталь по ранению — попутно.

Скучно. Ни я никого не знаю, ни меня никто. Зашел к комсоргу полка связи попросить что-нибудь почитать. Им оказалась одна из сестер Иванцовых, членов Краснодонской подпольной организации «Молодая гвардия».

Сейчас уже забываются их имена, а многие и не знают, что руководителем организации был не юный Олег Кошевой, а более опытный офицер Иван Туркенич, но он бежал из плена… А таких не жаловали.

К концу недели прошел слух, что погиб заместитель командира 163-й штрафной роты. И я пошел в Управление кадров.

Не спешите записывать меня в герои. Я не храбрец, скорей наоборот. Но я уже воевал в пехоте, я знал, что большой разницы между штрафными и обычными стрелковыми ротами нет. Да, штрафные роты назначаются в разведку боем, на прорыв обороны противника или стать на пути его наступления. А обычные стрелковые батальоны не назначаются? Именно в рядовом стрелковом батальоне обычного стрелкового полка, назначенном в разведку боем, я погиб. И когда объятое черным отчаянием сознание угасло, меня спас мой товарищ Саша Кисличко имя, которое умрет вместе со мной, и погиб в следующую минуту. И все эти годы я мучительно думаю: если бы он не полез меня спасать остался бы жив…

Так что рисковал я немногим. Сыну врага народа кроме стрелкового батальона ничего не светило.

Зато преимуществ было много.

Первое. Штрафные роты, как правило, в обороне не стоят. Пехотные солдаты поймут меня и без подробностей. Хорошо, как летом тоже не всегда, а осенью, когда на ботинки налипает по пуду глины, а обмотки превращаются в коричневые сапоги, на которых кольца уже не обозначаются, а зимой, когда единственный способ согреться — это расстегнуть воротник шинели и спрятать туда подбородок. Полное наше наименование Отдельная Армейская Штрафная Рота ОАШР. Последние две

буквы послужили основанием к тому, что позывные штрафных рот на всех фронтах были одни и те же: «ШуРа». Но особое значение имели для нас первые две. Если для обычной роты, кроме своих командиров, в батальоне два зама, парторг и комсорг, да в полку три зама и те же политработники, еще и в дивизии штабные и политотдел и все, поодиночке или скопом, в затишье, между боями, когда хочется написать письма или просто отдохнуть, являются по твою душу занудствовать по поводу подворотничков, боевого листка, партийного и комсомольского собрания к нам не придет никто. Мы не их. У них своих забот хватает и никто, тем более на фронте, не станет делать больше положенного. А партийной и комсомольской организации у нас просто нет. Штатные офицеры стоят на партучете в запасном полку и там изредка платят взносы.

Командир штрафной роты по своим правам приравнивается к командиру полка и подчиняется в оперативном отношении тому командиру дивизии, которому будет придан для конкретной операции. Это входит в понятие Отдельная.

А Армии не до нас. У них дела поважнее. Был, правда, случай, приехал майор из Политуправления: Вы корми те ваших штрафников похуже. Командиры жалуются; пригрозишь солдату штрафной ротой, а он тебе: «Ну и отправляйте! Там хорошо кормят!» И это так.

Обычная рота получает довольствие в полку, полк с дивизионных складов, дивизия из армейских.

Еще Карамзин заметил: если захотеть одним словом выразить, что делается на Руси, следует сказать воруют. Не нужно думать, что за двести с лишним лет что-нибудь изменилось. Во всех инстанциях, «а сколько-нибудь, да украдут». Полностью до солдата ничего не доходит. А у нас, как это ни странно, воровать некому. И здесь вступает в силу слово «армейская». Наш старшина получает довольствие непосредственно с армейских складов. Правда, и ему смотрят в руки. Но мы не бедные, что-нибудь из трофеев и привезем. Продукты он получает полностью и хорошего качества, водку неразбавленную, офицерам привезет полушубки длинные, чтобы коленки не мерзли и не суконные бриджи, а шикарные галифе синей шерсти. И обмундирование для штрафников получит не последнего срока, а вполне приличное. Кроме того, у нас есть неучтенные кони, вместо двенадцати лошадей небольшой табун. При необходимости забиваем коня помоложе и что там твоя телятина! Кому-то и огород вспашем.

Были и другие преимущества: полуторный оклад, ускоренная,

даже против фронтовой, выслуга лет. Впрочем, я этого почти не ощутил.

Одним словом живи не хочу. Словом, в штрафной роте хорошо. Хорошо-то хорошо. Да не очень.

Ближе к концу войны, когда никто уже не хотел умирать, дезертировали сразу три человека. Мы с командиром роты предстали пред «светлые очи» Члена Военного Совета Армии, который в популярной форме, и, не употребляя фольклорных выражений, что было бы привычней и понятней, разъяснил, что мы, по его мнению, из себя представляем, достал из какой-то, поразившей своей будничностью, папки наградные листы на орден Александра Невского на командира и Орден Отечественной войны на меня, изящным движением разорвал и бросил под стол, одновременно сообщив, что присвоение нам очередных званий задержано, что было особенно неприятно, и уже в спину бросил: «Найти! И расстрелять!» Не нашли. И очень жалели. Что не нашли. И не расстреляли. Тогда. Теперь нет.

Случались и другие эксцессы, за которые не гладили по головке. В литературе утвердилось понятие штрафные батальоны. Батальон это звучит гордо. В самом слове есть что-то торжественно-печальное, какой-то внутренний ритм и романтика, и может быть, поэтому стало популярным выражение: «там в бой идут штрафные батальоны».

А в бой идут и штрафные роты.

Были и штрафные батальоны. Это совсем другое. Штрафные батальоны создавались при фронтах. В конце войны было у нас около семидесяти штрафных батальонов, практически по одному на каждую общевойсковую армию. В них рядовыми бойцами воевали не разжалованные Военным Трибуналом офицеры в чине до полковника: оставление позиции без приказа, превышение власти, хищение, дуэль был и такой случай.

Состав штурмовых батальонов была и такая разновидность вышедшие из окружения или бежавшие из плена командиры Красной Армии, прошедшие «чистилище» лагерей НКВД, где должны были доказать, что не бросили оружия и не перешли добровольно на сторону противника. Для них сроки не варьировались. Срок был один для всех шесть месяцев!

Численный состав штрафных подразделений не регламентировался. Батальон мог иметь до тысячи человек полк! Но могло быть и сто.

В управлении кадров на меня посмотрели с некоторым

удивлением: «У нас там любители работают! И я буду любитель, не в тыл прошусь». Получил предписание и задумался. Надо бы с чем-то прийти. Выбор тут не большой. Постучался в крестьянский дом, краснея, протянул солдатское белье. Хозяйка вынесла бутылку самогона, заткнутую бумажной пробкой. Вещмешка я не носил, в полевую сумку не влезает, запихнул в карман шинели, на подозрительно торчащее горлышко напялил рукавицу.

На попутных машинах быстро добрался до передовой. Минометчики на опушке леса показали на одинокое дерево в поле КП командира роты. Но ты туда до вечера не ходи. Это место снайпер держит на прицеле. Помаялся я, помаялся, до вечера еще далеко, дай, думаю, рискну сейчас бы ни за что! и дернул, что было сил. Тихо. Снайпер, видно, задремал. В углу землянки сидел маленький старший лейтенант, представился: Демьяненко Василий, зампострой. И, подозрительно покосившись на мой карман, спросил: «Що это в тэбе рукавиця насупроти настромлена? Достаю. О! Це дило! И командиру оставимо. А где он? В хозвзвод пошел, помыться».

Так я попал в штрафную роту.

О штрафных ротах не раз писали. Есть и кинофильм со странным названием «ГуГа». Тем более досадны многочисленные погрешности. Вранье в малом вызывает недоверие и ко всему остальному. Выше уже говорилось в атаку толпами не бегут, но таковы, по-видимому, законы жанра, «массовость» наш конек. У командира роты погоны полевые, зеленые, а пуговицы на шинели золотые и звездочка на фуражке красная, на фронте! И звездочка и пуговицы были зеленые. Особую досаду вызывает заградотряд. Заградотряды не сопровождают штрафную роту на передовую и не стоят у нее за спиной. Они располагаются за линией фронта, вблизи контрольно-пропускных пунктов, на дорогах, на путях возможного отхода войск, скорее побегут обычные подразделения, чем штрафные, и вообще, почему заградотрядовцев больше, чем штрафников. Напрашивается желание поменять их местами… Заградотряды не элитные подразделения, куда подбираются бойцы-молодцы. Это обычная воинская часть с несколько необычными задачами. Почему-то все они одеты в новенькие откуда такая роскошь! шинели, что, вообще говоря, не по сезону, в котором происходят события, с красными вшивными погонами! Вшивные погоны полагались только генералам, все остальные, от рядового бойца до полковника, носили пристежные. И красные! На фронте! И в касках! Заградотряд в касках! Это ж додуматься надо. Их и в боевых подразделениях не больно-то жаловали. А офицер,

которого все время тошнит, который в конце стреляется. Это ж не эстетично и неправдоподобно. Любой командир роты, даже и не штрафной, немедленно отправил бы его с передовой.

Киноскандал со сдачей оружия, едва не перешедший в сражение, вызывает уже не досаду, возмущение. Показать, какие штрафники патриоты? Довольно распространенное заблуждение…

…После нескольких операций у нас осталось около двух десятков бойцов. Не ранены. Но в боях участвовали, и мы с полным основанием передаем их в соседний стрелковый полк. При этом все оружие сдается, а не отбирается, и никаких скандалов при этом не возникнет. Они получат оружие в своих новых подразделениях. Это элементарно. А за нами числится каждый ствол, и чем бы мы вооружили прибывающее из тыла пополнение. Все это знают. Кроме постановщиков фильма. Или они всерьез полагают, что уголовники едут из тыла в эшелоне уже вооруженные! Веселое дело, это уже не погрешности, а как сказали бы великие сатирики, сопли и вопли.

Поездка командира штрафной роты в тыловой запасной полк для отбора-подбора провинившихся солдат — бред. Никто его в такую командировку не пошлет, да и мысль такая никому не придет в голову. Командиры штрафных рот не комплектуют своих подразделений: кого тебе пришлют, с теми и будешь воевать.

Перечисленного вполне достаточно, чтобы отправить в штрафную роту постановщиков фильма на полный срок. Даже в мирное время.

Не следует думать, что все штрафники так уж рвутся в бой… Атака захлебывается. Оставшиеся в живых залегают среди убитых и раненых. Но нас же было больше! Где остальные? Вдвоем с командиром роты возвращаемся к исходному рубежу. Так и есть! В траншее притаились, в надежде пересидеть бой, несколько штрафников. И это когда каждый солдат на счету! С противоположных концов траншеи, держа в каждой руке по пистолету в левой привычный ТТ, в правой трофейный парабеллум, он тяжелее чуть не разрываясь над траншеей: одна нога на одном бруствере, другая на противоположном, двигаемся навстречу друг другу и, сопровождая свои действия соответствующим текстом, стреляем над головами этих паразитов не целясь и не заботясь о целости их черепов. Проворно вылезают и бегут в цепь.

Господи! Неужели это был я!

В штрафных штурмовых батальонах такого не может быть. Здесь все поставлено на карту. Эти офицеры не лишены званий и в большинстве случаев не имеют судимости. По ранению или

отбытию срока они имеют право на прежние должности. (Право-то они имели, но, как правило, шли с понижением.)

В одном из таких батальонов, своей блестящей атакой положившей начало Ясско-Кишиневской операции, воевал мой товарищ Лазарь Белкин.

…18 августа 1944 года выдали по двести (!) граммов водки, привезенной на передовую прямо в бочках, по полпачки махорки и зачитали приказ: в 5 часов утра, по залпу катюш, батальон идет в атаку. Минут за пятнадцать все вылезли на бруствер, приготовились. 5 часов. Тишина. Шесть тишина. Семь наступление отменяется. Разочарованные вернулись в траншею.

Солнышко пригрело, немцы успокоились, полу-разделись, задремали. Без нескольких минут десять новый приказ: наступление ровно в десять! И никаких катюш! Ровно в десять батальон в полной тишине поднялся в атаку. Без «Ура!» Но это был не простой батальон, а батальон штрафников. Ворвалась в первые траншеи! Вторые! Третьи!! Захватили несколько шестиствольных минометов, развернули в сторону противника и дали залп. Навстречу Лазарю бежал к пулемету немецкий офицер, лег за щиток, нажал на гашетку… В упор! И вот счастье осечка… Ленту ли перекосило или еще что. Кинулся бежать. Поздно. Граната Лазаря уже летела.

У противника создалось впечатление, что здесь наносится основной удар. Немцы стали спешно подбрасывать подкрепления, бронетехнику. До позднего вечера батальон отбивал атаки, и к ночи остатки батальона вынуждены были вернуться на исходные позиции.

Из почти тысячи человек в живых, на ногах, осталось сто тридцать.

Большинство участников штурма были ранены, убиты, по статистике, один к четырем…

Евреев в штрафной роте практически не было. За время моего пребывания, с конца сорок четвертого и до Победы, почти полгода на войне это большой срок, попался только один еврей, и меня немедленно позвали на него посмотреть. Это был портной из Прибалтики, и он не выглядел ни удрученным, ни несчастным, У евреев высоко развито чувство долга, думаю, он попал случайно или за какую-нибудь мелочь.

Зато соседней, 162-й ротой командовал Левка Корсунский, кишиневский, если память не изменяет, еврей с повадками одессита. Явившись в тихую минуту к нам в гости на шикарном трофейном фаэтоне, запряженном парой красавцев-коней, он снял с левой руки часы и бросил налево, снял с правой и бросил

направо. Это был жест. Современному человеку это трудно объяснить. Часы были предметом вожделения и нередко служили наградой. Не знавшие ни слова по-немецки русские солдаты быстро научились произносить «вифиль из ди ур». Ничего не подозревавший немецкий обыватель охотно доставал карманные часы, и они немедленно перекочевывали к победителю…

Женщин в штрафные роты не направляли. Для отбытия наказания они направлялись в тыл, в тюрьму. Впрочем, и случалось это крайне редко.

Нет в штрафных ротах и медработников. При получении задания из медсанбата или соседнего полка присылают медсестру. В одном из боев медсестра была ранена. Услышав женский крик на левом фланге, я поспешил туда. Ранена она была в руку, по-видимому, не тяжело, ее уже перевязывали. Но шок, кровь, боль и потом это же передовая, бой еще идет, чего доброго могут добавить. Сквозь слезы она произносила монолог, который может быть приведен лишь частично: «Как любить она употребила другой глагол так всем полком ходите! А как перевязать, так некому! Вылечусь, никому не дам!»

Сдержала ли она свою угрозу, осталось неизвестным…

В штрафной роте антисемитизм не ощущался. По отношению к себе я никаких реплик никогда не слышал. Может быть, за глаза?

После Победы я некоторое время служил в Вентспилсе. Однажды утром, когда я по обыкновению куда-то спешил, навстречу попалась группа моряков. Надо сказать, что отношения с моряками были не простыми и не всегда мирными. Обойти их не удалось. Старший неожиданно кинулся ко мне и стал душить. Ввиду численного превосходства сопротивляться было бесполезно. Оставалось покорно ждать своей участи. Четверо других моряков почему-то улыбались. Прежде, чем я понял, что моей драгоценной особенно после войны жизни ничего не угрожает, мои новые, только накануне тщательно прилаженные погоны, оказались безнадежно смятыми. Это был наш бывший штрафник, командир морского охотника, отбывший штраф по ранению или по сроку не вспомнить, на корабль его вернули, но в офицерском звании еще не восстановили, и он был в мичманских погонах. О свободе передвижения говорить уже не приходилось. Я был взят «под белы руки», и живописная группа я в зеленом, они в черном поволокла меня на пирс. Корабли стояли на другой стороне Венты. Один из моряков встал на скамейку и стал размахивать руками. Я понял флажковая азбука, сам когда-то учил в пионерах. С корабля заметили, что-то «написали» в ответ,

быстро спустили шлюпку, и вскоре мы все очутились в тесном кубрике. Дальнейшее вспоминается смутно…

Армия может занимать по фронту, в зависимости от обстановки, от нескольких километров до нескольких десятков километров. В последнем случае командование не станет перебрасывать на нужный участок штрафную роту. Передвижение этого, не совсем обычного подразделения вдоль линии фронта, в ближнем тылу, чревато неприятностями. Заблуждение думать, что в штрафные роты направлялись «лучшие из лучших». Совсем даже наоборот. И в разведку боем будет назначен обычный стрелковый батальон, свежий, либо с соседнего участка, очень редко тот, который занимает здесь оборону. Последнее чистая психология: солдат «приживается», привыкает к своей траншее, своему окопу, и ему труднее покинуть обжитое место и подняться в атаку. Это учитывается.

К выходу книги подоспел еще один фильм о штрафниках «Штрафбат» (11 серий, реж. Ник. Досталь, сцен. Эд. Володарский). Уже не остается ни места, ни желания разбирать его подробно. Остановимся на главном.

Никогда офицеры, сохранившие по приговору Военного Трибунала свои воинские звания, не направлялись в штрафные роты только в офицерские штрафные батальоны.

Никогда уголовники не направлялись для отбытия наказания в офицерские штрафбаты только в штрафные роты как рядовые и сержанты.

Никогда политические заключенные не направлялись ни в штрафные батальоны, ни в штрафные роты, хотя многие из них истинные патриоты рвались на фронт защищать Родину. Их уделом оставался лесоповал.

Никогда штрафные роты не располагались в населенных пунктах. И вне боевой обстановки они оставались в поле, в траншеях и землянках. «Контакт» этого непростого контингента с гражданским населением чреват непредсказуемыми последствиями.

Никогда, даже после незначительного ранения и независимо от времени нахождения в штрафном подразделении, никто не направлялся в штрафники повторно.

Никогда никто из штрафников не обращался к начальству со словом «гражданин» только товарищ! И солдатам не тыкали «штрафник».

Никогда командирами штрафных подразделений не назначались штрафники! Это уже не блеф, а безответственное вранье. Командир штрафного батальона, как правило,

подполковник, и командиры пяти его рот: трех стрелковых, пулеметной и минометной кадровые офицеры не штрафники. Из офицеров-штрафников назначаются командиры взводов.

Благословение штрафников перед боем чушь собачья, издевательство над правдой и недостойное заигрывание с Церковью. В Красной Армии этого не было, да и не могло быть.

Распространенное мнение, что штрафные роты и штрафные батальоны сыграли решающую роль в Победе, заблуждение. Они сыграли свою роль. То, что у Рокоссовского воевали одни штрафники, глупость. Да и составляли они не более одного процента от численности Армии.

Зачет по немецкому

Война шла к концу.

Еще гремели орудия, прорывали вражескую оборону танковые колонны, и устремлялась в прорывы оглохшая от канонады пехота. Еще тысячи солдат погибали у городов и населенных пунктов с незнакомыми, нерусскими названиями. Еще лилась кровь, и шли похоронки в тыл родным и близким. Но война замедляла свой бег. Победа была близка.

Уже улеглась пыль, и стерлись следы пятидесяти семи тысяч пар сапог пленных фашистов, промаршировавших 17 июня 1944 года под конвоем от московского ипподрома по центральным улицам Москвы во главе со своими генералами отнюдь не парадным маршем, о котором они так мечтали и к которому так тщательно готовились. У стен считавшейся неприступной Кенигсбергской крепости, уже получил пробоину от виска до волевого подбородка памятник железному канцлеру Бисмарку и шлем не помог. Уже был окружен Берлин, и по вечерам расцвечивалась победными салютами Москва. После постыдной горечи поражений мы познали сладкий вкус победы.

Передний край на участке сосредоточения проходил по опушке леса. Для большей маскировки между редкими деревьями установлены плетни. Противник знает, что здесь проходит наша оборона, и методически обстреливает из миномета, но передвигаться за этой маскировкой спокойнее.

Знакомый лесок. Мы его недавно брали. Немцы установили на опушке четыре танка. Танки были неподвижны. Из-за нехватки горючего их зарыли в землю и использовали, как доты. «Энергетический кризис» сказали бы сейчас. Едва мы добрались до железнодорожной насыпи, нас накрыл минометный налет. Мины ложились так густо, что на открытом поле как бы возникал

сказочный лес: каждое мгновение — несколько черно-красных кустов. Укрыться некуда, а ложиться бессмысленно, от мины лежа не спасешься, осколки низко стелятся над землей.

А лесок теперь наш. Он на высотке. Раньше мы были под немцем, а теперь он под нами. Вот из этого леска и будем производить разведку боем. Занимающий здесь оборону стрелковый батальон с интересом смотрит на нас: что за люди? Рекогносцировка уже была, идут последние приготовления, уточняются задачи с командирами взводов. Отчетливо видно противотанковое минное поле перед немецкой обороной. Ночью перед нашими окопами саперы разминировали проходы в своем минном поле, обозначив их обмотанными бинтами колышками. Неожиданно раздается взволнованный голос:

— Флаг! Белый флаг!

Такого мы еще не видели. Осторожно выглядываю из-за плетня. Над немецкой траншеей трепыхается белый флаг скорей всего полотенце на штыке. Рядом появляется второй. Возле флагов заметно какое-то движение. Белые флаги шатаются и… исчезают. Все разочарованно чертыхаются и матерятся.

Но вот один флаг появляется снова и уже твердо возвышается над бруствером. Звоним «наверх»: артподготовку отставить. Ждем. Томительно тянутся минуты. Никто не берет флаг в руки, как полагалось бы, и не идет к нашим окопам. Видно, неспокойно там, у немцев, боятся, как бы свои в спину не выстрелили. Остается одно идти самим.

Забегая вперед, замечу, что все переводчики на войне были, естественно, с немецкого. Но к концу войны, когда стали шириться контакты с союзниками, понадобились переводчики и с английского. На Карлхорстскую конференцию для принятия капитуляции Германии прибыла английская делегация во главе с маршалом авиации сэром Артуром Теддером. А переводчик с английского то ли заболел, то ли опаздывал, и оказалось, что встретить делегацию некому. Ночью в Управлении кадров по личным делам срочно стали искать офицеров, учивших в школе английский язык. Нашли, наскоро проинструктировали об этикете встречи на берлинском аэродроме Темпельгоф. Бравый лейтенант строевым шагом подошел к маршалу Теддеру, лихо козырнул, и ничтоже сумняшеся, обратился к главе делегации: «Ду ю спик инглиш? Собрав весь свой английский юмор, сэр Теддер ответил: «Нес!..»

Но теперь все смотрят на меня. В роте я один знаю немецкий. Приходилось допрашивать пленных. Кроме меня, идти некому. Невольно вспоминаю недавнее сообщение Совинформбюро о гибели двух наших парламентеров в районе Будапешта. Хотели

избежать кровопролития и полегли сами. Теперь им там памятник стоит. Но мне всего двадцать три года и «бронзы многопудье» меня не тревожит.

Сомнения, очевидно, отражаются на моем лице, и кто-то говорит: «Да если что мы от них мокрое место оставим!» И оставят. Такое подразделение. Только вряд ли я увижу это самое мокрое место…

Но делать нечего. Надо идти. Вскакиваю на бруствер, на виду у немцев, демонстративно, в лучших традициях классических романов снимаю пояс с пистолетом и отдаю в чьи-то протянутые снизу руки, отламываю прутик, достаю из кармана носовой платок, цветом отдаленно напоминающий белый, привязываю и, держа в повлажневших руках эту скромную эмблему мира, на негнущихся ногах направляюсь в сторону противника. Но странное дело чем дальше я отхожу от своих, а может быть, именно поэтому, обратно не побежишь, тем шаг становится тверже, конечности приобретают привычную упругость, появляется какой-то азарт. Тишина. Фронт замер. Ни с той, ни с другой стороны не видно никого. Но я знаю: сотни глаз наблюдают за мной из укрытий.

Примерно на середине нейтральной полосы слышу за спиной быстрый топот. Оборачиваюсь. Догоняет наш солдат, крепкий, здоровый парень, по-видимому, без классического образования во всем вооружении: «Я с вами!» Ты бы хоть автомат снял! упрекаю его. А-а, ничего! Что значит победа близко! Можно и пренебречь традициями.

И мы идем вдвоем. Я с белым флагом парламентера, он с автоматом. Спускаемся в немецкую траншею. Впервые вижу их не в бою и не пленных. Кормлены хорошо. Но уже без спеси. Не сорок первый, а сорок пятый.

У немцев творится что-то невообразимое. Митингуют. Кидаются друг на друга в одиночку и группами, за грудки берутся. Говорят быстро, не успеваю разобрать слов. Некоторые смотрят на нас косо… Окружают возбужденные, враждебно настроенные фашисты. Сопровождавший меня солдат бледнеет и нервно поправляет на плече автомат, к которому уже протягивает руку белобрысый здоровый немец. Мой собственный вид наверняка не лучше, сейчас шлепнут! Как там поется? «И никто не узнает, где могилка моя»… Это ж надо свалять такого дурака! Война кончается, может еще жив бы остался.

Неожиданно эту ожесточившуюся группу расталкивают солдаты, твердо решившие сдаваться. Прошу провести к старшему. В блиндаже сидит оберет-полковник, чин для переднего края довольно высокий. Не он ли снимал белые флаги?

Очень похож на типичного немецкого офицера: худощавый, подтянутый, седые виски. Не хватает только монокля.

От волнения мой немецкий словарный запас сократился и колеблется в узком диапазоне между «Сталин гут» и «Гитлер капут». Объясняю ему: война скоро кончится. Берлину они все равно не помогут. Гарантируем жизнь, питание, личные вещи, отберем только оружие. Молча кивает. Не унижается до разговора со мной. Наверное, уловил, что еврей.

Выхожу на бруствер. Машу своим. Представляю, сколько глаз следит сейчас за нами. Небось, тоже переволновались. Выходят и немцы. Выстраиваем колонну и ведем через минные поля в наше расположение.

А в нашем расположении солдаты кидаются отбирать у них часы…

Через четверть века, заканчивая прерванное войной образование, пришел в университет сдавать зачет по немецкому. Моя работа была связана с длительными командировками и, не имея возможности сдавать сессию вместе со всеми, я часто хаживал по факультетским коридорам с направлением в руках и, глядя печальными глазами на преподавателей, просил принять академическую задолженность.

Молодая девушка, пуритански застегнутая до подбородка, но с волнующе открытыми, по моде, ногами, голосом, не предвещавшим ничего хорошего, спросила: «Это вы пришли сдавать немецкий?» Видимо, ее смутил мой возраст. «Да, робко пробормотал я. Потом подумал: она мне в дочки годится, да я уж сдал экзамен и пострашней.

Знаете сказал я в войну я ходил парламентером. К немцам.» добавил я для убедительности.

Она озадаченно посмотрела на меня, потом протянула руку и решительно сказала: «Ну, ладно! Давайте вашу зачетку!»

И я получил зачет по немецкому.

Второй эшелон

Во втором эшелоне

Мы во втором эшелоне. Полк отдыхает, зализывает раны, ремонтирует снаряжение, пополняет боекомплект, принимает пополнение. Солдаты латают обмундирование, на кустах так, чтобы не было видно сверху, сушатся портянки. А большинство просто спит. «Сушим лапти». Некоторые тихо разговаривают о доме, о женщинах, об интендантах. По поводу второго фронта грустно шутят: «не кажи гопкинс, пока нет рузвельтатов». (Гарри Гопкинс специальный помощник президента США Франклина Рузвельта.)

Старый солдат спрашивает: «Что бы ты хотел, чтобы тебе оторвало: руку или ногу? Вообще-то, я бы хотел, чтобы мне ничего не оторвало. Но… Представляю себе: на одной ноге ходить неудобно, будешь ковылять всю жизнь. Лучше вернуться с фронта

с орденом и гордо ходить с пустым рукавом, небрежно заправленным за ремень. Девушки будут говорить раненный герой вернулся. Руку! говорю. Ну и дурак! спокойно реагирует старый солдат. Ты прикинь, что рука делает, что нога». И верно. Мы вчерашние школьники, что мы знаем о жизни, а он рабочий человек, ему обе руки нужны.

С передовой доносится негромкий шум боя. Вдвоем с командиром роты связи идем проверять линию полевого телефона. Старший лейтенант идет налегке, у меня на плече четырехсотметровая катушка провода.

В небе появляется одинокий немецкий истребитель. Смотрим, как будто ему до нас нет дела. Едва ли обратит внимание. Непохоже. Цель уж больно незавидная. Но летчик, по-видимому, думает иначе, мессершмитт вдруг срывается в пике, и пока мы гадаем, что за объект он выбрал для атаки, у самых наших ног земля вспарывается чередой крупнокалиберных пуль! Ду-ду-ду-ду-ду… Промазал. Но не намного. Очередь прошла меньше, чем в полушаге… Исчез за лесом.

Нет! Возвращается! Настырный… Теперь ясно охотится за нами. Больше в поле никого нет, до леса не добежать. Командир роты замечает впереди окоп. Бежим к нему. Старший лейтенант впереди, я сзади. Отстаю. Не соображаю, что катушку можно бы пока и сбросить. Самолет пикирует. Свистит бомба. Падая в отчаянии ничком, вижу: командир роты счастливец! успевает добежать до окопа и скрывается в нем.

Следам за ним в окоп влетает бомба. Общеизвестно, что советского солдата вши не едят. Они едят исключительно немецко-фашистских захватчиков, неизвестным науке образом отделяя правых от виноватых. Что касается меня и моих товарищей, то для нас вши делали исключение и жрали нас с большим аппетитом, совершенно так же, как немцев. Если не более того.

Черт знает, откуда они берутся. Старые солдаты утверждают, что от тоски. Лозунг «Все для фронта!» выражался еще и в том, что на передовую выдавалось белье новое, ни разу не стираное, прямо с фабрики. Шили его из теплой, плотной ткани, швы были в палец толщиной, протирали оно нашу молодую кожу до костей, и не ранен, а к концу перехода весь в крови.

К зиме сорок второго сорок третьего годов выдали свитера. Воевали в ту зиму тяжело и долго. Месяца три не было случая не то что раздеться, а хоть бы шинель снять. Когда притихло после Сталинграда, на каком-то хуторе в сохранившейся жарко натопленной хате, стащил через голову свитер. Что за чертовщина: получал, помню, коричневый, а снял серый. Да

неровно как-то окрасился, пятнами. Глянул Вши!.. Скатал свитер клубком и через головы сидящих у печи ребят швырнул в огонь. В печи раздался треск. Да что ж ты, сынок, наделал! Отдал бы мне. Я б его откипятила, отпарила запричитала хозяйка. Не сообразил.

Больше никогда не носил я на фронте свитеров.

Время от времени, когда позволяла обстановка, организовывалась баня с вошебойкой. Поочередно пристраиваемся на пенек, и старшина стрижет всех «под ноль». Головы делаются круглыми и полосатыми. (Это начисто забыто всеми сценаристами и кинорежиссерами. Ношение прически разрешалось только офицерам и сверхсрочникам.) Вошебойка это железная бочка, под которой разводился костер. А баня нередко Г-образный окоп, чуть побольше обычного. В «голове» буквы несколько ступенек, по которым, вспоминая бога, черта и старшину, соскальзывали в «основной зал», где могли мыться сразу трое. На каждого старшина выдавал по два котелка горячей воды: один для головы, другой на все остальное. А вместо мочалки щетку для мытья лошадей. Очень удобно: просунешь ладонь под ремешок и трешь спину товарища до цвета и звука покраснеет и заскрипит значит, чистая. В окопе дымила буржуйка, которая не столько грела, сколько обозначала тепло. Дым ел глаза, долго этого выдержать было невозможно, выскакивали на свет белый раньше, чем обмундирование успевало пройти положенную обработку, и некоторое время бегали, чтобы не замерзнуть, вокруг бочки, исполняя какой-то немыслимый танец дикарей нагишом, но в сапогах. И не болели.

Пришел в отдел кадров за назначением. Получил предписание: старший лейтенант такой-то, назначается заместителем командира роты в стрелковый полк. Я младший лейтенант! сказал я и возвратил бумагу. Бери, раз дают. И уходи. Явно не хотелось кадровику выписывать новый документ. И какая разница, в каком чине меня убьют. Но я настоял. Кадровик нехотя переписал. А может, он хотел сделать доброе дело. Знал, что многие начальники неохотно «производили» евреев. Впрочем, бывали случаи, когда некоторые сами повышали себе звание…

И я отправился разыскивать свою часть. Старые солдаты, возвращавшиеся в свою часть после госпиталя — явление довольно редкое. Обычно направляют в другие части. Отставшие по каким-либо причинам и догоняющие свои подразделения хорошо знают: голосовать на дороге бессмысленно ни одна машина не остановится. Услышав шум приближающегося автомобиля, бывалые солдаты даже не оборачиваются бесполезно, никто не подберет.

Вначале это возмущало: ведь свой же брат, солдат! Потом привык и безропотно тащился к очередному контрольно-пропускному пункту, где проверяли документы водителей и пассажиров и пристраивали солдат и офицеров на попутные бортовые автомашины.

Возможно, приказ был такой: не сажать. По виду же не узнаешь, кто есть кто, может, переодетый в нашу форму власовец или вовсе немецкий разведчик. Исключение делалось только для лиц женского пола. Стоило девушке в военной форме поднять руку и любая даже легковая машина останавливалась и подбирала. Была-небыла, а побалагурить приятно. В отношении же солдата, офицера идет он, ползет ли — никому нет дела.

Юг. Леса нет. Вырыли землянку в тощей посадке, перекрыли честным словом, поставили железную печурку, натаскали бурьяну, сидим, топим. А я письмо в тыл пишу: «На земляных постелях бурьян, по нему скачут лягушки, под кровлей, по «балкам» мечутся мыши. Иногда мы стреляем в них из пистолетов, они на некоторое время успокаиваются, но помогает мало, только пыли много. Ночью в уши и за воротник с потолка сыплется земля, в носу черно от копоти. И все-таки не хочется уходить отсюда в неизвестность…»

В безлесье землянка как роется? Посередине углубляется проход, а по бокам, как в купе железнодорожного вагона, остаются два лежака: хочешь спи, хочешь гостей принимай. Тепло, громыхает вдали, наша очередь еще не пришла, сидим в землянке и поем «Землянку». Тихо так поем, задумчиво, для души.

Вот вырыть бы такую землянку, оклеить газетами, запасти бурьяну на зиму и жить. И жить! И ничего больше не надо!

Только бы не было войны.

Но война идет. И никто за тебя воевать не будет.

По дорогам войны нас постоянно сопровождали указатели со стрелками «ПАХ Полищука». Долгое время мы не знали, что это такое, но звучало как-то сомнительно… Название оказалось совсем не анатомического происхождения: Полевой Армейский Хлебозавод, что так щедро кормил нес свежим теплым хлебом. Где ты теперь, дорогой товарищ Полищук.

Теперь все больше слушают песни, а раньше пели. Немногочисленные кинофильмы выходили с обязательной песней, с хорошо запоминающейся мелодией, и ее начинали петь прямо по выходе из кинотеатра. Теперь музыка тоже сопровождает фильм, но, за редким исключением, запомнить, а

тем более воспроизвести невозможно.

В довоенные годы песня сопровождала нас везде. Ни один пионерский сбор, комсомольское собрание или воскресник не обходились без песни. Пели «Каховку», «Орленка», «Там, вдали за рекой», «Песню о юном барабанщике», «Варшавянку», «Вихри враждебные», позже «Катюшу». Уроки пения в школе были самыми любимыми и интересными. Под песню собирались, с песней расходились. Она была частью нашей жизни. Частью нашей жизни она оставалась и на войне. Особенно помогала песня в походе. Уставшие донельзя солдаты, бредущие растянутым неровным строем, преображались, стоило запевалам затянуть песню. Приходилось и самому запевать, и не было случая, чтобы не подхватили.

Броня крепка и танки наши быстры.
И наши люди мужества полны.

Строй подтягивался, выравнивался, грудь распрямлялась, шаг становился тверже и взгляд бодрей. Как-то во втором эшелоне рота после кино прошла по ночному селу с песней «Священная война». Наутро я был вызван в штаб корпуса и получил благодарность от самого генерала.

За песню.

А еще был случай, когда посланный за боеприпасами, я почти всю ночь пел в кабине машины, чтобы водитель не задремал и не залетел в кювет вместе с боеприпасами. Репертуар у меня тогда был обширный.

Однажды зашел в санроту. В одноэтажной сельской школе несколько проходных классных комнат были заполнены ранеными. В конце коридора, едва различимого в быстро надвигающихся сумерках, в бывшей учительской, в ожидании транспорта для отправки раненых в тыл, с молодым врачом, красивой и умной женщиной, стали петь. Пели тихо, чтобы не разбудить задремавших раненых, душевно, с чувством. Уже много перепели песен и довоенных, и военных, и украинских дело было на Украине, а транспорт все не шел.

Вдруг из дальней комнаты донеслось глухое мужское рыдание. Всегда тяжело, когда плачут, но особенно, когда плачут мужчины. Встревоженные, кинулись на плач. Может, кровотечение началось или еще что. Видно, худо солдату. Оказалось, раненые не спят, тихо лежат с открытыми глазами, песни слушают. Молча указывают на пожилого обросшего солдата у стены. Он уже успокаивается, слезы пробороздили потемневшее

лицо. Что с тобой? Ничего. Уж больно хорошо пели. И добавил Песня такая.

Это была «Песня о Днепре».

Я любил бывать у минометчиков. В минроте состав держался дольше, чем в стрелковых подразделениях, люди успевали ближе узнать друг друга, подружиться. Командиры взводов Володя Брашн и Рувим Зельманович обзавелись редкой в ту пору гитарой, что считалось кондовым мещанством и, собираясь вместе, мы пели фронтовые песни. Веселый там был народ.

Любимыми песнями на фронте были «Темная ночь», «На позицию девушка провожала бойца», «Дороги», «Соловьи», «В лесу прифронтовом», «Солнце скрылось за горой», «Я по свету немало хаживал» и другие. И все-таки пальму первенства держала «Землянка», недаром на вечерах ветеранов-фронтовиков эта песня всегда звучит одной из первых. Так запала в душу.

Алексей Сурков, написавший эти стихи, не предполагал их всенародной популярности, не задумывался об их дальнейшей судьбе. Он написал их, выйдя из окружения, как письмо жене. Но она поняла, что эти бесхитростные строки выходят далеко за рамки обычных фронтовых стихов. И понесла по редакциям центральных московских газет. Везде понравилось.

И никто не напечатал.

Из-за строки «А до смерти четыре шага» цензура не пропустила. «Советский солдат не должен думать о смерти». Тогда было принято писать о презрении к смерти. Но «презрения» стало слишком много, а до победы еще очень далеко и вскоре о презрении писать перестали.

А «Землянка» с музыкой Константина Листова начала свой триумфальный путь.

И до сих пор греет душу.

На хозяйстве

Иногда мне кажется, что если не все, то очень многие фронтовые анекдоты обо мне. А началось еще с Суслонгера. Я был пограмотней других, и политрук назначил меня старшиной роты. В тот злосчастный день на ужин выдавали селедку. Выдавали ее на вес, и в моем весе оказалось восемьдесят селедок. Было от чего прийти в отчаяние. Что делать? В роте сто человек. Грустно стоял я над остро пахнувшей селедкой, терзаясь сомнениями, как разделить восемьдесят селедок на сто человек. Подошел старый солдат: Чего задумался? Я поделился. Не бедуй! В роте сколько

взводов? Четыре. Ну, и раздай каждому помкомвзвода по двадцать селедок и дело с концом. А как же они? не пожелал я свою тяжкую ношу перекладывать на чужие плечи. А они разделят по отделениям. Старый Солдат смотрел на меня с недоумением: притворяется или в самом деле дурак… (в самом деле…)

Вечером отделения собрались вокруг разложенных на газете паек хлеба. На каждой лежал кусок селедки. Солдат постарше протягивал руку и, указывая на какую-нибудь пайку, вопрошал: Кому? А другой, со списком в руке, повернувшись спиной к группе, называл в разбивку фамилии. С непривычки было как-то не по себе. Я комсомолец, что дадут, то и ладно. А тут какой-то дореволюционный обычай. На мое замечание старый солдат отодвинул меня в сторону: Не мешай! Недовольных, впрочем, не было. Поразительно, что ни в одном кинофильме этого традиционного способа распределения солдатской еды нет. Стесняются, что ли?

На следующий день политрук сказал: «Оказывается, не каждый еврей может быть хозяйственником И отстранил меня от старшинства.

На этом моя хозяйственная деятельность на войне закончилась. Но не злоключения. Потому что уже по дороге на фронт эшелонное начальство послало меня подсобником в хлебный вагон. Голому собраться только подпоясаться. Запихнул в вещмешок недоеденную пайку хлеба и спрыгнул. Кто-то из отделения попросил: «Хлеб-то оставь!»

Я остановился в замешательстве: чем же я буду ужинать? Не отдал.

Легко представить, что ребята обо мне подумали. Шел-то я в ХЛЕБНЫЙ вагон! Еще и еврей…

Хлебный вагон благоухал на расстоянии. Его только что загрузили еще теплыми буханками, издававшими довоенный аромат. От этого запаха становилось уютно, как в детстве, когда мама доставала хлеб из печи. Посередине вагона сидели старшина и еще двое пожилых солдат и ели. Старшина указал мне на ящик рядом с собой: Садись, ешь! Нашел дурака! Как же, стану я есть завтрашнюю норму хлеба. Спасибо. Не хочу и, сглотнув слюну, забился в угол. А они ели истово, не торопясь, и мне показалось, что за норму уже давно перевалило…

Наутро, опустив глаза, попросил у старшины хлеба. Он отрезал полбуханки, и я отнес своему отделению.

Мне не раз хотелось провалиться сквозь землю из-за своей наивности. В первый день на передовой старшина протянул мне банку консервов: ешь. Я знал, что банка тушенки дается на пять человек, на глазок отмерил и аккуратно выел пятую часть. Да

ешь, ты. Ешь! сказал старшина. Нема дурных! Не стану я есть в счет завтрашнего дня. Может, еще жив буду. И я мужественно отказался. Старшина посмотрел на меня с сожалением.

До фронта мне никогда не приходилось есть из общей посуды. На войне тарелки не подадут, нередко приходилось есть из одного котелка вдвоем, втроем. Как-то уселись вокруг котелка с наваристым супом, в котором аппетитно плавали поверху куски американской тушенки. Двое старых солдат аккуратно зачерпывали ложками суп и, поддерживая их ломтями хлеба, чтобы не пролилось ни капли, не торопясь, ели. Мясо они старательно разгребали, отодвигая в сторону, чтобы не попало в ложку. Вегетарианцы, наверное. Я и раньше слышал о людях, что не едят мяса, но видел их впервые. Вот повезло! подумал я и, захватив кусок пожирнее, с удовольствием отправил его в рот. Старые солдаты молча переглянулись и с осуждением посмотрели на меня. Что-то здесь не так. На всякий случай, и я стал есть, как они. Оказывается, мясо едят, когда покажется дно котелка, зачерпывают его по очереди, по старшинству. Иди, знай!

Зимой выдавалась водка, чаще разливная, но иногда и в бутылках. Пол-литровая бутылка на пять человек. А как поделить? Поллитровка водки по высоте равняется пяти спичечным коробкам «лежа». Но спички были далеко не всегда и до трофейных немецких зажигалок курильщики пользовались первобытным кресалом. Отмечали пальцем одну пятую высоты бутылки, и, отхлебнув, смотрели вроде до ногтя еще на спичку осталось. И так по очереди все пятеро.

Вообще-то в этом отношении я был выгодным солдатом не пил, не курил. Махорку отдавал товарищам, как правило, пожилым, которые без курева жить не могли и дымили, когда курить было нечего, какой-то немыслимой смесью. Курить я так и не стал, а пить понемножку начал уже к концу войны. Некурящим взамен папирос и табака полагался шоколад. Но тогда я об этом не знал. Да и кто бы стал возиться с одним некурящим? Вот бы привезти матери и сестре несколько плиток. Забыли за войну, что такое сахар, не то, что шоколад.

А привезти бы я мог не только шоколад. Как кончилась война, штрафную нашу роту расформировали. Пошел рассчитываться, сдавать обмундирование. Принес полушубок белый, пушистый, длинный коленки в нем не мерзли. Старшина кинул мне его обратно: Я его уже списал! Как списал? Вот же он целый! Возьми. Матери пошлешь! Он знал, что родные в эвакуации и бежали, практически, в чем стояли. Посылки в тыл уже были разрешены, но я не сдавался и полушубка не взял. Как

можно списать вещь, если она цела?.. Еще долго учила меня война. Но многие ее уроки пошли прахом…

А посылал я матери только письма. И нашел, впоследствии, их все среди ее бумаг, аккуратно перевязанные ленточкой…

В самом начале сорок третьего года наш батальон участвовал в освобождении города Шахты. В бою он сильно поредел, и командир полка вывел его во второй эшелон. Командир минометной роты Федя Шевченко попросился проведать родителей: уцелели ли под немцем? Случай не частый, чтобы довелось участвовать в освобождении своего города. Комбат отпустил на три часа при условии, что пойдет не один. Пошли вдвоем. Вот и домик на окраинной улице. Со стесненным чувством подходим к калитке. Темно. Глухо. Заперто. Представляю, что творится в душе моего товарища. Волнуюсь и сам.

Стучим. Некоторое время никто не отзывается. Наконец, слабый женский голос: Кто там? Это я, мама! Вскрик. Лязг отодвигаемого запора. Входим. Темно. Ничего не видно. В исподнем выходит отец, дрожащими рунами зажигает коптилку. После первых приветствий, объятий собираются соседи. Кто-то приносит пол-литровую бутылку самогона, больше для порядка, закуска наша, что нашлось в вещмешках. Дома холодно и голодно. Одно слово — оккупация.

Начинаются расспросы: что Москва, как на других фронтах, когда война закончится, скоро ли откроют второй фронт, говорят, погоны ввели, гимн новый. Отвечаем охотно. Слушают хорошо, соскучились по своему.

Старший сын еще до войны поступил в военное училище. Младший призывался мальчишкой, да на войне мужают быстро.

Не сразу обращаю внимание, что родители все время называют моего товарища Ваней. У русских, вроде, не принято давать двойные имена. Может, по паспорту Федя, а дома Ваня. Хотя, опять-таки, странно. Нам пора. Начинаем прощаться. И тут комок подкатывает у меня к горлу. Мой товарищ обнимает мать и говорит: «Мама! Я не Ваня. Я Федя…»

Госпиталь

В медсанбат меня привезли без сознания. Очнулся в небольшой комнате деревенского дома на жестком топчане, прикрытый своей же шинелью. Неожиданно в комнату ввалилась группа военных во главе с плотным небольшого роста бригадным врачом, которого сопровождало медсанбатское начальство. Новую

форму уже ввели, но бригврача еще, видимо, не переаттестовали, и он носил старую, с одним ромбом в петлице, по-новому генерал-майор медицинской службы. Бригврач подозрительно посмотрел на меня бинтов не видно: «С чем лежит? Контузия ответил кто-то из сопровождавших. Поднимите рубашку! и он больно ткнул меня двумя пальцами в живот. —

— Кто свидетельствовал? Капитан Иванова. Пять суток ареста! — резко бросил бригврач и, круто повернувшись, вышел из избы.

Свита поспешила за ним.

Я решил, что речь идет обо мне, и расстроился. Перележал бы у себя в санроте. И где у них тут гауптвахта. Холод там, небось, собачий. Вбежала возбужденная капитан Иванова. Где я у вас тут сидеть буду? Да не вы, а я! раздраженно бросила она. И задрав мне рубаху, повторила жест бригврача. У вас еще и тиф! огорченно сказала она. Но я сравнительно хорошо себя чувствую! Это еще цветочки! пообещала она и ушла.

Вскоре мне стало хуже, и я снова потерял сознание. Пришел в себя уже под вечер. Комната была другая, и лежало в ней человек двенадцать. Возле двери, за небольшим столом, на котором стоял сделанный из гильзы светильник, сидела аскетического вида немолодая женщина военный врач, очень похожая на актрису Фаину Раневскую, и что-то быстро и сосредоточенно писала, скорей всего истории болезни.

Я был контужен, все тело налито свинцом, парализованные ноги не двигались, плохо слышал, язык с трудом поворачивался во рту. Но лежать, в общем, было хорошо и покойно. После непрерывного, порой нечеловеческого напряжения переднего края было тепло и уютно. Главное живой. Авось, помереть теперь медики не дадут.

С грустью вспомнил: когда увозили из санроты, из землянки полевой почты выскочила девушка и, размахивая руками, прокричала: «Письма тебе!» Но машина не остановилась. Светало, и надо было поскорей убираться. Так я их никогда и не получил.

У противоположной стены лежал солдат. Он был без сознания, бредил и конвульсивными движениями все старался разорвать бинты, которыми был привязан к койке. «Да помогите же ему!» не выдержал я. Докторша оторвалась от писания и, посмотрев на меня из своих добрых морщинок умными глазами, с грустной полуулыбкой сказала: «Если я даже лягу рядом, ему уже ничего не поможет!..»

Из медсанбата меня перевезли в госпиталь в Шахты. Везли в автомобиле «Форд». В кузове, на скамьях сидели легко раненные

и больные, а между ними были вдвинуты одни-единственные носилки со мной. Время от времени на кочках и воронках от снарядов и мин машина подпрыгивала, я ударялся головой о перекладину носилок, и сознание ненадолго возвращалось.

В приемном покое вестибюле новой двухэтажной школы никакой мебели, кроме моих носилок, не было. Маявшиеся в ожидании госпитализации легко раненные и больные иногда присаживались прямо на меня, не без оснований полагая, что уже можно… Но я этого почти не чувствовал, лишь на секунду, сквозь пелену тумана, смутно видел какую-то фигуру, да и сказать ничего не мог речь утратилась окончательно.

На минуту проснулся, когда меня погрузили в ванну. Сразу стало тепло и хорошо. И уж совсем непонятно было, почему так горько плачет хлопочущая надо мной пожилая женщина в белом халате. Я ее запомнил, и когда недели через две стал приходить в себя, спросил: «Что вы так плакали? Плакала, что ты такой молодой, и умираешь…»

Офицерское звание я получил на передовой, но еще продолжал ходить в солдатском обмундировании и попал в солдатскую палату. Раненые лежали в палате в три ряда возле окон, у дверей и посередине. На голом полу. Пол, правда, был крашеный. Ни сено, ни солому врачи не разрешали подстилать, чтобы не было грязи. Утром придут нянечки, подвинут тебя, как бревно, пройдутся шваброй и опять задвигают на место.

Разобравшись, перевели в офицерскую палату. Здесь уже были кровати: две койки рядом, вплотную, потом тумбочка. Стульев не было и здесь. Даже если бы и были поставить некуда. Сможешь сидеть сиди на койке.

Не ходил долго, ноги отказали, болели. Стал поправляться есть хочется. Кругом разорение, распутица, подвоза мало, и фронт рядом. По ночам город бомбят, легкораненые по тревоге спускаются в подвал, а мы лежим, «тревожимся» на месте. Кормежка слабая, подъедаем у тяжелых, как, наверное, наши предшественники — у нас.

Рядом со мной шахтинец, выздоравливающий. Говорю: «Будешь выписываться, скажи. Тут родители товарища моего боевого». Объяснил, как найти. Пообещал, но, видно, забыл, или не пустили в госпиталь после выписки, ушел не простившись. Фамилию мою шахтинец знал, рядом лежали, но при таких харчах разве запомнишь, а тем более выговоришь? Лежу, тоскую, кто со мной поступил уже ходячие, а некоторые и вовсе выписались. Да и вообще, когда ноги не действуют это большое неудобство, особенно в молодые годы.

А по коридорам госпиталя ходят выздоравливающие, и

каждый день кого-то вызывают, что-то кому-то передают, меня вызывать некому, а передачу принести тем более. Да и слышу я еще плохо, хотя одну и ту же фамилию явно не мою выкликают несколько дней. Но никто не отзывается.

Однажды в дверях палаты останавливается выздоравливающий и, прислонившись к косяку, читает письмо. Кто-то упорный не оставляет надежды найти своего. Прислушиваюсь: «Кто знает моего сына Федю…»

Я! Я знал сына Федю! Не подвел солдат. Нашли меня старики. Отец ходил на Дон рыбачить, мать жарила невесть на каком жиру и приносила в госпиталь.

Выписавшись, по стенам да по заборам, на негнущихся ногах, доковылял до Шевченков, несколько после-госпитальных отпускных дней жил у них. Как сын.

Лошади

Что ни говори, а основную тягловую нагрузку, особенно в первые военные годы, вынесли на себе лошади. О лошадях написано мало и как-то вскользь. Кавалеристов почти не осталось, да и те стесняются напоминать о себе. Лошадь умнее собаки и не менее предана. Многие держали бы лошадей и ныне, да негде, и не дешевле станет автомобиля. Американцы, говорят, вывели породу комнатных лошадей, маленьких, чуть побольше собаки, но ведь это игрушка, а не лошадь.

Академик Павлов как-то сказал: собака вывела человека в люди. То же самое можно сказать о лошади, она — вывезла.

В довоенное время кони в эскадроны и батареи подбирались по мастям, рукопись прочел старый полковник-кавалерист. Позвонил сразу: пегих в армию не призывали. Поразило слово «призывали», как людей.

Я — не конник и к лошадям на войне непосредственного отношения не имел. Но иной раз на такие страдания насмотришься сердце разрывается. И поневоле вспоминаются стихи Маяковского «Хорошее отношение к лошадям». А хорошее отношение к лошадям на фронте это, зачастую, пристрелить раненого коня…

Мои отношения с лошадьми были довольно сложными: я их любил, а они меня нет. В детстве я мечтал лихо мчаться на коне уж если не во главе всесокрушающей кавалерийской лавы, то с важным донесением, которое решит исход боя. Лошади же, не без оснований, предпочитали других всадников… Еврей на лошади это не еврей, говорил Бабель.

Мое первое знакомство с лошадью началось с того, что я не знал, как на нее сесть. Обходил ее и так, и сяк, и все равно получалось, что если я на нее сяду — неминуемо окажусь лицом к хвосту. Такого позора я допустить не мог, тем более, что уже собирались любопытные. Подошел старый солдат, все оказалось очень просто: нужно стать лицом к голове коня, вдеть левую ногу в стремя и, оттолкнувшись правой, с поворотом сесть в седло. Я благополучно вдел ногу в стремя, оттолкнулся и… Лихо сесть в седло не удалось. Лошадь повернула голову и, оскалившись, пыталась схватить меня за колено. Я не давался и, стоя одной ногой в стремени, некоторое время, к удовольствию собравшихся, мы с конем кружили на месте. Наконец мне удалось перекинуть правую ногу и с облегчением сесть в седло. Наши отношения, как будто, стали налаживаться, но лошадь еще долго косилась в мою сторону, презрительно улыбаясь…

В одно прекрасное утро, в обороне, комбат сказал: «Вызывают в штаб полка. Погода отличная, пройти километра три-четыре одно удовольствие. Но комбат, видимо, знал больше, чем говорили. Возьми коня! добавил он. Дальше начались тайны мадридского двора, В полку сказали: езжай в политотдел дивизии, там послали в политотдел корпуса, оттуда направили в Политуправление Армии, как оказалось за новым назначением. Коммуникации в обороне довольно растянутые, до Политуправления оказалось километров тридцать.

Молодецкого соскока не получилось, а о том, чтобы щелкнуть каблуками не могло быть и речи. Обнимая коня за шею, кое-как сполз. Потоптался, не очень твердо, но стою. Взглянул на непослушные ноги, бриджи вылезли из сапог и собрались гармошкой…

Под деревом сидел генерал и что-то писал, примостив блокнот на коленях. Указали на него: доложись. Привел себя в порядок и, стараясь ступать твердо, как будто эти тридцать километров для такого бравого кавалериста пустяки, направляюсь к начальству. Лихо козырнув и уже открыв рот для доклада, замечаю, что генерал, глядя куда-то мимо меня, тоже поднимает руку для приветствия. Странно: сидя и без головного убора… Но вместо приветствия генерал бросает: Лейтенант! Ваша лошадь валяется! Боже мой! Не расседланная, сломает спину, придется пристрелить. Конечно, съедят за милую душу, но что я скажу комбату… Привяжите на короткий чембур! — кричит генерал вдогонку.

На ходу пытаюсь вспомнить, что это может значить. Кажется, что-то такое было у Шолохова. Так и не вспомнив, поднимаю коня и на всякий случай привязываю мордой к стволу. Теперь не

ляжет.

В освобожденных селах только саманные стены домов. Ни крыш, ни окон, ни дверей. Но все какой-то затишек, не так дует. Вот и заводишь в эти бывшие дома лошадей, потому что, если они падут или заболеют, завтра будешь грузить боеприпасы, снаряжение и прочее имущество на и без того навьюченных и измученных людей. Приказа никто не отменит, и никто не поможет. Хоть стреляйся.

Вот и начинаешь с лошадей. А люди? Люди себе место найдут. И нашли. В длинном сарае, бывшей конюшне, улеглись вповалку. Пока расставлял посты, осталось только одно место: между крайним солдатом и издыхавшей лошадью. То ли больная, то ли немцы не дострелили, в темноте не разобрать, дышит тяжело, с хрипом, пристрелить жалко, да и люди уже спят. Втискиваюсь между крайним солдатом и конем.

Ночью просыпаюсь от тяжести, будто камнем придавило. Открываю глаза: лошадь положила голову мне на грудь и умерла. Искала защиты у человека.

Вспоминаю о лошадях на войне, и встает перед взором такая картина. У дороги виднеется сугроб. Из него торчит что-то темное и странное, издали похожее на флюгер. Подхожу. Сугроб это занесенная снегом лошадь. Голова, как изваяние, на гордой стройной шее, повернута к крупу видно перебиты были задние ноги. Так и замерзла. Обреченные глаза открыты, и в каждом по замерзшей хрустальной слезе…

Невольный памятник погибшим на войне лошадям…

В первый послевоенный год прекрасный поэт, фронтовик, Борис Слуцкий написал проникновенное стихотворение о лошадях, погибших в войну на корабле «Глория» «Лошади в океане».

Вот и все. А все-таки мне жаль их Рыжих, не увидевших земли.

Интуиция

Что там ни говори, а интуиция нечто большее, чем просто чутье или догадка, подсказанная опытом. Платон называл интуицию моментальным знанием.

… Каким бы решительным по тону не было Обращение Военного Совета перед наступлением, Старый солдат всегда знает, рассчитывает ли здесь Командование на успех или это только отвлекающий удар. Никто прямо об этом не говорит, но по

каким-то почти неуловимым признакам чувствуется, что решающего успеха здесь не ждут. В самой подготовке ощущается какая-то, едва заметная вялость. А чересчур решительный тон командиров и излишняя суета только усиливают это чувство.

Но как объяснить предчувствие смерти, гибели товарища?

В главе «На Сиваше» я рассказал, как мой близкий товарищ Саша Кисличко перед атакой тщательно выскребал из рантов сапог каждую землинку. Именно в этой тщательности, с которой он с отрешенным лицом молча делал эту ювелирную работу, почудилось страшное. В момент моей гибели, к счастью не состоявшейся, я успел подумать: значит, не он, а я! Нет. Все-таки, он. Как сказать? Что сказать? Предупредить? О чем?..

Батальон движется колонной по крымской степи. Измученный комбат спит в бричке в обозе. Впереди колонны идут замполит батальона старший лейтенант Привороцкий, парторг капитан Нечитайло и я. Небыстро переговариваемся. У замполита в Симферополе осталась семья. Через несколько дней он узнает: всех расстреляли… Внезапно он умолкает, уходит вперед, отрывается от нас и идет один, думая свою тяжкую думу. Лицо отрешенное, нездешнее, глаза смотрят не видя. И снова острый укол предчувствия… Он погиб под Сапун-горой. Человек он был сугубо штатский, стрелял из нагана, размахивая им, как кулаком. Бой разлучил нас, и свидеться уже не пришлось.

Уж совсем не был похож на обреченного командир радиороты Генрих Згерский. Высокий, широкий в плечах и узкий в талии, он был немыслимо красив, здоров и весел, всегда шутил и смеялся. Основной состав радиороты девушки. Не удивительно, что они души не чаяли в своем командире. Лишь однажды он выключился, и на лице обозначилась роковая печать.

В один из дней я по каким-то делам был на КП. Подъехала рация. Подножка откинута, и с нее свисают ноги в перешитых по-офицерски, до боли знакомых сапогах. Сердце сжалось. Генрих! И всего-то одна мина разорвалась.

Похоронили его в братской могиле в центре поселка Малое Снежное, на Донбассе. Теперь, наверное, большой город.

Гибель Саши Кисличко и Генриха Згерского самые горькие для меня утраты на войне.

Штрафная рота в ожидании пополнения выведена в расположение запасного полка. Живем на богатом литовском хуторе. Отмылись, отоспались. Щупленький заместитель командира по строевой части Вася Демьяненко совсем утонул в

пуховой перине. Рослый комвзвода со звучной украинской фамилией Перерва немного выпил и балуется с пистолетом. Я таких игр не люблю: «Положи!» говорю. Вместо этого Перерва начинает целиться в меня. Метит в голову и улыбается шутит, значит. Интуитивно чувствую пистолет заряжен. Перерва обязательно щелкнет курком, вижу по физиономии. Неожиданно прыгаю и ударяю его под руку. Гремит выстрел. Оба смотрим на дырку в деревянном потолке. Перерва враз трезвеет, роняет пистолет, как будто он виноват, бледнеет, у него отвисает челюсть: «Я думал он незаряженный».

— Дура! говорю. Каждая винтовка раз в год стреляет незаряженная».

Во время наступления весь транспорт нацелен вперед. Чуть наметился успех по коням! В обороне, особенно в аръегардных боях, все автомобили стоят радиаторами в тыл. И поближе к дороге. Кто первый поставил машину «носом» в тыл? Кто дал такую команду? А никто не давал. И никто не был первый. Солдат даже во втором эшелоне чутко чувствует бой.

И в послевоенные годы чувство это не оставляло меня. Сойдя как-то с автобуса, увидел в окне мать дом был напротив остановки, квартира на первом этаже. Мама сидела, подперев голову руками, перед ней лежала раскрытая книга. Она не читала, глаза были полуприкрыты, но она не спала. Лицо отрешенное, нездешнее. Сердце сжалось от горького предчувствия. Вскоре она умерла…

Бывали и смешные случаи. На послевоенных офицерских курсах в Риге выдали нам зарплату, как говорят в армии, денежное довольствие. Один из нас, постарше чином и возрастом, подполковник, тщательно уложив купюры в бумажник именно в этой тщательности я что-то усмотрел, положил его в задний карман брюк и, прихлопнув себя по ягодице, поехал на футбол. Я сказал ребятам: вернется без денег. Как в воду глядел.

Порой доходит до невероятного. Как-то при разборе театрального реквизита я тогда работал в театре бутафор стал извлекать из старой полевой сумки газеты 1939 года, когда театр только начинал работать, а шли уже шестидесятые… Я заволновался: сейчас достанет августовские «Известия» со снимком Сталина, Молотова и Риббентропа, старательно скрывавшемся от «широких масс трудящихся».

И достал! Тогда это была большая редкость. Сенсация.

А началась это давно, еще в школе. Обычно я точно знал, когда меня учитель спросит, вызовет к доске, ошибался очень редко. Ребята это заметили и перед уроком или на переменах стали приставать: вызовут или не вызовут. Удачные

«пророчества» заставили меня задуматься, и вот что я заметил: если тот, кто задает вопрос, сразу, без напряжения, представляется отвечающим — вызовут, если — нет или для этого требуется усилие, не вызовут.

В те годы я ничего не знал об экстрасенсах. Да и было ли это слово?

Горькие нелепости войны

С пополнением приходило много молодежи. И хотя были они моложе нас всего на два-три года, рядом с фронтовиками казались детьми на войне два года целая жизнь. Учили их в тылу быстро и не всегда хорошо, случалось с деревянными винтовками и гранатами. Получив боевое оружие, они радовались, как дети. Я крепко помнил народную поговорку: раз в год и палка стреляет. Но в этом возрасте мало что воспринимается на веру.

В перерыве занятий присели солдаты кружком, положив автоматы на колени. Офицеры за насыпью собрались покурить, поговорить о втором фронте. Выстрел! Перемахиваем через насыпь. Один из новобранцев нечаянно задел спусковой крючок, автомат выстрелил, пуля попала в сидящего напротив товарища, из одной деревни. Молчит, но живой. Останавливаем какую-то бричку: быстро в медсанбат! Командиру полка докладываем; случайная пуля из леса. Посмотрел подозрительно, ничего не сказал.

Идем по жаркой степи. Идти нестерпимо тяжело. С трудом идут и люди, и кони. Никто не едет верхами, ездовые идут рядом с лошадьми. Артиллерийские командиры используя, как сказали бы сейчас, служебное положение, положили свои карабины на передки орудий, и мы им страшно завидуем. За день похода винтовка так натрудит плечи, что не знаешь, куда ее деть. И так ее понесешь, и сяк, а везде тянет, Она как часть самого тебя. Не отбросишь в сторону. Разве что оторвет вместе с рукой…

На исходном рубеже один из командиров потянул свой карабин за ствол. Рукоятка затвора зацепилась за ограждение передка. Не поняв в чем дело, он продолжал тянуть. Затвор сорвался и, прихватив патрон, возвратился в исходное положение… Раздался всего один выстрел. Хорошо не насмерть. А воевать и не начинали.

Ближе к концу войны начались строгости с учетом оружия, за потерю взыскивалось. Оружие начали отправлять Красному Китаю. Мы собирали его на поле боя и сдавали. Командир полка

беззлобно ругался: «Чем вы там воюете, за вами и не числится почти ничего». Было чем воевать, хотя и не числилось.

В одном из боев я был легко ранен в грудь осколком мины. Повесив руку на ремень, пошел в медсанбат. Возле старого КП повстречался старшина, которому был поручен сбор оружия. Он нес на плече несколько автоматов отечественных и трофейных.

Наши автоматы имели довольно простой предохранитель: на рукоятке затвора была подвижная чека, которая сдвигалась в вырез ствольной коробки и автомат на предохранителе.

Но война не учения. Предохранитель столько раз двигается взад-вперед, что металл стирается и сидит в гнезде неплотно. У меня выработалась привычка: в походе, закинув руку за спину, на ощупь проверять предохранитель большим пальцем правой руки.

Подойдя ко мне, старшина лихо сбросил автоматы с плеча. Один из них, ударившись прикладом о не оттаявшую еще землю, выпустил очередь ему в грудь! Тускнеющими глазами старшина в недоумении посмотрел на меня, улыбка медленно сползла с его лица, и он молча упал на собранные им автоматы…

На Миусском фронте, из-за недостатка строевых офицеров, командир полка назначил меня командиром 3-й стрелковой роты.

Природа здесь сделала исключение, и в этом месте левый берег реки был выше и нависал над пологим правым берегом. Наши пулеметчики постоянно держали немцев на прицеле. В отместку противник густо засыпал нас минами и потери для обороны были довольно значительными, и мы постоянно просили о пополнении. Командир полка ругался: «Строевку подаете на полную роту, а воевать некому!» Но обещал прислать несколько человек. Строевка ежедневная строевая записка о наличии и убытии личного состава и лошадей. Строевка всегда подается вчерашняя общеизвестная хитрость, чтобы получить на несколько порций больше сахара и водки.

Под вечер, когда стало смеркаться и из траншеи по горизонту хорошо видно, появилась редкая, человек восемь, цепочка солдат. По тому, как идут, издалека можно понять пожилые. А куда их девать? Обоз и без них забит беззубыми стариками. Было этим «старикам», впрочем, не более пятидесяти, но на фронте зубов не вставляют, вырвут в медсанбате и слава богу. (У немцев вставляли и на фронте…) Вот и размачивают сухари в котелке. А тут, даже на расстоянии двух километров заметно — один солдат сильно припадает на ногу.

Подошли. Спрашиваю: Ты что? Ранен что ли? Не долечили? Нет! отвечает. У меня одна нога с детства на семь сантиметров короче. Да как же тебя взяли? Да так вот и взяли. С самой Сибири

следую. Куда ни приду: да как же тебя взяли? И отправляют дальше. Там, мол, разберутся. Вот и пришел. А куда дальше? Дальше некуда. Передовая.

Тяжело писать об этом, но по моим подсчетам не менее одного процента похороненных в братских могилах люди в состоянии клинической смерти. При наших потерях это колоссальная цифра. Определить, клиническая ли это смерть или летальный исход, может только врач. Врачей на передовой нет. Их в госпиталях и медсанбатах не хватает. Об одном из таких случаев в свое время рассказали «Известия». Я расскажу о другом.

Мой товарищ, Семен Шастун, в одном из боев был тяжело контужен. Из ушей, носа и рта пошла кровь. И он потерял сознание. Когда на него наткнулись санитары, никаких признаков жизни он не подавал. Понесли в братскую могилу. Один из санитаров сказал: «Вроде живой! Неси!»

Надо понять санитаров. Пожилые люди, натаскались, намаялись. На поле боя еще шлепаются мины и посвистывают пули. Подошел санинструктор батальона. Что скажет? В яму? В бричку? Жить или умереть! Минута сомнения: В бричку!

Семен пролежал в госпитале полгода. Поначалу не видел, не слышал, не говорил. К концу срока встретился раненый, на костылях: Ты Сенька? Из какого полка?

Это был тот санитар.

Девушки

Произнести мою фамилию правильно без предварительной тренировки дело довольно безнадежное. Впрочем, и написать ее с ходу не менее сложно. Достаточно сказать, что мы с родным братом писались через разные буквы: он — через «а», а я — через «о».

Дня два или три перед отправкой на фронт маялись в какой-то школе в районе Ленинградского вокзала. Школа новая, четырехэтажная, с большим двором. Сутра по этажам ходит дневальный и бормочет какую-то непонятную фамилию вызывает на проходную. У меня в Москве никого нет, родные далеко, в эвакуации, со старыми тетками попрощался, из института тоже, вроде, прийти некому. Лежу наверху в пустом классе, на полу, положив под голову вещмешок. Невесело. Война только разгорается. Что-то будет?

Наконец, дневальный кричит: МГПИ им. Ленина! Меня! У проходной стоит очаровательная девушка, очень милая, очень

яркая, очень обаятельная. Принесла книгу и машинку для точки лезвий безопасной бритвы: «Я тут с утра стою!»

Немудрено. Пока дневальный перейдет двор, да поднимется на четвертый этаж, от моей фамилии в его памяти останется мало вразумительного. На минуту представляю: она стоит здесь с утра и всех проходящих просит вызвать меня. Все проходящие мужчины… Сколько взглядов она выдержала, сколько разных слов выслушала!

Когда в конце войны ей вручали в институте медаль «За оборону Москвы», сидевшая в президиуме наша «мать-командирша», курировавшая в войну институтскую команду ПВО, Мария Александровна Верпаховская, поздравляя ее, сказала: «Недаром вы с Ефимом в слуховых окнах целовались!» — зал грохнул и взорвался аплодисментами.

Тяжело на войне всем, а девушкам особенно. С первых дней войны девушки осаждали военкоматы, записывались добровольцами, подделывали документы, добавляя себе возраст, да их не больно и проверяли, нужда была большая. Вскоре и призывать стали.

Большинство из них имело о войне героико-романтическое представление, и первое соприкосновение с действительностью, с неприукрашенной правдой войны, действовало отрезвляюще. Но они быстро привыкали к фронтовому быту и безропотно несли нелегкую службу.

Большая часть девушек направлялась в медицинские учреждения: госпитали, санитарные поезда, дивизионные медсанбаты, подразделения связи. Штабные роты корпусных батальонов и армейских полков связи, а также служба ВНОС воздушное наблюдение, оповещение, связь почти сплошь состояли из девушек, а банно-прачечные отряды целиком из женщин, только командир пожилой или после тяжелого ранения офицер.

Командовать ими было не просто, и офицеры женских подразделений зачастую просились на передовую уже через неделю…

Некоторые девушки прорывались на передний край санинструкторами батальонов или на полковой коммутатор. Были девушки летчицы, снайперы. Об их подвигах написано много.

И везде трудно.

Тяжелораненые в госпиталях несамостоятельны, за ними нужен уход, в палатах тесно и душно. Молодые

выздоравливающие настойчиво ухаживают за сестрами, им передовой не пригрозишь.

Полегче было в частях ВНОС. Бывалые солдаты, добродушно посмеиваясь, расшифровывали эту аббревиатуру по первым буквам: Война-Нас-Обошла-Стороной. Так-то оно так, все не передний край, но когда эти части перешли в Прибалтику, Западную Украину, Польшу на одиночные посты ВНОС стали нападать националисты.

Банно-прачечные отряды назывались у солдат мыльно-пузырными комбинатами, в этой грубоватой солдатской шутке не было злословия, скорей скрытая солдатская нежность. Этим девушкам приходилось особенно тяжело. И воды натаскать, и дрова заготовить, и белье прокипятить, и простирать его, и просушить, и все вручную. О стиральных машинах и порошках никто и представления не имел. Корыто, мыло и руки вся техника. Электричества на фронте нет, гладили угольными утюгами, а большей частью просто катали. Если представить, какое белье приходит с передовой, где солдату по неделям, а то и по месяцам не приходится переодеваться!.. Надо до костей стереть пальцы, чтобы выстирать солдатское белье.

Никто о них не пишет. А сами они стесняются признаться.

Низкий поклон этим безвестным труженицам войны.

А быт? Отсутствие элементарных условий, необходимых женщине для ухода за собой? Хорошо, как в лесу. А в степи куда деваться? Утром встанут, соберутся в кружок… Кругом одни мужики, что в тыл, что на флангах на десятки километров мужчины, мужчины, мужчины. Еще и ухаживаниями прохода не дадут. Хочешь не хочешь, надо найти себе покровителя, как правило, офицера. Чаще всего им становится ее же командир. Он и во времени свободней, и в средствах передвижения и доппаек у него, и землянка поудобнее, и одет лучше, и… командир.

Белье, как правило, выдавалось мужское: кальсоны и нательная рубаха. Для ухода за собой девушки отрывали от рубахи рукава…

Бич девушек на передовой отсутствие воды.

…Шел с переднего края в политотдел. На КП полка ко мне бросилась девушка-связистка, стриженная, после тифозного госпиталя: «Увези меня отсюда хоть на один день! Здесь воды нет!» Меня в жар бросило.

Что-то такое я смутно слыхал, но не только знать, думать об этом не решался. А ведь мы были только знакомы. И телевидения еще не было…

Как же ей должно было быть плохо!..

Когда возвращался, она лежала возле землянки своего коммутатора, прикрытая шинелью… КП бомбили, и она не успела добежать до укрытия. И все эти годы я думаю: если бы она ушла со мной, может, осталась бы жива? А как уйти? Кто отпустит? На войне это не причина.

Часто женское и даже детское проявлялось у девушек неожиданно. Проходя мимо землянки, в которой жили наши связистки, услышал крик. Из землянки пулей выскочила, едва не сорвав плащ-палатку над входом, хорошенькая девушка и с криком бросилась мне на шею. Она была так взволнована, что я чувствовал, как бьется ее сердце. Вспомнил Маяковского: «И лучшие девушки нашей страны сами бросятся вам на шею». Но лучшие девушки нашей страны даже тогда бросались мне на шею не каждый день. Я осторожно спросил: «Ты чего? Там она испуганно покосилась на землянку, мышонок!»

Объясняться девушкам с командирами, как правило, молодыми офицерами, не всегда удобно. Существовал неписаный и, говорят, еще с первой мировой войны, заведенный порядок: если девушка сутра накрасила губы ее в наряд не ставят, она нездорова. Трогательно.

Все помнят, и никто об этом не написал.

А вообще-то наши девушки не красились. Нечем было, да и незачем. Большинство девушек, особенно зимой, ходило в мужском обмундировании. К холодам выдавали телогрейки и стеганые шаровары. Одна из женщин, постарше, повертела их в руках и, с сомнением покачав головой, сказала: «Я для этого совершенно не оборудована!»

При всем этом, девушки зачастую сохраняли наивность, простодушие и целомудренную чистоту. В связи с этим вспоминается такой эпизод.

Одна из наших артиллерийских батарей стояла в глухом Полесье, куда за всю войну не ступала нога ни советского, ни немецкого человека. И сама деревня называлась Великая Глушь. Наступала весна, пора наступления и любви. На батарею стали приходить девушки. Здесь уместно вспомнить афоризм Шкловского: «если бы Адам был солдатом, он съел бы яблоки еще зелеными»… Приходила девушка и к молодому лейтенанту. В полном соответствии с приведенным афоризмом, он очень скоро обнаружил, что на ней нет такой детали туалета, которая тогда называлась простым и понятным словом лифчик. И он ей об этом

сказал. В ее глазах отразилось недоумение, она прижала руками свои груди и испуганно спросила: «Хиба малы?» (Что маленькие? — *белор.*) Он понял, что она не только никогда не видела ничего подобного, но и не подозревает, что такое может существовать. Достал две артиллерийские салфетки, они выпускались из льна и предназначались для проверки чистоты канала ствола после стрельб, и он, которому подворотничок подшивал ординарец, сшил нечто отдаленно напоминающее эту деталь. И подарил девушке третью салфетку, чистую. И эта третья салфетка через какое-то время вернулась к нему, и на ней было крестиком вышито: Миша + Настя = Любовь.

Мы были молоды и ортодоксальны, и нам было обидно, когда наши сверстницы любили людей постарше, за тридцать, у многих из которых в тылу оставались семьи. Через некоторое время на груди у этих девушек нередко появлялась медаль «За боевые заслуги», сокращенно именовавшаяся «БЗ», и это только усиливало наше ворчание.

Теперь бы я им всем ордена давал. Разрывы мин и снарядов были неизменным аккомпанементом их фронтовой любви. И если одаривали они командира или солдата любовью великое им за это спасибо, немногие из них вернулись с войны. А что выбирали постарше и в мирной жизни так: возраст и опыт казались им надежной опорой. Но нередко и на сверстника падал их выбор, что, быть может, не вернется завтра из боя, не изведав женской ласки.

А тогда появилась и прочно вошла во фронтовой быт аббревиатура ППЖ полевая походная жена, по аналогии с аббревиатурой автоматов ППД и ППШ пистолет-пулемет Дегтярева и пистолет-пулемет Шпагина. Некоторые девушки оставались верными своим довоенным возлюбленным. По прошествии нелегкого для них времени, когда они подвергались не всегда деликатному обращению товарищей и презрению подруг, считавших, что война все спишет, их начинали уважать и даже охранять.

Что должна девушка ответить солдату, который завтра идет в бой, и из которого вряд ли вернется, и который, к тому же, ей симпатичен? Встретимся после войны? Сейчас легко рассуждать. А тогда за спиной у нас наготове стояла смерть.

Да и жизнь брала свое. Даже на войне. Можно было и зарегистрироваться. Подавались рапорта командиру полка, приказом по полку молодые объявлялись мужем и женой, жене присваивалась фамилия мужа и в красноармейскую книжку ставилась полковая печать. (Которая в мирное время ничего не

значила.) Случалось, что фронтовые мужья не возвращались к своим прежним семьям. И появилось еще одно тяжкое слово: «брошенка». Еще одна страничка трагедии войны.

В медсанбатах разрешалось делать аборты, повсеместно в те годы в тылу запрещенные, а тех, кто хотел родить, демобилизовывали, давали пособие, продукты, обмундирование и отправляли домой с сопровождающим. Тогда не было высоких платформ и ей, беременной, а иногда уже и с ребенком и вещами, самой было ни взобраться в вагон, ни выбраться. Некоторые матери писали на фронт: «Доченька, приезжай! Как-нибудь воспитаем». Но большинство девушек так прирастали к своей части, к своим товарищам, даже если возлюбленный погибал, все равно возвращались из медсанбата в родной полк.

«А потом войне конец, наступили перемены, и они сошли со сцены и отнюдь не под венец». Какой пронзительной печалью пронизаны эти строки Константина Ваншенкина, одного из лучших фронтовых поэтов! Пока девушки были на фронте, подросло новое поколение семнадцати восемнадцатилетних. Они были юны и целомудренны и более привлекательны для немногих вернувшихся с войны парней. А фронтовички могли услышать в свой адрес: «Знаем, за что ты медаль получила!» Жестоко и несправедливо. Многие из них остались одинокими на всю жизнь. Коротким было их фронтовое счастье, и долгой одинокая женская судьба.

Можно добавить и такую деталь. В освобожденных населенных пунктах, случалось, женщины, родившие от немцев — и не всегда в результате насилия, — в тревоге и ожидании возвращения с фронта или из плена своих мужей, подбрасывали детей нашим фронтовым девушкам…

В одном из самых фальшивых по моему глубокому убеждению фильмов о войне «Ангелы смерти» командир зенитно-артиллерийского дивизиона, состоящего из одних женщин, оказавшегося на танкоопасном направлении в районе Сталинграда, говорит своим девушкам: «Вы будущие матери. Идите домой. Я приказываю». Не говоря уже о том, что по его «приказу» они могут дойти только до своей землянки в искусстве допустима гипербола.

Но я человек пожилой и еще помню, что для того, чтобы стать матерью, нужен еще и отец… Говорят, что теперь это не обязательно. Не уверен, что этот способ лучше, но в отношении постановщиков фильма у меня закралось подозрение. Женщин в тылу хватало. Мужчины были на войне. Перед каждым

командиром на фронте ставится боевая задача. При появлении танков он что, сам будет бегать от орудия к орудию и вести огонь? А подносить, а заряжать, а наводить? Опять гипербола? Не слишком ли много.

На фронте можно получить пулю в лоб. А можно и в затылок. Это не кино. Это война.

А голые девочки! Ну, как же без этого. Кто поймет? Кто оценит? К сведению тех, у кого хватит терпения дочитать до этого места: поколение девушек Великой Отечественной войны вовсе не раздевалось так охотно перед объективами кинокамер, как это принято сейчас. Сам этот кадр дикость. На передовой, когда кругом одни мужики, нет обстоятельств, которые позволили что-нибудь подобное. Благостный финал фильма нестерпимо фальшив. Фильм неправдоподобен, образно говоря, «по обе стороны фронта». И за что только платят деньги «военным консультантам»?

В одной из частей службы ВНОС служила моя школьная подруга Лена. Через друзей и родных она разыскала меня на фронте, и мы стали переписываться. Ближе к концу войны, в долгой обороне, оказавшись почти рядом, на попутных машинах пустился на розыск.

Она была старше на год-полтора. На круглом, немного скуластом лице, под высоким, умным лбом, светились большие синие глаза. Лена писала прекрасные, мне казалось, стихи, но и без того я был влюблен в нее возвышенно и романтически. В твердом убеждении, что все женщины, и она в том числе, богини или, по крайней мере, ангелы, ниспосланные нам с небес, чтобы мы стали лучше, я смотрел на нее снизу вверх с восторгом и обожанием, совершенно исключавшим, чтобы ее мечты совпадали с моими низменными желаниями. Поэтому, когда она однажды сказала: «Сними меня с пьедестала!», — я не снял. Не мог.

И вот теперь мы встретились вновь.

Узнал у военного коменданта, где расположена их воинская часть.

Прихожу. В просторной комнате большого мирного учрежденческого дома сидело за столами несколько мужчин-военных и она. Все они что-то писали. Дверь скрипнула. Все, как по команде, оторвались от бумаг и посмотрели на входящего В том числе и Лена. Но она тут же, как и все, опустила голову и продолжала писать. Я молча стоял в дверях. Прошло несколько секунд, прежде чем она снова, рывком подняла голову и кинулась к дверям: «Я думала, мне пригрезилось!»

Расставаясь, она стала обрывать пуговицы на моей шинели. Я смотрел на нее с недоумением и некоторым испугом. Перехватив мой взгляд и перекусывая зубами нитку, она сказала: «Сейчас я их пришью обратно, и ты будешь обо мне помнить». Я и не знал о такой примете.

Помню.

Зимой сорок третьего сорок четвертого года у меня была девушка, молодая, красивая. Да и все мы были тогда молоды и красивы. По прошествии стольких лет можно сказать, что Клава была наделена редким уже тогда талантом необыкновенной, самоотверженной до пугавшего самосожжения любви, к которой я еще не был готов. Во мне до сих пор живет тепло, которым она меня одарила. Война нас развела. Некоторое время от нее приходили письма. Душевные письма писала она и моим родным, однажды послала матери деньги. Потом переписка оборвалась. Война уже шла за пределами Союза, кругом были офицеры с орденами, положением, трофеями. Устроила свою судьбу? Не похоже. Но и не исключается.

Через тридцать лет, когда стал писать книгу, нашел старую записную книжку с адресами родных своих фронтовых товарищей. Написал и по адресу, где когда-то жили ее родные, в Новохоперск и когда стало ясно, что никакого ответа уже не может быть, через несколько месяцев получил письмо из Уссурийска: «Вы разыскиваете Губернатскую Клаву. Я ее племянница. Вот выписка из документа: «…в боях за Социалистическую Родину, верная воинской присяге, проявив геройство и мужество, погибла 29 декабря 1944 года. Похоронена на русском кладбище в городе Фельшегала (Венгрия)»…

Где-то в конце войны наша армейская газета опубликовала очерк о знатном так тогда говорили снайпере 51-й Армии Ольге Бардашевской и поместила ее портрет. Даже на не очень четкой фотографии она выглядела красивой и привлекательной. Как и я, Ольга ушла на фронт из института. Я написал ей письмо через редакцию, она ответила. Завязалась переписка, которая, впрочем, вскоре оборвалась. Дело на войне обычное. Так мы и не встретились.

Ольга уничтожила сто восемь фашистов. На сто девятом получила тяжелейшее ранение, и в медсанбате решили, что отправлять ее в госпиталь не имеет смысла, только лишние мучения. Рядом с медсанбатом естественно (!..) возникает дивизионное кладбище. Чтобы не терять времени — дивизия передислоцировалась — подготовили для нее могилу. Но молодой организм не хотел умирать, на четвертые сутки

появился проблеск надежды, и Ольгу отравили в госпиталь. На фронт она уже не вернулась.

Однако свой гроб она успела увидеть. Было это, правда, в другой раз. Во всякой работе существует обмен опытом. Был он и на войне. Ольгу направили обменяться своим снайперским опытом в соседний полк. Обмен опытом проходил достаточно активно, немецкий снайпер засек Ольгу, разрывная пуля ударила в камень возле виска. Осколок попал под бровь, над глазным яблоком. Лицо залилось кровью, находившимся рядом показалось, что пуля попала в глаз и Ольга убита. Сообщили по телефону в часть. Ольга сидела в землянке командира батальона и в ожидании, когда стемнеет и можно будет вернуться в свой полк, пила кипяток из железной кружки. Вдруг плащ-палатка приоткрылась, и командир трофейной роты, в обязанности которой входило и захоронение убитых, не узнав в перевязанной, со следами крови на лице свою однополчанку, обратился к комбату: «Где тут труп Бардашевской? Мы гроб привезли!» Ольга с интересом взглянула на незадачливого капитана: «Бардашевская это я. Но я еще не труп!» Коренная одесситка, она за словом в карман не лезла. И когда еще доведется увидеть собственный гроб: «А ну, покажите, что вы там привезли?

На войне в гробах не хоронили. Хоронили в братских могилах, сапоги и шинели снимали для живых. Но Ольгу знали и любили. О ее гибели доложили Командующему 51-й Армией генерал-лейтенанту Крейзеру (впоследствии генералу армии), который хорошо ее знал. Он вручал ей награды, в том числе ордена Славы 3-й и 2-й степени, именное оружие. И он приказал похоронить ее в гробу, как хоронили только генералов. В брошенном доме разведчики разобрали гардероб и сколотили нечто похожее на гроб. Выйдя из землянки, Ольга критически посмотрела на это сооружение и сказала: «Даже если бы я была трупом не легла бы в этот ящик!»

Командир санроты жил со своей санитаркой, которая, пользуясь этим, никакой работы не делала. Медсестра ее отругала. Известно: ночная кукушка дневную перекукует. И командир роты отправил медсестру санинструктором в стрелковый батальон. Комбат захотел с ней жить. Отказалась. Стал нужно, ненужно посылать ползать по переднему краю. Поняла: долго не проползаешь убьют. Согласилась. Комбата убило. Пришел новый. Заставил жить с ним. И его убило… Пришел третий. Герой Советского Союза, за Днепр получил. Стала жить с ним. Молодая. Ничего не знает. Мамы нет. Женской консультации нет, телевидения, которое теперь все разъясняет,

тоже нет. Решила живот болит. Подошел старый солдат: «Дочка! Да ты рожаешь!» Повезли в медсанбат. Родила прямо в бричке. Роды принимал мой товарищ, полковой врач Арон Эпштейн. В медсанбат приехали уже с ребенком. В медсанбате основной состав женщины. Кругом война, а тут ребенок. Мальчик! Все сбежались. Позвонили в батальон, на коне примчался комбат. Записал ребенка на свою фамилию.

Расписался с матерью. Что дальше? След теряется. Будем думать, что остался жив и вернулся к сыну и жене.

А что же комбаты? Эти «сукины дети»? Они были постарше нас. И, наверное, уже были женаты. И имели детей. Было им немного за тридцать или около этого. Здоровые крепкие мужики. В расцвете сил. И желаний.

С одной стороны была Девушка. С другой Смерть. Кто опередит? Двое погибли. Остался ли жив третий? Девушка и Смерть. Почти по Горькому. Кто бросит камень?

Некоторое время я был комсоргом батальона связи штаба корпуса. Штабная рота почти сплошь девушки. Стала приходить девушка и ко мне. Звали ее Дора, она тоже была студенткой, и у нас было много общих тем. Здоровались и прощались за руку, чтобы обнять или поцеловать боже сохрани. Такой свободы, как сейчас, никто не мог и предположить. До сексуальной революции было еще далеко, да и кто мог ее предвидеть. Наша дружба была совершенно невинной.

Вдруг приносят приказ — в стрелковый батальон. Да я только оттуда! Пошел к начальнику политотдела корпуса полковнику Горелику: «Дайте отдышаться!» Полковник откинулся к стене и, хитро прищурившись, с чувством продекламировал: «И юную супругу генерала затянутый прельщает адъютант». Оказывается, на нее «положил глаз» командир корпуса.

Но приказ уже был подписан.

После войны

Выступление на митинге в День Победы

Победа

Поразительно, но слово Победа на войне не существовало. И это несмотря на то, что вера в победу в армии и народе никогда не ослабевала даже в самые тяжелые дни. Только поэт мог написать «мы победим». Солдат от рядового до генерала — всегда говорил: «когда уже кончится эта проклятая война».

Победа была близка. Она уже носилась в воздухе, осеняя оставшихся в живых своими натруженными крылами.

Когда она пришла, радости и ликованию не было границ. Это описано сотни раз. Это надо пережить.

Счастливые люди не качали нас на улицах снявших светомаскировку городов, не плакали горько на наших плечах неутешные матери, чьи сыновья не вернулись с войны, не жались к нашим ослепительным гимнастеркам осиротевшие мальчишки, печальные вдовы фронтовых товарищей, молча глядя на нас, не утирали невыплаканных слез, и в первый вечер мира, окруженные радостью и почетом, не выходили мы на площади полюбоваться победным салютом.

Нас не снимали кинооператоры и фотокорреспонденты.

Победа застала нас на передовой. В траншеях.

Салют, впрочем, был. Он начался в тылу, в глубине обороны и, нарастая, быстро продвигался к переднему краю. Артподготовка? Последний штурм? Но ни о каком наступлении никто нас не предупреждал!

С закрытых позиций стала бить Артиллерия Резерва Главного Командования. За ней корпусная. Дивизионная… Полковые минометы! Немцы молчат. Контрбатарейную стрельбу не открывают. С тревогой глядя себе в тыл, мы вдруг замечаем, что там, в глубине обороны, откуда пуля не долетит не только до противника, но и до нас, стреляют и из стрелкового оружия, расписывая небо замысловатыми узорами трассирующих очередей!

Это не артподготовка!

ЭТО КОНЧИЛАСЬ ВОЙНА!

Руки сами тянутся к оружию салют Победе!

На фронте нет холостых боеприпасов. И каждый ствол пристрелен. Салют боевыми. Мины и снаряды летят в сторону противника. Бывшего это слово еще долго не приходило нам в головы. И рвутся не всегда впустую… И никто нас не спросит, почему мы ведем огонь по бывшему уже противнику. А если бы и спросил мы знали, что ответить. Еще звучало над свежими могилами наших погибших товарищей отомстим!

Это слово было сотни раз выложено побеленными известью камнями на косогорах и железнодорожных насыпях, тысячекратно повторено на теплушках и платформах, на танках и стволах орудий, на снарядах и минах.

Горело в наших сердцах.

И БЫЛО ЗА ЧТО.

Салют гремел, Солдаты ликовали. Но вот он стал стихать и прекратился. Направляясь с передовой на командный пункт, остановился потрясенный, ошеломленно глядя на неожиданно открывшуюся непривычную картину.

За нашими позициями располагался артиллерийский дивизион. Орудия стояли в капонирах и были затянуты маскировочными сетками, для расчетов отрыты подбрустверные блиндажи, ящики со снарядами приброшены лапником. Дивизион часто вел огонь по ночам. Из орудий вылетали бело-розовые клинья огня, мгновенно таяли и возникали с новым залпом. В светлое время, если стать по стволу, можно видеть, как, стремительно удаляясь, летит снаряд. В походе пушки маскировались ветками деревьев, неподалеку от огневых позиций

сооружались ложные…

И вот эти орудия, которые стреляли всю войну, были выкачены на поверхность, выстроены в ряд, выровнены по шнурку, стволы подняты вверх и зачехлены. На каждом стволе надульник маленький брезентовый чехольчик с кожаным ремешком.

Как в довоенных летних лагерях.

Орудия, которые так тщательно укрывались в походе и маскировались на позициях, стояли, как на смотре. Как будто и не было войны.

И БЫЛО ТИХО.

Нет! Стояла оглушающая тишина!

Горячий комок подкатил к горлу. Закипело в глазах. С пронзительной ясностью я вдруг понял:

Эта самая тяжелая война, длившаяся тысячу четыреста восемнадцатая нескончаемых дней и ночей.

Эта война, на дорогах которой мы потеряли стольких боевых товарищей.

Эта война, победы в которой мы так страстно желали и так дорого за нее заплатили.

ЭТА ВОЙНА. НАКОНЕЦ, ОКОНЧИЛАСЬ!

Вера в победу не покидала нас никогда.

Ни осенью сорок первого, когда немцы стояли у стен Москвы, ни в сорок втором под Сталинградом, когда почти весь город был в их руках и в трех местах они вышли к Волге, ни в сорок третьем под Курском, когда, несмотря на наш упреждающий удар, им удалось в первые дни продвинуться в глубину нашей обороны.

Что было бы, если бы мы сомневались? Страшно подумать…

В конце 60-х годов, когда Жуков уже давно был в отставке, о нем снимался документальный фильм как интервью с Константином Симоновым. Из-за противодействия военных фильм не был показан. Лишь в начале восьмидесятых, уже после смерти прославленного военачальника, отдельные фрагменты прошли по телевидению.

И больше никогда!

Симонов задал Маршалу прямой вопрос: «Была ли уверенность в победе?»

Жуков также прямо ответил: «Полной уверенности, конечно, не было».

Я испытал шок, который не прошел до сих пор.

Воистину: меньше знаешь крепче спишь…

Прозвучал в фильме и такой вопрос: «Была ли у немцев возможность войти в Москву? Да. Такая возможность в период 16,17,18 октября у них была» ответил Жуков.

Но ни этот вопрос, ни этот ответ по телевидению не прозвучали…

Сейчас можно сколько угодно иронизировать над нашей наивной верой в победу. Для поражения в войне, во всяком случае, для взятия противником Москвы, основания были…

Приведу невеселый диалог между И. Г. Эренбургом и Бор. Ефимовым в редакции «Красной Звезды» 15 октября 1941 года. Отправив семью в эвакуацию, Ефимов сказал: «Положение серьезное. Вы находите? с иронией произнес Эренбург и мрачно заметил: Да, серьезное. Они будут здесь через два дня. Сегодня вторник? Они будут здесь в пятницу. Я уже видел это в прошлом году в Париже».

Не состоялось.

Мы победили.

В известной степени этому способствовали мифы о многочисленных подвигах наших солдат и офицеров. Это не значит, что их не было. Просто в большинстве случаев не было или не осталось свидетелей, которые могли бы о них рассказать или написать. Не осталось и самих героев… Подвиг двадцати восьми героев-панфиловцев придуман журналистом Александром Кривицким. А между тем, строка о них вошла в песню о Москве: «И в веках будут жить 28 самых храбрых твоих сынов» и звучит до сих пор. Не все они были героями (двое сдались в плен). Всем им было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза, но оказалось, что некоторые остались живы и через много лет требовали вручить им Золотые Звезды… Жители окрестных деревень вообще не помнили никакого боя в районе разъезда Дубосеково… Секретарь ЦК и начальник ГлавПУРа А. С. Щербаков спросил Кривицкого: Кто мог вам поведать о последних словах политрука Клочкова «Велика Россия, а отступать некуда позади Москва!», все 28 панфиловцев погибли? Никто не поведал — ответил автор. — Я подумал, что он должен был сказать нечто подобное. Вы очень правильно сделали, — одобрил Щербаков.

Менее снисходительно отнеслись к очерку товарищи по оружию журналисты. В ответ на критику Кривицкий потряс только что вышедшей миллионным тиражом книжкой и пророчески сказал: «Говорите, что хотите! Эта говняная книжка через двадцать пять лет будет первоисточником!» Так и произошло.

Проходят годы, и даже добросовестные писатели не всегда

точны, освещая события тех лет. Курт Воннегут в книге «Времятрясение» пишет: «Немцы не хотели капитулировать перед СССР, поэтому 7 мая (1945) в городе Реймсе подписали акт о безоговорочной капитуляции перед союзниками. Представителя советской стороны в Реймсе не было».

Был. Это был официальный представитель советского командования при штабе Эйзенхауэра полковник Суслопаров. Весь день он звонил Сталину. Сталин спал. Будить его никто не решился. Суслопаров подписал акт с пометкой «настоящий акт является предварительным».

На подписание акта о капитуляции в Карлхорст, к Жукову, первые лица, генералы Эйзенхауэр и Монтгомери не приехали. От союзников на подписание приехали: от США генерал Спаатс, от Великобритании сэр Артур Теддер, от Франции генерал Делатр де Тассоиньи.

Но никто не огорчился.

Победа была за нами!

Возвращение

С войны я приехал на троллейбусе.

Выйдя с Белорусского вокзала, мы с товарищем были атакованы толпой всевозможных леваков. Двое наиболее рьяных подхватили наши пожитки. За углом стоял грузовой троллейбус. Мы посмотрели на него с удивлением: неужели на нем поедем? Куда? Мы ответили. Перекидывая штанги на незнакомых перекрестках, троллейбус подвез довольно близко к дому. Водители помогли донести вещи.

Свой первый отпуск я получил поздно почти через год после окончания войны. В первую очередь отпуска давали семейным и старослужащим, начинавшим тянуть лямку еще до войны. Пока до меня дошла очередь извелся.

После Победы наши войска, возвращавшиеся через Южную Германию и Судеты, стали свидетелями необычного зрелища. В некоторых городах и поселках, по которым со знаменами и оркестрами проходили полки победителей, немецкое население выстраивалось вдоль улиц… на коленях! В том числе дети. Это было неприятно и никогда не пришло бы нам в голову. Инициатива исходила, по-видимому, от чешского населения, хорошо настрадавшегося от немцев за восемь лет оккупации (часть Чехословакии была отторгнута гитлеровской Германией еще в 1938 году). Обратились в политотдел. Там сказали: «Пусть

запомнят маленькими!»

Но неприятный осадок остался.

Ехал я в отпуск из Прибалтики. Аккуратные, сравнительно мало тронутые войной усадьбы, в Белоруссии сменились черными горькими пепелищами. В какую сторону ни посмотришь все разрушено, разбито, разорено. На местах сел только трубы возвышаются молчаливыми, печальными памятниками. Но жизнь уже затеплилась. Вдоль дорог, в насыпях, вырыты землянки, возле них шевелятся дети, на веревках сушится тряпье, и прямо из-под земли вьется дымок из железных труб. Ни одной уцелевшей станции. Поезд идет по деревянным мостам, наспех сооруженным саперами, рядом со взорванными. И здесь уже идет работа. Начинается восстановление. Это ж сколько построить надо!

По вагонам ходило множество нищих. Инвалиды войны, дети, старухи, а может и молодые, не разберешь. Многие пели «жалостные» песни. Смотреть на них было тяжко. Мы ехали с войны победителями, сытые и ухоженные. Даже как-то неловко себя чувствовали. Помогали, кто чем мог: как правило, небольшими деньгами.

Проклятая война, что наделала!

За десятки километров до Москвы начинались барачные поселки. Широким кольцом опоясывали они столицу, раскинувшись вдоль магистралей, вплотную обступая город. Из окна вагона эта россыпь бараков представлялась нескончаемой, и, казалось, до Москвы никогда не доедем. Белые одноэтажные бараки тянулись сплошной чередой. Между ними мелькали вымазанные известкой дощатые уборные в черных разводах снизу. От бараков к платформам пригородных поездов тянулись цепочки людей. Начиналось очередное московское утро.

Москва по-прежнему, как и до войны, шумела, суетилась, куда-то бежала, звенела трамваями, фыркала автомобилями. Многие москвичи были в военном, со следами споротых погон на плечах и звездочки на шапке. Женщины ходили в перешитом обмундировании, серо-зеленые, озабоченные. Поражало большое количество военных патрулей на улицах и у выходов из метро. Они придирались к малейшему нарушению формы или правил поведения не отдал чести старшему по званию и безжалостно задерживали победителей. От центра до ВСХВ Всесоюзной Сельскохозяйственной Выставки, впоследствии ВДНХ Выставка Достижений Народного Хозяйства, как и в довоенные годы, еще ходили двухэтажные троллейбусы, вскоре, впрочем, исчезнувшие.

Старые москвичи еще помнят, что памятник Пушкину стоял на Тверском бульваре лицом к бывшему Страстному монастырю, кинотеатра «Россия» и фонтана еще не было. После войны памятник переехал через улицу Горького, был развернут и установлен на нынешнем месте. Примерно в это же время было принято решение о сооружении памятника Маяковскому на площади его имени и памятника основателю Москвы Юрию Долгорукому напротив здания Моссовета. Но самих памятников еще не было. Это послужило поводом для репризы двум популярным конферансье Мирову и Дарскому. Один из них мечтательно говорил: «Вот раньше слева от памятника Пушкину не было памятника Владимиру Маяковскому, а справа от него не было памятника Юрию Долгорукому». А теперь? — вопрошал другой? — Теперь все наоборот! Теперь справа от памятника Пушкину нет памятника Маяковскому, а слева нет памятника Долгорукому. Эта реприза встречалась москвичами дружным смехом и аплодисментами.

У остановки транспорта «Новые Дома» на шоссе Энтузиастов кипела московская толкучка. Сейчас уже трудно представить этот стихийно возникающий, неуправляемый многотысячный базар, подчинявшийся каким-то своим правилам и законам, бурлящий, клокочущий. Старухи, старики в поношенной одежде, бывшие солдаты в армейском обмундировании, подозрительные личности с лихорадочным блеском в глазах, вечно спешащие женщины, смущенно приценивающиеся к вещам, бедно одетые мужчины, на ходу прикуривающие друг у друга. Время от времени сквозь это скопище с трудом протискивался военный патруль или милиционер в синей шинели, и раздавались свистки, на которые никто не обращал внимания.

Чего только не было на этой толкучке! Продавалось всякое барахло: от ржавых ключей к давно несуществующим замкам до инвалидных колясок, рядом со стоптанными валенками стоял канделябр старинной работы, видавшая виды солдатская шинель соседствовала с белоснежным пуховым платком, неодеванные байковые портянки шли на пеленки, прислоненные к забору костыли продавались вместе с протезом…

Продавалось все. Даже боевые ордена и медали.

Под выходящей на Кузнецкий мост глухой кирпичной стеной Центрального Универмага с несколькими вразнобой прорубленными окнами, разросся великолепный сквер. И уже мало кто помнил, что здание ЦУМа, принадлежавшее до революции фирме Мюр и Мерилиз, простиралось до самого

Кузнецкого моста, поражая прохожих толстыми зеркальными стеклами витрин ювелирного отдела. В тридцатые годы половина магазина была снесена за ненадобностью, и на этом месте разбит сквер страна была еще бедна, и торговать было нечем.

Пришло время, и сквер, в свою очередь, уступил место современному зданию нового ЦУМа.

Зашел в общежитие на Трубной площади. Здесь, в помещении бывшего Дома Колхозника, осенью сорок первого года формировались партизанские отряды. Крепкие ребята, физкультурники, перебрасывались в тыл противника. Не обремененные семьями, прошедшие специальную подготовку, они нередко составляли ядро партизанских отрядов, когда партизанское движение еще только разворачивалось и по большей части активных действий еще не вело.

Никого.

Пошел на Усачевку. Здесь основное общежитие нашего института. Ребят нет. О ком ни спросишь убит, убит, пропал без вести. Один Ваня Передерни вернулся так он нестроевой и в очках ничего не видит. Зазвали девушки, вернувшиеся с фронта и пришедшие в институт доучиваться. Они уже сняли форму и теперь донашивали довоенные ситцевые платьица. Начались расспросы.

После войны мы не стеснялись носить ордена, да и негде еще было их оставить как говорится, все свое ношу с собой. Рассказал несколько случаев из пехотной жизни. Слушали с интересом, грустно и внимательно. Продолжая рассказывать, ощутил какое-то беспокойство. Снова оглядел комнату. На палочке вместо плечиков, концы которой были обмотаны бинтом, чтобы не цеплялись нитки, висела гимнастерка. Гимнастерками после войны было не удивить вся страна ходила в гимнастерках. Но эта гимнастерка была не рядовая: на ней красовались ордена Красного Знамени, Отечественной войны 1-й степени и Славы 3-й! Оказывается, одна из девушек летчица, воевала в полку Расковой.

Теперь на Пироговку, в родной институт. Полюбоваться колоннами красивого трехцветного зала с балконами по второму и третьему этажам, по которым веселая девушка Тоня, сняв туфли и держа их в руках, чтобы не стучать каблуками, тихонько кралась за мной, скрываясь от излишне любопытных сокурсниц. В этом зале так хорошо было танцевать на вечерах. Посмотрел на стеклянный потолок, в который чуть не провалился, чудом удержавшись на руках, когда в начале войны устилал его черной бумагой для светомаскировки.

Повидав в Москве родственников и друзей, поехал к матери в недалекое русское село. С трудом влез в переполненный вагон, забрался на узкую боковую багажную полку под самым потолком, примостил в ногах вещи, чтобы не украли, и, пристегнувшись ремнем к трубе отопления не упасть бы спросонок, задремал под стук колес.

Поселок Орел образовался в 1921 году. Группа крестьян довольно большого, на триста пятьдесят дворов, села Стрелка, сравнительно молодых, но умудренных жизненным опытом, большинство из которых были участниками первой мировой и гражданской войн, а некоторые побывали в германском плену и кое-чему там научились, захотели перейти с трехполки к более прогрессивной многопольной системе обработки земли. В условиях большого села, разбросанности и отдаленности наделов, это не представлялось возможным, и сельский сход выделил им самые отдаленные и неудобные земли. Вода находилась здесь на большой глубине, и первому, кто подходил утром к колодцу, приходилась качать довольно долго, пока вода поднималась.

В коллективизацию на этих землях организовался колхоз, получивший довольно редкое название «Красный Орел». Во время войны колхоз имел двадцать лошадей, услугами МТС не пользовался, и поэтому не платил натуроплату. Даже в эти неимоверно трудные годы, когда основной рабочей силой были подростки, женщины и старики, в колхозе получали за трудодни зерно, картофель, мед была своя пасека и даже деньги от доходов собственной шерстобойки. По очереди каждый дом получал обрат. Был год, когда районные власти заставили «Красный орел» обработать тридцать гектаров земли соседнего колхоза. В «Орле» не голодали, хотя, разумеется, лишнего не было. Из райцентра в «Красный Орел» направляли подкормиться демобилизованных по ранению солдат, чьи родные места находились на оккупированной территории, освобожденных из лагерей польских граждан, истощенных людей из трудовых батальонов, как тогда говорили доходяг. В колхозе все работали азартно, лодырей не терпели, да их и не было. Жили зажиточно и чистоплотно, полы почти у всех были крашеные, у многих были велосипеды и патефоны.

Я приехал в Орел днем. Мать стирала кусочком туалетного мыла в самодельном фанерном корыте, которое ей сделали в колхозе. На ней была юбка, перешитая из мешка…

Поехал в Арзамас получать продукты на отпуск. Никогда до этого не пользовался продовольственным аттестатом, по

неопытности никого из родных с собой не взял, захватил только вещмешок. А продуктов на месяц оказалось немало. Кладовщик насыпал в мешок сначала муку, переложил бумагой, насыпал крупу, снова перегородил, потом сахар, яичный порошок и так доверху. Консервы распихал по карманам. Родные за всю войну такого великолепия не видывали, не то что едали. «Квашеную капусту брать будешь?» Я испуганно замахал руками. Кладовщик не расстроился, помог закинуть увесистый вещмешок на плечи и прихлопнул: «Иди!»

На разъезде поезд стоял две минуты. Платформы не было. Я спрыгнул и остановился под высокой насыпью, пережидая, пока пройдет поезд.

Вдруг к медленно проплывающему мимо меня окну, расталкивая пассажиров, бросилась молодая женщина, слегка по-поездному растрепанная, с лицом, показавшимся до боли знакомым, и стала что-то кричать, стучать в окно и жестикулировать. Потом кинулась, видно, к проходу, но где там, поезд уже набирал ход… На разъезде сошел я один, с тяжелым мешком не только вспрыгнуть на ходу на высокую подножку, но и по насыпи не взобраться… Так я никогда и не узнал, кто она была.

Возвращаясь из отпуска, заехал на несколько дней в родной Витебск. Город медленно оживал, возникал из пепла, подобно сказочной птице Феникс. Долго расспрашивал по старым адресам о друзьях и товарищах. Многие искали близких, рассеянных, разбросанных войной. Видят, молодой офицер ходит, с орденами, старались помочь. Наконец кто-то сказал, что сестра моего близкого товарища. Григория Неворожкина, с которым много лет сидели за одной партой, служившего к началу войны в танковой части во Львове, живет на Марковщине. Добрался до места, стал искать. Возле одного из бараков сидела на лавочке маленькая, сухонькая старушка. Направился к ней, спрошу, может, знает.

Неожиданно старушка стала подниматься со скамейки и, протянув мне навстречу руки, горестным голосом закричала: «А Гришеньки-то нету!..»

Это была его мать.

После Победы началась такая миграция прямо Великое переселение народов! Никакими поездами такое огромное количество пассажиров по еще не полностью восстановленным железным дорогам перевезти не представлялось возможным. И по стране в разных направлениях покатили товарные составы — вагоны с двухъярусными нарами. Возвращались со своим немудреным скарбом, часто на пепелища, эвакуированные. Ехали

в отдаленные гарнизоны к оставшимся служить мужьям жены с детьми. Воссоединялись разбросанные войной семьи.

Ехали, ехали, ехали. Казалось, вся страна кинулась к поездам. Переполненные вокзалы представляли собой пугающие многолюдьем и беспорядком биваки. Поезда брали с боем, закидывали вещи, подавали детей в окна и неловко карабкались в них сами. На теплушках красовались остающиеся от довоенного и военного времени надписи: годен под хлеб, сорок человек или восемь лошадей, тормоз Вестингауза или тормоз Казанцева. Перед въездом на многочисленные мосты озадачивала предупредительная надпись: «Закрой поддувало!»

Поезда эти имели номера от пятисот и выше. Вообще поезда нумеровались следующим образом: с 1 по 10 курьерские, с 11 по 30 скорые, с 31 по 100 почтовые, со 101 по 300 пригородные, с 301 по 500 сезонные, летние, а с 500… По чьему-то меткому, скорей всего солдатскому определению, эти поезда прочно, по всему Союзу, получили название «пятьсот веселых».

В них быстро знакомились, дружились, помогали друг другу, нянчили детей, пели, плакали и смеялись. Время было голодное, но радостное кончилась война и над всеми нами была Победа. В пути пассажиры менялись мало, как правило, ехали из конца в конец, привыкали друг к другу, и жаль было расставаться. Составы были длиннющие, подолгу стояли на станциях, потом мучительно долго шли без остановок, с лязгом и стуком проскакивая неизвестные станции и полустанки. Двигались они вне расписания, недели две-три, а то и больше.

На Транссибирской магистрали с диким визгом носились черные блестящие паровозы, разгоняющие ночную тьму светом непривычно мощных прожекторов. Было приятно видеть реальную помощь союзников так далеко от Москвы, но уж больно пронзительным был гудок до сих пор в ушах звенит.

Возвращаясь с Дальнего Востока, куда после Победы сопровождал эшелон, попал в такой «пятьсот веселый» поезд и я.

В вагоне ехала молодая красивая, спортивного вида женщина с очаровательным мальчиком лет четырех. О муже она, как и многие, ничего не знала с начала войны и ехала показать родителям внука.

Мы подружились, Я целыми днями возился с мальчишкой, и он ко мне привязался. Ничего такого я не замечал, как вдруг, через несколько дней пути, она сказала: «Хочу от тебя ребенка!» Она была взволнована, ее голос дрожал. Я был смущен не меньше ее. Я еще не был женат… И потом, как это…ребенка? А… Как же? — пролепетал я невразумительно. Пусть это тебя не беспокоит! В глазах ее стояли слезы.

Я спросил ее адрес.

По этому адресу никто не ответил…

После войны

В войне, что прогремела над нами, одна армия победить не могла. Победил народ. Мальчишки и девчонки, бросив школу, пошли на заводы и фабрики и, стоя на ящиках, чтобы достать до станков, заменили уходящих на фронт отцов и старших братьев. Женщины впрягались в плуг, чтобы вспахать землю, засеять ее, собрать урожай и отдать его фронту нередко до последнего зернышка. Старики-пенсионеры вернулись в цеха и к земле вместо сыновей и внуков. Люди сделали все для Победы. Все, что могли и чего не могли. Без их самоотверженного труда Победа была бы невозможна. Низкий поклон им от фронтовиков за подвиг, за тяготы и лишения, которые они перенесли в тылу.

И все-таки разница между фронтом и тылом неизмерима. Тому, кто хоть раз был в бою, не надо об этом рассказывать. Литература и искусство лишь приближают к пониманию этого. Как бы правдиво и интересно не был сделан фильм, спектакль или написана книга кресло под нами не дает забыть, что с последним кадром, последней страницей мы поднимемся и пойдем заниматься своими обычными, мирными делами или попросту будем отдыхать.

А солдат остается. И должен здесь, на передовой, под бомбежкой и артобстрелом, минометным и пулеметным огнем, в жару и в холод, в грязи и во вшах — жить и воевать. И выбор у него не велик: убит в землю, ранен в госпиталь, а жив остался — все сначала…

По телевидению как-то показали фильм, в котором на протяжении двух серий герои красиво умирают друг за другом. В финале главный герой приходит в медсанбат попрощаться с комиссаром. Комиссар испанец мечтает после войны вернуться на родину. Даже неискушенный зритель понимает, что в следующем кадре он умрет. Раненые лежат в большой госпитальной палатке на чистеньких, заправленных свежим бельем коечках, возле каждой койки белая больничная тумбочка, в ногах у каждого стульчик, на котором аккуратно, по наставлению, сложено обмундирование, а медперсонал поражает отдохнувшим видом и накрахмаленными косынками.

Это уже не смешно.

Когда война перешла в Германию, медсанбаты и госпитали

размещались в уцелевших домах. На нашей территории все было разрушено, сожжено. Под Сталинградом война шла полгода. Не было ничего, даже саманных стен. Госпитальная палатка, правда, была. По всей ее длине выкапывали неглубокую траншею-проход: три ступеньки с одного конца, три с другого. Через каждые полтора метра направо и налево выкапывали такой же глубины боковые отростки. Вот на том, что не вырыто, и лежат солдаты. Есть сено-солома накидают, нет лапником приброс ят, ничего нет плащ-палатка на голой земле лежит. В медсанбате не переодевают, все лежат в своем, своими шинелями укрываются. Знаю не понаслышке. Сам лежал в таком.

Ныне почти каждый пожилой мужчина ветеран войны. По праздникам до самой полы увешивают пиджаки сувенирными значками, которые в изобилии стали выпускаться после войны частями и соединениями и которые наградами, тем более боевыми, не являются. Посмотришь на такого — сразу видно: пороха не нюхал, одни значки да юбилейные медали. Иные развешивают послевоенные медали по всему пиджаку, вместо того, чтобы носить их на общей колодке. Молодежь этого не понимает и принимает этих значкистов за подлинных героев войны. То ли дело мальчишки сорок пятого года они-то разбирались в орденах и медалях.

И что самое обидное, большинство этих «значкистов» подлинные ветераны войны. На их груди, среди больших и малых блестящих буквально значков, теряются скромные по своему оформлению боевые ордена и медали, честно заработанные в боях.

А то и вовсе перекинут через плечо ленту, нацепят на нее памятные и сувенирные значки, так что боевым наградам и места не остается. Ордена и медали просто теряются в этом «блеске». Помимо того, что это нарушение Положения об орденах и медалях, определяющего порядок их ношения, это неуважение к боевым наградам, к Красной Армии, в которой мы воевали в Великую Отечественную войну.

И это просто некрасиво.

Невозможно представить наших военачальников, даже не очень крупных, чья грудь была бы увешана таким количеством памятных и юбилейных медалей. Место им в шкатулке или на стене.

Так, по вине самих участников войны, произошла девальвация боевых наград.

Грустно.

Пока шла война, у нас была одна мысль, одна мечта, одно желание победить!

Но была и другая: после войны расправиться с предателями. К началу войны еще были живы люди, которым не за что было любить советскую власть. Кое-что мы уже тогда начинали понимать. Но целые армии: Власова, Украинская повстанческая. Туркестанский легион, старосты, полицейские? Многие ли знают, что шофера душегубок были добровольцами? Их руки обагрены кровью. Эта расхожая фраза не выражает всей чудовищной сущности содеянного ими. Перед их преступлениями средневековое варварство кажется детской забавой. Они были не просто предателями, а активными помощниками фашистов, более жестокими, чем их хозяева. Уничтожение Хатыни приписывали немцам у них своя вина. Хатынь была уничтожена 118-м батальоном УПА Украинской Повстанческой Армии.

В конце сороковых годов стали укреплять восточную границу. На Курилах был создан военный поселок Буревестник. Во время навигации на весь год корабли завозили продовольствие, вооружение, фураж все необходимое. По прибытии кораблей для ускорения разгрузки создавались рабочие команды три смены по триста военнослужащих.

В разгрузке принимали участие и команды кораблей. На пирсе обычно собиралось много народа не так часто швартовались к причалу Буревестника суда. Молодой старшина, призванный на службу уже после войны, услышал свою фамилию: Иванов! Мало ли Ивановых. Но он непроизвольно обернулся и вдруг с криком бросился на спускавшегося по трапу человека и стал его душить. Еле разняли.

…Во время войны мать этого старшины и он сам, еще мальчишка, помогали партизанам. Пришли каратели. Один из них убил мать и выстрелил в него самого, взял его комсомольский билет, по которому потом легализовался и стал жить под фамилией Иванов. Но мальчик выжил, в положенное время пошел служить и вот, спустя несколько лет, лицом к лицу встретился с убийцей.

Карателя чуть не растерзали прямо на пирсе.

После войны многие предатели бежали на Запад и ушли от возмездия. Ну, а те, кто не успел или не сумел бежать? Кто был помоложе, давно отсидели свои сроки и вышли на свободу. Теперь они такие же граждане, как и мы. Один из них, молодой водитель душегубки, отсидев двадцать пять лет, вышел на свободу и сказал знакомому еврею: «мало я вас перевозил…» С

этим трудно смириться. И ничего поделать нельзя. На лбу у них ничего не написано.

То ли учили нас неправильно, то ли воспитывали так, но мы были твердо убеждены, эта война последняя. С энтузиазмом пели: «За вечный мир, в последний бой, лети стальная эскадрилья». Вот, думали мы, разгромим фашизм, повесим Гитлера, и никогда уже больше не будет войны, «и благодарные потомки…»

Обнадеживало сотрудничество в войне с крупнейшими капиталистическими странами. Наше миропонимание было ограниченным. Зато наша наивность безгранична.

Неужели наши жертвы были напрасны, и человечеству предстоит новая, еще более ужасная война?

И это самая большая тревога.

Спустя годы

Когда-то сводку погоды по телевидению сопровождала грустная лирическая мелодия дорожной песни. А мне каждый раз виделось одно и то же: под эту музыку по лесной дороге уходят на фронт батальоны. Мерно качаются солдатские спины, в такт шагам колышутся штыки. Никто не оборачивается.

Они уходят в небытие…

В юности мы самонадеянно склонны передоверять памяти и бываем жестоко наказаны. Многие фамилии и имена забылись, а за иными не вырисовывается живой образ.

…Ко Дню Победы «Известия» напечатали очерк о снайпере Ольге Федоровне Кисе. Фамилия была совершенно незнакома, отчеством в нашей фронтовой юности никто не интересовался. Мало ли женщин-снайперов, да и Ольга имя распространенное. И все же по мере чтения очерка волнение нарастало. Что-то подсказывало, что это та самая Ольга, знатный снайпер было такое звание 51-й Армии. А в конце очерка промелькнула и девичья фамилия Бардашевская!

Кидаюсь к заветному свертку, в который не заглядывал лет двадцать, с наиболее дорогими фронтовыми письмами. Есть! Фронтовой треугольник ее письма, написанный крупным детским почерком, со штампом полевой почты, и посылаю ей через редакцию. Надо себе представить, что она почувствовала, увидев свое письмо тридцатилетней давности.

…Встретились.

На празднование Дня Победы съехались в Москву. Совет ветеранов снял зал в самом центре столицы, в ресторане «Москва». Начались речи, тосты, песни. Все артиллеристы выступают, штабные, медсанбат. Уже в некотором подпитии встал и долго, пока не стало затихать, звенел вилкой по бокалу. Из-за начальственного стола с опаской косились в мою сторону.

— А теперь слушай мою команду!

Зал насторожился.

— Пехота! Встать!

Встало девять человек…

На годовщину освобождения Севастополя поначалу я вообще был один из нашего стрелкового полка и бродил по общежитию радиозавода, принимавшего нашу 267-ю дивизию, вопросительно глядя на пожилых уже ветеранов. На щелчок замка из соседнего номера вывалился мокрый человек, завернутый в махровое полотенце: «Говорят ты из 844-го? А ну, давай ко мне! Только что приехал из Днепропетровска с женой, поселился в соседнем номере, шофер, всю жизнь за баранкой, багажник загрузил на весь полк, да пить-есть некому. Воевал во взводе разведки полка Колесников Александр Гаврилович. Разведчики не раз проходили через боевые порядки нашего батальона по ночам. Лиц не видно, а по именам мы их и не знали.

Рассказал ему о Пироге из саперного взвода. Я должен его знать! — твердо оказал он, но фамилии не припомнил.

В столовой Колесников подошел ко мне: «Говорят, Пирог приехал! Где? И вдруг вижу знакомый затылок: Илья! Он обернулся, обнялись. Тут из нашего полка еще один есть, из взвода разведки. Колесников Александр Гаврилович. Вижу, фамилия ему ничего не говорит, Если он из взвода разведки я должен его знать! повторил он знакомую фразу. Подвожу их друг к другу, представляю. Рядом стоят их жены, тоже знакомятся. Колесников достает из кармана пачку фронтовых фотографий и с надеждой в голосе спрашивает Пирога: «Может, вы тут кого узнаете?» Кого можно узнать через столько лет. Внимательно всматривался в фотографии Пирог. Нет, никого не узнал. Задержался на одной: молодой солдат с чубом в шапке-ушанке набекрень. Такая фотография у меня дома есть. Я ее храню с войны. Тридцать лет. Это мой лучший друг Сашка Колесников! Колесников переменился в лице и срывающимся голосом сказал: — Так это ж я!..

В книге регистрации спотыкаюсь о знакомую фамилию. И имя-отчество совпадают. Врач и комсорг медсанбата, я там лежал: «Где? Уехала в Ялту. Будет завтра утром». Еле дождался утра.

Подхожу к радостной группе ветеранов, начиная издалека: может, и она забыла: «Роня Григорьевна! Капитан Чернышев приехал (мой товарищ, зампострой батальона, был к ней неравнодушен) А вы кто такой? А ну, снимите очки! Сдергивает с меня темные очки и без секунды промедления называет: Фима Гольбрайх! Я чуть не прослезился. Она единственная узнала сразу, как будто не было этих лет!

— А помнишь, в Прибалтике, мы ехали на совещание комсоргов 51-й Армии, и ты завез меня в лес?

Я насторожился:

— И что? — осторожно спросил я.

— И стал читать мне стихи Маяковского, — засмеялась она.

Подошли еще две по-украински говорливые женщины: «Вы нас не узнаете? Мы на коммутаторе дежурили. Нас все знали!» сказала одна из них с некоторым вызовом. Позже мой сосед по автобусу толкнул меня: «Эта женщина все время на вас смотрит». А я неотрывно смотрел в окно много лет не видал я этих мест. Спустился с подножки, она поджидала внизу: «А вы были красивый!»

7-го Мая поехали на Сапун-гору. На то самое место, где 7 Мая 1944 года было установлено знамя. Впереди быстро шел, почти бежал по одному ему известным тропинкам, Илья Пирог, еще подвижный, несмотря на полноту, и моложавый, с сединой на висках и очень живыми глазами. За ним с трудом поспевала худенькая миловидная женщина, его жена, и вся наша небольшая группа ветеранов 844-го полка.

В 1944 году гора была голой, одни камни, теперь выросли деревья, разросся кустарник, ничего не узнать. Неожиданно перед нами открылась пирамида из камней, в центре которой стояла высокая металлическая мачта со знаменем и надписью 51-А(армия). Вот! выдохнул Пирог. Глаза его были влажны, он был взволнован. А тогда здесь было всего три камня. Каждый год здесь бываю, а все успокоиться не могу.

Были взволнованы и мы. Стали вспоминать: «Вот здесь была зигзагообразная траншея, сказал Пирог. И раненный немец кричал оттуда: Хильфе! Хильфе! сразу вспомнил я. А вот, смотри, откуда мы наступали! и он показал на видневшийся по ту сторону долины зеленый распадок. Тогда он был голый, ни деревца, ни кустика. И снова я подивился: как могли мы одолеть эту долину. Каждый год она зацветает весной алыми маками. В народе говорят то проступает кровь солдат и офицеров Крымской войны 1856 года.

Через девяносто лет щедро добавили мы свою…

Возле обелиска 51-й Армии стоял один из героев,

установивших знамя на этом самом месте неприступной Сапун-горы. На его груди красовался орден Трудового Красного Знамени и несколько медалей.

Как случилось, что Илья Пирог не получил награды за свой подвиг на Сапун-горе? Пирог не был в нашем батальоне, он был полковым сапером. Накануне штурма инженер полка направил его к нам, снять мины перед боевыми порядками батальона. Разминировав ночью полосу и обозначив проходы в минном поле, Илья не вернулся в штаб полка, на что имел полное право, остался в батальоне и наутро вместе с нами принял самое активное участие в атаке и штурме Сапун-горы. Но и укрепив знамя, он не вернулся в полк, а воевал вместе с пехотой до полного освобождения Севастополя. За эти четыре дня в саперном взводе его потеряли, может быть, подумали, что погиб. Когда кончился бой, в штабе полка, по-видимому, считали, что представление к награде напишут в батальоне, и не написал никто…

Писать приходилось не только наградные листы…

На теоретической конференции, посвященной 30-летию освобождения Севастополя, в Морском клубе, с докладом о действиях 51-й Армии выступил доктор наук, бывший работник Политуправления Армии, полковник в отставке Носов. После доклада я подошел к нему и о чем-то спросил. А как ваша фамилия? Я назвал себя без всякой надежды, что ее можно было запомнить. Как же, помню, сказал он неожиданно, ваша фамилия встречалась в полит-донесениях. И в свою очередь спросил: А помните, я пришел к вам на Сапун-гору и просил вас по свежим впечатлениям написать об этом штурме. А вы мне что ответили? Я совершенно не помнил и озадаченно смотрел на него. Вы сказали, что когда-нибудь напишете об этом сами.

Долги надо платить.

Отзывы

Уважаемый Ефим Абелевич!

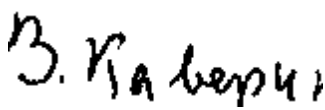
Я прочитал Вату книгу мало сказать с интересом, с увлечением. Она написана о том, о чем никогда не пишут авторы книг о минувшей войне. Все правильно сделали, что отказались от хроникальной основы, всем известной и уже не производящей должного впечатления. Вы написали о тех эпизодах войны, которые были самыми значительными для Вас и стали такими же для Вашего читателя. Я уже не говорю о Вашей скромности, которая украшает настоящего человека, но мне очень понравилось, что Вы рассказываете о тех, на первый взгляд незаметных мелочах военного быта, которые кажутся незначительными, а между тем они-то и выражают главное, ежедневное, непрерывное существо войны и победы.

К безграничной скромности Вашей вплотную примыкает джентльменская порядочность и безупречность.

Крепко жму Вашу руку и желаю вполне заслуженного Вами счастья.

19. XI.85.

Ваш В. Каверин.



P. S. И название тоже удачное.

Москва, 27.11.

Дорогой Ефим Абелевич!

Благодарю Вас за Ваши «Войны разрозненные строки». Даже среди нашей весьма обширной литературы о войне она выделяется своей искренностью, точностью, фактичностью. Как участник четырех войн, из которых две мировые, я, думается, имею некоторые основания судить об этом.

Что же касается художественной стороны Ваших записок, то манера, в которой они написаны, выдает незаурядное дарование их автора.

Вы сумели органично соединить лаконичность с выразительностью, свойство, присущее таким крупным писателям, как Андрей Платонов, или Сент-Экзюпери, или Гаршин.

Сердечно жму Вашу руку и желаю дальнейших успехов!

Лев Славин.

Уважаемый Ефим Абелевич!

Хорошую книгу Вы написали.

В ней война без сочинительства, без сюжетных украшений, война с ее бытом, работой, приметами, правилами все то, что забывается, и что Вы так скромно и точно напомнили.

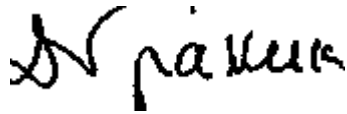
О себе с юмором, о других с любовью. Множество подробностей, которые ожили для меня. Очень уж Вы стесняетесь о себе рассказать.

Не знаю, получили ли Вы мое письмо о Вашей книге «Войны разрозненные строки?»

Повторяю мне она понравилась точностью деталей, честностью и добротой.

Мне хочется использовать один-два отрывка из нее для сборника, который готовится у нас в Ленинграде о солдатской войне. Можно ли я отберу отрывки по своему вкусу? Спасибо за внимание, поздравляю Вас с днем Победы.

С наилучшими пожеланиями.



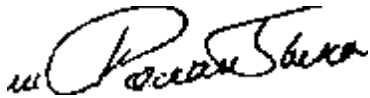
Москва, 17.4.85. Дорогой Ефим Абелевич!

С редким удовольствием прочитал Вашу книгу, и с этой минуты чувствую себя Вашим знакомым, самому странно. Особенная книга. В ее, как бы скромных художественных претензиях драгоценность. Какая-то своя и совершенно новая для меня художественность. Она в удачно найденной подробности. Хочется сказать: меткая подробность, в ней точное попадание прямо в десятку узнавания, мгновенно рождающего сочувствие, трогающее. Мало что вызывало у меня такое доверие. Но самое притягательное в книге, наверное, все-таки сохраненная довоенно-военная юность, ее опрятность, внятность чувств — уже прошлое. И юность иная, и чистота души теперь своя. Это наше драгоценное вчера для нашего сегодня.

Надо предложить более серьезным издательствам, что я с Вашего разрешения и сделаю. (Не успел. Прим. ред.) Для меня же, лично, Ваша книга будет просто справочником кинематографиста по теме войны. С этой стороны она должна бы входить в список обязательной литературы для творческих ВУЗов. Для актера же она просто клад… Рай для режиссера. Пожалуй, и для сценариста. Тут есть готовые эпизоды для фильмов. Я Ваш самый

искренний пропагандист. Будете в Москве, звоните и заходите. Будем искренне рады.

Ролан Быков.



Дорогой Ефим Абелевич!

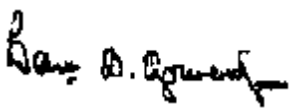
Только сегодня приступил к чтению Вашей Книги.

На чал и не смог оторваться. Бросил все дела и пока не прочитал последнюю страницу-ничем не занялся.

Прекрасная, истинно правдивая книга и читается лучше романа о войне.

Сердечно благодарю Вас за книгу и внимание.

Ваш Д. Ортенберг 14.5.85.



Иллюстрации

Мама

С женой

Со школьным товарищем Гришей Неворожкиным, погибшим во Львове

С сыном

После госпиталя

С сестрой

С братом

С дочерью

Моя семья в День Победы

Очерки. Эссе. Судьбы

Памяти моей жены Суламифи Федоровской посвящается

Жуков. Штрихи к портрету

Словосочетание «Маршал Победы» однозначно ассоциируется с Жуковым. Георгий Константинович Жуков — единственный четырежды Герой Советского Союза (трижды героями были летчики Кожедуб и Покрышкин) — сделал для разгрома врага столько, что «присвоение» ему народом звание Маршала Победы было естественным, заслуженным, закономерным. С его именем связаны оборона Ленинграда и Москвы, разгром Сталинградской группировки противника, победа в решающей битве Великой Отечественной войны под Орлом и Курском, завершающее сражение за Берлин.

Жуков личность сложная, неординарная, противоречивая. О нем написано много и будет написано еще не раз. Он был суров,

жесток, подчас груб и нетерпим. Жена однокашника Жукова генерала Горбатова вспоминала, что Жуков зачастую проявлял черты своего непростого характера и вне службы, когда в этом не было никакой необходимости.

Нет никаких свидетельств, что Жуков, как об этом пишут некоторые авторы, вызволил из тюрьмы Рокоссовского. Между ними были достаточно сложные отношения. Да и не мог он, будучи в 1940 году Командующим Округом, это сделать. Тогда это было небезопасно. Даже для него.

Вновь назначенный Нарком Обороны Тимошенко обнаружил чудовищный недокомплект высшего комсостава. Кто не был расстрелян — сидели. Тимошенко рискнул обратиться к Сталину. Сталин сказал: «Дайте список».

Список был велик. По-видимому, Сталину надоело читать, и он его перечеркнул. Но после буквы Р..

Сталин принял Рокоссовского вместе с Жуковым. Высокий, статный, в ладном кителе с орденами, будущий Маршал был смущен, скован, на вопросы отвечал невпопад. Огорченный Жуков уже решил, что Командарм провалился.

— Почему такая неосведомленность? — раздраженно спросил Сталин, — чем вы занимались перед войной?

— Сидел, товарищ Сталин.

— Нашел время, когда сидеть! — Дотронулся до плеча генерала Сталин. И обстановка разрядилась.

А вот Конева Жуков действительно спас, сделав его своим заместителем, когда после развала Западного фронта тому грозил Трибунал. Но это уже было другое время. Шла война, положение Жукова было другим, и он МОГ это сделать.

Во время последней опалы в «Правде» появилась статья Конева, в которой он беспощадно разнес Жукова. Конев этой статьи не писал и не подписывал. Тем не менее, к его великому огорчению, она появилась за его подписью. Позвонил Хрущев: «Завтра читай свою статью. И без фокусов! Понял?». -Что он мог сделать? Ни одна газета не опубликовала бы его оправдания, ни к одному микрофону он не был бы допущен. Конев это понимал и неоднократно пытался объясниться с Жуковым. Но тот его не простил. Не в его это было характере. Тем более удивительно читать в интервью младшей дочери Жукова Марии: «Отец — истинный христианин. Он всех простил. Он приехал на юбилей к тому же Коневу и обнялся с ним». Это никак не вяжется со словами Жукова, написанными им на конверте, в котором Конев послал Георгию Константиновичу поздравление с Днем Победы и просил прощения: «Предательства не прощают. Прощения проси у Бога. Грехи замаливай в церкви. Г. Жуков». Между этими двумя

событиями пролегли десятилетия, и они имели место в разные эпохи жизни маршалов.

Добавлю, что, командуя Уральским Военным Округом, Жуков посетил в Свердловске Ипатьевский дом. К Жукову подошел, участвовавший в расстреле царской семьи, Ермаков и протянул руку Жуков ответил: «Палачам руки не подаю». — В те годы это был мужественный поступок.

Около полугода перед войной и в самом ее начале Жуков возглавлял Генеральный Штаб. Невозможно понять, почему за эти месяцы, когда война уже неотвратимо нависла над страной, о чем неоспоримо свидетельствовали сводки его собственного разведуправления, Генштаб не разработал не только концепции отражения противника, но и вообще не подготовил сколько-нибудь вразумительной тактики на случай внезапного нападения врага. В достаточно обширных «Воспоминаниях и размышлениях» Жуков никак этого не объясняет и о своей работе в Генштабе говорит скупо и вскользь.

Вину за растерянность, неразбериху и неудачи первых недель и месяцев войны вместе со Сталиным должен разделить и Начальник Генерального штаба.

Заметим, что задолго до войны, представляя своего командира полка Жукова на повышение, командир дивизии Рокоссовский в аттестации написал: «Склонности к штабной работе не имеет…».

Во время войны Жуков был Заместителем Верховного Главнокомандующего. Однажды к нему на стол легла бумага, начинавшаяся словами: «Первому Заместителю Верховного Главнокомандующего…» Он отшвырнул ее, не читая: «Я не первый! Я — единственный!». — Вполне возможно, что от этой бумаги зависела судьба, а может быть и жизнь людей.

После Вяземской катастрофы командующий окруженными войсками генерал Лукин получил телеграмму: «Из-за неприхода окруженных войск к Москве — Москву защищать некем и нечем. Повторяю, некем и нечем. Сталин».

Приняв Западный фронт в состоянии полного развала, новый Командующий Жуков приказал найти и расстрелять виновных командиров полков и дивизий. Нашли. И расстреляли. В этой обстановке разбираться было некогда. Но от этого не легче. Как Командующий фронтом Жуков должен был подписывать и утверждать смертные приговоры. К сожалению, есть основания полагать, что не все расстрелянные были виновны.

Тем временем немцы заняли Калинин.

Так случилось, что, обороняя Москву, Рокоссовский, через голову Комфронта, обратился к Сталину с просьбой отвести

войска за Истринское водохранилище. Это давало возможность удерживать рубеж меньшими силами и перебросить часть войск на другие участки. Сталин разрешил. Жуков был взбешен — его обошли! И в свойственной ему грубой манере приказ отменил. Это стоило многих ненужных жертв… А фон Бок обошел водохранилище и вышел на Ленинградское шоссе в полусотне километров от Москвы…

Неистовство Комфронта, возможно подогретое сознанием собственного промаха, хотя на Жукова, постоянно уверенного в своей абсолютной правоте, это было непохоже, вылилось в недостойные угрозы, мат и оскорбления, которые ошеломили Командарма (через много лет Жуков пожалеет об этом разговоре). Рокоссовский положил трубку, продолжавшую изрыгать брань, и совершенно уничтоженный пошел куда глаза глядят. Заместители повисли у него на плечах, усадили в машину и отправили в штаб. Позвонил Сталин. Рокоссовский приготовился к самому худшему. Неожиданно Сталин сказал: «Товарищ Рокоссовский! Скажите, вам очень тяжело?» — и когда только успел узнать! И тон ему не свойственный. — «Я вас прошу продержаться. Я вам пришлю подкрепление — сто человек с ПТР Только Жукову не говорите».

Разговор со Сталиным вернул Рокоссовскому уверенность в себе.

Рокоссовский был талантливым военачальником, но его таланту полководца по разным причинам не суждено было раскрыться в полную силу До сих пор по-настоящему не оценена его роль в защите Москвы. Если Жукова уважали и боялись, то Рокоссовского уважали и любили.

После разгрома немцев под Москвой Жуков спал несколько суток. Не просыпался и не отвечал даже на звонки Сталина.

В конце войны Сталин произвел рокировку, поменяв Командующих фронтами. Жуков принял 1-й Белорусский фронт, а Рокоссовский — 2-й. Таким образом, Жуков получил направление на Берлин вместо Рокоссовского, оттесненного к морю. Сделал ли это Верховный под давлением Жукова? Неизвестно. Но Рокоссовскому была нанесена обида.

Объективности ради надо сказать, что к этому времени авторитет Жукова был таким, что если бы не ему было поручено брать Берлин — никто бы этого не понял — за ним шла череда побед одна значительней другой.

Но до этого еще было далеко.

Командуя Ленинградским фронтом, Жуков направил армиям и Балтфлоту шифрограмму № 4976: «Разъяснить всему личному составу, что все семьи сдавшихся врагу будут расстреляны и по возвращении из плена сами они тоже будут расстреляны». (В

печально известном приказе Сталина № 270 от 16 августа 1941 года предписывалось лишать эти семьи государственного пособия и помощи, а «сдающиеся в плен врагу командиры и политработники являются злостными дезертирами, семьи которых подлежат аресту, как семьи нарушивших присягу и предавших свою родину». О расстрелах там речь не шла).

Приказ жестокий. Но кто вправе определить меру жестокости, когда на карту поставлена судьба страны! Сдача в плен в начале войны, к сожалению, не носила одиночного характера. Рука не подымается писать «массовый». Выбираясь из окружения от Витебска до Вязьмы встречал сотни людей, уже переодетых в гражданское, шедших на запад…

Когда началась война советской власти было 23 года, двадцать четвертую годовщину страна отмечала уже в войну. Еще было много людей, имевших все основания относиться к советской власти без большой любви: раскулаченные и расказаченные, разоренные насильственной коллективизацией крестьяне, бывшие нэпманы («новые русские»?), уцелевшие участники белого движения — многие из них добровольно сдавались в плен. Появилась директива Генштаба, строжайше запрещавшая направлять в одно подразделение родственников и земляков «во избежание сговора и перехода на сторону противника».

Так что все здесь не так просто. Что касается самой шифрограммы — она вполне в характере Жукова. Но надо помнить в какой обстановке и в какое время дана эта устрашающая директива.

Главный Маршал авиации Голованов свидетельствует, что под Ленинградом по приказу Жукова расстреливали из пулеметов отступающих красноармейцев…

Известно, что Жуков, мягко говоря, недолюбливал политработников. Он собственноручно вычеркнул из списка Героев Советского Союза лейтенанта Береста, только потому, что тот был заместителем командира роты по политчасти. Между тем, именно Берест, крепкий мужчина, спортсмен, втащил — буквально — на купол рейхстага молодых и менее физически подготовленных Егорова и Кантария (лестницы были разрушены).

При Жукове в армии расцвело рукоприкладство, да и сам он, говорят, был скор на руку. Не отсюда ли пошла отвратительная дедовщина?

Начальником разведки фронта у Жукова был генерал Мильштейн. Наверное, не из худших. Сохранились воспоминания генерала и вот, что он пишет: «Когда вызывал Жуков, возникало желание не ответить на оклик часового — пусть стреляет!»

Красноречивое свидетельство о характере Комфронта и обстановке в его штабе.

Один из Министров Обороны Советского Союза Маршал Малиновский (при рождении Рувим Янкелевич…) как-то сказал Хрущеву: «Жуков — страшный человек». — Его не без оснований упрекали в самодурстве.

В бытность Жукова Министром Обороны армия постепенно выводилась из-под контроля партии и государства. Доходило до того, что секретари ЦК республик не могли не только вызвать — пригласить к себе Командующего Округом — ехали к нему сами. Начальники гарнизонов, не стесняясь, вызывали партийных и советских руководителей.

Перед Парадом Победы Сталин пожелал сфотографироваться с Командующими фронтами, но в это время его вызвал к телефону Черчилль. Жуков сел на его место в центре первого ряда и этот снимок стал историческим. Сталин удивился, поворчал и забыл. Впрочем, Сталин ничего не забывал.

До последнего времени считалось, что обвинения Жукова в бонапартизме беспочвенны. Мы знаем, что Маршал написал, но не знаем, что он думал. Когда с этим вопросом обратились к Константину Симонову он неожиданно сказал: «А почему нет! Перед ним был пример Эйзенхауэра!» (ставшего Президентом Соединенных Штатов).

После войны начались аресты бывших подчиненных Маршала и близких к нему людей. Многие из них показали, что Жуков готовил военный переворот. Из 75 опрошенных это подтвердили 74 человека… Но Сталин собирался воевать дальше, Жуков был ему нужен и он отправил его подальше от Москвы — командовать Одесским Военным Округом.

Прибыв в Одессу и вступив в командование округом, Жуков собрал генералов и сказал: «Вы думаете, к вам приехал новый Жуков? К вам приехал старый Жуков!». В Одессе Жуков фактически узурпировал власть. Областные и городские учреждения, в том числе МВД, были практически лишены всякого влияния на жизнь города и области. Все вопросы решал Жуков. В Москву посыпались просьбы: «Уберите от нас этого диктатора!». — Но надо признать, что Жуков, если не искоренил, то значительно сократил преступность в городе, и одесситы вздохнули свободнее. Военные патрули навели в городе порядок.

Но вскоре Сталину доложили о причастности некоторых крупных военных к мародерству и грабежам в Германии. Были арестованы генералы Телегин, Крюков, его жена Лидия Русланова (с последней Жуков был достаточно близок и наградил ее орденом Отечественной войны 1-й степени). Упоминалось и имя

Жукова. Сталин не поверил и поручил провести на квартире и даче Жукова негласный обыск.

Жуков не был аристократом. Он происходил из крестьянской семьи и бесхозное имущество его, по-видимому, раздражало. Его следовало прибрать, складировать, но почему-то не в государственных закромах, а на квартире и даче Главнокомандующего оккупационными войсками в Германии…

Список обнаруженного имущества, антиквариата, картин, ковров, драгоценностей и прочего велик и впечатляющ. Не хотелось его приводить, чтобы не унижать память Великого Полководца. Привожу его для тех, кто считал и считает, что это инсинуации имевшие место в период гонений Маршала. Предвижу возмущение поклонников бесспорного стратегического таланта Маршала. Но что поделаешь.

Личный эшелон Маршала Жукова состоял из 7 вагонов с 85 ящиками с мебелью со 194 предметами из карельской березы и красного дерева. При обыске в квартире обнаружено 4 тыс. метров шелка, парчи, панбархата, 323 собольих, обезьяньих, лисьих и каракулевых шкурок, 44 ковра и гобелена старинной работы, 55 ценных картин, 7 ящиков фарфоровой и хрустальной посуды, 2 ящика с серебряными столовыми и чайными сервизами, множество статуэток и ваз из бронзы и фарфора, множество книг в кожаных переплетах на немецком языке, которого Жуков не знал. Чемоданчик с драгоценностями был впоследствии найден на квартире няни Руслановой… И это еще не все.

Тех, кто пытается это отрицать или сомневается «обезоружил» сам Жуков, написавший в объяснительной записке в Политбюро, что «дает клятву большевика больше таких ошибок не допускать и просит не исключать его из партии». И подписывается просто: «Г. Жуков».

Сталин отправил Жукова в Свердловск.

Автор вовсе не собирался копаться в грязном белье великого полководца и знакомить читателя с частной жизнью Жукова. «Спровоцировал» автора сам Маршал. Командуя фронтом, он направил Командующему 1-ой Гвардейской танковой армией генерал-лейтенанту М. Е. Катукову записку следующего содержания: «Я имею доклады, что т. Катуков армией не руководит, отсиживается дома с бабой и что сожительствующая с ним девка мешает ему в работе. Требую немедленно отправить от т. Катукова женщину. Если это не будет сделано, я прикажу ее изъять органам СМЕРШ».

Сам Маршал вовсе не был пуританином. И с полным основанием мог бы отнести записку к самому себе.

В 1929 году, когда Жуков был командиром полка в Минске,

он получил партийный выговор «за пьянство и неразборчивость в связях с женщинами». И выговор был не последний.

В 1919 году Жуков познакомился с Марией Волоховой, медсестрой лазарета, где он лежал по ранению. Роман прервался с отъездом Жукова на фронт.

В 1920, командуя эскадроном в Воронежской области он познакомился с Александрой Дневной Зуевой, зачислил ее писарем эскадрона, и она стала его гражданской женой. (Обе дочери Жукова, Эра и Элла, рождены ею в неоформленном браке).

В 1923 году Жуков стал командиром кавполка в Минске, где проживала его первая любовь Мария Волохова, и в течение нескольких лет жил на два дома. Родила дочку и Мария.

В конце концов ей это надоело, она уехала из города и вышла замуж. Жуков остался с нелюбимой Александрой и дочерьми. Что не мешало ему пускаться в рискованные связи. Во время войны такие поползновения были в отношении второй фронтовой жены Маршала Конева, Антонины, с которой Иван Степанович связал свою судьбу после войны.

Настоящая, любимая, жена Жукова появилась на фронте осенью 1941 года. Вспоминает водитель Жукова Александр Бучин: «Лидочка появилась в группе обслуживания Комфронта в дни битвы под Москвой. Худенькая, стройная, была для нас, как солнечный лучик, и Георгий Константинович к ней привязался. Несмотря на свой крутой нрав к Лидочке относился очень душевно, берег. Она не отходила от него ни на шаг. В любой обстановке. Даже когда он шел на передовую, нас он оставлял, а она шла за ним. Застенчивая, стыдливая Лидочка не терпела грубостей. Жуков иногда доводил ее до слез своими солдатскими выражениями, хотя, и не скрывая этого, любил ее и старался беречь».

После Парада Победы на квартире у Жукова в узком кругу собрались члены семьи, его жена Александра Зуева с дочерьми и близкий друг Георгия Константиновича — Лидия Русланова. «Правительство, — сказала она, — оценило подвиг полководцев, но не оценило подвиг их жен» и подарила Зуевой дорогую брошь в виде пятиконечной звезды с брильянтами, по слухам принадлежавшую когда-то Наталье Гончаровой.

Лидочка оставалась с Георгием Константиновичем и после Победы. Она жила с ним в Москве и последовала за ним в Одессу и в Свердловск. Дважды она сделала аборт и оба раза это были мальчики, о которых Жуков так мечтал… Лидочка оставалась с ним до того, как в Свердловске он влюбился в военврача Галину Семенову. Лидочка уехала в Москву, где Жуков, став министром,

помог ей получить квартиру.

Галина Александровна была моложе Георгия Константиновича на 30 лет. Она стала последней настоящей любовью Маршала и после рождения дочери (опять девочка!) Марии Жуков зарегистрировал брак.

Но прожили они после этого недолго. Сначала скончалась от рака Галина Александровна, через полгода ушел из жизни и Маршал. Жуков завещал похоронить себя рядом с женой, но Брежнев распорядился захоронить его прах в Кремлевской стене.

Возвращаясь к военной деятельности Жукова, следует отметить, что и он являлся сторонником доктрины «бить врага на его территории», о чем он нигде не упоминает. Как Начальник Генштаба он в 0 час 25 мин направил в войска директиву — «На провокации, — (которых было предостаточно), — не отвечать», вместо того, чтобы привести их в состояние боевой готовности. Директива дезинформировала командиров и добавила растерянности в и без того непростую обстановку. Но такова была политика правительства и Сталина. Жуков неправильно ориентировал Командующего Белорусским Округом Павлова, считая, что главный удар противника будет наноситься НЕ через Белоруссию. Это в значительной степени предопределило разгром Западного фронта. Павлов был расстрелян.

Жуков был государственным человеком.

После смерти вождя Жуков предотвратил приход к власти Берии, сыграл решающую роль в его аресте, нейтрализовал органы безопасности, перебросив с Урала две танковые дивизии и арестовав офицеров этого ведомства.

Не за это ли Георгий Константинович получил четвертую звезду Героя Советского Союза, когда страна никаких боевых действий не вела, став единственным в СССР четырежды Героем? (Заметим, в скобках, что по положению о звании Героя Советского Союза при повторном и последующих присвоениях звания орден Ленина не вручается, а только очередная Золотая Звезда. Жуков настаивал — и получал — и ордена Ленина…)

История повторилась в 1957 году во время противоборства с «антипартийной группировкой». Министр безоговорочно принял сторону 1-го Секретаря, на военных самолетах доставил в Москву всех членов ЦК, а на самом Пленуме выступил с убедительной и аргументированной речью. Его ввели в члены Президиума (Политбюро).

И вдруг, меньше, чем через полгода, он был снят со всех постов и отправлен на пенсию!..

В своих воспоминаниях Хрущев пишет: «Для меня это было очень болезненное решение». (Еще бы! Всего четыре месяца назад

Жуков его спас). От КГБ и политорганов поступали сигналы об опасности сосредоточения в руках Министра Обороны чересчур большой власти.

Жуков стал формировать в войсках диверсионные штурмовые части, дивизию спецназа и особые бригады, создал школу диверсантов, пытался подчинить себе пограничные войска.

Все это без ведома ЦК и правительства. (Надо помнить то время и существовавшую тогда систему власти).

Это еще не был путч. Да и едва ли он был возможен — популярность Жукова в армии была не столь велика, как он привык думать. В войсках было много обиженных им генералов и офицеров. Всем надоела его безапелляционность и грубость. В беседе с К. Симоновым, оценивая свои ошибки и промахи, Жуков скажет: «…В чем-то, очевидно, виноват и я — нет дыма без огня!»

Были и причины оборонного характера. Численное превосходство уже не играло в современной войне решающей роли. Тактика Жукова заваливать противника трупами уже не годилась. Наступало время ракет.

Многие военачальники считали, что войну можно было кончить еще в феврале. В их числе был и герой Сталинграда Маршал Чуйков. Сотни тысяч солдат и офицеров остались бы живы. Скептическую улыбку вызывает у военных и эксперимент с прожекторами — генерал Горбатов, на правах бывшего однокашника, спросил Жукова: «Зачем ты зажег прожектора?». — «Чтоб было светло наступать!». — «Ну и наступал бы днем».

Оба эти момента довольно наивно обыграны в фильме Озерова о Жукове — … К Жукову входит начальник штаба фронта с подготовленным приказом о начале наступления. Командующий продолжает играть на баяне: «Правильно, Георгий Константинович. Люди устали».

И уж совсем смешно обыгран эпизод с прожекторами: солидные люди, командармы, по-детски щурятся и отворачиваются от слепящего света.

Щурились и немцы. Но недолго…

Не автору, начинавшему войну рядовым солдатом пехоты, давать оценку полководческому таланту прославленного Маршала. Но вот взгляд со стороны — когда Эйзенхауэру доложили о потерях советских войск в Висло-Одерской операции, генерал воскликнул: «Меня бы за такую победу отдали под суд!..»

Но он же, став Президентом Соединенных Штатов, сказал: «Не вызывает сомнений, что это был превосходный полководец. Объединенные нации никому так не обязаны, как маршалу Жукову».

Еще обиднее оценка военными специалистами и историками

Берлинской операции — она определяется, как преступно-бездарная, через черточку. Союзники не ввязывались в эту битву — берегли людей. Необходимости в штурме Берлина не было. Город был окружен и пал бы через несколько дней. Это была чисто политическая акция, инициированная Сталиным: «Добить врага в его логове!».

Но стоила она десятков тысяч жизней…

Но и здесь не все так просто.

1 апреля 1945 года Черчилль писал Рузвельту, что «если русские захватят также Берлин, то не создастся ли у них слишком преувеличенное представление о том, будто они внесли подавляющий вклад в нашу общую победу?» и далее: «если Берлин окажется в пределах нашей досягаемости, то мы, несомненно, должны его взять».

Не оказался. И неизвестно как на это письмо отреагировал Рузвельт. Едва ли согласием.

Но если об этом письме было известно советскому руководству, становится понятным стремление Командования как можно скорей взять Берлин, не считаясь с потерями.

Что касается «подавляющего вклада», то сам же Черчилль его признал, сказав, в свойственной ему манере: «Красная Армия выпустила кишки из германской военной машины».

Будучи Министром Обороны Жуков по поручению Хрущева подготовил доклад о полководческой деятельности Сталина. С грифом «Секретно (№ 72с)» и припиской: «Товарищу Хрущеву Н. С. Направляю Вам проект моего выступления на Пленуме ЦК КПСС. Прошу посмотреть и дать свои замечания. 19 мая 1956 г. Жуков».

Частичная реабилитация Сталина уже началась, Пленум не состоялся, доклад Жукова не был ни произнесен, ни опубликован. На титульном листе появилась резолюция Хрущева: «Разослать тов. Булганину Н. А. и Шепилову Д. Т. Хранить в архиве Президиума (Политбюро) ЦК КПСС».

В книге Виктора Суворова «Тень Победы» последний уделяет много времени и места «преступлению» Жукова, не отдавшего приказа об ответных действиях против германских войск, совершенно игнорируя тот факт, что Начальник Генерального штаба на это права не имел. Это решает высшее руководство страны.

В упомянутом докладе Жуков пишет по этому поводу: «В 3 ч. 25 мин. Сталин был мною разбужен и ему было доложено о том, что немцы начали войну, бомбят наши аэродромы и города и открыли огонь по нашим войскам. Мы с тов. С. К. Тимошенко ПРОСИЛИ РАЗРЕШЕНИЯ дать войскам приказ об ответных

действиях. Сталин, тяжело дыша в телефонную трубку в течение нескольких минут, ничего не мог сказать, а на повторные вопросы отвечал: «Это провокация немецких военных. ОГНЯ НЕ ОТКРЫВАТЬ, чтобы не развязать более широких действий. Передайте Поскребышеву, чтобы он к 5 часам вызвал Молотова, Берию и Маленкова на совещание. Прибыть вам и Тимошенко».

До 6 час. 30 мин. он не давал разрешения на ответные действия и на открытие огня».

Не лучшего мнения о Сталине, как о стратеге, был и Маршал Рокоссовский, писавший в конце жизни: «Этот недоучка (Сталин) только мешал воевать. Мы, Командующие, его обманывали — любому, самому несуразному его распоряжению поддакивали, а действовали по-своему».

Маршал Жуков наиболее крупный полководец не только Великой Отечественной, но и всей 2-й мировой войны. Череда блестящих побед, одержанных им — неоспорима. Некоторые из них приписывались полководцу незаслуженно средствами массовой информации и подхвачены народом. Жуков их не дезавуировал…

Так произошло с разгромом Сталинградской группировки противника. В действительности решающая роль здесь принадлежит Рокоссовскому, сказавшему прибывшему под Сталинград представителю ставки: «Разрешите мне самому командовать фронтом!» Жуков разрешил и вернулся в Москву.

Операцию эту разработали Жуков и Василевский. Они же разработали план активной обороны на Курской дуге, положивший начало окончательному разгрому врага. Непосредственными исполнителями плана были Командующие фронтами Конев, Рокоссовский и Ватутин. Жуков в этой операции не участвовал.

Узнав, что снимается фильм, Рокоссовский написал письма режиссеру Озерову и исполнителю роли Жукова артисту Ульянову, указав на эти и другие неточности в сценарии. Ответа Рокоссовский не получил. Сценарий остался без изменений…

Решение воздвигнуть в Москве памятник Жукову, поначалу вызвало противоречивые отклики. В печати появились статьи с возражениями. Вспоминали даже Халхин-Гол, где комкор Жуков в 1939 году переломил ситуацию и одержал свою первую блестящую победу. Уже тогда его любимым словом было — «Трибунал!».

Поздним летом 1941 года, когда Жуков командовал Резервным фронтом, участвовавший в этом походе секретарь Союза писателей СССР В. Ставский, писал Сталину: «За несколько месяцев в 24-й Армии расстреляно почти 600 человек, к наградам

представлено около 80-ти». (Нашел кому жаловаться). А ведь речь шла о Ельнинской операции, считавшейся успешной. Были и другие возражения, связанные с Отечественной войной.

Любовь народа к Жукову велика и если ставить памятники, начинать и надо было с него.

Памятник Жукову — не только памятник ему лично, это памятник Великой Отечественной войне и всем нам, ее участникам.

Чинились Жукову препятствия и в написании «Воспоминаний и размышлений». Некие доброхоты настаивали на «отражении в книге роли Леонида Ильича Брежнева в Великой Отечественной войне». Полковник Брежнев был Начальником Политуправления 18-й Армии и можно с полной уверенностью сказать, что во время войны Жуков и фамилии такой не слыхал. Но книга задерживалась, и Георгий Константинович вынужден был вписать дикую фразу, что он «хотел заехать в 18-ю Армию посоветоваться с полковником Брежневым, но тот находился в войсках, и встреча не состоялась». И при этом сказал: «Умный поймет».

О чем хотел «посоветоваться» Заместитель Верховного Главнокомандующего, Маршал, с полковником Брежневым — мы не узнаем никогда…

В 1967 году Военное Издательство Министерства Обороны СССР выпустило книгу «Советский Союз в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов» тиражом 150 тысяч экземпляров.

Среди двадцати восьми членов редакционной комиссии, объявленных в начале книги, есть и знакомые фамилии: П. Н. Поспелов (председатель), Л. Ф. Ильичев — главные редакторы соответственно «Правды» и «Известий», Маршалы И. Х. Баграмян, А. А. Гречко, С. И. Руденко, В. Д. Соколовский, академик И. И. Минц, писатель Б. Н. Полевой.

На последней странице приводится список из более чем ста фамилий, о которых глухо сказано, что они «прислали свои отзывы и предложения».

Судя по тому, что анализ этих предложений или общая их характеристика отсутствуют, можно предположить, что, по крайней мере, часть из них были возражениями. И здесь встречаются знакомые имена: Маршалы А. М. Василевский и Р. Я. Малиновский, адмиралы В. А. Касатонов, Ф. С. Октябрьский, В. Ф. Трибуц.

Так вот. На 624 (шестистах двадцати четырех!) страницах этого фолианта ИМЯ МАРШАЛА ЖУКОВА НЕ ВСТРЕЧАЕТСЯ НИ РАЗУ! НЕТ И НИ ОДНОЙ ЕГО ФОТОГРАФИИ!

Остается гадать, чем руководствовалась столь авторитетная

комиссия, вычеркнув одного из крупнейших полководцев Второй Мировой войны из ее истории. Великая Отечественная война без Маршала Жукова?! И обвинить в этом Н. С. Хрущева нельзя — к этому времени он уже три года был на пенсии и в опале.

Но каковы превратности судьбы: в Отечественной войне «не участвовал» — и памятник в сердце Москвы!

Суровые подробности войны

14 июня 1941 года, за неделю до войны, в «Правде» появилось сообщение ТАСС: «Советский Союз стал будто бы усиленно готовиться к войне с Германией и сосредотачивает войска у границ последней… Ответственные круги в Москве уполномочили ТАСС заявить, что эти слухи являются неуклюже состряпанной пропагандой. Проводимые сейчас сборы запасных Красной Армии и предстоящие маневры имеют своей целью не что иное, как обучение запасных»…

Это был обычный дипломатический ход. Но он сыграл демобилизующую и даже трагическую роль.

«В последнее время многие работники поддаются на наглые

провокации и сеют панику. Секретных сотрудников за систематическую дезинформацию стереть в лагерную пыль как пособников международных провокаторов, желающих поссорить нас с Германией. Л. Берия, 21 июня 1941 года».

За 3 дня до войны — 18 июня, ночью, Военно-Медицинскую Академию подняли по тревоге и бросили к Витебскому вокзалу. На путях стоял санитарный поезд. Подъехали санитарные машины, погрузили раненых и перевезли в клиники Академии. Некоторых, на носилках перенесли на руках — было почти напротив. И это были только тяжелые. С легкими ранениями остались в Таллине и Риге. Часть раненых отвезли в военно-морской госпиталь на проспект Газа.

В ночь с 14 на 15 июня несколько германских транспортов, в сопровождении боевых кораблей вошли в советские территориальные воды. На предупреждения не ответили. Береговая артиллерия открыла огонь. Немецкий конвой ответил и под его прикрытием транспорты отошли, не высадив десанта на прибрежные острова и береговую полосу. Появились убитые и раненые.

20 июня два советских транспорта с красноармейцами подверглись атаке германской авиации в Балтийском море. В возникшей панике некоторые бойцы стали прыгать в море. Корабли не могли остановиться для их спасения, чтобы не стать неподвижной мишенью.

Пошли разговоры. В субботу вечером, 21 июня, за несколько часов до войны, полковник из Политуправления прочел лекцию о международном положении. Ссылаясь на Сообщение ТАСС, он сказал: «О войне и думать нечего!» — Один из курсантов спросил: «А как же эшелон с ранеными?» — Ночью за ним пришли…

22 июня, после завтрака, все Ленинградские военно-морские училища, в парадной форме, с оркестрами, прошли по Невскому, Дворцовой площади, набережной. Маршировали до 12 часов. До выступления Молотова.

Пока маршировали, уличные репродукторы уже передавали как себя вести при бомбежке… По-видимому что-то уже было известно — у многих были радиоприемники, вскоре у населения изъятые. Стоявшие на перекрестках старушки крестили курсантов в спину. Уже знали?

Александр Копанев.

22 июня, в 23 часа, в войска была направлена Директива Народного Комиссариата Обороны и Генерального Штаба: «Перейти в наступление против прорвавшегося на нашу территорию врага, отбросить его за госграницу и вести боевые

действия на вражеской территории». Директива предусматривала «уничтожение наступающей группировки противника и к исходу дня 24 июня занятие города Люблина»… — Полное незнание и непонимание обстановки.

22 июня, в четыре часа утра, немцы бомбили Могилев-Подольский. Полк находился в летних лагерях. По тревоге разобрали винтовки, противогазы. Политрук бодро сказал: «Завтра в 8 часов утра будем пить чай в Берлине». Никто не задал никакого вопроса. Лишь один красноармеец усомнился: «Разве до Берлина так близко»?

Худойкул Мукумов.

В сентябре 1939 года в военном билете появилась запись: «Участвовал в походе по освобождению Западной Белоруссии от панского ига (так в документе) с 17.9 по 15.10.39 г. в составе 13 стрелкового полка в должности командира пулеметного взвода». Перед этим месяц ходили вдоль границы, брички закрывали брезентом, под которым при свете карманных фонариков набивали пулеметные ленты.

С немцами встретились дружелюбно. Спросил на идише об Эрнсте Тельмане. — Они и фамилии такой не слышали.

Марк Гольдштейн.

Решение пришло сразу — идти на фронт добровольцами. Товарищ сказал: «Завтра идем в военкомат!». — «Почему завтра? Я заканчиваю диплом. Давай послезавтра!». — «Послезавтра все кончится!».

Лев Свердлов.

В декабре 1939 года, в только что занятом Красной Армией городе Териоки (Зеленогорск), было создано так называемое Правительство Финляндской Демократической Республики во главе с секретарем Коминтерна О. Куусиненом (который, кстати, ниже всех ценил Сталина…). Были назначены и министры. Чтобы ввести общественное мнение в заблуждение, в сообщении ТАСС указывалось, что это радиоперехват с финского. «Радиоперехват» уже ушел на русском в печать и на радио, а «первоисточника» все не было. Оказалось, что единственный переводчик с финского в запое и его никак не могли найти… Впоследствии об этом «правительстве» никто не вспоминал. Но этой пощечины мировое сообщество не выдержало и СССР был исключен из Лиги Наций.

В сорок четвертом пришли в Прибалтику, старшее поколение еще помнило русский язык. Окружили:

— Такая огромная страна! Такая могучая Красная Армия! Как

же так?

— Так ведь вероломно и внезапно!

— Как внезапно?! Мы говорили вашим командирам, что в воскресенье здесь БУДУТ немцы!.. — (22 июня 1941 года было воскресенье).

За два дня до войны, 19 июня, полк выдвинулся в район сосредоточения. В тот же день, хотя война еще не началась, всех жен комсостава эвакуировали вглубь страны. 22 июня командир дивизии генерал-майор Солянкин выдвинул полки в район Шауляя, и здесь через несколько дней дивизия вступила в бой. Казалось, с обеих сторон участвуют не десятки — сотни танков. То и дело вспыхивали машины. И наши, и немецкие.

Противнику удалось отрезать наши тылы. Дивизия осталась без горючего, подошли к концу и боеприпасы. Танкисты собрались в лесу, на небольшой поляне. Вышел Солянкин:

«Какой я генерал без войск!» — Сунул пистолет в рот… И застрелился!..

Лев Шмеркин.

На второй день войны, 23 июня, германская авиация бомбила мост через Днепр. Один из немецких летчиков приземлился и сдался в плен! Его привезли в лучшую гостиницу Киева на улице Карла Маркса. Слух об этом необычном происшествии мгновенно распространился по городу и возле гостиницы собралось много народа: «Немцы сдаются! Война скоро кончится!». — Летчик вышел на балкон и поднял руку со сжатым кулаком: «Рот фронт!». — Его бурно приветствовали.

За неделю до 22 июня из передач лондонского радио уже знали, что немцы вот-вот нападут на Советский Союз. Тем не менее ежедневно в Германию уходили эшелоны с продовольствием и сырьем. Последний эшелон проследовал через границу вечером 21 июня.

За неделю же в Прибалтику приехали немецкие офицеры, в форме, с погонами, организовали репатриацию местных немцев в Германию.

Айзик Айнбиндер.

Прибыл в часть в ночь на 22 июня и через два часа началась война. Еще успел сбить из зенитного пулемета «раму». Но на этом везение закончилось — окружение, плен, лагерь, тюрьма. Приговоренный к расстрелу бежал из поезда через слуховое окно. Попал к партизанам. С ними вместе воссоединился с Красной Армией. Но «недолго музыка играла». Вызвали в СМЕРШ, ничему не поверили. Отправили в лагерь НКВД. Не поверили и здесь:

бросил оружие, перешел на сторону врага. К тому же еврей. И жив. Нашелся порядочный следователь — Соколов: запросил, допросил, поверил. Всех офицеров, кому удалось оправдаться, (в чем?!) отправляли в штурмовой батальон. В эти батальоны направлялись офицеры, вышедшие из окружения, бежавшие и освобожденные из плена наступающими частями Красной Армии. И срок был у всех один — шесть месяцев!

И здесь был командиром пулеметного взвода. Ребята были боевые. Горели желанием отомстить. И было за что!

…Солнышко пригрело, немцы успокоились, полуразделись, задремали. Батальон поднялся в атаку в полной тишине! Без криков «Ура!», без артподготовки! — От неожиданности немцы растерялись. Штрафники ворвались в первые траншеи! Во вторые! В третьи!! Противник бросил подкрепления, бронетехнику. Не помогло. Штрафники дрались, как львы. И это не метафора.

В живых, на ногах, осталось сто тридцать семь человек. Из восьмисот…

Лазарь Белкин.

В окружение попали под Харьковом. (По германским данным было окружено 240 тысяч человек). Вышло из окружения не более 20 тысяч. Повезло. Нащупали небольшой коридор. Проскочили удачно. Впереди группы, с минометной плитой на спине (21 кг.) шел политрук Царан. Навстречу полковник с пистолетом: Стой! Куда! — Стали ему говорить, что за ними уже никого нет. Не слушал. И застрелил политрука!

— Развернуть минометы! Огонь! — Но в это время немцы нажали и полковник побежал вместе со всеми…

Сохранилась маленькая заметка из фронтовой газеты об успешных действиях минометного расчета сержанта Кешеля. И подпись: политрук Царан. Все, что осталось от честного командира.

Владимир Кешель.

Под непрерывным огнем связь все время рвалась. Кинулся восстанавливать. Пехота стала отходить, стали менять позиции и батареи. В этот момент на виллисе подскочил командир 72-й дивизии генерал Лосев. Выскочив из машины с пистолетом в руках, крикнул:

— Стой! Все в цепь! Солдаты, офицеры — всем занять оборону и ни шагу назад! — Командир одной из батарей, капитан Шестаков, обратился к комдиву по имени-отчеству:

— Ведь я же артиллерист! — Генерал в упор выстрелил и убил наповал! А сам вскочил в машину и уехал. Хотя смерть

кругом косила без разбора — это было страшно. За что убил боевого офицера…

Яков Нужный.

Накануне войны служил в 78-ом танковом полку 39-й танковой дивизии в Черновцах. Пока по тревоге бежали в парк по ним уже стреляли из окон… В дивизионном парке находилось 170 танков Т-26, которые участвовали в финской войне. Все они стояли на колодках… Только десять машин удалось поставить «на ноги», заправить снарядами и горючим. Снаряды и бензин вскоре кончились. Вынули замки из орудий и пулеметов и забросили подальше. Танки остались на дорогах…

Давид Розенблат.

В каком-то местечке, вблизи старой границы, в большом колхозном сарае, неизвестный советский генерал собрал командиров: «Разве вам неизвестно, что такая-то и такая-то дивизии (назвал номера) перешли германскую границу и громят врага на его территории! Что десять тысяч советских парашютистов высадились в Берлине! Что наши самолеты бомбят Берлин! А вы отступаете! В каком из наших уставов написано слово отступление? Приказываю немедленно вернуться туда, откуда пришли!»

В это время германские войска были уже далеко в глубине нашей территории. Никому и в голову не пришло, что это провокатор. Так хотелось верить. Но ход был неглупый. Несколько тысяч кадровых бойцов и командиров были бы серьезным пополнением отступающим частям Красной Армии. Все они попали в плен.

Лазарь Белкин.

Но что-то здесь было правдой. В ночь с 8 на 9 августа, через полтора месяца после начала войны, с военного аэродрома «Сокол» на острове Саарема в воздух поднялись одиннадцать дальних бомбардировщиков морской авиации и взяли курс на Берлин. Вел группу командир полка полковник Е. Н. Преображенский. Летели молча. Всякие переговоры в полете были запрещены. Лишь выйдя на цель Преображенский произнес историческую фразу: «Я над Берлином!».

Вернулось четыре экипажа. Через несколько дней еще три, севшие на запасные аэродромы. Четыре экипажа не вернулись… Дерзкий налет на ничего не подозревавшую столицу Германии немцы пытались представить, как вылазку англичан — настолько невероятным казался им этот рейд. Но те сразу заявили — в ту

ночь ни один британский самолет не поднимался в воздух.

В два часа ночи, 22 июня, на заставу обрушился шквал артиллерийского и минометного огня, горели казармы, конюшни, появились первые убитые, раненые. «Не открывать огня, чтобы не спровоцировать немцев». Огонь открыли, когда они уже на лодках переправлялись через Буг на наш берег. Отбили. Прервалась связь. Начальник заставы убит, заместитель ранен. Продержались сутки. Наутро прислали две подводы с касками и три с рубашками для гранат. Касок хватало, а гранаты давно кончились… С этими подводами отправили в тыл раненых. Но довезли ли их и куда осталось неизвестно…

Перед наступлением выдали по пять-семь патронов и по триста грамм хлеба, похожего на торф. Форсировали Нарву и две недели держали плацдарм. После ожесточенных, круглосуточных непрерывных боев, уже на нашем берегу снял шапку — волосы, как парик, остались в шапке… И они были седые… А ординарец, с которым не расставался два года, стал белый, как голубь.

Роман Богомольник.

Командир батальона не спал трое суток. Уронил голову на стол и уснул. Вбежал офицер: «Товарищ капитан! Во дворе немцы!» — Но комбат не проснулся. Вдвоем с товарищем выбежали и дали по очереди из автоматов. Тени исчезли. Утром комбат вышел, сказал:

— Видишь ориентир! — и показал на отдельное дерево.

Рука упала. И упал комбат… Не ранен. Не контужен. Не убит. УМЕР! Сердце не выдержало нечеловеческого напряжения. Ему не было и сорока лет…

Евгений Зеликман.

Когда положили на стол, с изумлением увидел — у хирурга нет одной ноги! Приспособив культю на табурет этот героический врач делал операции!

Ефим Буритейн.

27 июля 1941 года, на военном транспорте «Ворошилов», сопровождавшем караван судов из Одессы в Крым, стал свидетелем одного из самых трагических событий Великой Отечественной войны — гибели флагмана Черноморского пассажирского флота теплохода «Ленин». Около двух часов в ночь на 28-е, там, где находился «Ленин», вспыхнул яркий огонь и раздался взрыв! Через минуту второй! Задрав вертикально нос в ночное небо, «Ленин» две-три секунды стоял на корме и вдруг провалился в морскую пучину Как будто его и не было… Из трех с

половиной тысяч человек спаслось двести восемь… Причины этой трагедии до сих пор не ясны. Бомбежки не было, не зафиксировано и подводных лодок. Скорей всего перегруженный теплоход, сидевший ниже ватерлинии, задел нашу мину.

… При форсировании Днепра от близкого разрыва снаряда контузило и выбросило из лодки. Увидел вокруг черную воду. Намокшая шинель, автомат, вещмешок тянули на дно. Вдруг ясно увидел, как белоснежный теплоход «Ленин» задрал нос к небу, стал на корму. И остался стоять! Не утонул. Утонул я сам. Теплоход был последним видением. Но — спасли. Когда пришел в себя, один из спасителей спросил:

— Почему ты, когда упал в воду, стал звать на помощь Ленина? Неужели вам, партийцам, перед смертью Ленин видится?

Не сразу сообразил в чем дело. Увидев тонущий теплоход, крикнул: «Ленин!». Сам своего крика не слышал…

Наум Орлов.

Немцы подошли близко к Николаеву. Директор поручил демонтировать и эвакуировать дорогостоящие станки, недавно купленные за границей за валюту. Один эшелон успел отправить, демонтировал станки для второго, примчался какой-то генерал: «Кто дал команду?» — Директор промолчал. «Город будет обороняться! Немедленно поставить станки обратно! Даю двадцать четыре часа! Не сделаете — расстреляю!». — Стали устанавливать обратно.

Под вечер вышел во двор — никого! Того генерала и след простыл. Рабочие растаскивают склад: «Ты что! Дурной! Немцы в городе!».

Добрался до дома — какой-то мародер выносит его вещи! «Ты что делаешь?!». — «Молчи, жид! Что тебе не все равно — немцы заберут или я!».

Михаил Кимельман.

Во взводе был немолодой, исполнительный прибалт Пресс. Когда танки пошли на батарею, крикнул ему: «Подойди к панораме!». — «Сначала раздам патроны!» — в руках он держал подол гимнастерки, в котором россыпью лежали патроны. Ни визга снаряда, ни разрыва мины не слышал. В следующую секунду голова Пресса скатилась с плеч… Это было похоже на кадр из фильма ужасов. Обезглавленная фигура сержанта долго, так казалось, стояла, держа в мертвых руках подол гимнастерки. И рухнула. На самом деле прошло несколько секунд. Но их оказалось достаточно, чтобы поседеть…

Аркадий Ройтварф.

Разведчики задержали гражданского человека, заросшего густой черной бородой, в телогрейке, подпоясанной широким ремнем, за который, на спине, был заткнут топор.

— Мы не можем с ним объясниться! — Сразу признал в нем еврея и заговорил на идиш. История его такова: Когда в 1939 году немцы пришли в Польшу, ему удалось скрыться, а всю его семью расстреляли. Он ушел в лес. Выслеживал и убивал немцев. Топором. Оружие не брал. Только топором. Пять лет. Как одинокий волк мстил за своих близких. За пять лет ни разу не ночевал в доме. Только в лесу. Заходил в деревни. Его кормили, давали с собой.

«Что теперь будешь делать? Немцы далеко». — «Не знаю». — «Как зовут тебя?». — «Не надо».

Нухим Бохман.

После недельных, круглосуточных боев, когда удалось вырваться и спасти людей, встречали как героя, (и был представлен к этому званию, но получил Знамя) несли на руках. Лежал в какой-то комнатке, приходил в себя. Вошла девушка, стала его целовать, ласкать. Знал: это девушка сержанта и тот берег ее для себя. Отослал. Встретил сержанта: «Я ж не скотина!». Сержант разволновался: «Для вас я был готов на все!». — Неправдоподобно. Но — было.

Магомет. (Фамилия не сохранилась).

Увидел на обочине раненых немцев, семь человек. Политработники говорили: «К пленным надо относиться гуманно». — Погрузил в бричку, повез. Встретился командир полка: «Ты кого везешь? Они твоих родителей расстреляли! Мать-перемать! Двух автоматчиков ко мне!». — Повыкидывали из брички и расстреляли…

В другой раз шел по линии связи, из леса вышел немецкий солдат: — Плен! Плен! — Закинул карабин за плечи и пошли рядом. Еврей и немец. Нагнала машина с артиллеристами. Соскочили: «Куда ведешь?!». — И затоптали сапогами насмерть…

После Победы попал в 306-й рабочий батальон охранять немецких военнопленных. Немецкие офицеры ходили в чистых мундирах, с наградами и смотрели на наших с презрением. Охрану кормили баландой, ни крупинки не просматривалось. А у немцев крутая болтушка. Перелезал на их сторону и повар-немец — наливал по знакомству.

Побежденный — победителю…

Михаил Мишнаев.

Никакой эвакуации не было. Районное начальство сбежало. Решили идти сами… Собрали по чемоданчику и пошли в сторону Орши — там надеялись сесть на поезд. Отошли от местечка километров двадцать до села Рубеж. Там приняли первый «бой»: на беженцев напали местные крестьяне, стали рвать из рук чемоданы, узлы — все…

В следующей деревне уже были немцы…

Яков Генин.

На восьмой день войны комсомольцам объявили, что они поедут на несколько дней, «пока отгонят немцев», до старой границы и тогда вернутся в Вильнюс. С собой велели взять полотенце, мыло и зубную щетку. На полторы тысячи учеников комсомольцев было одиннадцать человек. Сели в автобус. Сели и родители — как же, единственная дочь, надо проводить. То, что они увидели на вокзале, повергло их в панику: поезда брали штурмом, лезли в окна. И они сели в поезд вместе с дочкой.

У нее было полотенце. У них — ничего…

Берта Шенкер.

В Грозном зачислили в школу младших командиров. В один из дней вышел в перерыве во двор, старшина крикнул: «Садись в машину! Поедете в лес заготовлять дрова». — Подбежал, схватился за борт, одна нога на колесо, занес вторую… Вышел офицер: «Куда? Отставить! На занятия!». — Машина уехала. И не вернулась… Поехали искать. Нашли пять трупов.

Всех убили чеченцы…

Соломон Шоп.

В батальоне был молодой солдат Черепанов. Так случилось, что батальон освобождал его родное село, где у него оставались мать и девушка. Село было занято неожиданно, никто и не подозревал, что русские так близко. Дом находился на окраине. Распахнув дверь увидел мать. Но в каком виде! Мать была сравнительно молодой женщиной — едва за сорок. Она была накрашена, завита и совсем не походила на несчастную, заморенную голодом. Рядом с ней, в таком же расфранченном виде, стояла его девушка… Забежали соседи, сказали, что мать открыла публичный дом для немцев и вовлекла в эту грязь его девушку! Черепанов весь затрясся. И застрелил мать! Хотел застрелить и девушку, вошедший комбат не дал.

Этих женщин ненавидели больше, чем немцев.

Ида Черепанова (однофамилица).

Училище было в Перми (тогда Молотов), где они жили. В 1943 году, надорвавшись на непосильной работе, умерла мать… Единственный сын. Братьев и сестер не было. Отца он не помнил. Пошел к начальнику училища генерал-майору Коротаеву И тот отказал!

— Училище, мол, будет грузиться на фронт. — Это было вранье. И это знали все. Что делать? Мать. Больше никогда не увидит. И он ушел в самоволку. Всю ночь просидел у изголовья. На похороны не остался. Хоронили соседи. На проходной его уже ждали — сорвали погоны, отобрали ремень, отстегнули хлястик, руки назад. Построили училище:

«ПОД ВИДОМ похорон матери пытался дезертировать. Надо расстрелять, но мы решили отправить в штрафную роту». — Никуда не отправили. Десять суток просидел на строгом аресте — хлеб и вода.

Давид Кушнер.

Самые страшные месяцы Ленинграда — февраль и март 1942 года. Три дня в городе не было хлеба, даже блокадной пайки!.. И воды. В эти месяцы умирало по тридцать-сорок тысяч человек в день… У больницы Эрисмана поставили шест с надписью «Трупы не бросать!» Но никто не обращал на это внимания — вокруг было огромное количество трупов. Были случаи, когда дети убивали родителей из-за карточек. И наоборот… Приезжающие с фронта военные, более «упитанные», боялись ходить по городу, могли убить и съесть…

Но ежедневно из Москвы прилетал самолет с продуктами для первого секретаря Ленинградского обкома, члена Политбюро Жданова. В перестроечные годы в газетах промелькнул снимок: личный повар Жданова печет ему ромовые бабы. И это в то время, когда люди умирали от голода десятками тысяч!..

Иосиф Зекцер.

Столовые на заводе были пяти номеров. Номер один для директора и высокого начальства, дальше — по степени важности. Что там доставалось простому рабочему… Однажды видел, как человек, которого знал еще по Ленинграду, роется на помойке… Это был мастер высочайшей квалификации, элита рабочего класса. Вскоре он умер…

При этом завод содержал футбольную команду, которая питалась в директорской столовой и после обеда, когда на работу заступала вторая смена, они шли отдыхать…

Павел Перлов.

Американцы поставили Советскому Союзу по ленд-лизу количество автомобилей, равное всему довоенному автопарку Красной Армии, в том числе тысячи мощных студебеккеров. В снаряжение входило кожаное пальто коричневого цвета. Ни одно такое пальто до фронта не дошло. Они оставались в тылу у начальства. Водители студебеккеров и не подозревали о его существовании…

После разгрома Сталинградской группировки противника подвалы в городе были забиты ранеными немецкими солдатами и офицерами. Они умирали от ран, голода, холода. Армия ушла, гражданского населения почти не было. Тяжко было смотреть на их мучения. Улицы были завалены замерзшими трупами, сами пленные растаскивали их, чтобы можно было пройти-проехать. Зацепят крючком за ноздрю и волокут… С убитых было велено снимать сапоги. «Технология» была такая: ударить ломом по щиколотке, она крошится и сапог снимается…

Вот снять бы такую картину, люди никогда не стали бы воевать.

Израиль Аккерман.

Не менее одного процента, при наших потерях это устрашающая цифра, покоящихся в братских могилах — люди захороненные в состоянии клинической смерти. Отличить ее от летального исхода может только опытный врач, да и то не всегда. Врачей на передовой нет. Их и в госпиталях и медсанбатах не хватает.

… На встрече ветеранов вдруг выяснилось, что жив человек, которого собеседник лично похоронил. В начале войны хоронили там, где убит: в воронке, в окопе. Доложили командиру полка. Тот приказал перезахоронить. Оказался живой. Но пошли уже другие люди, хоронивший ранее об этом не знал. Этот случай был описан в «Известиях».

… Контужен был очень тяжело. Кровь изо рта, носа, ушей. Никаких признаков жизни. Несут к братской могиле. Один из санитаров сказал: «Вроде живой?». — «Мертвяк! Не видишь? Тащи!».

На счастье рядом оказался санинструктор. Подошел. Что скажет? В бричку? В яму? В секунду решалось жить или умереть. — В бричку! — В госпитале лежал полгода. Не видел. Не слышал. Не говорил. Писал записки. Речь восстановилась последней. Однажды в госпитале встретился раненый на костылях: «Ты Сенька? Из какого полка?».

Это был тот санитар.
Семен Шастун.

В братских могилах захоронено 6,5 млн. человек — из них только 2,3 млн., одна треть, известна по фамилиям…

…Шарахнуло по ноге, как колом огрело. Подполз товарищ, перевязал: — Ну, ползи, пока не добили. — Дополз до дороги, санитары кинули в бричку. Подошла полуторка, привезли в бывший лагерь военнопленных: нары, солома. Погрузили в телячьи вагоны. Все тяжелые, лежачие. На все вагоны один ходячий — с рукой на отлете. Дали по куску хлеба с салом и воды. Налетел самолет. Первая бомба попала в паровоз. Он зашипел и остановился. Еще одна разорвалась рядом с вагоном, но попала в кювет. Левую сторону вагона снесло, но никого из раненых не задело. Самолет развернулся, но увидев расползавшихся из вагонов раненых улетел. Ему и в голову не пришло, что раненых везут в товарняке. Всю ночь стояли. Никто не подходил. Слышался только плач женщин.

Утром потащили обратно, перегрузили в другой эшелон. Наконец приехали в Тамбов. За две недели пути никто из медработников не подошел. Белые черви стали расползаться из раны по телу. Брал руками и выкидывал…

Петр Ланин.

Взвод переправился на Керченский плацдарм одним из первых. И только поднял людей в атаку — разорвалась мина. Удар был такой, что отдалось в затылке. Подбежал санитар, наложил на ногу жгут. Ночью, на носилках, поднесли к отходящему пароходу. У трапа стоял военврач и в темноте сортировал раненых: «Куда ранен? Тяжело? Легко? Тяжелых в трюм, легких — на палубу!». — «Почему в трюм?». — «Ты тяжелый. Все равно не выплывешь…»

Александр Дерюгин.

Привезли в передвижной госпиталь. Разрезали сапог. Хирург сказал: «С ногой придется расстаться». — И сразу наркоз. Двоих раненых, оба без ноги, повезли на аэродром, одели в ватные конверты и подвесили носилки под самолет. Кукурузник сел в поле, подъехала санитарная машина, санитар раскрыл конверты: «Ты что?». — «А у меня уже два конверта пропали. В чем повезу следующих?». — Зима, холод, они полуголые и в машине ни матраца, ни одеяла. В госпиталь привезли синими… Выбежали сестры, окружили, плачут: «Пока солдат нужен… А теперь пусть пропадает!». — Занесли в баню, стали растирать. До Украины

везли в хорошо оборудованных румынских вагонах, тепло, сытно. Там колея другая, перенесли в холодный вагон. Сестра одна, и кушать почти нечего… «У тебя какой ботинок?». — «Правый». — «А у меня левый».

Спаровались, высунули в окно — котелок горячей картошки и бутылка самогона. Ожили.

Моисей Шлеймович.

В Ташкентских госпиталях, где проходили практику, поразило большое количество раненых в левую руку… Высунет из окопа, а снайпер уже ждет.

Арон Эпштейн.

Новый 1942-й год застал в госпитале. Как отметить? Елки нет. В палате лежало четыре человека: капитан с острова Ханко, мичман с Северного флота и летчик Сорокин, повторивший подвиг Алексея Маресьева. Его сбили над территорией противника, раненый он перешел, переполз, линию фронта, отморозил ноги и ему ампутировали обе ступни. Выздоровев, он вернулся в свой полк, сбил несколько самолетов, получил Героя и часы от английской королевы с надписью «лучшему летчику Северного Флота». Сорокин сказал: «Возьми мои костыли, составь и пусть каждый повесит самое дорогое». — И повесил часы английской королевы. Капитан и мичман повесили фотографии жен и детей. У меня ничего не было. Повесил синего бумажного зайца, которого подарила девочка-пионерка на концерте для раненых.

Через сорок лет, на встрече с преподавателями и студентами Одесского медучилища, рассказал об этом и показал зайца. Из зала раздался взволнованный женский голос: «Это мой заяц!» — одна из преподавателей училища и была той девочкой.

Александр Копанев.

В скитаниях по оккупированной территории, набрела на партизанский отряд. Несмотря на то, что не было оружия, приняли.

Уже не была девочкой — исполнилось тринадцать. И хотя все еще была уверена, что дети рождаются от поцелуев, еврейская девушка в тринадцать лет привлекательна даже в рубище.

Прохода не давали. Партизанский отряд — не подразделение Красной Армии, где есть какая-то дисциплина, субординация, можно к кому-то обратиться, пожаловаться. Пошла к командиру отряда. Тот сказал: «Я тебя защитить не могу. Уходи». — Ушла.

Когда Красная Армия освободила городок, пошла посмотреть

— может кто живой остался. Объял ужас. По улицам свободно ходили полицаи! Которые на ее глазах убили родителей, расстреляли сестер, размозжили голову младшей сестричке. Подумала — немцы вернулись.

Немцы не вернулись. Когда война повернула на Победу многие полицаи пришли в партизанские отряды «смыть вину кровью». И их приняли. Рассказала все уполномоченному НКВД. Ни в один дом не пускали, смотрели косо. Ночью пришли, сказали: «Не убили тогда — убьем сейчас. Уходи».

Люся Блехман (Цымринг).

…В школе сидели за одной партой. Оба призывались в тридцать девятом году. Сына «врага народа» отставили, а его взяли. Был танкистом. Из Львова прислал фотографию с зубчатыми краями. Больше писем не было. И надежды тоже. Еврей. Бандеровцы стали действовать в первые часы войны.

После Победы поехал в свой родной город. Витебск был разрушен. Ни спросить, ни сказать. На Марковщине сохранилось несколько бараков. Никого. Все на работе. Возле одного сидит одинокая сгорбленная старушка. Стал подходить. Молодой, здоровый, красивый. Живой. Старушка стала подыматься навстречу и вдруг, воздев руки к небу, закричала: «А Гришеньки-то нету!».

Это была его мать…

Полицай-украинец служит немцам, а у себя дома три с половиной года спасает еврейскую семью. Приходят наши. Полицая на десять лет в Сибирь. За то, что служил немцам или за то, что спасал евреев?..

Украинский мальчишка, начитавшись книг о разведчиках, выслеживает своего одноклассника-еврея и предает его немцам. Немцы расстреливают не только еврейскую семью, но и украинскую, которая укрывала. А как «награду» доносчику заодно расстреливают и его!

В селе Удановo немцы ведут евреев на расстрел. Навстречу идет христианский священник Сылин. Впереди обреченных с гордо поднятой головой идет раввин. Священник не сворачивает в сторону, подходит к раввину, обнимает его:

«Прощай брат!». — «Прощай брат! — отвечает раввин, — встретимся на Страшном суде!».

Немецкий комендант кричит священнику: «Не мешайте нам нести службу!». — Священник по-немецки отвечает: «Вы служите Молоху, а я Богу!».

Этот священник спас еврейскую семью из пяти человек.

Илие Мазоре.

Заместителю председателя колхоза Марку Моисеевичу Эпельбауму поручили эвакуировать в глубь страны молочное стадо племенных коров. Посадил жену и дочь в бричку и своим ходом гнал скот до Саратова. Перегнал благополучно, без потерь. Здесь скот разобрало начальство, а его избрали председателем одного из колхозов. Одним из первых в стране ввел денежную оплату труда колхозников. Они и работали в полную силу.

Колхоз процветал. Собрали деньги на танк. Приехал сын одной из колхозниц, танкист. Ему и вручили боевую машину. После освобождения Киева стал собирать стадо, чтобы вернуть хозяевам в прежний колхоз. Не тут-то было! Не отдают! Понравилось.

Стал шуметь, требовать. Начальство окрысилось. Стали его снимать с работы. Трижды! И трижды колхозники не давали снять — любили и уважали. На четвертый раз все начальство съехалось — сняли. И тут же судить. Разбазаривание средств в больших размерах. Как же, платил деньги за труд! Осудили и отправили в стройбат. С трудом освободился.

Так нет же! Уже после войны приехали в его колхоз, описали дом, мебель…

Поразительно, но слово «Победа» на войне не существовало. И это несмотря на то, что вера в Победу в армии и народе никогда не ослабевала, даже в самые тяжелые дни. Только поэт мог сказать: «когда мы победим…» Для солдат же это было табу. Солдаты, от рядового до генерала, всегда говорили: «когда уже кончится эта проклятая война…»

Позвонили из штаба: «Посылаем тебе пополнение». — Вечером по горизонту видно далеко — километрах в двух показалось несколько человек, идут цепочкой, друг за другом. Один сильно припадает на ногу. В госпитале не долечили? Пришли: «Ты что, ранен, что ли?». — «Да нет. У меня одна нога с детства на семь сантиметров короче». — «Да как же тебя взяли?». — «Да так вот и взяли. С самой Сибири следую. Куда ни приду — «Как же тебя взяли?» И отправляют дальше — «Там разберутся». Так вот и пришел».

А куда дальше? Дальше некуда. Передовая.

Как встречали в Праге — не описать. Такого ликования больше не было нигде. Забрасывали цветами, лезли на танки, угощали вином, обнимали и целовали, танцевали и пели, приглашали зайти. Через какое-то время увидел документальный фильм, как встречали немцев в 1938 году — один к одному!

В тридцать восьмом и сорок пятом это были разные люди. Но неприятный осадок остался.

Однажды пришел сосед и от имени хозяина, не знавшего русского языка, сказал отцу, чтобы одну из трех девочек отдали ему в жены (пять его жен жили во дворе в кибитках), впротивном случае они должны вернуть ему то, что он давал: кое-что из продуктов, сухофрукты, доски на нары. Решили, что это шутка. Но сосед разъяснил, что это серьезно. Все были в ужасе. Отдавать было нечего и нечем. Побежали к председателю колхоза. Тот сказал: «Вам нужно перебраться в другой колхоз». — Дал арбу. Больше ничем помочь не мог.

Маша Минстер.

Хозяйка, у которой жили, была клятая ведьма. Подпирала дверь комнаты большим камнем, чтобы они не могли выйти, и все, в том числе слепая мать, прыгали в окно. Ее муж, доброй души человек, когда жены не было дома, потихоньку отодвигал камень и просовывал в дверь то лепешку, то несколько картофелин.

Одной нельзя было выйти из дома — армянские подростки тринадцати-четырнадцати лет накидывались и насиловали эвакуированных женщин…

И жаловаться было некому.

Ида Черепанова.

В гетто дети начинали говорить рано. Маленький мальчик — год и семь месяцев, подошел к сестре своей матери: «Тетенька! Возьми меня в свой животик. Я просил маму, но она не может. Ты еще молоденькая. Спрячь меня в своем животике. Я очень боюсь немцев».

Фаина Авскерова.

Трогается воинский эшелон. Вдоль состава бежит женщина с тяжелым мешком за плечами:

— Ребята! Подвезите! Я еще не старая!..

Борис Галанов.

На следующий день после расстрела евреев в Одессе женщин послали закапывать трупы. Среди них была интеллигентная и добрая учительница-украинка Ульяна Байбузенко. В ногах одной из расстрелянных она нашла чудом уцелевшего двухлетнего мальчика! Рискуя жизнью, она спрятала его под свою широкую юбку и вынесла с этого страшного места. Мальчик знал только, что его зовут Толик. Ни имени, ни фамилии родителей вспомнить не мог. Все понимал. Когда во время обыска его спрятали в подвале и накрыли бочкой, а кругом бегали крысы — не подал

голоса. Она его спасла.

Александр Копанев.

В Бобруйске, на улице Толстого 12, жила юная девушка Цирлина. В семнадцатилетнюю красавицу влюбился немецкий солдат и долго ее прятал. Обещал после войны жениться и так бы, наверное, и сделал.

В соседнем доме жила сестра городского главы. Однажды он приехал к сестре и случайно увидел еврейскую девушку: «Как! Ты еще жива?!» — вызвал полицаев и ее расстреляли.

Возле немецких коттеджей стояли дети, а порой и взрослые, главным образом женщины, и держали в руках часы: «Нате! Берите! Только не трогайте нас, не рушьте ничего!..»

Теперь стыдно. И за нас. И за них.

Командир минометной роты 628 полка — старший лейтенант Кватов — со своим ординарцем зашли в немецкий дом. Хозяйская собака встретила их грозным лаем. Решили ее застрелить. Хозяева, пожилая пара, попросили этого не делать.

Собаку пощадили.

Застрелили хозяев…

Евгений Зеликман.

Летом сорок четвертого года боевики польской Армии Крайовой вырезали в городе Минск-Мазовецкий наш госпиталь, убив 200 (двести!) раненых и весь персонал.

Батальон лежал на болоте. Кругом топь, окопов нет, в землянке комбата вода по колено. Из еды только черные сухари и селедочные головы. Курева не было даже у командиров.

Борис Рапопорт.

В Берлине, на Унтерденлинден, английский офицер бил перчаткой по лицу пожилого немца за то, что он шел по тротуару, а не по мостовой. Такой порядок был установлен немцами для евреев на оккупированной территории, а, возможно, и на всей занятой ими Европе. Едва ли Союзное Командование и комендатура Берлина давали такой приказ. Скорей всего дискриминация возникла спонтанно, по аналогии.

Все еще было слишком свежо.

Евгений Зеликман.

Примечание: фамилии под некоторыми фактами и событиями — имена ветеранов войны, участников и свидетелей этих событий, о которых автор писал в книгах «Исповеди ришонского парка», «Это наша судьба»

и «Последние участники».

Дорога

Старшина подвел к небольшому странному холму, который при ближайшем рассмотрении оказался грудой ботинок. Обувь была новая — в смысле неношеная, непривычного желто-коричневого цвета, связанная попарно за шнурки. На внушительной подошве, прочность которой не вызывала сомнений, поблескивали ровные ряды крупных выпуклых шляпок металлических гвоздей. Не без основания сомневаясь, понадобятся ли они мне осенью, а тем более зимой — до этого еще дожить надо — по неопытности выбрал ботинки «по ноге», с недоумением глядя на Старых Солдат, выбиравших размером побольше, На внутренней стороне ботинок красовалась

загадочная нерусская надпись «серия АД, № 7,5». Это был первый импорт в моей жизни.

Удивительно, но ни к осени, ни к зиме я не был убит и даже ранен. Зато мое легкомыслие было наказано. Днем ботинки хорошо намокали, а ночью смерзались и превращались в «испанские сапоги» — изощренное орудие пыток испанской инквизиции. Пытка продолжалась, пока не началось наступление и не появились трофейные сапоги.

К ботинкам выдали по паре добротных, цвета хаки, обмоток, сразу же по меткому солдатскому определению получивших название «трансформаторы» или «разговоры». Возни с ними было немало, в походе нет-нет да и слышалось: «Разрешите выйти из строя! Обмотка размоталась!».

Я так натренировался, что «трансформаторы» как бы сами заматывались вокруг ноги, оставалось только заправить концы. Обувь была английская, сделанная на века и, по моему глубокому убеждению, довольно давно. Ботинки полностью утратили какую бы то ни было эластичность и совершенно не гнулись ни в каком направлении. Подозреваю, что они были изготовлены еще во времена англо-бурской войны, долго лежали без движения в армейских цейхгаузах, и вот союзники, обрадованные возможностью от них избавиться, с удовольствием сбагрили их нам: на тебе, боже, что нам не гоже. Вместо второго фронта.

Для пехоты самая плохая дорога — прямая. Глянешь: без конца и без края пролегла, устремилась к горизонту ровная лента шоссе. Господи! Это ж сколько еще пройти надо!..

А на извилистой дороге — то холм, то перелесок, то овраг, а то и просто поворот. И хоть знаешь, что сегодня предстоит пройти все те же сорок километров, глаз непроизвольно намечает кажущийся финиш. Идешь и думаешь: там, за холмом…

За холмом все та же дорога…

На пехотном солдате всего навешано, как на том ишаке. Иного, кто ростом не вышел, из-за снаряжения и не видать. И скатка, и вещмешок, и противогаз, будь он неладен, и каска, и саперная лопатка, и фляга, и котелок, еще и сумка полевая или планшет. В противогазную сумку, бывает, еще и противотанковую гранату пристраиваешь. Два подсумка с патронами, диск или автоматный рожок — само собой. И все это не считая оружия: винтовки или автомата.

Пот льет ручьями. Банальную эту фразу следует понимать буквально. Пот застилает глаза солеными слезами, стекает за воротник, плечи становятся темными, в ботинках — хоть ложки мой. Вода не каждый раз попадается в пути, не всегда солдату удается постираться. На просушенных солнцем гимнастерках

проступают белесые пятна соли. Снимешь — можно поставить. Стоит коробом.

Что такое пыль фронтовых дорог сейчас представить довольно сложно. Почти до конца войны пехота передвигалась пешим порядком по грунтовым, как правило, дорогам, истертым в пыль, казалось, до центра земли. Ноги утопали так, что ботинок не было видно, а обмотки превращались в сплошные серые сапоги, на которых кольца уже не обозначались.

По команде «Привал вправо!» солдаты валятся в пыль, некоторые, даже не положив под голову вещмешка, устраиваются в кювете, чтобы ноги были повыше и отлила немного кровь. Кое-кто приспосабливается ложиться «валетом» — навстречу друг другу и, чтобы голова не утонула в пыли, кладут ее на бедро товарища.

Обгоняя пешие колонны, проезжают автомашины, артиллерия, танки. Подымают такую тучу пыли, что дышать нечем. Пыль хрустит на зубах, проникает повсюду. Белеют только зубы и белки глаз. Закроешь веки — с ресниц слетает пласт пыли.

Запах полыни… Он так прочно въелся, что и через десятилетия, кажется, ощущаешь его, будто и сейчас вокруг тебя ее непритязательные кустики. Полынью отдавало все: еда, которую привозили на передовую, земля, обмундирование, даже оружие пахло полынью. Казалось, от ее запаха не избавиться никогда.

Странное дело. Теперь, когда восстанавливаешь в себе этот запах, он не раздражает, а кажется далеким и милым воспоминанием.

«Я помню запах скошенной полыни» — даже песня такая есть.

Не раз приходилось слышать и читать: «Пить хочу!», «Пить хочу, умираю». Всегда казалось, ну что такого: хочешь — перехочешь, потерпишь — не умрешь. А пить хочется. Так мучительно хочется пить, что ложишься на землю, достаешь из-за обмотки ложку и из ямки, вдавленной копытом коня в подтаявшей весенней земле, вычерпываешь и с наслаждением пьешь мутную талую воду.

На Сиваше, ближе к концу войны, ночью усталые солдаты то и дело наклоняются к воде. Слова уже не помогают — стреляем над головами из пистолетов. Сивашскую воду пить нельзя. Напьется — завтра он уже не солдат — животом будет маяться, а воевать надо, каждый солдат дорог.

На фронте не болеют. А градусник вообще остался, как воспоминание о далеком мирном детстве. Командиру не скажешь: «Я больной». На передовой и слова такого нет. Он на тебя так посмотрит — сразу выздоровеешь. Так и ходишь, пока само не

пройдет.

В распутицу молодые солдаты идут зигзагами, от обочины к обочине, выбирая места посуше. Густая глина пудами налипает на сапоги и быстро устаешь. Старые Солдаты шлепают прямо по лужам — жидкая грязь стекает, сваливается с сапог и идти легче.

Тяжело идти по сыпучему песку или рыхлому снегу: нет опоры под ногами. Даже кони идут по песку и по снегу с трудом, в пене, натужно вытягивая пушки и брички. Сам еле бредешь, а на подъемах приходится еще и подталкивать. Тут уж не подсядешь на лафет.

В степи никаких ориентиров. По ночам вспыхивает разноцветными огнями передовая, а в хорошо замаскированном расположении ни лучика не пробивается из-под плащ-палаток над входами в землянки. Сбился — к своим дорогу не найдешь. Вызвало ночью начальство — держись за провод, потерял — до утра проблуждаешь, еще и в какой-нибудь заброшенный окоп свалишься, да и днем не намного лучше — все кругом одинаково, только что не так боязно, что к немцам уйдешь. Надорвешься кричать пока кто-нибудь отзовется.

В освобожденных селах встречать нас было нечем, нечем угощать. Женщины угощали семечками. Немцы презрительно называли их «русский шоколад». А мы ничего, щелкали. Помогало скоротать дорогу. Я щелкал не очень умело, не было сноровки. У меня семечки превратились в своеобразный спидометр: шинельный карман отщелкал — десять километров. Хоть и не меряй.

В деревнях нередко посмеивались: «Гляди! Дяденьки военные на машине остановились, карту смотрят, сейчас дорогу спрашивать будут». Карты были устаревшие. «Гладко было на бумаге, да забыли про овраги».

Впрочем, может, и не сбились с пути. Может, просто поступил новый приказ и изменилась задача. Нам не говорят.

Хуже нет, когда колонна вдруг разворачивается на сто восемьдесят градусов и начинает движение в обратном направлении. Перед этим долго стоим, молчим, потом подымается тихий ропот. Хорошо, если лето. А если распутица или вовсе зима? Сесть нельзя, а ноги гудят и зубы пощелкивают. Подойдешь к товарищу: «Скажи «тпру!». — «Т-ю-у-у» — губы не шевелятся, замерз солдат.

Если дождь — тоже не лучше: мокнешь медленно, методично, промокаешь до самой последней нитки и ходишь потом дня два-три, если не всю неделю, смотря по погоде, сырой и противный. Посмотришь на ребят — пар идет от шинелей.

А еще бывает марш-бросок. Как-то за сутки предстояло

пройти восемьдесят километров. Стояла поздняя южная осень, днем подтаяло, а ночью на дорогу лег гололед. Кони стали. Еще не перекованные на зимнюю ковку, они стояли на дрожащих, разъезжающихся ногах и не трогались с места. А идти надо.

Каждому дается по четыре 82-х миллиметровые мины. С покосившихся придорожных столбов сдергиваем обрывки проводов, связываем за стабилизаторы и вешаем на шею. Идем тесно, поддерживаем друг друга под руки. С миной падать не рекомендуется. Особенно второй раз… При ударе она могла стать на боевой взвод.

На больших переходах солдаты старших возрастов отстают, некоторые занемогают. Колонна растягивается. Одного ободришь, другому руку подашь, а этот совсем плохой. Его сейчас стреляй — спасибо скажет… Беру у него винтовку. Хоть и свой автомат все плечи отмотал, его и на одно плечо, и на другое, и на шею, и в руке понесешь, и куда бы только его не забросил, если бы… Если бы не война.

А солдат этот и на привале за своей винтовкой не идет…

Опять по цепи передают: «Комсорг батальона в хвост колонны!» — Не было печали. А идти надо. У командиров свой личный состав, а у меня нет, вот и приходится помогать, а ведь и сам еле ноги таскаешь.

Старые Солдаты ухитряются спать на ходу. Пристроив голову на левое плечо, на скатку, идут, закрыв глаза, и спят. Смотришь: ушел в сторону — крепко, значит уснул, второй сон видит. Берешь его за плечо и ставишь на место в строй. Он не просыпается.

С каким нетерпением ждешь привала на ночлег!

Со многими боевыми товарищами довелось спать под одной шинелью. Иных уж нет, а те далече… Нет братства сильнее фронтового. Шинель одно из проявлений его. С близким товарищем под одной шинелью и теплее и спокойнее.

Вообще-то на двоих — две шинели. Это просто так говорится — под одной шинелью. Под голову, как правило, идут вещмешки и варежки, на землю расстилаются плащ-палатки, а уж укрываются — шинелями. Та, что поновее — на плечи и на грудь идет, а та, что попотрепанней — на ноги. Оба ложимся на один бок. Если есть благословенная возможность разуться — то ноги укладываем в плечи нижней, более потрепанной шинели: одна пара ног в одно плечо, другая — в другое. Верхнюю шинель, поновее, натягиваем на грудь и на плечи: плечо одного — в правом плече шинели, плечо другого — в левом. Получается что-то вроде спального мешка: тепло и уютно. Если уж очень холодно — верхняя шинель натягивается на головы — одна голова в

одном плече, другая — в другом. А когда один бок занемеет, а другой замерзнет — поворачиваемся оба, сразу, как по команде, и чуткий солдатский сон продолжается.

В ночь с 6 на 7 ноября 1942 года наша дивизия совершила марш-бросок из-под Сталинграда на Дон.

Под Сталинградом я сделал «головокружительную» карьеру, стал сержантом, командиром отделения, из одиннадцати человек которого осталось четверо…

Мела пурга, дул пронизывающий ветер, превративший несильный, в общем-то, мороз в настоящее бедствие. В темноте, скользя и падая, проклиная все и вся, с трудом различая в слепящем, колючем снегу спину идущего впереди, колонна стала растягиваться. Вскоре шли уже наугад, полузамерзшие, круто наклонясь вперед, на ветер, пробивая головой белесую тьму, лишь изредка распрямляясь и тараща глаза в поисках маячивших впереди бестелесных фигур, чтобы не сбиться с пути.

У меня был товарищ, на несколько лет старше, до войны работавший в Сибири на золотых приисках. В этом было что-то загадочно-романтическое. Я смотрел на него снизу вверх. Мне казалось, что золотоискатели — люди из старого, досоветского мира, в нашей жизни ни им, ни добываемому ими «презренному» металлу не может быть места. Тем не менее рассказы его слушал с интересом и поражался, как много в них напоминает Мамина-Сибиряка и Джека Лондона, о которых он сам смутно слышал.

Он никогда не бывал в театрах, не увлекался чтением, зато он прекрасно умел слушать. Нашим долгим беседам способствовало то обстоятельство, что мы оба почти одновременно стали сержантами, командирами отделений одного взвода и в долгих пехотных походах сотни километров прошагали рядом.

Особенно нравились ему рассказы о Москве, в которой он никогда не был, о столичном метро, которым в те годы гордилась страна, о театрах. Иногда я пересказывал ему содержание целых книг.

И в этот раз мы, как всегда, шли, стараясь держаться друг друга. Но вскоре колонна растянулась, стала таять в мареве тумана. Товарищ, более крепкий и выносливый, постепенно уходил вперед. Его широкая спина еще некоторое время служила ориентиром, но вот растаяла и она… Не было сил крикнуть вдогонку, встречный ветер вбивал голос в горло и, казалось, можно было подавиться собственным криком. Зато в небе — никого. Тихо. Нас не бомбят и не обстреливают.

Холодно. И есть хочется. Неподалеку забрезжил огонек хутора. На деревянных ногах вхожу в избу, прошу разрешения погреться. Изба жарко натоплена, стою у порога, оттаиваю. За

столом два интенданта и краснощекая веселая хозяйка — муж у нее, видно, на другом фронте воюет — пьют и едят. Видят, сукины дети, солдат у порога стоит, посинел весь, руки-ноги не гнутся, ему бы не водки или самогона — кружку кипятка без заварки, да сухарика. Так нет! Постоял, отогрелся немного, помянул в сердцах их родителей до девятого колена и пошел своей солдатской дорогой.

Стал вырисовываться силуэт какого-то строения. Дом у дороги. Ни окон, ни дверей, пол частично, видимо, на топку, сорван, а крыша еще цела. Температура, как на улице, но так не дует. В доме пока никого, но постепенно народ набивается. Пришедшие первыми ложатся на пол, последние — друг на друга. Как в сказке: дом без окон, без дверей, полна горница людей. Кому надо выйти по нужде — в темноте ступают прямо по спящим. Но солдаты не просыпаются — только бормотнут спросонья что-то неразборчивое.

Донские степи — не Белоруссия и Украина, не Смоленщина. Там шаг шагнешь — деревня. А тут топаешь-топаешь, а села все не видать. Пехотная судьба известна: пока на своих двоих доберешься до населенного пункта — там уже штабы, артиллерия-кавалерия и другие части, имеющие транспорт. К какой избе не сунешься: «Стой!». — И для убедительности клацают затвором. Хуже всего солдатам из Средней Азии: приставили винтовки к плетню, сели, руки в рукава и дремлют. Замерзнут! Силой подымаем и заставляем бегать, чтобы разогрелись.

Солдат из среднеазиатских республик на фронте обобщенно называли узбеками. Воевали они плохо. И тому были причины. Не надо забывать, что к началу Великой Отечественной войны Советской власти не исполнилось еще и четверти века, а в некоторых из этих республик и того меньше. Эти молодые ребята не понимали — почему и за что они должны погибать за тысячи километров от родных мест. Известны случаи, когда в Ташкенте узбекские матери ложились на рельсы, пытаясь воспрепятствовать отправке своих сыновей на фронт, и комендантский взвод их растаскивал. Уже тогда можно было услышать крики мальчишек: «Узбекистан для узбеков!» (Взрослые воздерживались — не то было время). Из-за плохого знания, а порой и незнания русского языка это пополнение старались направлять в строительные части, но все равно значительная масса попадала в боевые подразделения. Командиры батальонов и рот на полном серьезе говорили: «Меняю десять узбеков на одного русского солдата». -И это не было издевкой. Комбату нужно выполнять задачу. Ему не до шуток.

Снимаем плетни, скрытно тащим к берегу и в воду. Намораживаем переправу Рукавицы — за пазуху Уплывут — старшина новых не даст. Да и помогают мало, набухают и примерзают к плетню, пусть лучше руки примерзают, по крайней мере не потеряются. Поочередно отрывая пристывшие пальцы, оставляя на прутьях клочья кожи, держим плетень, чтобы не развернуло и не отнесло течением. Ждем, пока схватится ледком. На плетнях быстро нарастает «сало», ноябрь как-никак.

19 ноября, — теперь это День артиллерии, — 1942 года форсируем Дон в районе хутора Мело-Клетский. Рано утром после мощной артподготовки бежим по этой самой намороженной переправе. Черными глазницами на белом льду реки поблескивают свежие полыньи от снарядов и мин. Закручиваясь в воронки, несется в них темная, холодная вода, только что принявшая в свое безмолвие многих наших товарищей. Покрытые льдом и слегка припорошенные снегом плетни «зыбаются» под ногами. Всхрапывают и пятятся от них лошади.

Но люди — не кони! Вперед!

Началось окружение Сталинградской группировки немцев.

Любимая женщина

Суламифь Федоровская на своем юбилее в театре

В середине тридцатых годов, после убийства Кирова, началась и стала быстро разрастаться волна арестов. Ее апогеем стал тридцать седьмой год, впоследствии этим годом стала именоваться вся эпоха репрессий. В ноябре тридцать седьмого был арестован и вскоре расстрелян мой отец, скромный совслужащий, бывший эсер.

В 1937 году в Витебск приехала семья Чайковских. Глава семьи преподавал в Академии связи и имел звание комбрига. Он был беспартийным, и в разгар репрессий это его спасло. Ограничились понижением в звании — вместо генерал-майора

присвоили полковника, заменив в петлицах ромб на четыре шпалы, и послали начальником военной кафедры Витебского ветеринарного института — одного из старейших в России. Институт располагался в очень красивом, не совсем обычной архитектуры, красно-кирпичном здании, несколько на отшибе из-за необходимости иметь подсобные помещения для животных.

Сейчас уже трудно себе представить, какое значение имели ветеринарные врачи в Красной Армии. Не говоря уже о многочисленных кавалерийских дивизиях и корпусах, большая часть артиллерии была на конной тяге, тем более многокилометровые обозы. Ветврач имел права командира полка и наравне с ним мог наложить арест на нерадивого конника. Да и сельское хозяйство оставалось на лошадях.

По старой памяти в ветинституте училось довольно много евреев. Эта традиция восходила еще к царским временам, когда еврей, не вошедший в пятипроцентную норму при поступлении в мединститут, поступал в ветеринарный, откуда со второго курса можно было перевестись в медицинский.

Чайковские были приветливыми людьми. Они получили квартиру с печным отоплением, что было тогда не редкостью, и Виктора Вячеславовича и Лидию Капитоновну можно было застать во дворе, когда они большой двуручной пилой пилили на козлах дрова. От нашей великодушной помощи они неизменно отказывались. Полковник Чайковский был, что называется, военная косточка. В это трудно поверить — он был единственным человеком, который обрадовался войне! Его сразу назначили командиром полка, который он же и формировал. К концу войны он был начальником отдела боевой подготовки фронта, но так и остался полковником из-за своей беспартийности.

В семье было три дочери: Тереза, Изабелла и очаровательная шестилетняя девчушка Элеонора, соответственно Теза, Иза, и Эля. Чайковские и Федоровские были многолетними близкими друзьями, отцы вместе работали и жили в академии связи и, неизвестно кто на кого повлиял и повлиял ли, но дочерей Федоровских звали Суламифь и Жозефина!

Слух о приезде Чайковских, у которых старшая дочь наша сверстница, мгновенно распространился по городу. Тереза была миловидной девушкой, нельзя сказать такой уж красавицей, среди наших одноклассниц были и красивее. Но она была москвичкой, а мы провинциалы. Ее звучная фамилия завораживала. И ее звали Тереза — чего же больше! Не удивительно, что мы все бросились за ней ухаживать.

Неожиданно я имел успех. Но тогда я об этом не знал.

Здесь надо остановиться.

За прошедшие шестьдесят лет все настолько изменилось, что это надо объяснить. «Успех» вовсе не означал физической близости, с которой он отождествляется теперь. До сексуальной революции было далеко, о таблетках никто не подозревал, слово «люблю» еще чего-то стоило и не произносилось всуе. Поцелуй в щечку был счастьем. Возможно, все убыстряющийся темп жизни провоцирует «ускоренную любовь». Я не сторонник по всякому поводу произносить: «Вот в наше время…». Но что-то и утрачено. Утрачено возвышенное, романтическое отношение к женщине, как к чему-то прекрасному, чтобы притронуться к ней надо, образно говоря, «вымыть руки».

Через много лет, встретившись семьями в Москве, она сказала: «Первая любовь!». — Я и не подозревал об этом. Она переписывалась с каким-то полярником — тогда это был уровень первых космонавтов.

Перед Новым 1940 годом мы повздорили из-за какого-то пустяка и некоторое время не встречались. 31 декабря ночью принесли телеграмму. Когда раздался стук в дверь, мама страшно испугалась: подумала, что пришли за ней — после ареста отца это было бы не удивительно, телеграмма была от Терезы, она поздравляла с Новым Годом. Это был знак примирения. (В те годы поздравительных открыток в СССР не было и надо было отстоять длинную очередь на почте, чтобы послать новогодние телеграммы).

На зимние каникулы из Москвы к ней приехала ее самая близкая школьная подруга, тогда уже студентка музыкального техникума (впоследствии училища) им. Гнесиных — Мифа. Стрелка жизненного пути сухо щелкнула и перевела судьбу на другое направление. В Витебске стояли сильные морозы, трамваи не ходили и с вокзала они шли пешком через весь город. Она это часто вспоминала. В отличие от Терезы она была брюнеткой, звали ее не менее красивым и редким именем Суламифь, в просторечье Мифа, и она носила не менее звучную фамилию Федоровская. Симпатия возникла сразу. Импонировало и то, что она из Москвы, и то, что она пианистка. Это был далекий, неизвестный и заманчивый мир, совершенно мне незнакомый. А кто же не хорош в восемнадцать лет! Мы стали переписываться.

В августе сорокового года я приехал в Москву. У Белорусского вокзала змеилась быстротекущая очередь к газетному киоску Получив «Известия» я развернул газету и в правом верхнем углу в глаза бросился заголовок «Смерть международного шпиона» — был убит Троцкий…

Отец Мифы, учитель математики, был директором одной из

крупных московских школ, которую он же и строил, и по прошедшей вскоре гимназической моде жил в директорской квартире при школе. После войны, когда началась борьба с космополитами, его вызвали в Калининское РайОНО и сказали, что еврей не может быть директором русской школы. И им пришлось перебраться в барак…

Я спал на крышке пианино. Тогда я мог спать где угодно. Пианино произвело на меня сильное впечатление. Оно свидетельствовало об интеллигентности и состоятельности семьи. Лишь после войны я узнал, что оно было из Музпроката. А мы купили пианино уже в гарнизоне у одного офицера, который просто отобрал его у немцев…

Началась война. В последний день удалось выбраться из Витебска, родные эвакуировались за несколько дней до этого, и пешком, в лаптях, добраться до Москвы 22-го июля. Этот день запомнился и первой бомбежкой столицы.

Школа, в которой жили и работали Федоровские, находилась на шоссе Энтузиастов и когда в середине октября в Москве началась паника и огромный, нескончаемый поток беженцев устремился по этому шоссе на восток — это произвело на них удручающее впечатление, и они эвакуировались вместе с Прожекторным заводом, который шефствовал над школой, в Йошкар-Олу.

Всю войну мы переписывались. Писем собралась целая пачка, все они хранились в кармане гимнастерки, и когда осколок ударил по карману, ее письма защитили от более серьезного ранения.

Первый раз мы встретились сразу после войны в Риге, куда она приезжала к дяде. Первая близость выявила нашу обоюдную неопытность…

До войны за Мифой ухаживал молодой человек несколько старше, которого, почему-то, звали Леля, хотя он был Леонид. Это была одна компания. В войну он командовал саперным батальоном, вызвал к себе на фронт Терезу и женился на ней. Так произошла своеобразная рокировка. В течение многих лет, приезжая в отпуск в Москву, мы встречались семьями. Их сын приезжал к нам в Душанбе.

Вернувшись из эвакуации, Мифа закончила техникум и поступила в достроенный Молотовым к концу войны институт им. Гнесиных. Вообще, Молотов покровительствовал Гнесиным, хотя о его музыкальных привязанностях ничего неизвестно. Во всяком случае, когда к нему обратилась племянница по поводу увековечения памяти ее отца композитора Скрябина, родного брата Председателя Совмина — Молотов не отреагировал. (Это не

знаменитый композитор Александр Николаевич, а посредственный музыкант, писавший под псевдонимом Николай Нолинский).

В 1950 году Мифа закончила институт. Она еще застала Елену Фабиановну жившую при институте, ее диплом подписан самой Гнесиной и известным пианистом Яковом Флиером. До техникума она окончила школу Гнесиных (еще не имени). (В 1895 году крещеные евреи Гнесины, кажется, даже получившие дворянство, открыли в Москве, на Собачьей площадке музыкальную школу для «одаренных детей» и содержали ее за свой счет). Мифа стала одной из немногих, окончивших все три гнесинских учебных заведения — чистокровная гнесинка, как я с гордостью о ней говорил.

В середине девяностых годов в Израиль приехал известный концертмейстер Евгений Шендерович. Он дал несколько концертов для «широких масс трудящихся». И Мифа, и Ирочка в одно слово сказали: «он играл неряшливо». В Союзе он не был признан, как крупный пианист, а тем более композитор, здесь он играл и собственные вещи… «Ему повезло, — сказала Мифа, — он работал с профессионалами высокого класса — одна Елена Образцова чего стоит — попробовал бы он работать с моими певцами, некоторые из которых имели начальное музыкальное образование, а один из солистов вообще не знал нот…»

Она была небольшого роста, стройная, даже худенькая и когда я привез ее в гарнизон мама сказала: «ми дав жи зухн ин бет» (ее надо искать в кровати). Она и в пожилом возрасте сохранила фигуру, лишь перешла с 44 размера одежды на 48 и обуви с 34-го на 35-й. Не отяжелела. До конца жизни весила 65 килограммов, никаких диет не соблюдала, любила поесть. Из тридцати двух зубов — тридцать один были ее собственные, чему я тихо завидовал, ей шла легкая седина и она оставалась привлекательной женщиной. Моя мама не знала слова «шарм», да оно и не было тогда в ходу. Она говорила: в каждой женщине должна быть блядинка. Это шокирующее на первый взгляд выражение на самом деле означает чисто женскую привлекательность. И она у нее была.

Я работал в Доме Офицеров, а для нее в жилом городке открыли что-то вроде небольшой музыкальной школы. Городок находился по другую сторону аэродрома и с переходом на реактивную авиацию ходить через летное поле стало небезопасно, да и запрещено, Нужно было обойти вокруг аэродрома четыре километра в одну сторону. Под нашей дверью лежал устрашающего вида совершенно безобидный пес по кличке «лохматый». Кто не знал — боялись к нам заходить. Когда Мифа

шла на занятия, он сопровождал ее до места, ложился у дверей, терпеливо ждал и так же преданно провожал ее домой. Она часто об этом вспоминала.

После института Мифа приехала уже с сыном. Юрику было четыре года, это был совершенно очаровательный мальчик с курчавой головой, в перешитом из моего военного обмундирования военном костюмчике и когда он с саблей на боку и букетом цветов в руках шел по Москве — прохожие расступались. По вечерам мы уходили в Дом Офицеров, он оставался с бабушкой, читать он еще не умел, но зрительно помнил все сказки и выбирал самую длинную… Возвращаясь, мы заставали маму с «языком на плече», и, чтобы «спасти» ее, я рано научил его читать, и он читал лучше своей первой учительницы.

Маленький Юрик был всеобщим любимцем. Его обожали в полках, где многие старослужащие были призваны еще до войны, все еще считались срочниками и тосковали по семейной жизни. Юрик пропадал в казармах целыми днями, с ними ел и пил. Мы не беспокоились: гарнизон был закрытым, ни выйти, ни войти в него незамеченным было нельзя. Брали они его и в солдатскую баню. Первый раз он вернулся потрясенный и долго молчал. Такого он не ожидал…

На площадке они играли втроем: Юрик, соседская девочка Наденька и жеребенок. Так и бегали друг за другом. На равных.

На всех экранах демонстрировался «Тарзан». Привезли и очередные две серии в гарнизон, но у Юрика была ангина, и пойти мы не могли. Он был в отчаянии. Неожиданно, когда закончился сеанс в Доме Офицеров, киномеханики притащили передвижку к нам домой, установили и стали демонстрировать фильм на стену. Юрик был счастлив.

Была уже ночь, мимо шел патруль, услышал, зашел. И остался.

Это был бывший немецкий гарнизон, где все было предусмотрено, но наладить отопление долго не удавалось, дома ощетинились трубами буржуек, не брезговали и электроприборами. Это было запрещено. При малейшем стуке в дверь плитка пряталась под кровать. Когда в очередной раз раздался стук, Юрик, очень любивший гостей, крикнул: «Подождите! Сейчас бабушка плитку спрячет!». — А это были именно контролеры… Хохотал весь городок.

Но было и не до шуток. Однажды ночью ветер переменился, и весь угар пошел в комнату. Я проснулся среди ночи и понял, что умираю… Мама уже не отвечала. Подняться я уже не мог. Свалившись с кровати, подполз к окну, из последних сил дотянулся до рукоятки, распахнул окно и упал. Счастье, что в

немецких окнах нет шпингалетов — до верхнего я бы не дотянулся… А накануне умер офицер, угоревший — ирония судьбы — над Кратким курсом Истории партии, который он конспектировал…

Случались и веселые вещи. Поскольку была мама — было и кое-какое хозяйство. Напротив жила пара, только начинавшая семейную жизнь. Молодая жена появлялась у нас почти каждое утро с неизменной фразой: «Берта Ароновна! Я к вам с большой просьбой…». — Ей нужны были соль или спички. Юрик настолько к этому привык, что когда она в очередной раз открыла дверь, радостно сказал: «Тетя Ада, вы к нам опять с большой просьбой?».

У Юрика был набор оловянных солдатиков, который начал ему собирать еще дед, души не чаявший в своем первом внуке. Более ста фигурок разных родов войск, не идущих ни в какое сравнение с нынешним пластмассовым ширпотребом, построенные парадом, они выглядели очень красиво. Как-то пользовавший Юрика полковой врач, настоящей фамилии которого никто не знал, и во всем гарнизоне и стар и млад называли его «кирпичики» по аналогии с артистом Филипповым из-за отнюдь не славянского носа, — увидел солдатиков, вспомнил детство и, забыв, зачем пришел, весь вечер с ними играл…

Наступил пятьдесят третий год. Умер Сталин. Пришел Хрущев. Сталин собирался воевать дальше и укреплял армию. Хрущев понимал, что не только воевать, но и содержать такую огромную армию разоренная войной страна не всостоянии и стал ее сокращать, что, вообще говоря, было правильно. Но для многих это была трагедия.

После войны никого из молодых офицеров из армии не отпустили. Хотел демобилизоваться и продолжить учебу и я, подал рапорт, но было отказано. Теперь все были женаты, имели семьи, жили в гарнизонах. Ни образования, ни профессии, ни специальности, ни квартиры. До пенсии мне оставалось полтора года. Были и такие, которых увольняли за несколько месяцев. По армии прокатилась волна самоубийств. Выходное пособие бурно пропивалось, и его стали выдавать помесячно.

За эти годы я сроднился с армией, любил форму — впрочем, ничего другого у меня и не было. Через много лет — теперь не от большого ума, над этим принято смеяться — могу сказать, не боясь показаться сентиментальным: мое сердце осталось под полковым знаменем.

Я был в отчаянии. Против ожидания Мифа отнеслась к этому сравнительно спокойно: «Что ты так расстраиваешься? Я выйду на любом полустанке и буду работать». — Еще не ушло время, когда

было принято учить детей музыке, и из каждого второго окна неслись гаммы.

Мы оба имели право на Москву, но жить было совершенно негде. Дядя сказал: «Подо мной есть подвал, поставь печку и живи». — Но я не решился. И напрасно. Через несколько лет дом снесли, и все получили квартиры. Но кто же знал! В Министерстве культуры сказали: с квартирой только север или юг. Так мы оказались в Сталинабаде.

В те годы это был совершенно русский город — старшее поколение таджиков тяготело к своим кишлакам. В оперном театре, куда Мифу пригласили концертмейстером, шел прекрасный репертуар, был сильный симфонический оркестр, по старой русской традиции некоторые солисты по окончании сезона уезжали в другие театры, к началу следующего приезжали новые. Жизнь кипела. Кстати сказать, Сталинабадский мединститут еще оставался одним из лучших в Союзе — в нем работали эвакуированные из Ленинграда и других городов крупные медики, в их числе профессор Парадоксов, искоренивший в Таджикистане трахому, и другие.

Мы приехали в Душанбе, тогда еще Сталинабад, в конце 1953 года. У нас было письмо к семье ленинградцев, оставшихся после эвакуации. Глава семьи — доктор философии, профессор Семен Борисович Морочник и его жена, кандидат наук, член Союза писателей СССР — Мира Марковна Явич, «держали» салон, где собирались интересные люди. Хозяин квартиры знал множество стихов и часто их читал. Еще будучи подростком, я увлекался Маяковским, хорошо его знал, многие стихи помнил долгие годы. Семен Борисович, не называя автора, прочел несколько строк и вопросительно посмотрел на меня. «Флейта-позвоночник» — безошибочно сказал я. И меня зауважали.

Пока строился дом, театр снимал нам квартиру. Комната не отапливалась, обогревались трехфитильной керосинкой. Как-то, после уборки, заметили, что по комнате летает черный снег: керосинка стала коптить… Приходившие к нам солисты удивлялись: Как у вас уютно. — «Уют» создавался тремя уложенными друг на друга и накрытыми салфеткой картонными рижскими чемоданами с металлическими уголками, стоимостью по 27 рублей до первой реформы, на которых стоял очень красивый чайный сервиз, купленный проездом в Москве, почему-то вскоре нам надоевший и проданный.

Родилась Ирочка. Поначалу, как говорили старухи, она была «перевернутая» — спала только днем. Мифа перешла на полставки. Зато потом Ирочка была на редкость спокойным ребенком и не требовала к себе большого внимания. «Дитя не

плачет — мать не разумеет». Дошло до того, что директор школы, ее же учительница и наша большая приятельница сказала: «Ваша Ирочка одета хуже всех». — Наши дети никогда и ничего не просили. Никогда. Ничего.

Со школой было не все так просто. Никто не рисковал взятьв ученицы дочку профессионального музыканта, тем более пианиста. Оказалось, что к этому времени в Сталинабаде не было ни одного пианиста с законченным музыкальным образованием. Даже блестящий пианист-вундеркинд, в детстве игравший Троцкому и Луначарскому, Михаил Соломонович Муравин, не закончил консерватории. Ему это, впрочем, было не нужно. Но малышей он не брал.

Взяла Ирочку директор школы Надежда Андреевна Буткевич с условием, что мама не будет вмешиваться. И Мифа не вмешивалась. Обычно преподаватели дают ученикам произведение, которые те и разучивают весь учебный год, чтобы сыграть для родителей, вызывая у детей стойкое отвращение к занятиям. Надежда Андреевна едва ли не каждый урок давала Ирочке новые вещи, не заботясь по началу об их отделке. Ирочка быстро научилась, что называется, «рвать с листа», и занятия ей никогда не надоедали.

Она была гордостью школы. Уже в школе и потом в институте она работала концертмейстером, ее часто приглашали в оперный театр. Она закончила с красным дипломом и сразу стала работать в опере. К концертной деятельности она была совершенно равнодушна, когда зашел об этом разговор, она показала свои руки: они были слишком маленькие для концертанта. — «Я себя помню с трех лет. С трех лет я мечтала быть, как мама» — сказала она. И она стала. Как мама. И лучше мамы. Несмотря на свою гнесинскую закалку, с годами Мифа стала мягче, терпеливее. Ирочка, человек по природе мягкий, снисходительный к человеческим недостаткам, всех понимающий и все прощающий. Но у нее есть один пунктик. Музыка. Это святое. Никаких послаблений. Никому. Даже самым близким друзьям. О ее требовательности ходили легенды. Когда Мифа попала в больницу, приходившие ее проведать солисты, говорили: «Суламифь Владимировна! Мы к Ирочке не пойдем, мы будем ждать вас!». -Все дирижеры просили ее играть в оркестре партию арфы.

Пианино стоит перед дирижерским пультом, а позади него, под козырьком, сидит «дерево» и «оно» не всегда в форме… Стоит кому-нибудь из них не то что сфальшивить — это профессионалы — а ошибиться в оттенке, нюансе, Ирочка, продолжая играть, оборачивается назад и выразительно смотрит на провинившегося.

А оттуда ей показывают кулак — дирижер-то ничего не заметил. Ее уважали и любили в театре, хотя из-за ее требовательности в шутку называли «коброй». Любили ее и в балете. Когда ей надоедали солисты, она охотно подымалась в балетный зал — там были ее сверстники.

Профессионалы высокого класса Мифа и Ирочка свободно подменяли друг друга. Когда открылось местное телевидение, они часто там выступали, аккомпанируя своим солистам. Мифа говорила: «Телевидение хорошо тем, что на него невозможно опоздать. Когда бы ты ни пришел — они еще только устанавливают аппаратуру…»

Театр — область чувства. Во все времена в театре происходили любовные истории. Сейчас, если актер или актриса женятся или выходят замуж менее четырех раз, они уже не могут рассчитывать на «звездность».

Мы прожили с Мифой пятьдесят пять лет (она ушла в 2000 году), а знали друг друга шестьдесят один. Можно ли прожить с одним человеком более полувека?

В древнем Риме жены сами выбирали любовниц своим мужьям. И вовсе не для того, чтобы оправдать свой роман на стороне. Они понимали, что это подымет тонус их мужей, и они вернутся к ним более любвеобильными и страстными. С возрастом свежесть чувства притупляется. Ему необходима встряска. Недавно одна звезда в интервью сказала, что не считает изменой мужу, если она с кем-то переспала. Это ошарашивает. Но что-то есть и здесь. Измена — это когда уходят. Невозможно прожить жизнь, зная только своего супруга. И требовать этого нельзя. Но и делать это достоянием» широких масс трудящихся», как это происходит сейчас — цинизм. Конечно, встречаются женщины, не знавшие никого кроме своего супруга и гордящиеся этим. Но за этой гордостью подчас скрывается мучительное сожаление. Однажды я стал нечаянным свидетелем разговора двух пожилых женщин. Одна из них сказала другой: «Единственное, о чем я жалею, что у меня никогда не было любовника…»

Были ли у Мифы увлечения в театре?

Их не могло не быть.

Что бы ни говорили по этому поводу — высшее наслаждение, которым одарила нас природа — чувственная любовь. (Теперь она называется собачьей кличкой «секс»). Ни блестящая карьера, ни творческие свершения не идут ни в какое сравнение — недаром многие жертвуют ими ради любви. Все остальное — вторично.

…Главный режиссер театра — человек интересный внешне и внутренне, прекрасный рассказчик, блестящий мастер своего

дела: когда он репетировал, прибегали все свободные актеры. После дневной репетиции Мифа не могла дождаться вечерней, чтобы снова окунуться в эту атмосферу праздника (чему в немалой степени способствовало и ее участие). Они оба были людьми очень творческими, и взаимная симпатия возникла между ними естественно. Режиссер и концертмейстер работают над клавиром в классе вдвоем…

… Над нами жила семья, где дети были ровесники нашим, и даже звали их одинаково: Юра и Ира. Она была учительницей, он — летчик гражданской авиации, высокий (Мифе всегда нравились высокие мужчины), стройный, моложе нас, в синей форме гражданского летчика он был неотразим. Мы дружили семьями и часто собирались. То у нас внизу, то у них наверху. В понедельник театр не работает, дети и его жена в школе, я на службе. Но и здесь отношения оставались чисто соседскими.

У Ларошфуко есть афоризм: природа, в виде компенсации, пожелала, чтобы юноши влеклись к зрелым женщинам, а старики бегали за девчонками. Молодым человеком я встречался с женщиной старше себя, умной блестяще эрудированной. Однажды она сказала: «Мы женщины, пока нас хотят». Я был розовым романтиком и так обиделся за женщин, что перестал с ней встречаться.

У Мифы женская привлекательность сохранилась до последних дней.

(После развода с Ахматовой Гумилев писал своему другу: «Я не успеваю открыть дверь, как Аня говорит: «Николай! Мы должны выяснить наши отношения». — Выяснили…).

У нас был большой друг, которого мы оба очень любили — человек в высшей степени интеллигентный и деликатный, он симпатизировал Мифе и эта симпатия была взаимной. Он умер накануне защиты своей докторской диссертации. Мне даже казалось, что если бы они стали близки, я был бы рад за них обоих. Мифа вспоминала его всю жизнь.

Был ли я искренен тогда? Теперь?

В последнее десятилетие работы в театре одному из солистов она симпатизировала больше других. Моложе лет на пятнадцать, прекрасный певец, он и внешне обращал на себя внимание. Он вел в театре ее прекрасный юбилейный вечер 70-летия. В Израиле они изредка перезванивались. Он же сказал на поминках теплое, прочувствованное слово. Все были тронуты. Спустя несколько месяцев, в один из печально памятных дней он позвонил. Я сказал:

— Она очень хорошо к тебе относилась и часто вспоминала.

— Мы очень любили друг друга, — ответил он, — но это была платоническая любовь.

Так хочется, чтобы она была счастлива. Пусть в прошлом.

Ну а я? Могу лишь повторить слова Блока: В своей жизни я любил только двух женщин. Одна — моя жена Люба, а другая — все остальные. — (Любовь Дмитриевна Менделеева — дочь знаменитого ученого-химика). По моим «подсчетам» на год жизни мужчины приходится одна женщина. Правда, в театре статистика несколько другая…

Однажды Мифа встретила меня улыбкой: «Звонили из твоего театра: «У вашего мужа есть другая женщина». — Надо знать Мифу: «Знаю. — Хотите знать кто? — Это я!». — И положила трубку.

В другой раз, на гастролях в Новосибирске, позвонила женщина (и как нашла? У нас разные фамилии): «У вашего мужа есть дочь». — Мифа пригласила их обеих. Они не приехали. Мы оба об этом жалели. (В 1945 году я возвращался с Дальнего Востока, куда сопровождал эшелон в «500-веселом» поезде. Ехать надо было долго, соседкой оказалась молодая женщина с очаровательным мальчиком, с которым я все время играл. Неожиданно она сказала: «Хочу от тебя ребенка». — Я был смущен, спросил ее адрес. По этому адресу никто не ответил…)

Большей частью мы работали в разных театрах. Почти каждый год театры уезжали на гастроли. Эти разлуки способствовали тому, что свежесть чувства сохранялась у нас долгие годы. По существу всю жизнь. Возвращаясь она говорила: «Ты у меня лучше всех!». — «Так уж и всех!» — отшучивался я. После гастролей встречались, как молодые влюбленные… Уезжали в отпуск вместе. Никогда не отдыхали врозь, друг без друга. Только вдвоем.

Побывали почти во всех ВТОвских домах: Рузе, Мисхоре, Плесе, Щелыково. Но больше всего, шесть или семь раз, в Комарове Из-за близости к Ленинграду, к его музеям и театрам, к его проспектам и дворцам, к его паркам и набережным, к его каналам и оградам, к его пригородам. Где бы ни отдыхали, заканчивали отпуск в Ленинграде. Там были родственники, друзья. Иных уж нет, а те далече…

На всю жизнь сохранили мы любовь к русской природе. Уезжая в отпуск, мы летели в Москву, а из Москвы в Ленинград ехали дневным поездом, чтобы полюбоваться из окна вагона непередаваемо прекрасными далями, как будто нарисованными рукой гениального художника, по которым мы так соскучились, живя в Таджикистане.

Поневоле вспоминаются слова русского писателя

Н. С. Лескова, одного из ярых противников строительства железной дороги Петербург — Москва, мотивировавшего свой протест тем, что из «быстродвижущегося» поезда невозможно будет любоваться красотами природы.

Впрочем, и Лев Толстой был сдержан: «Раньше мы ездили из Москвы в Петербург две недели (на перекладных), а теперь двое суток (с такой скоростью шли первые поезда — прим. авт.), но стало ли человечество от этого счастливее…»

Не стало. Но остановить прогресс невозможно.

На Московской площади, за спиной памятника Ленину, было построено громадное, помпезное здание, в которое собирались перевести Ленсовет. Над парадными дверями в течение десятилетий красовалась внушительная вывеска: «Ленинградский городской совет депутатов трудящихся».

И никто этого не замечал! Не дозвонившись до Предгорисполкома, я написал письмо и получил дипломатичный ответ: «Указанная вами надпись в настоящее время заменяется». — Это был конец бредовой идеи о переносе центра города.

Уезжать в Израиль мы не собирались. Но когда в Таджикистане начались события, выбора не оставалось — в Израиле уже год жила Ирочка с мужем и дочерью. Приезд стал для Мифы роковым. Она никогда не была на пенсии, вечером еще работала, оставила кому-то бумажку на зарплату, а утром улетела.

«Куда ты меня привез! На кухню и на диван? — говорила она горько, — пошли в ульпан».

Преподавание велось на иврите. А мы и идиша не знали. Через месяц она сказала: «Я не могу больше чувствовать себя дурой. Ходи один». — Один я ходить не мог. Вернувшись, я бы ее не застал…

Ушло все. Театр. Друзья. Музыка. Она проработала в театре почти четыре десятилетия, у нее был лучший класс, лучший рояль, она была членом Худсовета, получила звание Заслуженной артистки, ее ценили и уважали. Когда она приходила, каждый стремился с ней поздороваться, сказать комплимент. В театре она расцветала. За год до отъезда театр отметил ее 70-тилетие. Было торжественно, остроумно и весело. Коронным номером был танец маленьких лебедей, на полном серьезе исполненный четверкой солистов балета под симфонический оркестр. По окончании вечера мы устроили банкет в театральной столовой.

Это был ее звездный час.

И вдруг все рухнуло.

Она не примирилась до конца. Незадолго до ухода сказала: «Хочу в Душанбе». — В театр вернулась ее близкая приятельница, исколесившая перед этим полстраны (и растерявшая все свое имущество). Это на нее подействовало.

Мифа не увяла в обычном смысле слова. В ней не было ничего от пожилой женщины. Она оставалась привлекательной. Но интерес к жизни ушел. Я говорил: «Тебе надо встряхнуться. Заведи легкий флирт, это ни к чему не обязывает», — пытался я ее заинтересовать. — «Кто?» — отвечала она.

Она почти нигде не бывала, у нее не было друзей, никто ей не нравился.

Бальзак как-то сказал: «Здесь, в постели, рождается или умирает истинная любовь». Что рождается — спорно, а что умирает — пожалуй.

Мы сохранили друг к другу нежные чувства до конца. Дорожили каждым часом, когда оставались вдвоем. Наедине друг с другом. Я ложился поздно, она уже спала. Утыкался лицом в ее теплое плечо и вокруг воцарялось спокойствие и уют. Она была легким человеком. Легко и ушла. Ни стона, ни вздоха. Закрыла глаза и отключилась. Мир праху ее.

По вечерам, когда спадала жара, мы любили сидеть возле входа в квартиру. «На золотом крыльце сидели»… Я ее обнимал. Она смущалась: «Люди ходят!»

Вспоминал ее увлечения. Ей было приятно. Никакой ревности не испытывал. Наоборот — гордость за ее женскую судьбу. Было бы обидно уходить из жизни, зная только меня.

Ведь она была для меня самым дорогим человеком!

И она была счастлива!

Я говорил: «Твоя женская судьба удалась. Я рад за тебя. Я тобой горжусь!».

Она улыбнулась: «И я тобой».

Алексей Дикий и его студия

Алексей Дикий

Творческая биография Алексея Денисовича Дикого началась в 1910 году во МХАТе и МХАТе-2, где он работал вместе с другим талантливым актером Михаилом Чеховым. Их творческое кредо не совпадало. Дикий был более земной, реалистичный. М. Чехов склонялся иногда к мистике, богоискательству. Они разошлись и Дикий с четырнадцатью актерами покинули МХАТ-2. Некоторое время он ставил спектакли в различных московских театрах, а в последствии основал свою студию. Одним из лучших спектаклей того времени был у Дикого «Человек с портфелем» по пьесе А. Файко с Марией Бабановой в главной роли — спектакль, прославивший режиссера и исполнительницу. Первоначально студия, в духе времени, называлась театрально-литературной мастерской и находилась на ул. Воровского при Федерации объединений советских писателей — ФОСП.

Дикий мечтал о такой студии, в которой рождалась бы и сама пьеса. Частыми гостями студии были крупные советские писатели: А. Серафимович, В. Инбер, А. Новиков-Прибой, В. Луговский, Н. Огнев, П. Лавут, А. Тихонов (Серебров), И. Уткин.

Но пьеса, которая была бы написана в самой студии, так и не родилась и через год студия покинула Федерацию писателей и перебралась под гостеприимный кров Московского Дома Ученых, которым руководила жена и друг Горького Мария Федоровна Андреева. Человек высокой культуры, она близко к сердцу принимала дела студии, посещала комсомольские собрания.

Как и везде, в студии выходила стенная газета. Ее редактор — Коля Волчков (о нем ниже), попросил Андрееву написать заметку Она написала небольшую рецензию на спектакль «Интермедии» по Сервантесу, ругала его за некоторый налет пошлости и отсутствие современности. Дикий прочел заметку и был взволнован. Но не такой это был человек, чтобы просто возмущаться — он задумался. В Испании на перекрестках дорог стоят статуи всевозможных святых, большей частью деревянные. Дикий «установил» вместо этих идолов живых актеров. Облаченные в хламиды, они стояли в соответствующих позах, как изваяния, но вдруг оживали, участвовали в мизансценах, подавали реплики и снова застывали. Это была счастливая находка, она придала спектаклю социальную остроту, сделала его живым, увлекательным, интересным. Об «Интермедиях» заговорила вся Москва, одобрила спектакль и М. Ф. Андреева.

Студия Дикого стала популярна.

«Жертвой» этой популярности стал Вениамин Яковлевич Ланге, в будущем Народный артист Таджикской ССР, в течение полувека руководивший русским театром имени Маяковского в Сталинабаде-Душанбе. Приехав в Москву, он решил показаться Дикому, был допущен, прочел ему басню Крылова «Кот и повар» и вознамерился прочесть «Мцыри» Лермонтова, но Дикий прервал его: «У вас ужасный акцент. На русской сцене нужно владеть чистой русской речью».

Вернувшись к себе в Замоскворечье, где он жил на кухне у родственников, Ланге стал писать «Записки племянника». Они отличались большим юмором и все, кто их слушал, хохотали до слез.

Через год упорной работы Ланге решил снова показаться Дикому. Встреча была назначена на квартире Алексея Денисовича. Потоптавшись на площадке, Ланге позвонил. Очень волновался. Увидев на более чем скромном пиджаке абитуриента шахматный значок, Дикий спросил: «Вы шахматист?». — «Не шахматист, но играю». — «Так давайте сыграем!».

Народный артист Таджикской ССР В. Я. Ланге

И тут Ланге совершил ошибку, едва не ставшую роковой. Он дважды обыграл Дикого… Мэтр насупился, слушать дальше отказался. Но в студию принял! Это был самый счастливый день в жизни Ланге.

В школе Дикого каждый студиец был индивидуален, не растворялся в коллективе. Дикий любил повторять: «Идеально здоровых, со спортивной выправкой не принимаю. Я их направляю в институт им. Лесгафта. Для сцены нужно дарование актера, его неповторимость».

Дикий все больше привязывался к Ланге: «Ты не мозгляк, ты чувствуешь кожей», — говорил он.

Один из главных заветов Дикого звучал так: «Скупее! Скупее, а потому дороже. Оставить зрителю место для догадки, для улыбки».

В. Я. Ланге был наиболее верным и последовательным учеником Дикого: «Если мне что-нибудь и удалось сделать, то это благодаря творческому наследию, которое я получил от Учителя», — говорил Ланге.

Невозможно прожить большую жизнь гладко. Не была она гладкой и у Дикого. Ему не удалось избежать репрессий и он оказался в тюрьме… Я долго сомневался — писать об этом или нет. О мертвых ведь либо хорошо, либо ничего. Но из песни слова не выкинешь.

В тюрьме Дикий оказался в одной камере с будущим Маршалом Рокоссовским и другими военными. По словам Рокоссовского очень скоро они обнаружили, что их разговоры известны следователям… В своих воспоминаниях он прямо указывает на Дикого. Реагировали они соответственно…

Не спешите записывать Дикого в стукачи. Чтобы судить нужно окунуться в то время. Каждый из арестованных, естественно, считал и знал, что он невиновен и попал случайно. Но другие…

Трагедия…

Выпустил Дикого Сталин, пожелавший увидеть его в своей роли в кино.

Алексей Денисович умер в 1955 году не старым еще человеком, ему было всего шестьдесят пять лет.

Позвонил Менглет: «Если хочешь проститься — приезжай немедленно».

Пришли вдвоем: Ланге и Менглет. Из комнаты Дикого вышел академик Блохин. Жена спросила, что можно больному. Уже от дверей Блохин сказал: «Ему все можно». — От этой фразы они похолодели…

Менглет предупредил Ланге: «Не удивляйся, я начну с анекдотов».

Вошли. Еще недавно крупный, массивный, с лепным лицом и орлиным взглядом, Дикий казался маленьким, усохшим. Когда-то большая и крепкая рука утонула в ладони Ланге. Жена пожаловалась, что он не хочет принимать обезболивающее.

«Я хочу посмотреть, как ЭТО будет», — сказал Дикий.

На траурном митинге на Новодевичьем кладбище от имени студийцев выступил Ланге. Что говорил — не помнил…

После таких грустных воспоминаний надо дать читателю передохнуть и хотя следующий эпизод не связан напрямую с Диким, его участником был его преданный ученик Вениамин Яковлевич Ланге, который в течение нескольких лет был членом Художественного совета Министерства культуры СССР.

На одном из заседаний с докладом выступил начальник Управления театров А. Н. Тарасов. Председательствовал Рубен Симонов, в зале находились Г. Товстоногов, Ю. Завадский, Карел Ирд, С. Бирман и многие другие корифеи театра.

Доклад был долгим и подробным. В прениях хвалили и доклад и докладчика. Но вот слово взял Акимов. Зал насторожился. И Акимов удивил всех — он стал так хвалить доклад, что переплюнул всех! Исчерпав все эпитеты, Акимов сказал: «Все добрые слова у меня кончились и я вправе высказать

сомнение. Мне показалось, что этот доклад я уже слышал лет восемь-десять назад. У меня такое впечатление, что он пролежал в папке все эти годы. Он такой же хороший как и был».

Воцарилось молчание. Затем раздался всеобщий гомерический хохот. Хохотал и председательствующий Симонов, не мог вести заседание. Но Акимов еще не закончил и продолжал: «В докладе все очень правильно раскрыто: и современность, и тема, и идея. Мы выполняем указания руководства и ваши, Андрей Николаевич. И какие рецензии, и какой успех! Только одна маленькая помеха — зритель. Он не хочет смотреть эти спектакли, ему не интересно, он не ходит».

Пауза и буря аплодисментов.

«И вы знаете, если бы не зритель, театр ушел бы далеко вперед», — закончил Акимов.

После заседания Товстоногов сказал: «Я так не умею. Я боюсь».

В 1935 году студия Дикого стала одним из московских театров, а через год А. Д. Дикий был назначен художественным руководителем Ленинградского Большого драматического театра им. Горького, взял с собой театр-студию и влил ее в основную труппу ленинградского коллектива. Искусственное слияние двух творчески разных коллективов не принесло пользы ни тем, ни другим и это особенно остро почувствовали молодые студийцы. И тогда по инициативе П. М. Ершова и Г. П. Менглета, всю жизнь выяснявших кто первым сказал «Э», Комитет по делам искусств направляет студию в столицу Таджикистана. По-видимому, театр был не единственным, в чем нуждалась молодая республика и в таджикское постпредство в Москве поступила телеграмма: «Театр не нужен. На эти деньги купите легковую автомашину». Впрочем, вскоре телеграмма была дезавуирована. И вот они в Сталинабаде. Приютил их Дом Красной Армии, а жили в общих комнатах Дома Дехканина.

Вот имена этих подвижников искусства — чтобы представить меру их подвига, нужно помнить, что все они уехали из Москвы, а потом и из Ленинграда, имея прописку в обеих столицах. Добровольно. Не по распределению. Вот их имена: П. И. Беляев, А. А. Бендер, Л. А. Бергер, В. Н. Бибиков, Я. Ю. Бураковский, М. Г. Волина, Н. Н. Волчков, А. Т. Дегтярь, П. М. Ершов, В. Я. Ланге, Н. А. Лепник, К. А. Лишафаев, Г. П. Менглет, А. В. Миропольская, В. В. Михайлов, В. С. Русланова, И. Я. Савельев, О. П. Солюс, Г. Д. Степанова, А. Г. Ширшов, Я. С. Штейн, О. И. Якунина, СИ. Якушев. Захватили они с собой из Ленинграда и молодую актрису БДТ Е. Д. Чистову. Вот было время! А люди!

Почти все они стали народными и заслуженными артистами

Таджикской ССР, а двое — Николай Николаевич Волчков и Георгий Павлович Менглет — народными артистами Советского Союза.

Сейчас трудно себе представить в каких условиях они работали. Когда на одном из спектаклей погас свет — случай в те годы обычный, зрители ближайших домов принесли керосиновые лампы и спектакль продолжился. Театр любили, билеты спрашивали за квартал. Во время войны театр не отапливался и отогревали его собственным дыханием. Перед спектаклем, пока был закрыт занавес, актеры выходили на сцену, занимали свои места и собственным теплом отогревали их, чтобы не ежиться и не стучать зубами от холода, когда начнется действие.

Г. П. Менглет, М. Г. Волина и А. А. Бендер выехали на фронт. Менглет стал художественным руководителем фронтового театра, имевшего большой успех в действующей армии, об этом он написал в своей книге. По возвращении театра был устроен митинг и на этом митинге было объявлено о присвоении Г. П. Менглету — первому русскому актеру в республике, звания Народного артиста Таджикской ССР.

Ланге посчастливилось сблизиться с Николаем Павловичем Акимовым. (Ленинградский театр комедии был эвакуирован в Сталинабад). Внешне не эффектный, небольшого роста, худенький Акимов обладал яркой, неповторимой индивидуальностью. В художнической среде он занимал одно из ведущих мест. Вместе они поставили спектакль «Фронт» Корнейчука.

Ланге — режиссер, Акимов — художник. Спектакль имел ошеломляющий успех, чему в немалой степени способствовало оформление Акимова. Дружба двух творческих людей продолжалась до конца жизни.

Дикий никогда не приезжал в Сталинабад. Встречаясь в Москве, он неизменно спрашивал: «Ну как там у вас, в Ашхабаде?». — «Сталинабаде», — поправляли его. — «Ну какая разница!» — упорствовал он. Для него все это было далеко, на краю света. Сталинабад был городом новым, не все о нем и слышали, и Дикого волновало, как там живут и работают на краю света его питомцы, студийцы.

Из этой плеяды всесоюзную известность приобрели Г. П. Менглет, О. П. Солюс — оба театр Сатиры, П. М. Ершов — преподаватель «Щуки», написавший несколько книг о режиссуре, автор «Денискиных рассказов» Виктор Драгунский, М. Г. Волина, написавшая книгу о выдающейся актрисе Малого театра Е. М. Шатровой, а ее пьеса «Босая птица» была поставлена почти во

всех детских театрах страны. В 2001 году вышла книга о Менглете, большая и лучшая часть которой была написана Маргаритой Георгиевной Волиной. Добавим, что О. П. Солюс был и неплохим режиссером и поставил в Сталинабаде несколько спектаклей, актеры охотно с ним работали. Более позднее поколение помнит его по «Кабачку 13 стульев». Менглет мечтал о театре Вахтангова и его туда приглашали, но без жилплощади… А «Сатира» предоставляла комнату. И она перевесила. До конца жизни Георгий Павлович проработал в «Сатире» и до конца жизни с грустью вспоминал о театре Вахтангова.

Двое из этой плеяды провели последние годы своей жизни в Израиле и похоронены на Святой Земле. Это Вениамин Яковлевич Ланге — народный артист Таджикской ССР и Николай Николаевич Волчков — народный артист Советского Союза, совершенно русский человек, приехавший в Израиль со своей еврейской женой и многочисленными домочадцами, скончавшийся в возрасте 93 лет.

Здесь уместно сказать несколько слов о Николае Волчкове — одном из двух студийцев Дикого, удостоившихся звания Народных артистов Советского Союза. В юности он успел увидеть в «Гамлете» выдающегося русского актера Михаила Чехова, а с 1931 года его жизнь связана со студией Дикого. В «Испанском священнике» по Флетчеру, Волчкову повезло встретиться с талантливым режиссером А. П. Тутышкиным: главную роль они исполняли в очередь с постановщиком.

В 1957 году, на Декаде Таджикской литературы и искусства в Москве Николай Николаевич играл Протасова в горьковских «Детях Солнца» (реж. Л. Бочавер) и его большой портрет висел на фасаде театра Вахтангова, где шел спектакль.

Но большую часть ролей Николай Волчков подготовил и сыграл под руководством В. Я. Ланге. А началось это содружество с роли «лукавого старца» Луки в горьковском «Надне» — первой постановке Ланге в театре. Сложный и противоречивый образ получился убедительным и интересным.

Роль Ленина — дело всей жизни Волчкова («Грозовой год», «Третья патетическая», «Кремлевские куранты»). Много раз выступал Волчков с речью Ленина на 3-м Съезде Комсомола. Когда актер в гриме и костюме появлялся в дверях и, заложив палец за пройму жилета, энергичной походкой шел по проходу к трибуне — зал вставал.

Смешно? Трогательно?

Решайте сами.

Чтобы не заканчивать на этой грустной ноте, вернемся к

нашим студийцам в Сталинабад. Все они были молоды, энергичны, все могли, всего хотели. Хватало времени и на работу и на озорство, не всегда безобидное, а иногда и трагикомическое.

Валентин Рублевский и его невеста, тоже Валентина, поехали на озеро отдохнуть, покататься. Пристроили примус и стали жарить яичницу. Пока она жарилась Валентин взял невесту на руки и стал петь «Из-за острова на стрежень». Раскачивал, раскачивал и на словах «И за борт ее бросает…» — бросил в воду. Место было глубокое, плавать она не умела, стала тонуть. Валентин, не раздеваясь, бросился спасать невесту. Стали тонуть оба… Сидевший на веслах Петя Словцов встал на борт и кинулся спасать друзей. Мужчина он был грузный, лодка перевернулась вместе с примусом и яичницей… Кое-как выбрались. Больше всего было жаль яичницы — шла война и время было голодное.

Замуж она за него все-таки вышла.

Немало розыгрышей было на спектаклях.

В «Без вины виноватых» на сцене появились два идеально загримированных Шмаги. Один стоял, как истукан, прижав руки, и произносил текст, второй молча жестикулировал. Кручинина, ее играла Г. Д. Степанова, не МХАТовская, но тоже прекрасная актриса, которую, естественно, никто не предупредил, поперхнулась и с трудом довела сцену до конца.

Но больше всего досталось спектаклю «Разлом» по романтической пьесе Лавренева. На эсминце готовится бунт белых офицеров. Представитель судового комитета «братишка» Годун по ходу спектакля идет по палубе и заглядывает в трюм. Трюм — он и на корабле, и в театре, под сценой.

Первый раз из люка высунулся безобидный кукиш. На следующем спектакле жест был усилен — появилась рука с энергично сжатым кулаком, по локоть подчеркнутая ладонью… Еще на одном спектакле, игравший Годуна актер С. И. Якушев, увидел в люке «повесившегося» актера, с высунутым, синим от грима языком.

Но всего этого, казалось, мало. Не зная, что его ждет в очередной раз, Якушев уже боялся подходить к люку.

В театре еще был жив студийный дух, не было ведущих и рядовых, все были равны. Актер, накануне игравший Незнамова в «Без вины виноватых», в «Разломе» бегал в массовке 3-м матросом — был такой персонаж в пьесе. Практически свободный, он отважился на более решительные действия: разделся до пояса. Мы-то с вами понимаем: если врач просит раздеться до пояса — нужно снять рубашку. Но актер — человек творческий, рассудил: раз пояс находится посередине, то и доступ к нему возможен с

обеих сторон… Он вошел в трюм, снял брюки, остановился под люком и согнулся пополам…

И когда Якушев-Годун в очередной раз открыл люк и заглянул в трюм — перед ним открылась впечатляющая картина…

Этим 3-м матросом был Георгий Павлович Менглет.

Правда, было ему тогда — двадцать пять лет.

«Гершеле Остополер» и его автор

В июне 1944 года, открывая пятый пленум союза писателей Украины, Максим Рыльский начал свой доклад с прочувственного слова о литераторах, погибших в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. Вторым в этом горьком и почетном списке он назвал имя Моисея Гершензона. Вероятно, это вообще был первый случай, когда почтили память писателей, погибших в Великой Отечественной войне, — война еще шла, и печальный список пополнялся…

Сейчас уже мало кто помнит этого добродушного красавца с пышной вьющейся шевелюрой и большими веселыми глазами. Между тем в двадцатые и тридцатые годы имя этого одаренного человека часто появлялось на афишах еврейских театральных коллективов в качестве драматурга, режиссера, а иногда и актера.

Моисей (Мойше) Гершензон родился 18 июля 1903 года- более ста лет лет назад в небольшом еврейском местечке Черняхов на Житомирщине. Его детство ничем не отличалось от трудного, несытого детства сверстников. Товарищи любили его за общительность и веселый нрав — мог рассмешить любого.

Едва закончилась гражданская война, он, как и многие ребята из еврейских местечек, полуголодный, с тощей котомкой за спиной, на товарняке подался в Киев, где поступил на высшие еврейские педагогические курсы. Здесь проявился его организаторский талант: вместе с группой одаренных ребят он создал молодежный еврейский театр «Мешулахес» («Наваждение»), став душой этого коллектива.

Театр остро реагировал на все события, высмеивал отсталые нравы и обычаи, рутину, воспевал то новое, что, казалось, несла революция. По существу, это была эстрада, с песнями, танцами. Автором большинства театральных представлений был Миша Гершензон. Он писал песни, частушки, одноактные пьесы, скетчи, был постановщиком, сам выступал на подмостках.

Это было непросто — каждую неделю новый спектакль. Выступали в рабочих клубах, школах, не только в Киеве, но и во многих городах и местечках Украины. Вскоре и театр, и Михаил Гершензон стали популярны, известны, и не удивительно, что когда в Киеве организовался ГОСЕТ, одним из первых туда пригласили Моисея Гершензона.

Он инсценирует еврейских классиков — Шолом-Алейхема, Менделе Мойхер-Сфорима, Ицхака Лейбуша Переца, пишет статью «Каким был бы Тевье-Молочник в наши дни?». Его энергии можно было позавидовать. Талантливый артист и режиссер, он не

пропускал ни одной литературной дискуссии, активно участвовал в них, горячо отстаивал свою точку зрения.

А по ночам писал пьесы. Его блестящая инсценировка бессмертной повести Шолом-Алейхема «Мальчик Мотл» пользовалась огромным успехом и была поставлена практически во всех еврейских театрах страны, которых тогда еще было немало. На многих профессиональных и самодеятельных сценах с успехом шли его пьесы «Директор» и «Утиль».

Но вершиной театрального успеха Гершензона была постановка в главном еврейском театре страны — московском ГОСЕТе его пьесы «Гершеле Острополер». Сам факт, что такой требовательный и разборчивый в выборе репертуара великий актер и режиссер, как Михоэлс, остановил свой выбор на этой пьесе, говорит о многом.

Словосочетание «Гершеле Острополер» неизменно вызывает у евреев старшего поколения добрую улыбку. Молодежь, к сожалению, его не знает. Хитрец и мудрец, защитник бедных, всегда веселый и никогда не унывающий — любимый и популярный герой еврейского фольклора.

В день премьеры счастливый автор дал жене лаконичную телеграмму: «Двенадцать раз давали занавес!». (Первое представление «Гершеле» состоялось в 1939 году в киевском ГОСЕТе.)

Несмотря на то, что Гершензон был уже известным драматургом, он все еще не вступал в Союз писателей, считая, что «не дорос». Его буквально заставили, втянули. Скромен он был необычайно.

За год до войны московский еврейский театр приехал на гастроли в Киев. В первый же вечер произошла встреча Михоэлса с Гершензоном. Помня об успехе «Гершеле Острополера», прославленный режиссер спросил, не написал ли автор что-то новое. Гершензон уже давно обдумывал народную комедию «Холмские мудрецы». Режиссера заинтересовал замысел драматурга. На читке первого акта присутствовал сам Михоэлс, талантливейший Зускин, другие актеры. Начало комедии всем понравилось, и уже стали говорить о распределении ролей. Вернувшись в Москву, театр стал активно готовиться к постановке «Мудрецов», были заказаны декорации, приглашен композитор.

Все планы сломала война.

С небольшим чемоданчиком, в котором лежала незаконченная комедия «Холмские мудрецы», Моисей Гершензон попадает в Башкирию, где пишет очерки о героях труда, башкирских нефтяниках, стихи и басни, высмеивающие

оккупантов, много выступает перед рабочими и колхозниками, часто бывает в воинских частях.

Но его любимый Киев и родная Украина под немцами, и он рвется на фронт. Отказ за отказом: нестроевик, в тылу принесет больше пользы.

Неожиданно из Москвы приходит правительственная телеграмма: ГОСЕТ вызывает в Москву для завершения работы над «Холмскими мудрецами»! По-видимому, и в это тяжелое время — осень сорок первого — необходимость народной комедии была очевидна для многих. В затемненном холодном номере «Метрополя» драматург дописывает последние сцены.

Но постановке не суждено было состояться. Театр эвакуировался в Ташкент, а Гершензон возвращается в Башкирию, затем перебирается с семьей в Алма-Ату. (Первое представление «Мудрецов» состоялось уже после войны в Вильнюсе).

Закончив пьесу, Гершензон с еще большей настойчивостью рвется на фронт и, наконец, добивается исполнения своего заветного желания: его направляют на курсы пулеметчиков. С гордостью пишет он своей дочери в Алма-Ату: «Теперь ты можешь смело смотреть людям в глаза: твой отец уже солдат».

По окончании курсов лейтенант Гершензон был назначен командиром пулеметного взвода 3-й стрелковой роты 221-го стрелкового Полка 16-й стрелковой дивизии. Солдаты любили его за то, что он не отсиживался в землянке, был всегда с ними, умел пошутить в трудную минуту, был терпимым, не дергал людей по мелочам. Кто поверил бы, что это бывший нестроевик?

Недолгой была его военная судьба. В ожесточенных боях под станицей Крымской 16 апреля 1943 года Моисей Гершензон погиб смертью героя. Но о нем помнили. Через тридцать лет в газете «Правда Украины» (16 ноября 1973 года) было опубликовано письмо его однополчанина Николая Ивановича Малахова: «Разыскиваю родственников писателя Михаила Гершензона, который пал в бою 16 августа (ошибка автора письма) 1943 года. Он возглавил батальон в атаке. Последние его слова: «Наши прорвались вперед! Я умираю недаром»».

И родственники нашлись. Они репатриировались в Израиль. Это жена Моисея Гершензона Хана Моисеевна (ныне покойная), его дочь Рума Моисеевна, внуки и правнуки.

Живы и его пьесы. В послевоенные годы, когда благодаря «мудрой интернациональной» сталинской политике почти все еврейские театры в СССР прекратили свое существование, «Гершеле Остополер» и «Холмские мудрецы» с успехом шли на еврейских сценах Франции, США, Румынии, Канады, Израиля. Как они туда попали и в каких еще странах были поставлены —

родным до сих пор неизвестно. Но факт остается фактом.

В 1990 году в Киеве на украинском языке в переводе и с предисловием Илие Мазоре вышел томик пьес Моисея Гершензона. Туда были включены «Холмские мудрецы» и «Гершеле Остополер».

Кто такой Илие Мазоре, написавший предисловие к изданию? Судьба этого человека необычна. Она тесно переплелась с судьбой автора, и поэтому необходимо сказать о нем несколько слов.

Илие Мазоре родился в глухой молдавской деревне, но с детства тянулся к знаниям. У его деда был Ветхий завет на иврите и русском языках. Илие заинтересовался, увлекся и, пользуясь тем, что книга была двуязычной, выучил иврит.

По соседству жил еврей-портной, который поведал, что есть еще и язык идиш. У соседа была чудом сохранившаяся в войну единственная книга на идиш. И это был «Гершеле Остополер»!

Илие стал ее читать, бегал к соседу спрашивать значение слов, составил словарь и, овладев языком, понял, что перед ним незаурядное произведение, а его автор — еврейский Гоголь.

Он захотел с ним познакомиться, поговорить, узнать, что он написал еще, каковы его творческие планы… И он послал письмо, адресованное Гершензону, в Союз писателей Украины, с просьбой ответить и встретиться… Но ответа не было. Илие решил, что маститый автор не имеет времени, чтобы отвечать на письма, а может, просто зазнался и посмеялся над наивным письмом. Но в Союзе писателей Украины нашелся порядочный человек. Это был тогдашний секретарь Союза Тельнюк, который спустя много времени, когда Илие уже потерял всякую надежду, ответил на его письмо: «Вы опоздали на двадцать лет. Его нет в живых. Он погиб в боях за Родину».

И тогда Илие Мазоре задался целью собрать все, что когда-либо написал Моисей Гершензон, издать его произведения, заново открыть его имя. Это и стало делом его жизни.

На идиш он уже говорил свободно, но писать и читать еще не мог. По всей Украине он искал пишущую машинку с еврейским шрифтом, что в те годы сразу навлекло на него подозрение. (В чем? В сочувствии к евреям?). Мазоре поступил на филологический факультет Киевского университета, много сил и времени отдавал изучению еврейской литературы. Единственный из восемнадцати тысяч студентов, среди которых были и евреи! — он выписывал еврейский журнал «Советише геймланд»! Над ним смеялись, ему угрожали, на его тумбочке и на его конспектах рисовали шестиконечные звезды… Он не обращал

внимания.

Узнав, что в Киеве живет вдова Моисея Гершензона, встретился с ней, и она много ему рассказала о своем погибшем муже.

Мазоре самостоятельно изучил иврит, и с конца семидесятых годов преподавал его для готовящихся к репатриации в Израиль.

Работая старшим научным сотрудником литературного музея Украины, он продолжал изучать и творчество Моисея Гершензона, поставив перед собою цель восстановить обстоятельства его подвига и гибели. Будучи членом Союза журналистов и молдаванином по национальности — еврея бы вряд ли допустили — Мазоре поехал в Подольский военный архив, выписал там адреса всех однополчан Гершензона, вернувшихся с войны, размножил его фотографию, полученную от родных, и разослал несколько сот писем.

Прошло много лет, кто-то уже ушел из жизни, кто-то просто за давностью лет не мог вспомнить лейтенанта, тем не менее ответов было много. Но все они были неутешительными…

И вот, неожиданная удача! Пришло письмо из Северной Осетии от бывшего командира роты, в которой Моисей Гершензон был командиром пулеметного взвода, Ясона Джадоева. Он писал: «Я подтверждаю, что лейтенант Гершензон при встречах со мной говорил о литературе, читал мне свои стихи. Лейтенант Гершензон ловко обращался с индивидуальным санитарным пакетом, бинтовал, перевязывал раненых, помогал тем, кто этого сам не мог. Часто что-то записывал в своей записной книжке. Был он ловким, красивым, веселым, рассказывал о своем народе. Я был ранен 29 марта. В середине апреля в медсанбат стали прибывать раненые из взвода М. Гершензона, и эти раненые говорили, что в результате сильного артиллерийского и минометного огня противника при обороне взятой им высоты погиб лейтенант Гершензон. Когда на этой высоте убило батальонного командира, М. Гершензон поднял батальон в атаку. По фотографии я, конечно, сразу узнал М. Гершензона. Та же улыбка. Он беспредельно верил в Победу». (Сохранен стиль письма Джадоева).

Илие Мазоре работал в киевском университете на кафедре еврейской литературы, преподавал идиш и иврит. Одновременно читал лекции по еврейской литературе на еврейском отделении в Киевском театральном институте. По его инициативе студенты еврейского отделения в качестве дипломной работы поставили «Холмских мудрецов».

Вот и говори после этого, что нет понимания между народами. Низкий поклон Илие Мазоре от всех евреев.

Побывал он и на месте гибели Моисея Гершензона. Когда Илие подошел к братской могиле, в которой — это было доподлинно известно — был похоронен Моисей Гершензон, он не обнаружил там его имени.

Кому нужна еврейская фамилия! «Евреи не воевали. Они отсиживались в Ташкенте». Мазоре пошел в сельсовет. Там он обнаружил списки захороненных, нашел фамилию и заставил дописать на обелиске — Моисей Гершензон.

Статьи

Виктор Суворов и его» теория»

Идет уже седьмое десятилетие со Дня Победы в Великой Отечественной войне. В активную жизнь вступило второе послевоенное поколение. Оно не знает войны. Не знает оно и правды о войне. Этим пользуются некоторые авторы беззастенчиво и, к сожалению, небезуспешно искажающие исторические факты. В этом особенно преуспел Виктор Суворов, утверждающий, что Сталин собирался напасть на Германию, но Гитлер его просто опередил. С какой целью? С целью ускорить мировую революцию.

Но для Сталина, в отличие от Троцкого, мировая революция отнюдь не была идеей фикс и он не был способен пожертвовать страной ради этой безумной идеи. Сталин не был фанатиком мировой революции и не стал бы развязывать Вторую Мировую

войну ради ее приближения. Не надо приписывать ему лишнего. Грехов у него и так хватает.

Еще в 1925 году на Пленуме ЦК ВКП(б) Сталин сказал: «Если война начнется, мы, конечно, вступим последними, самыми последними, чтобы бросить на чашу весов гирю, которая могла бы перевесить».

Как видим, Сталин не исключал вступления в войну, но вовсе не собирался ее развязывать или начинать.

Не утихают споры и нет однозначного отношения к договоренности Сталина и Гитлера 1939 года. А была ли альтернатива? Из-за нерешительной и непоследовательной политики западных держав договориться с ними не удалось и пришлось договариваться с Гитлером. Сталин пытался выиграть пространство и время, чтобы подготовиться к войне, неизбежность которой он понимал. Понимал это и Черчилль, сказавший: «Пакт Молотова-Риббентроппа был циничен, но необходим». В противном случае, говорит он дальше, война началась бы на год раньше и неизвестно, как бы она закончилась.

Нет оснований не верить Черчиллю.

После прихода Гитлера к власти Кремль обратился к нему с вопросом: остается ли в силе его высказывание из «Майн кампф» о необходимости перехода к политике территориальных завоеваний, и что сама судьба указывает ему на Россию?

Ответ последовал 22 июня 1941 года.

17 апреля 1940 года (позорная финская война закончилась в марте) на совещании комсостава Красной Армии, анализируя неутешительные итоги кампании — потери советской стороны в пять раз превосходили потери противника: 130 тыс. против 25, Сталин сказал: «Культурного, квалифицированного и образованного командного состава у нас нет или есть единицы. Требуются хорошо сколоченные и искусно работающие штабы. Их пока нет у нас. Затем, для современной войны требуются хорошо обученные, дисциплинированные, инициативные бойцы. У нашего бойца не хватает инициативы. Он индивидуально мало развит. Он плохо обучен».

По данным военных историков А. Печенкина и В. Стрельникова в Красной Армии «в начале 1941 года служили 579 тысяч командиров, из них высшее образование имели только 7,1 %, среднее 55,9 %, окончили ускоренные курсы 24,6 %, а 12,4 % вообще не имели образования».

Надо обладать очень богатой фантазией, чтобы предположить, что Сталин уже через год решится с такой армией

напасть на Германию, уже завоевавшую пол-Европы.

Как и все советское военное руководство, Сталин считал наступление главным видом боевых действий, решающим исход войны, и перенос военных действий на территорию врага само собой разумеющимся. Он полагался на собственный анализ обстановки, исключал ведение Гитлером войны на два фронта и все разведдонесения (а их было предостаточно!) считал искусной дезинформацией.

Это было трагической ошибкой, приведшей к катастрофе.

Естественно, для того, чтобы «бить врага на его территории» нужны и карты этой самой территории, т. е. сопредельной стороны. Представлять наличие этих карт и разговорников, как доказательство намерения СССР напасть на Германию — по меньшей мере наивно. Но Виктора Суворова это не смущает. Примерно так же обстоит и с минами, в изобилии доставленными в район границы. Чтобы на них подорвались «наступающие» красные части, или чтобы преградить, затруднить путь наступающим германским войскам? И здесь вывод Суворова противоречит элементарной логике. Выставить их уже не успели…

Сотни тысяч пар сапог были переброшены к границе. Для чего? Чтобы начать войну, утверждает Суворов. Трудно установить прямую связь между сапогами и наступлением, но он это делает с легкостью. Я и многие мои товарищи начинали воевать в обмотках и такая странная мысль не приходила нам в голову.

Разрушение и разоружение укрепрайонов, чтобы не путались в ногах наступающих — представляется вполне логичным. Но в том-то и дело, что все обстояло наоборот! Военный историк В. А. Анфилов пишет: «До последнего мирного часа вели гигантское по размаху и стоимости строительство оборонительных сооружений. Вели днем и ночью, при свете фар и костров! За ПЯТЬ ДНЕЙ до войны получили «Постановление ЦК ВКП(б) и СНК СССР об УСКОРЕНИИ приведения в боевую готовность укрепленных районов». Строили не одну, как было на старой границе, а две укрепленных полосы, в 23-х стройуправлениях работало 136 тыс. строителей, в т. ч. 18 тыс. вольнонаемных».

И это все для НАПАДЕНИЯ на Германию?!

Еще одно «доказательство» — «новогодние» (январь 1941) военные игры: Жуков— Павлов и Павлов— Жуков, «красные» и «синие». Суворов подробно описывает эти игры, интерпретируя их, как несомненную подготовку к нападению на Германию. А что, если Сталин их затеял, чтобы припугнуть Гитлера и убедить

его не начинать войны с СССР, войны на 2 фронта — война в Европе уже шла.

Бредовая мысль, что Советский Союз победил, потому что Сталин вовремя уничтожил руководящие военные кадры — «увешанные орденами дураки не должны быть причастны к войне», а Германия потерпела поражение, потому что «добрый» Гитлер этого не сделал — вызывает сомнения в здоровье автора «Ледокола» и других его книг.

5 мая 1941 года в Кремле состоялся выпуск военных академий. Собравшихся предупредили, что никаких записей делать нельзя. (Предупреждение оказалось напрасным: через несколько недель все, что говорил Сталин, стало известно противнику от наших пленных). А Сталин сказал: «У нас было 120 дивизий, теперь — 300. Они меньше по составу, но более маневренные, из 100 дивизий две трети танковые, а одна треть моторизованные».

Не сказал он лишь о том, что 90 процентов танкового парка и 80 процентов парка самолетного — легкие машины устаревших конструкций. Да, их было больше, чем у противников, но это преимущество было сведено на нет в т. ч. этим обстоятельством.

Далее Сталин сказал, что война с Германией неизбежна и если ее удастся немного оттянуть — ЭТО СЧАСТЬЕ. Из дальнейших его слов следовало, что война начнется не раньше 1942 года. Никаких намеков на июль 1941 не прозвучало. Откуда Виктор Суворов взял эту дату — июль 41-го — загадка.

В том же выступлении Сталин призвал перейти от оборонной политики к наступательной. Но когда Генштаб, приняв это за чистую монету, уже через десять дней представил правительству новый вариант стратегического развертывания внезапного удара, Сталин отверг эту идею, отказавшись от собственных слов: «Я так сказал, чтобы подбодрить присутствовавших, чтобы они думали о победе, а не о непобедимости германской армии». — Но то, что он не собирался нападать на Германию 6 июля — очевидно.

Особое внимание, в подтверждение своей теории упреждающего нападения на Германию, Виктор Суворов уделяет записке Наркома Обороны С. К. Тимошенко и Начальника Генштаба Г. К. Жукова, о превентивном нанесении германским войскам удара «когда они будут находиться в стадии развертывания и не успеют организовать фронт и взаимодействие родов войск». Эта записка прямое следствие слов Сталина о переходе к наступательной политике, сказанные им 5 мая, которые он же дезавуировал. Записка датирована 15-ым мая! — завидная оперативность. Записка не была подписана и неизвестно была ли представлена Сталину. Скорей всего — нет, так как не

ложилась на его концепцию. Это рабочая заготовка, которая сразу легла в архив. Характерна и ее первая фраза: «докладываю на ваше рассмотрение соображения по плану стратегического развертывания Вооруженных сил СССР на случай войны с Германией и ее союзниками».

За ПЯТЬ недель до войны у военного руководства еще не было уверенности, что война начнется так скоро! Месяц с небольшим — слишком малый срок, чтобы провести сколько-нибудь действенные мероприятия.

Подготовка к войне, тем более к нападению, дело сложное и хлопотливое. Не только армия, но и тыл, промышленность, транспорт, резервы, должны быть приведены в состояние готовности. Невероятно, чтобы такая огромная мобилизационная работа не отразилась хотя бы в каких-либо документах. Но их нет! И все построения Виктора Суворова строятся на его собственных домыслах.

6 мая Сталин был назначен Председателем Совнаркома вместо Молотова «в целях полной координации работы советских и партийных органов». Со времени его предыдущего выступления на выпуске военных Академий прошло шесть лет. За это время сменилось 9 замнаркомов обороны, 4 начальника Генштаба, многие командующие округов, флотов, дивизий, арестовано около 600 представителей высшего комсостава, уволены из армии 40 тысяч командиров. Большинство из этих людей расстреляно.

Полнейшая неготовность наших войск к оборонительным боям, отсутствие в Красной Армии опытных командиров, растерянность высшего руководства страны во главе со Сталиным привели к катастрофе.

Я давно живу на свете и еще помню, как в тридцатые годы напротив нашей школы висел транспарант «Шесть заветов Ленина», подписанный Сталиным. Один из них гласил: «Товарищ Ленин завещал нам укреплять и РАСШИРЯТЬ Союз Советских Социалистических Республик». И расширяли: Западная Украина и Западная Белоруссия, Прибалтика, Тува, Карельский перешеек. Но и в первые годы советского режима, не без нашей помощи, были попытки революций в Венгрии и Германии, которые провалились и показали, что рассчитывать на мировую революцию не приходится.

У Сталина по этому поводу не было никаких иллюзий. Он прекрасно понимал, особенно после войны с Финляндией, что плохо обученная, состоящая в массе своей из малограмотных крестьян (я помогал некоторым писать письма домой), вооруженная, в основном, винтовками одиночного боя армия не в состоянии противостоять германским войскам, уже имеющим

опыт современной войны в Европе, и всячески стремился ее избежать или, хотя бы, отодвинуть. Нападение 22 июня повергло его в ужас и растерянность. Но военная доктрина «бить врага на его территории» оставалась и действовала. Времени на ее пересмотр уже не было.

Красная Армия готовилась к наступательным боям лишь в ответ на нападение извне, а вовсе не как к упреждающему удару, что бы ни говорил Виктор Суворов.

Многое из того, о чем пишет Виктор Суворов — объективные факты. И танки БТ на колесно-гусеничном ходу предназначались не для российских, а для западных, читай германских, дорог, и самолеты ТБ-3 могли достичь Берлина. И достигли.

Вот одно из свидетельств нашей подготовки к «нападению» на Германию. Вспоминает Давид Розенблат, башенный стрелок 78 танкового полка 39-й танковой дивизии, стоявшей в Черновцах: «В дивизионном парке было 170 танков Т-26, участвовавших в финской войне. Все они стояли на КОЛОДКАХ. По тревоге успели «обуть» только десять машин. Но вскоре кончилось горючее и боеприпасы и эти десять остались на дорогах…» ТАК мы собирались напасть на Германию.

Гитлер и Сталин. Можно без большой натяжки поменять местами эти две фигуры ушедшего века, во многом определившие его судьбу. Гитлер, считающийся «преступником номер один» (есть книга Д. Мельникова и Л. Черной с таким названием), поднял Германию с колен после Версальского мира. Сталин уничтожил интеллигенцию, разорил крестьянство и обрек страну на голод. Часто ссылаются на Черчилля, сказавшего: «Сталин принял страну с сохой, а оставил с атомной бомбой». Но кто докажет, что при демократическом правлении она не достигла бы большего?

Сталин проморгал подготовку Германии к нападению на СССР. Мало того, до половины седьмого утра 22 июня он не давал разрешения на ответные действия. В докладе Жукова о полководческой деятельности Сталина говорится: «…Кроме просчетов в оценке обстановки, неподготовленности к войне, с первых минут возникновения войны в Верховном руководстве страной в лице Сталина проявилась полная растерянность в управлении обороной страны, использовав которую противник прочно захватил инициативу в свои руки и диктовал свою волю на всех стратегических направлениях».

Остается добавить, что значительную долю вины за все это несет и Начальник Генерального Штаба, которым был Жуков перед войной и в самом ее начале. Но об этом в докладе нет ни

слова.

Возвращаясь к Виктору Суворову и его теории превентивного нападения СССР на Германию, нелишне вспомнить неожиданный афронт, полученный Суворовым с противоположной стороны.

В середине 1940 года генерал Паулюс был назначен заместителем начальника главного штаба сухопутных войск (главным квартирмейстером) и начальник штаба, генерал Гальдер, поручил ему ДОРАБОТАТЬ (обратите внимание на это слово) план нападения на Советский Союз. Естественно, в основу разработки такого плана ложатся, прежде всего, данные разведки о стране, с которой собираются воевать. Это элементарно.

В своем выступлении в качестве свидетеля на Нюрнбергском процессе Паулюс заявил буквально следующее: «Никакими данными о ГОТОВЯЩЕМСЯ НАПАДЕНИИ СССР на Германию штаб НЕ РАСПОЛАГАЛ»!

Ими располагает Виктор Суворов.

Но еще задолго до этого и еще более определенно высказался сам Гитлер. 9 января 1941 года в ставке Вермахта Гитлер сказал: «Поскольку Россию в любом случае необходимо разгромить, то лучше это сделать СЕЙЧАС, когда русская армия ЛИШЕНА РУКОВОДСТВА и ПЛОХО ПОДГОТОВЛЕНА и когда русским приходится преодолевать большие трудности в военной промышленности. (Совершенно секретно. Только для командования)».

Напрасно автор иронизирует над мифами Отечественной войны. Я мог бы привести примеры и помимо «28-и героев-панфиловцев» и не делаю этого, чтобы не причинить боли их родственникам и потомкам. Не их в этом вина. Армия позорно отступала, немцы стояли у стен Москвы, страна была в смятении. Это было время, когда «тьмы низких истин нам дороже нас возвышающий обман». Время требовало героев. И они были. Иногда не те, о ком писали. Но были. Просто рядом с ними не оказалось, или не осталось, свидетелей и не было корреспондентов. Солдат, совершающий подвиг, совершенно не думает, будет ли он оценен и награжден. Он просто делает свое дело и в эту минуту мысль, что он совершает подвиг, едва ли придет ему в голову. Если он остался жив, что случается не часто, он не станет об этом говорить.

Иронизирует Виктор Суворов и над нашими наградами, дескать советские ордена и медали продаются и в бывшем СССР и в Германии, а немецкие — нет. Тоже продаются, правда не в таких масштабах. К сожалению, это так. Но не сам ли Виктор Суворов приложил к этому руку, упорно внушая, что наша Победа не победа, а поражение, и наши боевые ордена, и медали —

ничего не стоящие значки.

Поразительно, писаниями Виктора Суворова «вдохновилась» Валерия Новодворская, сказавшая: «Теперь (т. е. после публикаций Суворова — прим. авт.) фронтовики могут выбросить свои ордена и медали на помойку». От комментариев воздерживаюсь.

Несколько слов о книге Виктора Суворова «Тень Победы». Если отвлечься от потока ненависти автора к герою книги Жукову, густо разлитому от первой до последней страницы, следует признать, что многое в ней неоспоримо свидетельствует о крупных ошибках и просчетах полководца. Но ничего принципиально нового в книге нет. Все это, за исключением некоторых деталей и подробностей было известно и ранее.

Через всю книгу проходит откровенное желание автора реабилитировать Сталина. При этом он начисто игнорирует то, что в те годы Сталин сосредоточил в своих руках всю полноту власти в стране — партийной, государственной и военной. Он был Верховным Главнокомандующим и без него не решался ни один вопрос. Изображать Жукова при вожде, вроде еврея Зюсса при вюртенбергском герцоге — это попытка вывести Сталина из-под удара. У них обоих достаточно «статей».

Еще один упрек автору — его упорное желание пересмотреть историю Великой Отечественной войны. Слов нет — она нуждается в уточнении. При Сталине была одна история, при Хрущеве другая, при Брежневе третья. Некоторые выводы автора неубедительны, другие вызывают сомнения. Книга написана торопливо, поспешно. Этой поспешностью и объясняется многословие. Бесконечные повторы в разных вариантах одних и тех же фактов разжижают повествование и затрудняют восприятие.

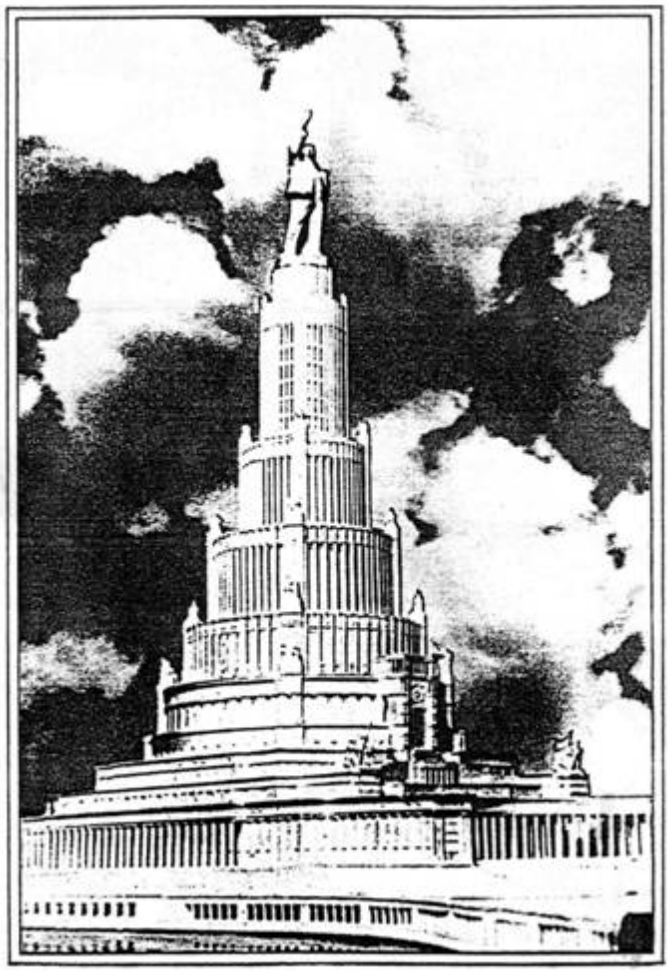
Полемика по поводу Виктора Суворова и его книг началась не сегодня. Несколько лет назад вышла книжка профессора Тель-Авивского и Оксфордского университетов Г. Городецкого «Миф «Ледокола», аргументировано критиковавшего «теорию» Виктора Суворова… Но его грубо одернул Бар-Селла, непонятно почему уверовавший в правоту Суворова. Еще дальше пошел П. Винников, обрушившийся на содержательную статью И. Вула «То ли еще будет». П. Винников пишет: «…Вторая мировая война была схваткой двух тираний, схваткой коричневого и красного фашизмов». Добро бы речь шла о Советском Союзе — отдельные черты советского тоталитарного режима сродни гитлеровскому. Но записывать в тирании такие демократические страны, как США и Великобритания (где «Хартия вольностей» была принята

еще в XIII веке) очень смело. А ведь британцы и американцы были союзниками СССР по антигитлеровской коалиции. Были и другие выступления на эту тему. Так британский профессор Джефри Хоскинг, известный специалист по истории России, на вопрос, считает ли он, что Гитлер просто опередил Сталина на две недели, ответил: «Однозначно — нет. В архивных документах нет данных, дающих повод предположить, что наступление СССР на Германию готовилось именно летом 1941 года. Конкретных данных о распоряжениях к подготовке наступления нет».

Но вернемся к Виктору Суворову. Истинные причины его предательства достаточно прозаичны. Их приоткрывает его бывший коллега А. Кадетов, отметивший, между прочим, некоторые успехи Резуна в разведработе. Через редактора журнала «Международное обозрение» Рональда Фурлонга он раздобыл описание нового натовского танка «Леопард-2» и технические характеристики некоторых видов вооружения НАТО. Фурлонг был кадровым сотрудником британской разведки. Британцы предъявили Резуну фальшивую телеграмму, якобы перехваченную в советском посольстве, где послу в Швейцарии Лаврову предписывалось по распоряжению министра иностранных дел Громыко первым же рейсом отправить Резуна С СЕМЬЕЙ в Москву. С семьей! Резун не мог не понимать, что это означало конец карьеры. И он попросил убежища в Великобритании. В его судьбе не было ничего мученического, а в побеге ничего героического. Он не был ни диссидентом, ни правозащитником. Элементарный перебежчик.

Упорное повторение Виктором Суворовым одних и тех же выкладок посеяло у меня сомнение: уж не себя ли самого пытается он убедить? Поневоле вспоминаются слова Писания: «Ты сказал и я поверил. Ты повторил и я усомнился. А когда ты сказал в третий раз — я убедился, что это ложь».

От Дворца к Храму



Так должен был выглядеть Дворец Советов (из книги «Застывшая музыка», составитель Ю. Мурзин, заслуженный архитектор СССР)

Идея строительства Дворца Советов — величественного символа победы революции — возникла, когда идеалы коммунизма казались желанными, близкими и достижимыми, и недалеко еще ушло время, когда предлагали снести Николаевскую (Октябрьскую) железную дорогу только потому, что она построена при царе; идея сноса Храма и строительства на

его месте Дворца Советов с фигурой Ленина, видной из любой точки столицы, вовсе не казалась такой циничной и кощунственной, как сейчас.

Она носилась в воздухе и казалась естественной.

Сама идея строительства Дворца Советов была выдвинута С. М. Кировым на 1-ом Съезде Советов в декабре 1922 года и была задумана, как монумент в честь создания Союза Советских Социалистических Республик — СССР. В 1928 году был объявлен всемирный конкурс. Он проводился в три тура. Первое и второе места разделили Б. Иофан и Щуко и Гельфрейх. Идеи обоих проектов были схожи и было решено их объединить. Над фигурой Ленина работал скульптор Меркуров.

Было намечено несколько точек строительства, одной из которых была площадка Храма Христа Спасителя. Б. Иофан вспоминал, как однажды летним утром на этой площади собрались архитекторы, прибыли члены Политбюро во главе со Сталиным. «Кое-кто из нас недоумевал: а что делать с Храмом Христа Спасителя? Но тут Сталин задал нам встречный вопрос: «А как вы думаете, разместится ли проектируемое здание Дворца Советов на площади, занимаемой Храмом Христа Спасителя?».

И тут мы поняли: мы смотрим назад, в прошлое, а он — вперед, в будущее»[4].

Так что фактически идея строительства Дворца Советов на площади Храма Христа Спасителя и, соответственно, его сноса принадлежит Сталину. Академик Грабарь дал заключение, что Храм Христа Спасителя «художественной ценности не имеет». В цитируемой статье и сам Иофан нелестно отозвался о Храме: «похожий на самовар и кулич, давящий на сознание людей». Не понравился Храм и Чайковскому, которому была заказана музыка. Написав к открытию Храма свою знаменитую увертюру «1812 год», в письме к своему другу он писал, что сам Храм ему «не нравится»…

В предвоенные годы на месте снесенного в 1931 году Храма развернулось грандиозное строительство гигантского, четырехсотметровой высоты сооружения дворца Советов, который должна была венчать огромная восьмидесятиметровая фигура Ленина, в голове которой, как писали газеты, должна была разместиться библиотека. На мощных пилонах дворца планировались два яруса двадцатиметровых многофигурных групп, на сцене Большого зала на 21 тысячу зрителей площадью 970 квадратных метров и высотой 100 метров должны были мчаться всадники, автомобили, маршировать полки и даже двигаться поезда… Демонстрации, шедшие на Красную площадь,

должны были проходить через этот зал — это было одной из причин по которым Дворец должен был находиться вблизи Кремля.

Макеты и плакаты с изображением Дворца Советов, чем-то напоминающие послевоенные высотные дома, заполонили витрины магазинов — где кроме них и выставить было нечего… — и общественные места.

Не избежал всеобщего увлечения и энтузиазма и я, потратив почти весь учебный год, чтобы изготовить и выставить на Детской Технической Станции макет Дворца Советов.

Семья моей будущей жены жила на Остоженке (Метростроевская) и ее водили гулять к Храму, запомнившемуся ей своим великолепием и внушительностью.

Окончательному решению о сносе Храма предшествовало заседание ЦК совместно с архитекторами, на котором Щусев и Жолтовский в один голос утверждали, что Храм художественной ценности не имеет.

К началу войны на мощном фундаменте уже возвышались стальные фермы первых двух этажей. Вскоре они были разобраны для изготовления противотанковых ежей для Подмосковья и самой столицы.

Управление по строительству дворца Советов существовало и после войны и было дополнено словами «и высотных домов». Сталин требовал регулярных отчетов о ходе строительства и заготовке отделочного камня. Но однажды, когда уполномоченный архитектор пришел с очередной сводкой, секретарь Сталина Поскребышев прозрачно намекнул, что Сталина этот вопрос больше не интересует…

Но это еще был не конец. Решение о прекращении строительства дворца Советов было принято уже после смерти Сталина на специальном собрании в Доме Архитектора. На собрании присутствовал Хрущев. Когда его спросили строить или не строить, он дипломатично ответил: «Вы архитекторы, вы и решайте». — И архитекторы решили — не строить!

В президиуме сидел печальный Иофан.

На этом месте был построен плавательный бассейн.

Храм Христа Спасителя был построен в честь победы над Наполеоном. Строился он сорок четыре года. Решение о его строительстве принял лично Александр 1-й в знак благодарности Богу за победу. Но увидеть свою мечту воплощенной ему не довелось. Это сделал Николай I. Строился Храм на народные деньги.

Храм Христа Спасителя «воскрес» за четыре! года, в 1997 году, к 850-летию Москвы. Восстанавливали его по старым чертежам, но по новой технологии, что дало возможность восстановить его в рекордный срок и к юбилею Москвы он вновь засиял своими золотыми куполами. Великолепный интерьер, роспись, бронзовые фигуры святых, на площади разбит прекрасный парк с фонтанами, красивыми скамейками, бронзовыми фонарями. Парк простирается от Волхонки до набережной Москвы-реки, а через реку построен роскошный мост, который ведет прямо к заднему фасаду Храма, где позже установили памятник царю Николаю 1-му По праздникам на площади перед Храмом сооружается эстрада и выступает Большой симфонический оркестр, хоры, поют солисты. А подземный ход из метро ведет прямо к фасаду Храма.

…Было время разбрасывать камни.

Настало время их собирать…

Эпоха Дворца Советов прошла, наступила эпоха Дворца Съездов, достаточно нелепого на территории Кремля. Сменилось время и люди. Изменилась страна. Приведу письмо-ответ Лазаря Моисеевича Кагановича на письмо-вопрос его дочери-архитектора в части, касающейся Храма Христа Спасителя и Дворца Советов:

> «Дорогая Мая!
>
> Я вполне понимаю, что неизбежно твои товарищи по профессии — архитекторы задают тебе вопросы, затрагиваемые в печати об архитектурных памятниках, связывая эти вопросы с моим именем, поскольку я был в течение 5 лет (1930–1935 гг. — прим. авт.) секретарем Московского Комитета партии.
>
> Поэтому ты не должна извиняться передо мной за то, что ты попросила меня дать некоторые разъяснения по ним, что я охотно сделаю.
>
> Первое — о Храме Христа Спасителя:
>
> Как известно, решение о сооружении в Москве Великого Дворца Советов принято Всесоюзным съездом Советов.
>
> После принятия решения, естественно, встал вопрос о месте его сооружения. Были различные предложения: МК, в том числе и я лично, предлагали строить Дворец на Ленинских горах.
>
> Все признали, что это место хорошее, но это далеко от Кремля, а необходимо было строить его близко к Кремлю. Тогда МК внес предложение строить его там, где теперь Манежная площадь, разрушить все

расположенные там домишки, лабазы и мелкие сооружения, но здесь опять возникли возражения, что это затронет сооружение Манежа, представляющее ценное архитектурное сооружение. После этого было предложено разрушить здание, где помещается Коминтерн и близлежащие к нему сооружения и соорудить там Дворец Советов. Но здесь опять возникло возражение, что это подавит сооружение Румянцевской библиотеки.

Итак, двигаясь дальше по этому направлению, подошли вплотную к Храму, но не сразу и не слегка был решен этот вопрос. В МК и у меня лично, например, были возражения. Скажу прямо, что мы считали, что это политически может задеть верующее население. В Моссовете, особенно помню, его председатель тов. Иванов высказывались за то, чтобы строить Дворец Советов на месте Храма Христа Спасителя. На заседании созданного правительством Совета по строительству Дворца во главе с председателем Совнаркома товарищем Молотовым В. М., этот вопрос обсуждался не раз. В конце концов в 1931 было принято решение строить Дворец Советов вблизи Кремля, на берегу Москвы-реки в районе Волхонки и Саймоновского проезда путем сноса ряда строений, в т. ч. и Храма Христа Спасителя.

Тов. Молотов доложил это решение Совета Дворца правительству и Политбюро, все мы одобрили это решение, в т. ч. согласился с ним и тов. Сталин.

Должен сказать, что архитекторы, в т. ч. Жолтовский, Фомин, Щуко и др. считали, что особой архитектурной ценности храм не представляет.

С приветом, твой отец Л. М. Каганович. 1989 год».

Это письмо было написано незадолго до смерти Л. М. Кагановича, скончавшегося в возрасте 98 лет в 1991 году. Стиль и особенности письма Л. М. Кагановича сохранены.

А все-таки жаль, что Дворец Советов, на сооружение которого было затрачено столько сил и средств, не был построен. Он стал бы такой же эмблемой страны, как Эйфелева башня в Париже, Биг-Бен в Лондоне и Статуя Свободы в Нью-Йорке.

Я верю Черчиллю

О том, что «победила Америка» столько говорено и писано, что сомневаться могут только дураки («дурак — всякий инакомыслящий», см. Густав Флобер «Лексикон прописных истин»). Но на случай, если таковые еще имеются, Нафтали Бен-Цион Гольдберг опубликовал в «Новостях недели» статью «На фронте и в тылу» («НН», 1.08.99).

Это не статья дилетанта, на которую можно было не обращать внимания, это работа человека, обладающего необходимым минимумом информации, неплохим пером и твердыми убеждениями, которые я не собираюсь поколебать. И пишу эти строки для своих фронтовых товарищей.

Как ни печально, но Советский Союз, приходится признать, помогал нацистской Германии материалами, сырьем и продовольствием до самого начала войны — последний эшелон проследовал через Львов вечером 21 июня, за несколько часов до вторжения.

Но в боевых операциях против Польши не участвовал. Исторически сложившаяся нелюбовь между двумя странами усугубилась отказом польского правительства пропустить советские войска через свою территорию на помощь Чехословакии в 1938 году. Но этого недостаточно для вывода, что поражение Польши было результатом советско-германского сговора. Это натяжка. Слишком неравны были силы.

Осень сорок первого застала меня в Москве. Ужасающая картина в районе Казанского и Курского вокзалов и на шоссе Энтузиастов до сих пор стоит у меня перед глазами. Действительно, стремились эвакуироваться не все. И это естественно. В многомиллионном городе это просто невозможно.

Война началась, когда советской власти было двадцать три

года (двадцать четвертая годовщина отмечалась уже во фронтовой обстановке), и было достаточно людей, которые имели все основания относиться к власти без особой нежности… Грабили магазины и еврейские квартиры. Но были очереди и в женские парикмахерские — немцы придут, надо хорошо выглядеть. Открылось и несколько частных кафе…

Можно не сомневаться в том, что ожидало бы оставшихся в Москве евреев, если бы те пришли. Здесь автор совершенно прав.

Но был и патриотический порыв. Было и ополчение, в рядах которого погиб цвет московской интеллигенции, в том числе много евреев — профессоров и студентов московских вузов. Я видел уходящие на фронт батальоны ополченцев, вооруженных охотничьими ружьями, да и те были не у всех. Все это автор начисто проигнорировал.

Что касается роли Японии в разгроме немцев под Москвой, то она явно преувеличена. Во-первых, под Москву были переброшены главным образом сибирские дивизии и только часть дальневосточных. Полной гарантии нейтралитета Японии не было, да и не могло быть. Во-вторых, немцы не без оснований уверенные, что зимовать они будут в теплых квартирах в Москве, не позаботились об обеспечении своих войск зимним обмундированием, теплым бельем, валенками, полушубками. Вдобавок Сталин дал приказ партизанским отрядам и диверсионным группам сжечь подмосковные деревни. Этот приказ был встречен жителями Подмосковья без большого энтузиазма… На то, чтобы сжечь избу, построенную отцами и дедами, и уйти в лесную землянку с детьми и скотом не каждый решится. Не удивительно, что Зою Космодемьянскую задержали сами колхозники и передали своим полицаям, а те отдали ее немцам…

Немцы остались в поле. Однако не мороз остановил их ноябрьское наступление на Москву, а упорное сопротивление частей Красной Армии. С подходом резервов было организовано мощное контрнаступление, перешедшее в «разгром немцев под Москвой» — так стала называться эта битва, похоронившая миф о непобедимости германской армии. Гитлер рассвирепел: он отстранил от должности главнокомандующего сухопутными войсками генерал-фельдмаршала Браухича (и занял эту должность сам), командующего группой армий «Центр» генерал-фельдмаршала фон Бока, а командующего 2-й танковой армией генерала Гудериана не только отстранил, но и отправил на задворки Генштаба, где тот проболтался не у дел почти два года.

Разгром немцев под Москвой (5.12.41–7.01.42) был первой крупной победой Красной армии в Великой Отечественной войне.

Естественно, всё, что в какой-то мере могло умалить значение этой победы, не афишировалось.

Между тем, из-за измотанности своих войск и отсутствия на подходе необходимых резервов, главком сухопутных войск вермахта генерал-фельдмаршал Браухич вынужден был отказаться от попытки захвата Москвы и отдал приказ об отводе войск. Вот что по этому поводу говорит маршал Жуков: «Как выяснилось потом из документов, в ту ночь, когда мы начали свое наступление (с 5 на 6-е декабря 1941 г.) Браухич уже отдал приказ об отступлении за реку Нара, т. е. он уже понимал, что им придется отступить, что у них нет другого выхода». (Конст. Симонов. Записи бесед с Жуковым).

После разгрома японской авиацией в декабре 1941 года главной Тихоокеанской базы ВМФ США Перл-Харбор, в результате чего было уничтожено восемь линкоров, шесть крейсеров, эсминец, двести семьдесят два самолета, убито и ранено около четырех тысяч личного состава, Америка объявила войну Японии. Но не вступила в нее. Она еще не была готова к ведению боевых действий.

Невнятно говорится в статье о причинах поражения армии Роммеля под Эль-Аламейном. Была разгромлена — и все.

Англичане были накануне второго Дюнкерка. И спас их Сталинград. Не желая потерять огромную, свыше трехсот тысяч, группировку, Гитлер снял у Роммеля наиболее боеспособные танковые дивизии и перебросил их на Восточный фронт. Я видел эти танки под Сталинградом. Они были грязно-желтого цвета — цвета пустыни, перекрасить их не успели. Что ожидало бы евреев Палестины в случае достаточно вероятной победы немцев? У нацистов было бы достаточно добровольных помощников…

Нельзя признать и трактовку автором январского, 1945 г., наступления Красной Армии с целью облегчить положение войск союзников в Арденнах. Известное письмо Черчилля Сталину с просьбой об ускорении советского наступления с целью облегчить положение союзников существовало. Да, речь там шла о «временной потере инициативы». И иронизировать по поводу «слезной» просьбы излишне. Невозможно представить, чтобы государственный деятель такого масштаба, этот «старый морской волк» (выражение Сталина, очень импонировавшее Черчиллю) унизился до «слезной» просьбы, до 808. «Временная потеря инициативы» в его устах вполне красноречива.

Нельзя согласиться и с утверждением автора, что после вступления Японии в войну против Советского Союза, если бы оно произошло, неминуемо возникло бы восстание миллионов сибирских заключенных, что предопределило бы крушение

сталинской империи. Подавляющее большинство заключенных было настроено патриотически, многие рвались на фронт (это разрешалось только уголовникам). Мне приходилось встречаться со многими реабилитированными. Поражало, что несмотря на немыслимые тяготы и лишения, на почти двадцать лет лагерей, выпавших на их долю, они оставались патриотами! И более того — продолжали верить в идеалы коммунизма…

Трагедия поколения.

* * *

Безусловно, недооценка, а тем более умаление помощи США Советскому Союзу, недопустимы. Американские поставки в СССР за годы войны составили в денежном выражении около 10 миллиардов долларов (из более чем 40 млрд. помощи, оказанной странам антигитлеровской коалиции) — в т. ч. военной техники примерно 4 % от произведенного в СССР. И это не считая продовольствия. Это была существенная помощь. Достаточно сказать, что количество автомобилей, поставленных американцами, превышало весь автопарк Красной Армии накануне войны.

Приходится признать, что зверства русских полицаев (у автора просто «русских»…) замалчиваются. Акцент делается на литовских и украинских. У всех у них руки по локоть в еврейской крови. От приведенных в статье примеров и через полвека стынет кровь. Особенно отличались казаки, щеголяющие ныне в опереточных костюмах с бутафорскими, большей частью, наградами. Украинцев и литовцев немцы отпускали из плена сразу…

Но можно привести и многочисленные примеры спасения евреев русскими. Надо помнить, что СССР, главным образом Россия, принял миллион шестьсот тысяч евреев. И не только советских. И несмотря на крайне тяжелое положение, предоставил им кров, пищу, работу. Это не были номера в пятизвездном отеле.

Но это было спасение.

Неприятие вызывает и раздраженный тон статьи: «советские борзописцы», «сталинские апологеты», «любители легенд», «краткокурсники», «пропагандистская трескотня» — вот перечень эпитетов, которыми оперирует автор. Этот хлесткий набор по своему характеру напоминает приснопамятные выступления «незабвенного» А. А. Жданова.

Автор задался целью принизить роль Советского Союза в

разгроме нацизма, зачеркнуть героические действия Красной Армии, бросить тень на русский народ. И это ему удалось. В статье.

В этом нет ничего удивительного. При том негативном отношении, которое существует в Израиле к участникам Великой Отечественной войны, пренебрежение к их страданиям и заслугам, многолетнем отказе в предоставлении соответствующего статуса Союзу ветеранов, отсутствии льгот, существующих в других странах, формальном признании 9 Мая — Дня Победы — праздником Израиля, который отмечается, практически, только участниками войны и уйдет вместе с нами — появление такой статьи не удивительно и даже закономерно.

Но ведь это факт, что три года Советский Союз воевал с Германией один на один. Второй фронт был открыт менее чем за год до окончания войны, когда победа была предрешена и союзники, не без основания, опасались триумфального марша Красной Армии по Европе. На советско-германском фронте немцы потеряли 74 % личного состава вермахта. О вкладе в разгром нацизма убедительно говорят и цифры потерь: СССР — 8 миллионов (только на фронте, общие потери в три раза выше), Великобритания — 400 тысяч, США -300 тысяч.

Что касается расхожего выражения, что без союзников мы проиграли бы войну, и ссылки на слова Сталина, приведенные Хрущевым, неизвестно по какому поводу и в какой обстановке (скорей всего конъектурной) сказанные, то гораздо больше доверия вызывают у меня слова Рузвельта и Черчилля. Президент Соединенных Штатов сказал: «Советский Союз сделал для разгрома нацистской Германии больше, чем все остальные двадцать пять государств антигитлеровской коалиции». (Убей меня бог, если я вспомню больше пяти…)

Еще более емко и конкретно, со свойственной ему колоритностью, высказался премьер-министр Великобритании — не самый большой друг большевиков: «Красная Армия выпустила кишки из германской военной машины».

Я верю Черчиллю.

Открытое письмо по поводу интервью Ярославы Стецько («Вести», 6.04.2000)

Польша, сентябрь 1939 г. (фотография из журнала «Слово инвалида войны», Израиль, № 20, 2006)

Не сомневаюсь в искренности пани Ярославы, когда она признается в глубоком уважении к еврейскому народу и готов принять ее комплименты в его адрес. Но мешает прошлое, которое нельзя забыть и с которым нельзя смириться.

Пани Ярослава хочет, «чтобы евреи во всем мире знали: украинцы — не антисемиты». Одного желания пани Ярославы недостаточно. Нужны еще и факты, взгляд в прошлое, чтобы оценить настоящее и предположить будущее, которое представляется все более тревожным.

В своем интервью «Вестям» она заявляет: «Еврейские погромы на Украине — выдумка русских. Мы на Украине не знали такого слова «погром», не знали такого понятия. Самое большое число российских евреев жило на Украине. Этот факт говорит о том, что они здесь хорошо себя чувствовали. Иначе бы они убежали в

другие страны».

Как говорится, свежо предание, да верится с трудом.

Здесь, что ни слово — либо натяжка, либо откровенная ложь. Они и убежали. В Соединенные Штаты, в Палестину, а потом и в Израиль. Самое большое количество евреев России, а затем Советского Союза действительно жило на Украине, но и самое большое количество убитых евреев тоже приходится на Украину. Не будем ворошить далекое прошлое и вспоминать героя украинского народа Богдана Хмельницкого, вырезавшего значительную часть еврейского населения Украины. Лучше вспомним, что в чудовищной акции по уничтожению киевских евреев в Бабьем Яру участвовала тысяча карателей, из них немцев — триста… Жильцы-украинцы привозили своих немощных соседей-евреев к яру на колясках… Перечислить погромы и количество их жертв — не хватит места. На «выдумку русских» это мало похоже.

Утверждение, что в Украинской повстанческой армии «было очень много евреев» ни на чем не основано. Зато хорошо известно, что Хатынь была уничтожена 118-м батальоном УПА. Евреев там не было.

Утверждать, что украинцы не антисемиты, так же нелепо, как утверждать обратное. Среди украинцев были и сочувствующие, были и праведники. Но общее настроение было негативным и откровенно враждебным. И это одна из причин, по которой обреченные евреи «безропотно», как пишут некоторые авторы, шли на смерть, что совершенно не верно. Но это уже другая тема. Бежать им было некуда. И опереться не на кого. Евреев в партизанские отряды принимали неохотно и только с оружием, а в некоторые — не принимали вообще. И если бы только это!

> …К командиру диверсионно-партизанского отряда Леониду Беренштейну влетел начальник штаба:
>
> — Отошли километров десять, вижу на лесной поляне партизаны Куницкого ведут на расстрел группу — человек пятнадцать евреев, бежавших из гетто. Отобрали у них все ценное — и в расход. Я их освободил, этих горе-партизан связал. Что делать дальше?
>
> В это время у Беренштейна находился сам Куницкий:
>
> — Я их расстреляю подлецов!
>
> — Твое дело, — сказал Беренштейн.
>
> *(Из статьи Гр. Розинского о Л. Беренштейне)*

> …В бригаду пришла группа боевых еврейских ребят,

вырвавшихся из гетто, из них сформировали взвод и отправилина ночлег подальше. Ночью пришли, все забрали и оставили в лесу без оружия и пищи. А бригада снялась и ушла в другое место.

(Из воспоминаний партизанки Фени — Фаины Авскеровой)

…В отряд пришел красавец-еврей Миша, из окруженцев. Пошли на задание десять человек, вернулись девять. Без Миши.

«Был бой?». — «Да нет. Шальная пуля из леса».

Да немцев в лес танком не загонишь. Впрочем, не очень и скрывали.

(Из рассказа Давида Розенблата, партизанское имя — Николай Савчук)

…Комендант села Краснопилка Винницкой области — Спиридон Иванченко, увидел, как, держась за забор, пробирается изможденный солдат, — видимо, из пленных: «Хто такий?». — «Я украинец». — «Сейчас все хотят быть украинцами».

Ударил. Солдат упал. И умер[5].

(Из рассказа очевидицы Аллы Резвовой)

…Выломали дверь, избили отца прикладами. Соседи и соученики бегали вместе с немцами и полицаями и опустошали еврейские дома. Житель села Коля Плотнянский стрелял и кричал: «Юден капут!»

(Из рассказа Лизы Хачетурян, в девичестве Мошес)

…Руководил расстрелом вусмерть пьяный начальник полиции Сливенко. Людей подгоняли к яме группами по десять человек. Мужчин заставляли раздевать убитых и кидать вяму, женщин — перебирать одежду. Один из полицаев увидел на руке мамы кольцо и вырвал его вместе с пальцем…

(Из рассказа Блюмы Игнатенко, в девичестве Польдин)

…Ворвались пьяные полицаи, ругались страшными словами. Вбежала соседка — мамина подруга! Сорвала покрывало и стала охапками кидать в него вещи из гардероба. Крикнула: «Митька! У них добрая зингеровская машина. Бери!».

Отец договорился со своей сотрудницей, которую когда-то спас от голода, что она спрячет дочерей. Когда они прибежали, она стала кричать: «Паночку полицай! До мэне жиденята прибегли!».

Одну из дочерей расстреливали три раза. Первый: она потеряла сознание от ужаса — младшую сестренку полицай схватил за ноги и размозжил голову о дерево! — и упала в яму за секунду до выстрела. Второй: сознательно прыгнула в ров за секунду перед залпом, третий: бегала от группы к группе, а «доброжелательная» женщина (!) кричала из окна: «Пане полицай! Детына ховаетца!».

Один полицай сказал другому: «Стреляй ты! В менэ вже палец опух! Я вже богато жидив убыв!».

Вернулась в местечко — и обмерла! По улице ходили полицаи. Те самые, что расстреляли родителей, сестер. Она знала их по именам! Подумала: немцы вернулись. Немцы не вернулись. Следователь стоял в доме той самой женщины, что предала ее и сестер. Она сказала: «Никаких полицаев нет. Я сама припрятала трех Цымринговых дочек».

Не узнала! Думала, все погибли. Люся бросилась к ней и стала душить. Ночью пришли: «Не убили тогда, убьем сейчас!».

(Из воспоминаний Людмилы Блехман, в девичестве Цымринг)

Нет, не удастся пани Ярославе убедить «евреев во всем мире», что украинцы — не антисемиты. Но и автор далек от мысли убедить читателей в обратном. Антисемиты — не народ, а отщепенцы.

Но их было немало.

На Украине почти все попавшие под оккупацию евреи — миллион шестьсот восемь тысяч человек — были уничтожены.

Да будет благословенна их память.

Евреи, которые «не воевали»

В годы Второй мировой войны на фронтах антигитлеровской коалиции воевали 1 миллион 685 тысяч евреев. В рядах красной армии сражались более 500 тысяч (из них 167 тысяч — офицеры), более 200 тысяч погибли в боях. При том, что общий процент погибших на фронте 25 %, у евреев он — 40 %! Т. е. из четырёх выбывших из строя — один убитый, у евреев — почти каждый второй.

В годы войны в Вооружённых Силах СССР служило более трёхсот генералов и адмиралов. Евреями были 9 командующих Армиями, 8 начальников штабов фронтов, 12 командиров корпусов, 64 командира дивизий.

Но кого это убеждает! «Евреи не воевали» — и всё.

Настоящие заметки не исследование, а попытка, хотя бы частично, пополнить списки евреев, участников обороны Ленинграда, чьи фамилии либо еще не звучали, либо забыты за давностью.

Бои за Ленинград начались на дальних подступах к северной столице в начале июля 1941 года в сражениях за города Остров и Псков, где на пути германских войск встал 1-й мех-корпус Михаила Львовича Чернявского.

С 15 августа начались бои за Новгород. В обороне города принимала участие 28-я танковая дивизия, которой командовал будущий прославленный военачальник, генерал армии, а в начале войны полковник Иван Данилович Черняховский. Комиссаром у него был Ехиль Львович Банквицер.

Почти весь август (с 9 по 28) шли бои за Таллин. Артиллерией военных кораблей и береговой артиллерией командовал капитан 1-го ранга Николай Эдуардович Фельдман. Видную роль в обороне города сыграл начальник штаба 10-го стрелкового корпуса 8-й Армии Лев Самойлович Березинский. В боях за столицу Эстонии участвовал 1-й Латвийский добровольческий полк, личный состав которого в значительной мере состоял из евреев.

Острова Моондзунского архипелага оборонялись до 2-го октября 1941 г. Здесь отличился 46-й полк 3-й стрелковой бригады, которым командовал майор Аркадий Соломонович Марголин. Начальником вооружения береговой обороны был Александр Оскарович Лейбович. Командиром звена катерных тральщиков — лейтенант Миссерман. В исключительно трудных условиях оперировал раненых военврач 3-го ранга, хирург Борис Сигизмундович Левин.

Героическая оборона острова Ханко продолжалась 164 дня. Руководил обороной генерал Кабаков. Его заместителем, а затем комиссаром базы был дивизионный комиссар Арсений Львович Раскин. В обороне города отличились командир 9-й тяжелой железнодорожной артиллерийской батареи (калибр 305 мм!) капитан Лев Маркович Тудор, комиссар 219-го стрелкового полка капитан Иннокентий Александрович Лейтман, начальник штаба, а потом и командир 13-го авиаполка Петр Львович Ройтберг.

Защищая Кингисепп, вместе с воинами 8-й Армии почти полностью погибли моряки 2-й бригады морской пехоты вместе с военкомом укрепрайона полковым комиссаром Давидом Вениаминовичем Якобсоном. Из трех танковых бригад Ленфронта двумя командовали евреи: 152-й — полковник Арон Захарович Оскоцкий, 220-й — Иосиф Борисович Шпиллер.

Членом Военного Совета Волховского фронта (в течение войны и ряда других фронтов) был генерал-полковник Лев Захарович Мехлис, в разные годы возглавлявший Главное Политическое Управление Красной Армии — ГлавПУР. Человек большой человеческой отваги, он не всегда соизмерял личную храбрость с обстоятельствами. В значительной мере по его вине была провалена и стоила больших жертв, вполне обоснованная по возможностям наших войск, попытка изгнания немцев из Крыма в начале 1942 года. Будучи Членом Военного Совета Крымского Фронта, он запретил войскам окапываться — сразу в атаку. Это сыграло роковую роль. Сталин понизил его на одну звезду (восстановлена в 1944 году).

С наступлением холодов, в тяжелейшей обстановке умирающего от голода в полной блокаде Ленинграда, встал вопрос о создании трассы по льду Ладожского озера. Начальник метеорологической службы фронта подполковник Яков Хаимович Иоселев двое суток практически не вылезал из Ладоги, исследуя процесс замерзания воды и по его рекомендации было принято решение строить ледовую трассу в южной части озера.

Руководил строительством военинженер 3-го ранга Б. В. Якубовский, его заместителями были военинженеры 3-го ранга М. З. Гусинский и В. М. Беккер.

Первым проложил путь по трассе разведотряд 88-го отдельного мотострелкового батальона под командованием старшего политрука Вениамина Израилевича Брука. Первая нитка ледовой дороги была проложена 21-го ноября 1941 года, по ней прошел конный обоз в 350 упряжек; 22 ноября — первая автоколонна полуторок 389-го автобатальона, которой командовал майор Биберган. Когда лед окреп — пошли трехтонки, эту колонну повел помначштаба 64-го дорожно-

эксплуатационного полка Соломон Ильич Школьников.

Начальником эвакопункта по эвакуации населения был Л. А. Левин. Деятельное участие в эвакуации детей принимал бывший директор Ленинградского Дворца пионеров Натан Штейнварг.

Начальником политотдела военно-автомобильной дороги через Ладожское озеро (ВАД-101) был Михаил Давидович Орловский.

Возникла необходимость и в авторемонтной базе. К озеру было переброшено оборудование 1-го авторемзавода, руководил работой базы директор завода Юрий Александрович Корогодский.

В отражении воздушных атак вражеской авиации участвовала зенитная батарея 3-го полка 281-й стрелковой дивизии, командовал батареей Семен Рувимович Кабановский.

Медицинскую помощь на ледовой дороге оказывал полевой подвижный госпиталь № 2228, ведущий хирург И. С. Корбман.

В группу исследователей состояния льда входили гидрометеорологи К. И. Черновский, Н. Т. Черниховский и профессор Бернштейн.

Последний конный санный обоз проследовал по Дороге Жизни 22 апреля 1942 года. Но еще 24 апреля, через два дня, командир взвода транспортников Ф. Г. Зингер, по колено в воде, доставил в Ленинград во вьюках, ведя коней на поводу, драгоценный груз — репчатый лук.

Прекратился и подвоз горючего. Группа инженеров Управления снабжения горючим Красной Армии во главе с полковником Семеном Марковичем Бланком, главным инженером Давидом Яковлевичем Шенбергом, инженерами Михаилом Федоровичем Мирончиком и СИ. Лещинером разработала проект прокладки трубопровода по дну озера с восточного берега на западный.

Прокладкой бензопровода под огнем противника занималась сварочно-монтажная часть № 104 Наркомстроя СССР: начальник В. Я. Штейн, главный инженер Александр Семенович Фалькович. Бензопровод был проложен менее чем за пятьдесят дней, в условиях, о которых можно только догадываться, и в течение двух с половиной лет был единственным средством доставки горючего в осажденный город.

В городе не было электроэнергии. Стояли заводы, бездействовал городской электротранспорт, в домах не было ни света, ни воды, не работал телефон. Необходимо было проложить подводный кабель от действующей Волховской электростанции. Но не было самого кабеля.

Единственный завод по его производству — «Севкабель» — стоял… Был создан силовой цех, которым руководил инженер-

конструктор СИ. Арензон и кабель был изготовлен. 23 сентября 1942 года свет в многострадальный город был дан. Город стал оживать.

Одной из двух переправ в районе Невской Дубровки руководил командир 2-го саперного батальона капитан Иосиф Владимирович Манкевич. Он погиб. Огневая обстановка на плацдарме была такой, что больше трех месяцев никто там не продержался. Но таких были единицы. К марту 1942 года в ротах 204 стрелкового полка оставалось по 10–12 человек, а в полку — сто тринадцать… Из 330-го стрелкового полка 86-й стрелковой дивизии в живых осталось два человека: командир полка В. А. Блохин — тяжело раненым он попал в плен — и начальник штаба полка, спортсмен, майор Соколов, которому удалось, несмотря на ледоход, расталкивая льдины, переплыть Неву. Но это единичные случаи. В ночь на 29 апреля 1942 года Невский пятачок перестал существовать…

Положение города оставалось крайне тяжелым. Была острая необходимость в наземной коммуникации. С этой целью 12 января 1943 года была предпринята операция под кодовым названием «Искра». В этих боях отличился лейтенант Михаил Бик, со своими автоматчиками первым ворвавшийся в Шлиссельбург.

Утром 18 января 1943 года подразделения 136-й стрелковой дивизии Ленинградского фронта встретились с воинами 18-й стрелковой дивизии Волховского фронта. Блокада была прорвана.

Но не снята. Полный прорыв блокады Ленинграда произошел 27 января 1944 года. После девятисот дней блокады ликованию ленинградцев не было границ.

Успех операции «Искра» позволил железнодорожным войскам в рекордные сроки проложить узкоколейку по берегу Ладожского озера, через Шлиссельбург, которая соединила Ленинград с Большой Землей и значительно облегчила положение ленинградцев.

Остается добавить, что утром 12 января, к началу операции «Искра», к кромке правого (северного) берега Невы подошел духовой оркестр и пока пехота под шквальным огнем противника по льду форсировала Неву и карабкалась на обледеневший противоположный берег (который немцы загодя поливали водой, чтобы наморозить лед и затруднить штурм), оркестр несколько часов играл Интернационал. Губы оркестрантов примерзали к мундштукам — появились раненые, кто-то погиб. Но играли.

Большая часть музыкантов оркестра были евреи.

(По материалам Александра Копанева)

«Стада ветеранов»

(в первом ряду второй слева — автор)

С последней алией в Израиль приехало довольно много русскоязычных писателей и в первой десятке наиболее известных и популярных в Советском Союзе с уверенностью можно назвать Дину Рубину. Даже удивительно, что такая талантливая, читаемая и почитаемая писательница, вспыхнувшая на литературном небосклоне в неполные шестнадцать лет, печатавшаяся в толстых журналах, наперебой за ней ухаживавших, имевшая миллионы читателей, оказалась здесь.

Зов предков? Чувство прародины? Я ей завидую. Чувство прародины должно быть воспитано с младых ногтей. Это как талант. А талант — как деньги. Сказал же классик: «Если он (они) есть — так есть, а если нет — так нет».

Давно подбирался к «Машиаху». Хотелось читать не торопясь. Казалось — еще одно неотложное дело — и все: сяду и буду читать, не отрываясь. Понимал, что обольщаюсь. И когда сел — понял: «Машиах» не для быстрого чтения. В каждом абзаце есть что-то на чем хотелось бы остановиться, задуматься, порадоваться. Позавидовать…

Почему такая несправедливость? Одним все, другим мало или вовсе ничего. Вот взять бы да и поделить поровну и чтоб всеобщая серость. И никому не обидно.

Но кто это будет читать?

Однажды Ротшильд спросил социалистов: «Чего вы добиваетесь?». — «Все отобрать и поделить поровну!». — «Так это выйдет всего по пять фунтов!». — «Ладно. Пусть остается по-старому». — Так и с талантом.

И здесь у Дины Рубиной есть читатели. Тысячи. А были миллионы. И они ее потеряли. Или она их?

А к книге хотелось вернуться. И снова любоваться свободой слова, самоиронией, хлестким юмором, доброй усмешкой над нежно любимыми героями. Стариками в том числе. Но на одном абзаце споткнулся. Ударился больно.

«Огромные стада ветеранов, могучее племя вымирающих динозавров спустилось на водопой. У каждого амбиции, каждый пятый брал Берлин, каждый пятидесятый — кавалер всех орденов, каждый трехсотый — Герой Советского Союза. Все они пишут воспоминания».

Ах ты, злюка-закорюка!

«За содержание рекламы редакция ответственности не несет».

А за монолог героя — автор?

Обиднее всего, что все это — правда.

Но как зло. Как пренебрежительно.

Впрочем, что возьмешь с неунывающего неудачника Сашки Рабиновича. И «Чайка» в Душанбе прошла не в его неплохих, в общем, и, одобренных худсоветом, декорациях. Вернувшийся из Таллина главреж Ланге «видел» иначе, и пришлось делать новые. Был ли тогда Сашка — Рабиновичем? Не вспомнить. Много воды утекло.

Но вернемся к нашим баранам. Простите, динозаврам. Амбиции есть. И немалые. Израильские школьники убеждены, что во Второй мировой войне Советский Союз воевал на стороне Германии против Америки, но Америка победила. Знают ли израильтяне о словах Черчилля — не самого большого друга большевиков: «Красная Армия выпустила кишки из германской военной машины» — старик любил подобные выражения и был польщен, когда Сталин назвал его старым морским волком. Или Рузвельта, сказавшего, что «Советский Союз сделал для разгрома гитлеровской Германии больше, чем остальные двадцать пять государств антигитлеровской коалиции».

Знает ли об этом «Сашка Рабинович»? И автор?

И упаси Бог сказать, что Израиль был создан в результате Победы! И Герои есть. И много. Уже называется цифра — 158. Испытываешь чувство неловкости от той назойливости и усилий, с которыми выискиваются еврейские корни или отдаленное

еврейское родство Героев Советского Союза. Критерий должен быть один. В представлении на присвоение звания, как и в любом наградном листе, обязательно указывалась национальность. И мудрствовать задним числом, почему был записан русским недостойно. Записался и записался. Твое дело. Писался бы евреем — значит евреем и был. И есть. Известен случай, когда потомки одного генерала спустили с лестницы «поисковиков» — они не хотели быть детьми еврея. (Есть основание подозревать, что это были дети легендарного танкового генерала, впоследствии Маршала бронетанковых войск, Михаила Ефимовича Катукова).

С орденами и вовсе беда. В праздничные дни некоторые ветераны перекидывают через плечо ленту, на которой в беспорядке нацеплены множество значков, памятных и юбилейных медалей (боевыми наградами не являющихся) и обиднее всего, что среди обилия этих «блестящих» значков теряются боевые ордена и медали, честно заслуженные в боях. И это просто некрасиво. В прямом и переносном смысле. Все-таки фронтовик чем-то отличается от олимпийца.

Помимо того, что это нарушение положения об орденах и медалях, четко определяющего порядок их ношения, это неуважение к государственным наградам, к Красной Армии, к Великой Отечественной войне.

Невозможно представить себе ветерана союзных войск, увешанного таким количеством значков. И не надо считать израильтян дурачками. Они прекрасно понимают, что ТАКОГО количества боевых наград не может быть. И посмеиваются втихомолку. А иногда и вслух.

«И все пишут воспоминания». Положим, не все. Но многие. Некоторые с высокой целью, «чтобы не повторилось». Милые вы мои! Чужой опыт еще никому не пригодился. Никто им не воспользовался. История учит только тому, что она никогда ничему и никого не научила.

А пишут потому, что не писать они не могут. Слишком тяжка и сложна судьба. Написать — снять с себя часть этой тяжести. Оставить память о своих боевых товарищах. И немножко о себе. Велик ли грех? Их борьба и их триумф заслуживают этого. Эти воспоминания — энциклопедия войны. И вписать в нее свою строчку — счастье. Будут ли востребованы? Об этом думать — не нужно и за стол садиться.

А «динозаврам» только и остается, что вымыть ноги.

Как говорил дед Дины: «Мэйле. Вымоем».

Несколько слов по поводу кинофильма «Штрафбат»

Офицеры 163-й штрафной роты, первый слева — автор

«Штрафбат» — не первый фильм о штрафниках и в нем, как и в предыдущих, много погрешностей, еще больше отсебятины и просто вранья.

Штрафные роты и батальоны были созданы по приказу Сталина № 227 от 28 июля 1942 года, известному как приказ «Ни шагу назад». «Сегодня, 28 июля 1942 года, — говорилось в приказе, — войска Красной Армии оставили город Ростов, покрыв свои знамена позором». По этому приказу в общевойсковых армиях создавалось от 3 до 5 штрафных рот, а при каждом фронте от 1 до 3 штрафных батальонов (во второй половине войны соответственно 3 и 1) и заградотряды получили право «останавливать отступающих любыми средствами».

Командир штрафной роты и штрафного батальона (но не штурмового) имеет право увеличить срок штрафа, а за особо тяжкое преступление — дезертирство — расстрелять. Штраф снимается по первому ранению или отбытию срока. Снимается он и с погибших, иначе семья не получит пенсии. Дикий кадр с расстрелом своих штрафников, чтобы семьи получили пенсию — кощунство. Не знаю, как в 1942–43 годах, но в 1944–45 никакие

заградотряды не стояли у нас за спиной.

Штрафные роты — армейского, а батальоны — фронтового подчинения. И дивизии, на участках которых намечается разведка боем или прорыв, придаются НЕ НАСОВСЕМ. В любое время они могут быть переброшены Командованием на участок другой дивизии.

НИКАКИЕ отделы штаба дивизии, кроме оперативного — в том числе ОСОБЫЙ — к штрафной роте, штрафным и штурмовым батальонам отношения НЕ ИМЕЮТ. Штрафные подразделения подчиняются командиру дивизии ТОЛЬКО в оперативном отношении.

По идее штрафными ротами должен заниматься особый отдел Армии, а штрафными и штурмовыми батальонами — фронта. Армия и Фронт — огромные соединения. Им не до нас. У них хватает головной боли и никто не станет искать себе дополнительную работу. Она уже проделана при направлении в штрафники.

Мне неизвестны случаи, чтобы штрафники оставались голодными. Штрафные подразделения имеют свои хозяйственные службы и получают продукты, обмундирование и водку с армейских складов, минуя дивизию и полк, где сколько-нибудь да украдут.

Самострельщиков не щадили — никакой врач не стал бы рисковать. «Своя» пуля еще ничего не значит, у немцев было огромное количество трофейного оружия; мог быть и случайный выстрел. Самострел определяется по точечным ожогам от крупинок пороха вокруг входного отверстия раны.

Почти все штрафники в касках. Их и в обычных подразделениях не жаловали и выбрасывали вслед за противогазами. Русского солдата спасает не каска, а всемогущее слово «авось»…

А вот разминирование поля боя от противопехотных мин (и не только штрафниками!) — правда. Это подтвердил Маршал Жуков в беседе с генералом Эйзенхауэром, встретившись с ним в Москве летом 1945 года. В своих воспоминаниях генерал писал, что было бы с американским или британским Командующим прибегни они к такой практике…

Штрафные подразделения различны не только по своему составу, но и по боевому духу. Штрафные и штурмовые батальоны не надо подымать в атаку. Желание реабилитироваться и вернуться, кому повезет, с офицерскими погонами и правом занять прежние или равнозначные должности (как правило шли с понижением) — велико.

Другое дело штрафные роты. Заблуждение думать, что

уголовники, которые составляли основной контингент этих рот, жаждут отдать свою жизнь за родину. Совсем даже наоборот. И автор знает об этом не из подобных кинофильмов…

А штрафных бригад не было вообще.

За что попадали в штрафники: оставление позиции без приказа, проявление трусости в бою, превышение власти, хищение, оскорбление старшего по чину или должности, драка. Уголовникам в зависимости от судимости от 1 до 3 мес.

НИКОГДА офицеры действующей армии, которых Военный Трибунал не разжаловал и сохранил воинские звания, не направлялись в штрафные роты — только в офицерские штрафные батальоны на срок от одного до трех месяцев или до первого ранения.

НИКОГДА офицеры, вышедшие из окружения, бежавшие или освобожденные из плена наступающими частями Красной Армии не направлялись ни в штрафные роты, ни в штрафные батальоны — только и исключительно в штурмовые батальоны, где сроки не варьировались — 6 (шесть!) месяцев для всех! Но до этого они должны были пройти «чистилище» лагерей НКВД, где должны были доказать, что не бросили оружия и не перешли добровольно на сторону врага, а кому это не удавалось — отправляли в тюрьмы и лагеря, а иногда и под расстрел… Эти лагеря, если и отличались от немецких, то в худшую сторону… В одном из них утром на весь день выдавалось 200 (двести) грамм крупы: вари на чем хочешь, в чем хочешь…

НИКОГДА уголовники не направлялись для отбытия наказания в офицерские штрафные батальоны — только в штрафные роты, как рядовые, сержанты и разжалованные Трибуналом офицеры.

НИКОГДА политические заключенные не направлялись ни в штрафные роты, ни в штрафные или штурмовые батальоны. Хотя многие из них — искренние патриоты — рвались на фронт защищать Родину. Их уделом оставался лесоповал.

НИКОГДА штрафные роты не располагались в населенных пунктах. И вне боевой обстановки они оставались в поле, в траншеях и землянках. «Контакт» этого непростого контингента с гражданским населением чреват непредсказуемыми последствиями. Вечеринка в деревне — абсурд.

НИКОГДА, даже после незначительного ранения и независимо от времени пребывания в штрафподразделении, никто не направлялся в штрафную роту или батальон повторно.

НИКОГДА в штрафных подразделениях никто не обращался к начальству «гражданин». Только «товарищ». И командиры не называли своих подчиненных штрафниками.

НИКОГДА командирами штрафных подразделений и частей не назначались штрафники. Командир штурмового батальона, как правило, подполковник, и командиры пяти его рот: трех стрелковых, минометной и пулеметной — кадровые офицеры, НЕ штрафники. Из офицеров-штрафников назначаются командиры взводов.

НИКТО, кроме политработников не «благословлял» штрафников перед боем. Благословление солдат и офицеров штрафного батальона перед боем СВЯЩЕННИКОМ — чушь собачья, издевательство над правдой и недостойное заигрывание с Церковью. Сцена насквозь фальшива. Уж не на деньги ли Церкви снят фильм?

В Красной Армии такого не было. И быть не могло.

Фильм искажает историю Великой Отечественной войны и наносит, учитывая значение, возможности и влияние телевидения, непоправимый вред новому поколению, не знавшему войны и не знающему правды о ней.

Молодое поколение будет думать, что так оно и было.

Было, но не так.

Демонстрация по телевидению «Штрафбата» в самый дорогой для фронтовиков Праздник Победы не может не вызвать осуждения и разочарования.

Если создатели фильма (реж. Ник. Досталь, сцен. Эд. Володарский) будут, как они этого заслужили, «разжалованы в рядовые», я с удовольствием зачислил бы их в 163 штрафную роту 51 Армии, заместителем командира которой я был..

Реплика

В октябре 2005 года по телевидению был показан фильм о Буденном. Слов нет, Семен Михайлович Буденный оставил след в истории Советского государства и имеет право на фильм о себе. Его заслуги относятся главным образом к гражданской войне. Тем более удивительно слышать, что накануне войны Сталин совещался с ним и Тимошенко, предупредив их, что завтра нападут немцы и нужно подготовиться.

Нельзя подвергнуть этот фильм обычной критике после привычного «однако», настолько чудовищны ошибки и трактовка событий. Это совещание, будто бы, состоялось поздно вечером в субботу 21 июня, т. е. за несколько часов до начала войны. Не говоря уже о том, что практически времени для какой-либо серьезной подготовки уже не было, само совещание в этом составе бессмысленно и все это чистый бред.

Начнем с того, что Сталин, несмотря на предупреждения Черчилля и германского посла в Москве графа Шуленбурга, несмотря на донесения собственной разведки, в том числе Рихарда Зорге, и другие очевидные факты (состав германского посольства почти полностью выехал из Москвы, все германские корабли покинули советские порты), до последнего дня не верил в нападение Германии на нашу страну, считая все это инсинуацией. Более того, когда война уже началась, он считал, что «это провокация немецких военных» и запре-тил открывать ответный огонь, «чтобы не вызвать более широких военных действий». Лишь в 6 час. 30 мин. УТРОМ 22 июня, на совещании в Кремле руководства страны, когдабоевые действия уже вовсю велись на нашей территории, он разрешил открыть ответный огонь.

Но инициатива уже полностью перешла к нападавшим…

Что касается СМ. Буденного, то он в это время был инспектором кавалерии Красной Армии и непосредственно частями не командовал. В начале войны Буденный некоторое время курировал Южное, а потом и другие направления, а под Москвой командовал Резервным фронтом.

Приняв развалившийся Западный фронт, Жуков отстранил Буденного от командования Резервным фронтом. Видимо для этого были основания: положение под Москвой стало критическим и раздумывать было некогда.

Безусловно, Семен Михайлович активно участвовал в Отечественной войне, направлялся Ставкой на отдельные участки

для выполнения каких-то задач, но трудно привязать к его имени какие-либо конкретные сражения или победы. Заметного следа он не оставил.

Авторы фильма (не запомнил, да и не стоят упоминания их имена) не знают элементарных вещей, иначе они «пригласили» бы на это «совещание» Начальника Генерального Штаба — тогда это был Жуков. Но его на этом вымышленном совещании не было. (Он присутствовал на предутреннем совещании в Кремле 22 июня, когда война уже шла).

Наркомат (Министерство) Обороны не руководит боевыми действиями. Он (оно) обеспечивает армию бронетехникой, артиллерией, оружием, боеприпасами, продовольствием, медицинским обслуживанием и, последнее по счету, но не по важности — резервами.

Боевыми действиями руководит Генеральный Штаб. Как создателям фильма удалось провести «совещание» в отсутствие начальника Генштаба — уму непостижимо. В этом случае указание Сталина Наркому Обороны С. К. Тимошенко и инспектору кавалерии РККА СМ. Буденному подготовиться к войне было бы просто сотрясением воздуха.

Хоть и не к месту, припоминаются отношения Буденного с евреями. Вот его приказ от 16 октября 1920 года:

> «Мы должны во что бы то ни стало взять Крым и мы возьмем его, чтобы потом начать мирную жизнь. Немецкий барон делает отчаянные усилия, чтобы удержаться в Крыму, но это ему не удастся. Ему помогают изменники революции — ЕВРЕИ и буржуазия. Но достаточно будет решительного удара славной конницы и предатели будут сметены.
>
> *Командарм Буденный».*

Известно, что в гражданскую войну еврейские погромы совершали все: и белые, и красные, и зеленые, и махновцы (сам Махно был против погромов). Когда Буденному на это попеняли, он сказал: «Что уж вы не даете моим конникам повеселиться!..»

Мир праху его.

Еще большую досаду вызывает грубая ошибка Николая Сванидзе в телепередаче «Битва за Москву» (сериал «Исторические хроники»). В тяжелые октябрьские дни сорок первого года, когда под Москвой было окружено шесть советских армий (более шестисот тысяч человек) и Западный фронт практически перестал существовать, Сталин якобы вызвал к себе

Конева. Состояние вождя повергло его в шок. Перед ним сидел растерянный старик, который дребезжащим голосом сказал: «Товарищ Сталин не предатель, — (в третьем лице!), — Товарищ Сталин слишком доверчив». Взяв себя в руки, Сталин якобы поручил Коневу выехать на фронт, разобраться в обстановке и восстановить положение.

Здесь все правильно.

Кроме одного. Это был не Конев, а **Жуков!**

Отозванный 6 октября из Ленинграда телеграммой Сталина в Москву, на следующий день, 7 октября, прямо с аэродрома явился в Кремль. Он! А не Конев.

Судьба Конева, командовавшего Западным фронтом, висела в эти дни на волоске. Выезжавшие по поручению Сталина на фронт Молотов и Ворошилов предлагали отдать Конева под суд Военного Трибунала и он, скорей всего, разделил бы судьбу несчастного Павлова. Спас его вновь назначенный Командующий Западным фронтом Жуков, взяв к себе в заместители.

Сталину и мысль такая не пришла бы в голову, он считал Конева виновником разгрома фронта и вызывать его для спасения положения… это надо додуматься. Виноват же был сам Сталин, не разрешивший отвод войск, когда создалась угроза их окружения. Он промедлил два дня, а когда разрешил — было уже поздно.

Для Николая Сванидзе такая ошибка непростительна.

Новому поколению трудно себе представить — Красную Армию любили. Любили не только в предвоенные годы, когда молодежь стремилась в военные училища, чтобы стать краскомами — красными командирами, любили во время войны. Как единственную, в отсутствие второго фронта, защитницу, любили после войны, как Армию-победительницу. Я еще помню время, сейчас в это трудно поверить, когда матери приходили в военкоматы и просили взять сына в армию: «Там он станет человеком».

Любили Красную Армию и в странах Восточной Европы. Любили и ждали. Как Армию-Освободительницу. Достаточно посмотреть кинохронику, как встречали наши войска в освобождаемых от немецкой оккупации государствах. И любили бы до сих пор, если бы после Победы Армия вернулась на Родину. Мы остались — и превратились из освободителей в оккупантов.

К сожалению негативное отношение к Советской Армии странным образом перекинулось на Советский Союз, на Родину, и с помощью СМИ постепенно «завоевало» доминирующие позиции в обществе. Невозможно припомнить ни одного произведения,

рассказа, очерка, статьи, в которых Армия имела бы положительный образ. Все негативно, все плохо. Многое и в самом деле плохо. Но не все. Так не бывает.

Плюнуть в сторону Армии, как и вообще в прошлое, считается чуть ли не доблестью. Автор «Исторических хроник» Николай Сванидзе — человек послевоенного поколения, для него характерно негативное отношение практически ко всему, что связано с прошлым страны и ее Армии. Его заявление, что Прагу освободили власовцы неверно по существу и является попыткой обелить предателей.

Отношение народов Чехословакии к Красной Армии в 1945 году было восторженным. Ее ждали с надеждой и любовью. Совершенно невероятно, чтобы восставшие чехи обратились за помощью к власовцам. Все было с точностью до наоборот. Сами власовцы, надеясь на прощение или снисхождение ДВАЖДЫ направляли своих представителей в Национальный Совет восстания с предложением помощи. И оба раза получили от ворот поворот! Им было заявлено, что поскольку они воевали против Красной Армии — их помощь принята быть не может.

Вот что пишет генерал армии С. М. Штеменко в книге «Генеральный Штаб в годы Великой Отечественной войны»:

> «В ночь на 6 мая (1945 г.) Чехословацкая Народная Рада обратилась ко всем союзным армиям с просьбой о помощи. Той же ночью в 5 часов утра прозвучала просьба на русском языке: «Советскому Союзу, 4-й Украинский фронт. Срочно просим парашютную поддержку. Высадка в Праге. 12. Виноградны — Олынанское кладбище».

И далее:

> «Власовцы стремились уйти на запад. Они не собирались прекращать битвы против Советского Союза даже после капитуляции Германии. Они надеялись сохранить свои кадры в предгорьях Альп, чтобы отсидеться… до начала войны Англии и США против Советского Союза! Одни яростно отстреливались до последнего, другие покорно ждали своей судьбы. Отдельные группы, по своей инициативе, вступали в перестрелку с гитлеровцами (Подразделения дивизии С. К. Буняченко. Сам Власов был против — *прим. авт.)».*
>
> *(Цитата дана в сокращении).*

И еще:

> «С полной уверенностью следует сказать, что если бы не решительные действия 1-го и 4-го Украинских фронтов — Прага разделила бы судьбу восставшей Варшавы».

9 мая в 5 часов утра, после ночного марша, первыми подошла к Праге 55-я гвардейская танковая бригада полковника Драгунского. Драгунский по карте нашел центр города и ворвался со своими танками на Врацлавскую площадь.

В Праге еще шли бои! Так что говорить, что Прагу освободили власовцы — значит не считаться с историческими фактами.

А Давид Абрамович Драгунский был награжден второй золотой медалью Героя Советского Союза.

Окрик

(по поводу статьи Якова Гохберга «Хватит праздновать наособицу»)

Достойно сожаления, что такой известный и информированный человек, чьи лекции я когда-то с интересом посещал, написал сумбурную статью, где намешал всего понемножку.

Начав с того, что предостерег читателей от Третьей мировой войны, ядерный характер которой может не оставить человечеству шансов на выживание, автор без передышки беспокоится о самочувствии побежденных на празднике Победы. Да, они будут чувствовать себя неважно. Но что поделаешь — придется потерпеть. Впрочем, их уже почти не осталось, а новое поколение, пришедшее в мир, никакой вины за собой не чувствует и чувствовать не должно.

Многое из того, о чем пишет Яков Гохберг — правда. Она общеизвестна: и летчики немецкие учились у нас, и танкисты, и инженеры трудились. Но я бы хотел обратить внимание читателя на ту часть приведенной автором статьи цитаты генерала Эриха Шнейдера, где тот говорит, что «это, несомненно, принесло большую помощь русским». Не более, не менее. Так что все не так однозначно.

К слову сказать, Гудериан никогда не учился в советской Академии. Он приезжал в Казанское танковое училище, где обучались его танкисты, с проверкой. Но и этому нет прямых доказательств. А вот Геринг действительно учился у нас в Качинском летном училище.

До сих пор нет однозначного отношения к пакту Молотов-Риббентроп. Яков Гохберг относится резко отрицательно. Не все здесь так просто. Сошлюсь на мнение «врага большевиков номер один», как он любил себя называть, Уинстона Черчилля, сказавшего: «Пакт был циничен, но необходим».

Разоблачение «дела врачей-евреев» действительно произошло после смерти Сталина. Но задержал исполнение этой, уже подготовленной, изуверской акции по выселению и уничтожению евреев, сам Сталин, не дав последнего «добро». Существует мнение, что толчком к этому послужило письмо Эренбурга, отказавшегося подписать покаянное письмо евреев и просившего у Сталина «совета», как ему поступить.

О Победе. Известно, что агонизирующая Германия

предпринимала усилия, чтобы капитулировать перед союзниками. Акт о безоговорочной капитуляции был подписан 7 мая в небольшом городке Реймсе на франко-германской границе. Капитуляцию принял Командующий Союзными силами генерал Эйзенхауэр. Представитель Советского Командования при его ставке полковник Суслопаров весь день звонил Сталину. Война кончилась. Сталин спал. Будить его не решились. На акте о капитуляции Суслопаров сделал приписку: «Данный акт является предварительным».

Сталин был взбешен. Но дело было сделано и на торжественное подписание акта о безоговорочной капитуляции к Жукову в Карлхорст приехали вторые лица: Маршал авиации сэр Артур Теддер, Командующий авиацией США генерал Спаатс и Командующий французской армией генерал Делатр де Тассиньи. Эйзенхауэр и Монтгомери не приехали. Это был вечер 8 Мая 1945 года. Но еще 6 мая Эйзенхауэр предъявил немцам ультиматум: прекращение всех боевых действий и передвижений войск к 24 часам 8 мая. И он был принят. Вот почему на Западе День Победы отмечается в этот день — 8 Мая.

После подписания акта о безоговорочной капитуляции в соседнем зале был банкет, на котором среди многочисленных тостов Маршал Жуков поднял тост за генерала Спаатса и сэра Теддера: «Пью за ваше здоровье от имени наших солдат, которым для того, чтобы увидеть результаты вашей работы, пришлось дойти до Бердина своими ногами!» (Конст. Симонов. Беседы с Маршалом Жуковым).

Покажется странным, но святое слово «победа» на фронте не произносилось. Солдат — от рядового до генерала — всегда говорил: «Когда уже кончится эта проклятая война».

Но это слово жило в наших сердцах!

Даже в самое тяжелое время. Эта вера помогла нам победить. Я был в шоке, услышав слова Жукова в интервью, взятом у него Константином Симоновым: «Полной уверенности, конечно, не было». Слово Победа было слишком дорого, чтобы произносить его всуе, до самой Победы. Чтобы не сглазить, наверное.

Дальше у Якова Гохберга идут совсем уж веселые вещи. Оказывается войны было не одна, а две. Одна — Отечественная, которую советский народ вел с гитлеровской Германией, и другая — личная война Сталина с Гитлером. Сталин победил и, «естественно», захотел в своей личной войне иметь и свой личный День Победы. Вот и назначил его на 9 Мая. И вот весь мир празднует 8 мая, а мы «наособицу» (слово Якова Гохберга) — 9-го.

Затрудняюсь сказать чего здесь больше: выдумки или безответственности.

Подписание акта о безоговорочной капитуляции Германии состоялось в столовой Карлхортского инженерного училища с 24 часов 8 мая до 00 часов 43 минут 9 мая — именно в это время вся церемония была закончена. За несколько часов до подписания акта Президиум Верховного Совета СССР издал указ от 8 мая 1945 года об установлении 9 Мая Дня Победы и учреждении медали «За победу над Германией». (Опубликован на следующий день, 9 Мая). Были и другие причины — прежде всего громадная территория Советского Союза с несколькими часовыми поясами и несовершенство тогдашней системы связи. Когда Маршал Жуков принимал капитуляцию — на востоке страны шел уже новый день — 9 Мая. Кроме того, в отдаленных поселках могли бы и не услышать вовремя о Дне Победы. А Праздник-то был всенародный!

Особенно возмущает заголовок статьи. Уважаемый автор обращается к пожилым людям, участникам войны, ветеранам, как к нашкодившим мальчишкам с окриком «Хватит». Дескать, побаловались и хватит, пора и за ум взяться.

Миф и реальность

Одно из самых кровопролитных и самых решающих сражений Великой Отечественной Войны — Курская битва (с 5 по 23 июля 1943 года), положившая начало окончательному разгрому врага, ассоциируется с беспрецедентным по размаху и ожесточению танковым сражением под Прохоровкой.

Это не совсем так.

В послевоенные годы состоялась встреча танкистов противоборствующих сторон, на которой немецкие танкисты заявили, что в этой битве победили они. Заявление вызвало замешательство. Они пояснили: на поле боя осталось больше сгоревших и подбитых советских танков, чем немецких. Убедительно.

К сожалению, это правда.

Поневоле вспоминается битва под Бородино, победу в которой вот уже почти двести лет приписывают себе обе стороны..

Попробуем разобраться.

Несмотря на наш мощный упреждающий удар, германское командование не могло отменить подготовленное наступление. Оно лишь отложило его на два часа: «точка возврата» была пройдена.

Военные историки оперируют цифрой 700 танков, якобы наступавших под Прохоровкой. Но в том то и дело, что на южном участке Курской дуги у Манштейна было всего 700 танков, а в районе Прохоровки наступал 2-й танковый корпус, в трёх дивизиях которого: «Тотенкопф», «Лейбштандарт» и «Райх» было 211 танков и 124 самоходки, т. е. всего 335 единиц бронетехники, в том числе 42 «тигра» (из них боеспособных 15).

Этому танковому клину противостояла 5-я танковая армия генерала Ротмистрова, насчитывающая около шестисот танков и самоходок (для точности 597). Потери с обеих сторон составили: у противника 70 танков и самоходок, у нас — 343, в пять раз больше, т. е. больше половины всего танкового парка 5-й армии…

14 июля Василевский доложил Сталину, что «под Прохоровкой немцы не были остановлены»: дивизия «Тотенкопф» продвинулась на несколько километров (что и дало им возможность подсчитать потери сторон) а дивизия «Райх» продвигалась в глубину нашей обороны до 16 июля.

Встревоженный успехом противника на этом направлении Командующий Воронежским фронтом Ватутин дал приказ о переходе к обороне…

Разгневанный Сталин учредил специальную комиссию по

разбору действий 5-й танковой Армии, которая доложила вождю, что «битва под Прохоровкой *образец* неудачно проведенной операции» — конец цитаты.

Приведенные цифры, как и выводы комиссии, были засекречены до последнего времени.

В своих воспоминаниях генерал Ротмистров пишет, что в битве под Прохоровкой его Армия уничтожила 500 танков, в том числе 42 «тигра» при том, что у противника их было всего 335, а из 42 «тигров» только 15 принимали участие в бою.

Как не вспомнить немецкого военного теоретика и историка Клаузевица, почти двести лет назад сказавшего: «Нигде так не врут, как на войне и на охоте»…(В скобках замечу, что именно Клаузевицу принадлежит «узурпированный» Марксом тезис: война — это продолжение политики другими средствами).

Неудача на южном участке Курской дуги не отразилась на общем успехе битвы. Северная группа наших войск: Западный фронт — Командующий В. Соколовский и Брянский — Командующий — М. Попов — прорвала оборону противника, развила успех и предопределила общий разгром германской группировки, похоронив последнюю надежду Гитлера.

С достаточной долей уверенности можно предположить, что поскольку Хрущёв был Членом Военного Совета Воронежского фронта, нашлись доброхоты «переместившие» победу с севера на юг. А может, и он сам. Воистину: тьмы низких истин нам дороже нас возвышающий обман.

Но потери были велики.

Мы потеряли в этой битве 860 тысяч солдат и офицеров и около 6 тыс танков и самоходок. Немцы, соответственно, 500 тыс и 1500 единиц бронетехники (на один немецкий танк — четыре наших).

Просчёты и неудачи нашего командования не должны бросить тень на беспримерное мужество и героизм наших танкистов. При том, что «тигр» поражает цель на расстоянии полутора километров, а наши на 500–600 метров, танкисты проявляли чудеса храбрости и… хитрости.

Это отдельная тема. Но не удержусь от рассказа о молодом лейтенанте, который увидев, что он попал в поле зрения «тигра», спрятал свою машину за подбитый танк и дождавшись когда потерявший его из виду «тигр» с ним поравнялся, всадил снаряд ему в борт.

Еврей, наверное.

Это интересно

За кулисами

В начале пятидесятых годов я начал работать администратором оперного театра.

В середине десятилетия в Душанбе (тогда Сталинабад) приехал главный балетмейстер Малегота (теперь даже петербуржцам надо объяснять: Малегот — это Малый Ленинградский Государственный Оперный Театр) Константин Боярский, вероятно один из династии, и в течение трех недель поставил блестящий спектакль «Дон Кихот». Этому способствовали три обстоятельства: талантливый постановщик, прекрасная музыка Минкуса и группа молодых таджикских артистов — еще без Малики Сабировой (она приехала позже) — выпускников Вагановского училища.

Это был короткий период между Мейерхольдом и Виктюком, когда следовать автору еще не считалось зазорным, и если у Сервантеса Дон Кихот восседал на лошади, а Санчо Пансо трусил на ишаке, то так оно должно было быть и в спектакле. (Современные постановщики прекрасно обходятся без животных. Легендарный Барышников поставил потрясающий «Дон Кихот», и отсутствие в спектакле животных вовсе не ощущалось).

Вначале лошадь брали в армии. Армия пересела на бронетранспортеры. Стали брать коня в милиции. Милиция пересела на мотоциклы. Пришлось обратиться на ипподром. Откормленные и ухоженные ипподромные лошади мало походили на костлявого Росинанта, и, когда они нависали над оркестром в оркестровой яме возникало некоторое напряжение…

С ишаком дело обстояло проще — его приводил с базара сторож караван-сарая.

Заблуждение думать, что основным градообразующим элементом в Средней Азии являются здания ЦК или Совмина. Сначала возникает базар, а уж вокруг него строится город. Не удивительно, что когда в Сталинабаде задумали строить оперный театр, площадку для него выбрали недалеко от базара. Их разделяла Красная площадь, я давал сторожу пять рублей старыми и все трое были довольны: сторож, ишак и я.

Участники спектакля, занятые в первом акте, должны являться в театр не позднее, чем за сорок пять минут до начала спектакля, а занятые во втором акте — не позднее, чем за пятнадцать минут до начала первого акта. Время истекло. Ишака

нет. Помреж бьет тревогу. За ишака, как и за все, что не поддается учету, отвечает администратор. Через Красную, еще не заасфальтированную (ныне не существующую) площадь бегу на базар.

Послевоенные среднеазиатские базары отличались тем, что на фоне ярких, всех цветов радуги, самых разнообразных, а иногда и чисто экзотических фруктов и овощей, продавцы и покупатели представляли собой довольно серую массу. Большая часть была одета в полувоенное, в теплые халаты, из которых торчала вата, но наиболее популярной одеждой были обыкновенные телогрейки, кто побогаче — с кожаными воротником и хлястиком. Это был высший шик.

Я никогда не имел ничего кроме военной формы, любил ее, она мне шла — молодость! А тут, как раз накануне, приобрел свою первую гражданскую одежду: синий прорезиненный плащ — многие мужчины вздрогнут — и зеленую велюровую шляпу с такими широкими полями, что им позавидовал бы самый ортодоксальный хасид.

И в этом виде я явился на базар. Базар насторожился.

Уж не инспектор ли госторговли или санитарный врач. Но у инспектора должна быть папка, а у санитарного врача портфель, больше смахивающий на чемодан. Санврач заходит в магазин, ставит портфель-чемодан на прилавок, достает блокнот и пишет вверху страницы: «Акт». До даты дело не доходит — в открытой «таре» появляется бутылка коньяка или что-нибудь другое, не менее ценное. С базара санврач уходит хорошо «упакованный».

Но у меня ни папки, ни портфеля — народ успокаивается.

Провожаемый любопытными взглядами, подхожу к сторожке: «В чем дело?». — «Сменщик не пришел!». — «Где ишак?». — «На! — сует мне в руку растрепанный конец веревки». — «Ишак где?». — «Тяни!». — Тяну.

Из-за угла сторожки медленно, появляется ишак — склонил голову направо и прищурил один глаз, склонил налево и прищурил другой, опустил голову и задумался.

Нетрудно войти в мое положение. Но попробуйте войти в положение ишака! Вместо своего привычного хозяина, в живописно изодранном халате профессионального дервиша, он увидел перед собой новоиспеченного интеллигента. В синем прорезиненном плаще и зеленой велюровой шляпе с широкими полями. Было отчего прийти в недоумение. По зрелому размышлению ишак пришел к единственно правильному и вполне естественному решению — это не для него!

Но я об этом еще не догадывался и продолжал тянуть. С таким же успехом я мог бы тянуть танк. Ишак уперся всеми

своими четырьмя некошерными копытами — и ни с места.

Стали собираться любопытные. Подошел милиционер: «Что, кино снимают?». Не увидев аппаратуры, удалился. Обступили мальчишки. Видя мои беспомощные потуги сдвинуть ишака с места, один из них, постарше, сказал: «Дядя! Он так не пойдет! Вы на него садитесь!».

В синем плаще и зеленой шляпе. В новом синем прорезиненном плаще. И в мягкой, зеленой велюровой шляпе. С широкими полями. Почти сомбреро. Единственный на этом базаре. Среди телогреек и халатов. В плаще и шляпе. На ишаке. В середине века.

Сейчас бы никто не удивился. Но тогда! Это было живописное зрелище.

Я был человеком долга. Мысль о том, что спектакль мог вполне обойтись без ишака не приходила мне в голову.

Сел. Ишак еще некоторое время раздумывал и, повернув голову, пытался рассмотреть, кто это его оседлал. То ли он счел за лучшее не связываться с этим странным субъектом, то ли в нем проснулась совесть (если она случается у людей, почему бы ей не быть и у ишака?) — он снизошел к моим страданиям и быстро засеменил по Красной площади. Въехав на сцену через ворота для декораций и пробравшись в нужную кулису, сдал ишака помрежу.

И успокоился.

Как оказалось, напрасно. Закончился только первый акт драмы. Впереди был второй, не менее напряженный, но еще более впечатляющий.

Стоя в кулисе, ишак заскучал, справил малую нужду и стоя над собственной лужей являл собой зрелище не для слабонервных… Его внешний вид изменился радикальным образом и, если кто-нибудь до этого считал, что самая крупная деталь его экстерьера это уши — он бы сильно ошибся.

Выпускать его в таком виде на сцену было решительно невозможно.

Зритель мог не понять!

Положение усугублялось тем, что спектакль был дневным и в зале было полно детей. Объяснить им назначение этой внезапно появившейся внушительного вида детали было бы крайне затруднительно. Еще не ушла эпоха, когда таинство деторождения было возвышенным и романтичным. Это сейчас узнают обо всем вместе с рекламой о наклейках. А иногда и до этого…

А тогда детей без труда находили в капусте, а наиболее одаренных аисты приносили непосредственно в математические школы. Исчезновение аистов привело к тому, что на одной из

математических олимпиад Израиль занял сорок второе место… Но это так, к слову.

А спектакль между тем продолжался. И наступило время, когда Дон Кихот и Санчо Пансо должны были появиться на сцене. В нужный момент из кулисы выглянула морда лошади с трепещущими ноздрями и исчезла. Кто-то втянул ее обратно.

Публика оживилась. В зале возник неподдельный интерес к спектаклю.

В драме нашли бы выход из положения, как-нибудь выкрутились бы. Но в опере все завязано на музыке!

Дирижер «снял» оркестр и, наклонившись к музыкантам, что-то сказал. До зрителей донеслось — «…надцатый». Оркестр начал сначала. Косясь в кулису, и продолжая дирижировать, маэстро нажал кнопку помрежа. Взбешенный помреж в отчаянии лягнул ишака по излишней, по крайней мере в данный момент, детали. Ишак в недоумении посмотрел на нахала, но, видимо, что-то понял, нехотя и не торопясь принял благопристойный вид и вышел на сцену. Все вздохнули с облегчением.

Спектакль продолжался.

Вернувшись на свою сторону, я застал в кабинете очень популярного в те годы, а ныне совершенно забытого, фотокорреспондента «Огонька» Отто Кноринга. Увидев мой взъерошенный вид, он поинтересовался: «Что случилось? Какой кадр пропал!» — сокрушался он.

Всем памятен портрет М. П. Мусоргского кисти Репина — глубокий старик с всклокоченными седыми волосами и красным носом закоренелого алкоголика. Этому «старику» не было и 42-х лет! (Роковой возраст — Андрей Миронов, Владимир Высоцкий… Блок!). Его гениальные оперы «Борис Годунов», «Хованщина» закончил и оркестровал его друг Н. А. Римский-Корсаков. «Хованщина» — трагедия, в финале которой раскольники решают покончить жизнь самосожжением. С мольбой вздымая руки к небу, они взывают к единоверцам: «О, православные! О, православные!»

Артисты хора, особенно женщины, стройностью не отличаются, им трудно поднять тяжелую руку и режиссер попросил дирижера: «Скажите им, чтобы подымали руки повыше!». Дирижер остановил репетицию и, обращаясь к артистам хора, сказал: «Что вы показываете в оркестр? Где вы там видите православных!».

В годы, когда молодые поэты во главе с Маяковским предлагали сбросить Пушкина с парохода современности, появилось множество пародий на великого поэта. Особенно досталось «Онегину», и не только на русском языке. Запомнилась

фраза из арии Ленского — «Ци гёпнусь я дручком пропэртый». Не остались в стороне и евреи: «Варум Ленский, гейст нит танцн, стейст ба ванд ун кнепст да ванцн?» (почему, Ленский, ты не идешь танцевать, а стоишь у стены и давишь клопов?)

Постановление ЦК ВКП(б) «Об опере Мурадели «Великая дружба» уже давно стало историей. Но мало кто помнит, что была и оперетта Сигизмунда Каца (по прозвищу Зига) с таким же названием, быстро сошедшая со сцены. Едва ли кто-нибудь вспомнит ее содержание: речь там шла о дружбе в одном селе украинца и еврея. Зато все помнят прекрасную песню:

Как у дуба старого
Над лесной, криницею
Кони бьют копытами
Гривой шелестя
Ехали, мы ехали
Селами, станицами
В конницу Буденного
Ехали служить.

* * *

«Необыкновенный концерт» Сергея Образцова долгие годы украшал афишу Центрального театра кукол. Появился спектакль в первые послевоенные годы под дерзким названием «Обыкновенный концерт», как пародия на Московскую эстраду, которая в то время считалась образцом пошлости и когда хотели что-нибудь раскритиковать, говорили: «Ну, это дажене Мосэстрада». Все были легко узнаваемы: певица с пышным бюстом — Барсова, виолончелист — Ростропович, конферансье Апломбов — Гаркави, дети в коляске — выпускники школы Столярского, цыганский хор и ансамбль никогда не существовавшей Заполярной филармонии — заполонившие страну псевдоцыганские коллективы, состоявшие из одних евреев…

Не всем это понравилось, посыпались жалобы и Образцов сделал «хитрый» ход: добавил в название концерта частицу НЕ. Дескать, бывает, случается, но НЕ типично. Авторитет эстрады был спасен.

Эйзенштейн снимал «Ивана Грозного» в войну, в Алма-Ате, где в эвакуации находилась Галина Уланова. По его просьбе она пробовалась на роль царицы Анастасии и всем очень

понравилась. Но в это время она получила приглашение в Большой театр (из театра им. Кирова в Ленинграде), игнорировать которое она не решилась. Эйзенштейн очень горевал и все повторял: «Хочу Уланову! Хочу Уланову!».

Снимавшийся в фильме Михаил Жаров уговорил его снять в этой роли свою тогдашнюю жену Людмилу Целиковскую. Шла война, раздумывать и выбирать не было возможности и Эйзенштейн согласился, скрепя сердце: «Какое порочное лицо, — говорил он, — снимайте ее только в профиль».

Но «в профиль» не всегда получалось. Эта история имела неожиданное продолжение. Фильм был представлен на Сталинскую премию. Списки просматривал сам Сталин. Дойдя до фамилии Целиковской он сказал: «Царицы такими не бывают!».

И вычеркнул.

В своих воспоминаниях Раиса Азар пишет, что однажды, когда она находилась в гостях, позвонил Маяковский, и попросил о встрече. Ей не хотелось покидать компанию и она отказалась, сказав, что встретится с ним в следующий раз.

«В следующий раз мы встретимся у памятника мне на площади моего имени», — сказал Маяковский».

Она была так возмущена, что вернувшись к хозяевам сказала: «Вы подумайте какой дурак! Вы знаете, что он сказал?». — И повторила слова поэта. И что же? Памятник и площадь есть.

Состоялась ли предсказанная встреча — неизвестно.

К 150-летию Бородинской битвы С. Ф. Бондарчук снял свой знаменитый фильм «Война и мир» и повез его показывать в Париж. Во вступительном слове он не преминул сказать, — как учили, — что Бородино — это «победа русского оружия». По залу прошло какое-то движение. Бондарчук решил, что его перевели неправильно и повторил. В зале поднялся свист и топот. Оказывается французы 150 лет тогда, а скоро уже все 200, не без оснований считают битву под Бородино своей победой.

Кутузов отступил (бежал?) с поля боя, «чтобы спасти армию» — это спорно до сих пор — и оставил Москву…

Сложно считать это победой.

* * *

Первым грандиозным литературным праздником после Победы было тысячелетие «Витязя в тигровой шкуре» и его автора Шота Руставелли. Из Москвы отправилась делегация писателей со всего Советского Союза — триста человек. Ехали еще поездом. В

Тбилиси их разобрали по предприятиям и учреждениям, учебным заведениям и воинским частям, колхозам и совхозам. Описать грузинское гостеприимство не берусь. Когда они снова собрались в поезде, чтобы ехать в обратный путь, Михаил Светлов сказал: «Мы приехали в Тбилиси, до того перепилиси, что-то пили, что-то ели, что-то Рус-тавелли…»

Долгое время считалось и писалось во всех справочниках, что первая народная артистка Советского Союза — это великая Ермолова. Но однажды мне довелось познакомиться с письмом Луначарского Ленину, в котором он просит присвоить Ермоловой звание народной артистки, «как это было ранее сделано в отношении Шаляпина».

А мы и не знали.

К вопросу о национальной принадлежности: Жуковский — турок; Мечников, Фет, Кюхельбеккер — евреи; Герцен и Тютчев — немцы; Некрасов — поляк; Григорович — француз; Даль — датчанин.

Известно, что оба основателя Московского Художественного Театра К. С. Станиславский и В. И. Немирович-Данченко десятилетия не разговаривали друг с другом. Креатура с обеих сторон загодя узнавала: когда кто придет, через какой подъезд, где будет репетировать, чтобы, не дай Бог, не встретились, интеллигентные люди, они должны были раскланяться. А кто первый? Все это было очень сложно.

В течение многих лет предпринимались попытки помирить великих. И наконец эти усилия увенчались успехом. Было достигнуто согласие «сторон». Обговорены и согласованы все мелочи: кто из какой кулисы выйдет, во что будут одеты, в какую секунду — ни раньше, ни позже, только одновременно. Встреча должна была произойти точно посередине сцены, чтобы ни сантиметра не уступить другому Из кулисы в кулису была расстелена красная ковровая дорожка. Зал был полон. Присутствовала не только вся труппа и постановочная часть, но и корифеи других театров.

Но здесь вмешался случай. Судьба.

Дорожку как следует не растянули и на самой середине, где и должна была произойти историческая встреча, образовалась складка. Естественно, в эту торжественную минуту никто из них не смотрел под ноги.

Владимир Иванович, который и так был ниже Станиславского, зацепился за складку… И рухнул! На колени! Перед Станиславским! И Константин Сергеевич не удержался и с высоты своего роста сказал: «Так-то уж! Зачем!».

Больше никогда о примирении не говорили.

В начале прошлого века в Художественном театре служили две красавицы-актрисы — Мария Федоровна Андреева и Ольга Леонардовна Книппер. Однажды, сидя в гримерной и играя в фантики — то ли в шутку, то ли всерьез — они разыграли своих будущих мужей. Андреевой достался Горький, а Книппер — Чехов. Оказалось — всерьез…

При этом присутствовала молодая костюмерша, на которую они не обращали внимания. Через много лет она об этом рассказала.

По сценарию легендарного фильма «Броненосец Потемкин» был предусмотрен залп кораблей Черноморского флота. На съемках одна околокиношная дама спросила Эйзенштейна: «А как на кораблях узнают когда давать залп?». — «А вот так» — ответил Эйзенштейн. Достал большой белый платок, взмахнул… и прогремел залп!!

Но команды «мотор» не было. И никто этого не снимал…

Ошибались и великие. В 20-е годы одна пианистка получила записку: «Если будете еще играть музыку этого пошляка, то по крайней мере закройте окно. Ваш сосед Сергей Прокофьев».

Кого же автор оперы «Любовь к трем апельсинам» и балета «Ромео и Джульетта» определил в пошляки? Шопена!

> «Все оперные сюжеты сводятся к тому, что тенор и сопрано стремятся переспать, а баритон им мешает».
>
> *Бернард Шоу*

Для каждой эпохи характерны свои болезни:
средние века — чума, проказа;
возрождение — сифилис;
барокко — сыпной тиф, цинга, подагра;
романтизм — туберкулез;
двадцатый век — сердечно-сосудистые;
двадцать первый век — СПИД.

> «Нынешняя молодежь привыкла к роскоши, она отличается дурными манерами, презирает авторитеты, не уважает старших. Дети спорят с родителями, жадно глотают еду и изводят учителей».
>
> *Сократ.*

Прошло две с половиной тысячи лет…
И что же?

Эйзенштейн был в отчаянии. На повторный залп нарком Ворошилов разрешения не дал. Залп Черноморского флота стоил слишком дорого.

Но на успехе фильма это не сказалось.

В предвоенные годы был очень популярен дальневосточный пограничник Карацупа. Со своей собакой Джульбарсом он задержал 247 нарушителей. О нем постоянно писали газеты.

Не писали они лишь о том, что 246 из них шли из Советского Союза, и лишь один — в Союз…

О евреях

Автором текста песни «Бухенвальдский набат» был Александр Владимирович Соболев, фронтовик, инвалид войны, несмотря на фамилию — еврей. Получив текст, Вано Мурадели позвонил автору: «Пишу музыку и плачу Какой текст!» Песня пользовалась огромной популярностью. Краснознаменный ансамбль песни и пляски заканчивал ею свои выступления. В Париже подошла женщина, она хотела подарить автору стихов автомобиль. Ей ответили: «У автора все есть».

В это время Соболев жил в бараке…

> Сталин подхватил выпавший из рук Гитлера меч уничтожения и занес его над уцелевшими евреями СССР.
>
> *Василий Гроссман*

В ноябре 1942 года по указанию Сталина в подпольные партийные органы и партизанские соединения была отправлена радиограмма, запрещающая принимать спасшихся из гетто евреев в партизанские отряды, «так как они могли быть завербованы немцами»…

* * *

Подвиг Александра Матросова повторил Абрам Левин. И сам Матросов был убит, не добежав до амбразуры.

Подвиг Николая Гастелло на следующий день, 6 июля 1941 года, повторил Зиновий Пресайзен.

По данным доктора исторических наук, завкафедрой военного искусства (акад. им. Фрунзе) профессора Федора Свердлова всего воевало 435 тыс. евреев, погибло — 165 тыс., расстреляно в плену — 45 тыс., Героев Советского Союза — 136 (по последним данным — около 150), в т. ч. с одним родителем евреем — 16, полных кавалеров ордена Славы — 14 человек, из них один Герой Советского Союза.

> «Загадочность еврейского вопроса в том, что вместе с мировым пожаром, который евреи зажгли, родилось и мировое сердце. Без их вклада мир не то что пресен — мир черств. Наша святая Русь в лучшие свои моменты перекладывала на мягкий славянский лад старые,

чудные, вдохновенно-дикие еврейские песни и забывала, что сложила их не она».

Георгий Адамович

«Как ни умен Ленин, а начинает тускнеть рядом с гением Троцкого».

Урицкий — Луначарскому

«Всю работу по организации восстания совершил Троцкий. Быстрым переходом гарнизона на сторону советов и умелой постановкой работы Военно-Революционного Комитета партия обязана прежде всего и главным образом Троцкому».

(Сталин, из выступления 6 ноября 1918 года, в первую годовщину Октябрьского переворота).

«Причина антисемитизма… в том, что евреи вообще существуют. Похоже, что мы сами разносим антисемитизм в своих котомках, куда бы мы не попадали».

Хаим Вейцман

«Евреи добиваются превосходства лишь потому, что им отказано в равенстве».

Макс Нордау

Однажды Ленин сказал: «Если встречается умная голова, то это либо еврей, либо в его жилах течет еврейская кровь».

«Разгадку любой исторической тайны следует искать у евреев, ибо вся история человечества вертится вокруг этого народа, как Земля вокруг Солнца».

Бертран Рассел

«Большевизм — чуждая русскому народу еврейская выдумка. Крестьянам была обещана земля, рабочим — участие в промышленных прибылях. И крестьяне и рабочие были обмануты. Хорошо живется только высшим советским функционерам и евреям».

(Из протокола допроса в плену героя Смоленского сражения генерал-лейтенанта М. Ф. Лукина)

Евреев изгнали из Англии за триста лет до Шекспира. Многие поколения англичан, как и сам автор, в глаза не видели ни одного еврея. Тем не менее он создал в «Венецианском купце» отвратительный образ еврея Шейлока. Этот образ существовал среди его современников.

> «Мы можем их (евреев — *прим. авт.*) рассматривать так, как мы рассматриваем и исследуем зверей, мы можем чувствовать к ним отвращение, неприязнь, как мы чувствуем к гиене, к шакалу или пауку, но говорить о ненависти к ним — означало бы их поднять к нашей ступени».
>
> *(П. А. Столыпин, газета «Новое время», октябрь 1911 года).*

Этому выдающемуся государственному деятелю и не менее выдающемуся юдофобу в 2002 году в Саратове открыт памятник… Троцкий говорил, что если бы Столыпину удалось осуществить все свои реформы, революция в России была бы невозможна.

Евреев обвиняют в том, что они «сделали» Октябрьскую революцию. Когда, 25 октября 1917 года, на 2-м Съезде Советов, где большевики были в большинстве, и объявили о захвате власти, против этой авантюры выступили 15 ораторов от других партий. 14 из них были евреи.

Почти то же повторилось на 1-м (разогнанном) заседании Учредительного Собрания в январе 1918 года, где против большевиков выступили многие депутаты-евреи.

Человечество обязано евреям созданием инсулина — доктор Мановский, лекарством против спазмов и конвульсий — д-р Луфрайх, реакцией на дифтерит — д-р Шок, витаминов — д-р Функ, стрептомицином — д-р Воронен, таблеток и уколов против детского полиомиелита — д-р Сейвон и д-р Иона Салка, реакцией на сифилис — д-р Вассерман и мн. др.

> «Введение еврейской звезды дало обратные результаты. Хотим исключить евреев из нашего народного сообщества, но берлинцы их не сторонятся! Они проявляют симпатии к евреям. Этот народ (немцы) еще не созрел и полон сентиментальности».

Геббельс — Гитлеру

Узников концлагерей узнавали по нашивкам на груди: красная — политический, желтая — еврей, синяя — без гражданства, зеленая — уголовник, розовая — гомосексуалист.

У Пушкина: «Ко мне постучался презренный еврей», есть и «прекрасная жидовка». В его произведениях слово «жид» встречается 41 раз, но и «еврей» — 13.

Лев Толстой едва не прослыл юдофилом из-за фамилии «Левин» («Анна Каренина»), в которой он увековечил свое имя. В рукописях Толстого эта фамилия пишется с буквой «ё», позже превратившуюся в «е».

Автор прекрасной «Суламифи» и «Гамбринуса» А. И. Куприн писад своему другу: «Всякий еврей рождается с мессианской целью стать русским писателем».

Не погрешили против евреев только два русских писателя: Короленко и Горький.

Виктор Астафьев написал Коротичу в письме: «Ваш журнал («Огонёк») из еврейского превратился в жидовский».

Еврейские жены

К. Е. Ворошилов — Голда Гробман (Екатерина Давыдовна); В. М. Молотов — Перл (Жемчужина), сидела; Г. В. Плеханов; И. Г. Первухин; Н. И. Ежов, отравилась; А. И. Рыков — сестра Иофана, расстреляна; Л. Б. Каменев — сестра Троцкого, расстреляна; А. А. Андреев — Дора Хазан; А. Поскребышев — Бронислава Соломоновна, сестра невестки Троцкого, расстреляна; М. И. Калинин — еврейка с эстонской фамилией, сидела; Яков Джугашвили — Юлия Мельцер, балерина; Н. И. Бухарин — Эсфирь Исаевна и Анна Ларина-Лурье; С. Ю. Витте; Е. М. Примаков — Лиля Брик; Борис Савинков — Е. И. Зильберг; Николай Щорс — Фрума; Корней Чуковский; Леонид Андреев; Аркадий Гайдар; Владимир Тендряков; Владимир Набоков — Вера Слоним и обе предыдущие; Алексей Сурков — Софья Абрамовна Кревс; Константин Симонов — первые две; Александр Фадеев — Маргарита Алигер (одна из жен); Валентин Катаев — Эстер Давидовна; Арон Вергелис — Евгения, дочь Катаевых; композитор Скрябин — Татьяна Шлецер; композитор Серов — внук еврея, Валентина Бергман; Тихон Хренников — Клара Арнольдовна; Иннокентий Смоктуновский — Шломит; жена Брежнева «Виктория Петровна» была еврейкой, но это тщательно скрывалось; Пальмиро Тольятти- Рита Монтаньяна.

Сервантес, Монтень, Франко, Тито, Кастро — потомки маранов.

Когда Брежнева назначили Генеральным Секретарем, я спросил своего друга Бориса Милявского, бывшего военного корреспондента газеты 18-й Армии, где Начальником Политуправления был Брежнев: «Ты с ним виделся и общался ежедневно, что за человек?». Он даже загорелся: «Мировой был мужик! Терпимый! Не дергал людей по мелочам. И все бабы в полосе 18-й Армии были его».

Великие антисемиты

Бруно Джордано
Наполеон
Блок
Петр Великий
Вагнер
Прудон
Вольтер
Розанов
Гольбах
Савонарола
Гумилев Лев
Столыпин
Державин
Теодоракис Микис
Достоевский
Фейербах
Дюринг
Фурье
Кант
Шекспир
Лютер
Шопенгауэр
Маркс Карл

В этот список мог бы войти и Чехов. Чехов воспрепятствовал браку своей сестры Марии Павловны с евреем Левитаном. Замуж она так и не вышла. Исаак Левитан был ее единственной любовью. Вообще отношения Чехова и Левитана не были столь идиллическими, как это принято считать, и, однажды едва не закончились дуэлью (правда, по другому поводу).

Праведники мира

(на момент выхода книги) всего — 22.310 В том числе:

Польша — 5941
Венгрия — 671
Голландия — 4727
Литва — 670
Франция — 2646
Беларусь — 564
Украина — 2139
Словакия — 460
Бельгия — 1414
Германия — 427

Эсэсовский офицер Вильям Хозенфельд, спасший пианиста Владислава Шпильмана, звания праведника мира не получил, так как сидел в советской тюрьме. (СС была объявлена Нюрнбергским Трибуналом преступной организацией).

Больше всего, около шести тысяч, праведников мира в антисемитской Польше, там проживало и наибольшее количество евреев. Цифры заставляют задуматься. Демократическая Франция оказалась более антисемитской, чем считавшаяся рассадником антисемитизма Польша. Но осуждать никого нельзя: немцы беспощадно расстреливали не только укрывавшихся евреев, но и семьи укрывавших их героев. Ни для кого не делали исключений…

Разные разности

Генерал Власов подарил свой орден Ленина № 77, которым был награжден в 1941 году, за четыре месяца до начала войны, генералу СС Фегеляйну — шурину Евы Браун (мужу ее сестры), в качестве сувенира. Фегеляйн пытался перебежать к союзникам, но Гитлер успел его расстрелять.

О Гитлере издано более 50 тысяч книг — 2-е место после Христа.

* * *

Достоевский карикатурно изображал собратьев по перу Тургенева и Гоголя. И писал жене, что «Анна Каренина» — скучный роман.

Булгаков в «Театральном романе» в образе завистливого писателя вывел популярного в те годы Бориса Пильняка.

Толстой сказал Чехову: «Я терпеть не могу пьес Шекспира, но ваши еще хуже». (Об этом Чехов рассказал Бунину). Он же, Толстой, писал Страхову: «Какое грубое, безнравственное, пошлое и бессмысленное произведение — «Гамлет».

Горький ничего не понял в «Вишневом саде».

Известный (кто его сейчас помнит?) критик Скабичевский писал: «Газетный писатель Чехов умрет пьяным под забором».

Тургенев завидовал Достоевскому, Достоевский — Лескову, Лесков — Салтыкову-Щедрину и все они — Писемскому.

Чайковский ненавидел Скрябина, Бенедиктов затмевал Пушкина, Северянин — Блока и Маяковского.

Анна Ахматова в 1950 году опубликовала в «Огоньке» стихи, восхвалявшие Сталина. (После обыска и ареста сына).

Комик Макс Линдер покончил с собой, потому что Чаплин его превзошел.

Когда звезду мирового экрана Марлен Дитрих спросили, как ей удается не стареть — она ответила: «Я хорошо сплю и никому не завидую».

Однажды Мандельштама попросили выступить на вечере памяти Есенина. Он отказался: «Встретил поздним вечером Есенина на улице. Пьяный, лицо разбитое. Увидел меня и говорит: «Ну что, жидовская морда, долго еще будешь над нашей русской поэзией издеваться?!»

«Разве все мы пишем стихи? Вот Мандельштам пишет» — тоже Есенин. Трезвый.

Пушкин написал «Бориса Годунова» в 26 лет, Лермонтов в 26 умер, Добролюбов — в 25, Чернышевский — в 34, Ивану Карамазову 23 года, а видится сорокалетним.

Актер Геловани, сыгравший Сталина во множестве фильмов, так вошел в роль, что стал ощущать себя Сталиным, и, однажды попросил предоставить ему возможность пожить на даче Сталина в Сочи, «чтобы лучше вжиться в образ». Когда об этом доложили вождю, тот сказал: «Не лучше ли начать с Туруханской ссылки»…

«В здоровом теле — здоровый дух». Между тем это усеченное латинское выражение означает прямо противоположное: «И мы должны молиться Богу, ЧТОБЫ в здоровом теле был здоровый дух».

Приглашая кого-либо сесть часто говорят: «в ногах правды нет». К вежливости это никакого отношения не имеет. У царя Ивана Грозного был пыточный приказ: клали человека на лавку и били палками по пяткам. От невыносимой боли человек «признавался» в любых «грехах». В ногах правды нет.

Нечто подобное произошло с некоторыми цитатами Ленина, в частности с лозунгом «Из всех искусств для нас важнейшим является кино». А сказал он следующее: «Мы — страна неграмотная, и ПОЭТОМУ для нас важнейшим из искусств является кино». Или о кухарке, которая должна «управлять» государством. И здесь пропущено слово: «Каждая кухарка должна УМЕТЬ управлять государством», т. е. речь идет об образовании, просвещении, культуре.

«Как хороши, как свежи БЫЛИ розы» — приписывается Северянину, Мятлеву, Тургеневу. Это первая строчка стихотворения Мятлева «Розы», ставшая темой для стихотворения в прозе Тургенева «Как хороши, как свежи БУДУТ розы, моей страной мне брошенные в гроб».

Однажды Чуковский, много писавший о Некрасове, спросил Блока, как он относится к словам Тургенева о творчестве Некрасова, что «поэзия там не ночевала». На что Блок ответил: «Если Иван Сергеевич мог сказать (о «Розах» — прим. авт.) такую пошлость — не ему судить о Некрасове».

Путаницы добавил Северянин (или его родные и друзья), завещавший начертать на своем могильном камне в Таллинне эту фразу. Первоисточник там не указан и многие, если не все, приписывают эту строчку Северянину.

Революция добралась до Средней Азии не сразу. Бухарский эмират просуществовал до 1920 года, пока советская власть до него добралась. Эмир Бухарский бежал в Душанбе, прихватив с собой гарем. Но в том же году, или начале следующего, ему

пришлось спешно бежать в Афганистан. А гарем остался.

Душанбе в те годы был кишлаком с одной мощеной улицей, остальные утопали в пыли летом и в грязи зимой. Никакой промышленности, кроме кустарных мастерских, не было.

Перед местной властью встал нелегкий вопрос, что делать с несколькими десятками этих женщин? Им надо где-то жить, что-то есть, во что-то одеваться. Вернуться в свои кишлаки, к родным, они не могли — никто бы этого не понял.

Никакой специальности они не имели, кроме того обычай запрещает женщинам работать среди мужчин.

И тогда было принято «соломоново» решение: раздать этих женщин в жены красным кавалеристам мусульманского происхождения.

Русские конники возмутились: воевали вместе, а табачок врозь! Началось брожение. И к этому решению была принята поправка: раздать женщин и русским, но при условии, что они пройдут обряд обрезания. Количество желающих уменьшилось… Нашлось всего четыре человека, согласившихся подвергнуться этой операции.

И они получили своих жен.

В конце позапрошлого века (1883) американский конструктор-оружейник Х. С. Максим изобрел станковый пулемет, который и был назван его именем. Многие мировые лидеры того времени и начала следующего,ХХвека, высказались в том смысле, что «теперь, с появлением такого оружия массового уничтожения, войны прекратятся сами собой». Увы…

Характерно, что с созданием атомной бомбы все повторилось. Некоторые ведущие лидеры современного мира, в т. ч. Маргарет Тэтчер и Горбачев высказались в том же смысле.

Похоже, и они ошиблись.

… А китайцы придумали порох для фейерверков.

За три года до Хрущева (1956, ХХ-й съезд), т. е. в 1953 году, Берия назвал Сталина тираном и предложил Политбюро разобраться. Побоялись.

Он же, еще до Горбачева, предложил объединить Германию на базе ФРГ.

Он же первым предложил наладить отношения с Югославией. Отвергли.

Он же предложил ограничить власть ЦК и передать ее Совмину.

Он же прекратил «дело врачей» (?) и выпустил бытовиков (один миллион из двух с половиной, что вызвало всплеск

преступности в стране).

Он первым заговорил о перегибах в раскулачивании.

Прекрасно рисовал, любил музыку, по его проекту построены два полукруглых здания на пл. Гагарина.

Пытался дать больше свободы республикам, ликвидировав вторых секретарей. Предложил не носить на демонстрациях портреты, а идти в колоннах и убрать имя Сталина из названия Института Маркса-Энгельса-Ленина.

«Подлинное освобождение наступит, когда труд перестанет подавлять игру, этика — чувственность, и разум — фантазию».

Кто это написал? Дидро? Руссо? Монтень? Кант? Гегель? — **Берия!**

(Николай Зенькович, «Тайны уходящего века»).

Скольких людей загубил почему-то не указано.

В двадцатые годы появились многочисленные Нинели («Ленин» наоборот), позже сменившиеся неисчислимыми Станинами. Но всех превзошли родители, давшие своей дочери имя Зинкатра — немыслимая аббревиатура от фамилий, вернее псевдонимов, Зиновьева, Каменева и Троцкого. Когда девочка, в просторечье Зина, стала получать паспорт — ей пришлось признаться. Родителей немедленно арестовали, отец умер в тюрьме, а дочь с матерью выслали…

В Ленина стреляла не полуслепая Фанни Каплан, а правая эсерка Коноплева. Вместе со своим сообщником они были оправданы, «как искренне заблуждавшиеся». Ленин видел второго стрелявшего почти в упор и спросил: «Вы его задержали?» — ЕГО, а не ЕЕ!

Однажды Бен-Гурион, горячий поклонник Ленина, сказал своему тогдашнему помощнику Шимону Пересу: «По своей интеллектуальной мощи Троцкий превосходил Ленина, но он не был вождем» и привел в пример Брестский мир.

Борьба органов против своего народа освещена достаточно полно — один «Гулаг» чего стоит. Менее освещена другая сторона их работы. Между тем за годы войны органами были задержаны более двух тысяч агентов-парашютистов, из них шестьсот с рациями. На транспорте ликвидировано более двухсот шпионско-диверсионных резидентур противника.

* * *

Лучшие асы Второй мировой войны:

Эрих Хартман, Германия — 352 (!)

Хирояши Нишизава, Япония — 104

104 немецких пилота имели по 100 побед
Ханс Х. Винд, Финляндия — 75
И. Н. Кожедуб, СССР — 62
Константино Катакузино, Румыния — 60
А. Л. Покрышкин, СССР — 59
Джон Е. Джонсон, Великобритания — 43
Дежо Сентдьерджи, Венгрия — 43
Ричард Бонг, США — 40

Из 45 тыс. советских самолетов половина — 24 тыс. — сбиты тремястами немецкими летчиками.

Гитлер неплохо рисовал, а Мао Дзедун был неплохим поэтом.

* * *

Мопассан выступал против строительства Эйфелевой башни, так как она «исказит облик Парижа».

100 Дней Наполеона

«Корсиканское чудовище высадилось в бухте Жуан»
«Людоед идет к Грассу».
«Узурпатор вошел в Гренобль».
«Бонапарт занял Лион».
«Наполеон приближается к Фонтенбло».
«Его императорское высочество ожидается сегодня в своем верном Париже».

Аншлаги в одной из Парижских газет в течение недели.

Во время 1-й Мировой войны президент Франции Пуанкаре попросил Николая II прислать на франко-германский фронт дивизию гренадеров, что и было сделано. По поводу их боевых действий одна французская газета написала: «Русские идут в бой с криками»… твою мать», что в переводе означает «С нами Бог»… (напечатано было полностью, по-русски).

Когда первый англичанин вступил на австралийский берег, он был поражен странным животным, совершавшим прыжки на двух мощных задних ногах, придерживая руками детеныша,

сидевшего в сумке на животе, и спросил аборигена, что это такое. «КЕН ГУ РУ», — ответил абориген: я тебя не понимаю.

* * *

В 1946 году в Свердловске ехал на трамвае от Уралмаша к центру. Кондуктор объявила: «Следующая остановка — тупик Коммунизма!».

Как в воду глядела…

Судьбы

Детство Ады

К началу Великой Отечественной войны ее мама была главным врачом психиатрической клиники Витебского медицинского института. Отец, майор медицинской службы, со своим эвакогоспиталем отступал от Шауляя на Псков с войсками Белорусского фронта. Ада училась в Ленинграде и в составе добровольного комсомольского отряда рыла окопы в районе Луги.

Немецкие войска с катастрофической быстротой продвигались по Белоруссии. Вскоре на подступах к Витебску уже шли ожесточенные бои. Город был взят врагом 10 июля 1941 года.

Когда в городе уже была слышна канонада, мама обратилась в Горздравотдел с настоятельной просьбой организовать эвакуацию душевнобольных. В ответ она была обвинена в распространении пораженческих настроений, что в военное время жестоко каралось. Ее заверили, что город не будет сдан, а если произойдет непоправимое — ее пациенты обязательно будут эвакуированы.

Накануне сдачи города к больнице подъехал микроавтобус, в котором находились панически настроенные работники Горздравотдела. Маме предложили в течение 5 минут собраться и эвакуироваться вместе с ними. На вопрос: «А как же больные?» ответом был истерический крик: «Доктор! Вы понимаете, что говорите? До психов ли теперь! Скажите спасибо, что мы заехали за вами!». Мама заявила, что не может бросить больных и персонал клиники.

В оставляемом нашими войсками городе жизнь больницы переместилась в подвал. Подсчитали, что продуктов хватит дней на 7–8.

Когда смолк шум боя и стало ясно, что город пал, мама вышла на улицу и направилась к центру города. Впечатление от развешанных повсюду гитлеровских флагов со свастикой в центре было омерзительным. В городе уже была сформирована «русская управа» в которой был и медицинский отдел. Маме удалось выпросить для больницы кое-какие продукты и медикаменты. Ей предложили продолжать работать в больнице, но под немецким контролем. Она не имела права выходить на улицу без нашитой на одежде звезды Давида. Мама не собиралась унижаться. Пользуясь тем, что лето было жарким она носила платье без

рукавов, а звезду Давида пришила на кофточку, перекинутую через руку. Знак не был виден, но мог быть быстро предъявлен патрулю. Мама не была похожа на еврейку и во время ее редких походов в город ее ни разу не остановили. Их дом по Столярной, 3 сгорел и мама жила в больнице.

Вскоре в Витебске было сформировано и начало активно работать подполье под руководством врача-педиатра, коммунистки Околович. В августе Витебское еврейское гетто, располагавшееся во Дворце Металлистов было вывезено за город и уничтожено. Расстрел происходил за новой больницей, где кончалась Задуновская улица.

Об этом маме рассказала соученица Ады красавица Рэна Рейнгольд — фольксдойче. Она долго жила в Париже, вышла замуж за ученого биолога, сына известного военного и вместе с ним ее семья репатриировалась в Киев.

В городе оставались три врача-еврея: стоматолог Эйнис, гинеколог Ривуш и психиатр — мама Ады, которой уже было 50 лет.

В конце сентября или в начале октября 1941 года утром к маме пришла молодая девушка, связная из подполья и передала от подпольщиков, имевших агентуру в немецких органах власти, что на ближайшие дни намечено уничтожение больных и всех троих работавших там еврейских врачей и что мама должна их немедленно предупредить о необходимости уйти из города. Ранним утром следующего дня их проведут через заставу, где у подполья тоже был свой человек и укажут дорогу к партизанской явке. Из вещей, чтобы не вызвать подозрения, взять только небольшую сумку.

Доктор Ривуш — 70-летний больной человек, отказался бежать, чтобы не обременять остальных, а доктор Эйнис, у которой было двое детей, была задержана еще в городе — она взяла много вещей…

Доктор Околович вывела маму за заставу и объяснила как найти хутор. Осторожно подходя к дому мама услышала громкую немецкую речь — пьяные голоса вразнобой пели «Хорст Вессель» — нацистский гимн. Она поняла, что явка провалена. Дальнейшее Ада с дядей узнали из письма, которое в промерзшую и закопченную ленинградскую квартиру принес 14-летний мальчишка — почтальон. Мама писала, что три месяца, как загнанная волчица, она скиталась по дорогам оккупированной Белоруссии от деревни к деревне. Она говорила укрывавшим ее людям, что война застала ее в Витебске, а живет она в Ленинграде, куда и пробирается, надеясь найти свою единственную дочь. Ее жалели, укладывали на ночь на печь,

давали на дорогу немного хлеба и вареной картошки. В письме были и слова о том, что она исполнена великой благодарности к этим крестьянам, ее спасавшим.

Из маминого письма Ада узнала о судьбе Витебского гетто, и о том, как мама была счастлива когда, наконец, попала в Старой Руссе в Особый отдел, проверявший всех выходящих с оккупированной территории. Там ее, однако, сочли шпионкой, считая, что невозможно три месяца блуждать под носом у немцев и не попасться, не быть уничтоженной. Написала мама и о том, что хотя с самого начала смирилась с мыслью, что может погибнуть в любую минуту, но что она будет расстреляна не врагами, а своими — такое не могла даже предположить… Ее спас один следователь Особого отдела. Он узнал маму, с которой ему приходилось работать в суде, куда маму приглашали в качестве эксперта-психиатра. Маме сказали, чтобы она не распространялась о своих скитаниях по оккупированной территории — это грозит Гулагом — и мама всю жизнь опасалась, что тайное станет явным. Ей объяснили, что в Ленинград попасть невозможно — город в блокаде, там голод и выдали справку об эвакуации из Старой Руссы. По просьбе мамы ее отправили в Саратов, куда был эвакуирован Витебский мединститут.

Дядя Ады, Борис Ефимович, прочитал мамино письмо на заводе, где он проработал всю блокаду. Ведь многие не верили, считали газетными утками публикации об уничтожении евреев и зверствах немцев.

Это письмо — трагический документ эпохи — к сожалению, не сохранилось.

В гетто были уничтожены мамина тетя с мужем. Пока они жили на ступеньках лестницы во дворце Металлистов, тетя Эсфирь на лодке переправлялась через Двину и мама в больнице подкармливала ее из своего скудного рациона…

С мамой Ада встретилась через полгода. Но это уже совсем другая история.

Десятки лет Ада с мамой безуспешно искали доктора Околович.

Уже после смерти мамы, в 1980 году, Ада случайно узнала, что Околович живет в Ленинграде в двух кварталах от нее! Встреча была со слезами на глазах… А через год Ада проводила мамину спасительницу в последний путь на Охтинское кладбище Ленинграда…

По своим детским болезням Ада может, как по шпалам, пробежать лет до семнадцати. В пятилетнем возрасте она почему-то целый год не болела. Родители на работе, домработница Маня

занята по хозяйству и ей не остается ничего другого, как заняться самообразованием. Дома много номеров газеты «Известия». «Правда» была под материнским запретом еще до Адиного рождения, будучи ею уличенной в бессовестном вранье в освещении июльских событий восемнадцатого года, свидетелем которых мама была в Петрограде.

В заглавии «Известий» Аду заинтриговала буква «Т» — массивная, похожая на лопату. Ада спросила у папы, что это за лопата. Он объяснил ее значение и заодно некоторые другие буквы. К шести годам Ада бегло читала про себя и вслух. Читала все — неадаптированного «Гулливера» и адаптированного «Маугли» — чудесную повесть о мальчике «Травка» (Тимофей), «Звери дедушки Дурова», заливаясь слезами, когда злые люди зарезали к Новому Году ученого гуся…

Маня вышла замуж, Ада осталась бесхозная и родители решили, что пора ей отправляться «в люди». Записали в старшую группу детского сада. Там-то и началось становление Ады как «общественного и политического деятеля». Воспитание было предельно заидеологизировано. Был январский утренник, посвященный Ленину. В те годы отмечался день его смерти. В старшей группе висел на стене плакат — на серой глянцевой бумаге красные глянцевитые печатные буквы составляли строчку «Ленин умер, но дело его живет». На утреннике дети были в костюмах народов мира. Ада — турчанка, как это понимала мама и как позволяли подручные материалы. Ей была отведена роль глашатая ленинских идей. Стоя на табуретке она с пафосом продекламировала: «Ленин милый, дорогой, ты лежишь в земле сырой, как я только подрасту — в твою партию вступлю. Буду бороться, как ты, за счастье рабочих и бедноты». Так свет ленинских идей озарял детсадовское детство, вместо приличествующих возрасту Бармалея и крокодила Тотоши. (Вини Пух и Чебурашка еще придуманы не были).

Вот такие были времена.

В первом и втором классах Ада училась в Ленинграде, жила с бабушкой и маминими братьями. Родители по году были на курсах усовершенствования в Москве, а папа еще ина военных сборах. В первом классе политические и атеистические взгляды Ады сформировались в стройную «философскую» систему: всем своим существом служить делу мировой революции и бороться с религиозным дурманом. Точкой приложения сил по первому пункту оказался СМ. Киров. Руководство ленинградской партийной организацией он совмещал с шефством над школой в которой она училась, благо жил в доме напротив. Школа

располагалась в бывшем Александровском лицее на бывшем Каменноостровском проспекте — в то время улица Красных Зорь.

Однажды стало известно, что он должен прийти в школу. Встреча будет происходить в актовом зале с колоннами и концертным Бехштейном. По сценарию его должны были приветствовать девочка из первого класса и подросток из последнего. Девочкой была выбрана Ада. На предложение учительницы вместе с ней продумать текст выступления — приветствия она гордо ответила: «Мне помощь не нужна. Я сама знаю, какие слова я скажу вождю!» — Учительница была умная, порядки в чем-то еще были либеральные (1930 год!) и Аду пустили в свободное плавание.

И вот пришел Киров — точно такой, как на портретах: широкая улыбка, зачес волос назад, гимнастерка под широким поясом. Стал в проеме рояля, рядом стоял стул. Первым его приветствовала первоклашка Ада — подбежав к Кирову она звонким голосом пообещала ему от имени октябрят своего класса всяческую поддержку в борьбе за светлое будущее человечества, чему не будет помехой возраст, ибо они — октябрята-ленинцы. Вместо растроганной благодарности вождя, на что рассчитывала Ада, Сергей Миронович сел на стул, посадил ее на колени (!) и как маленького ребенка погладил по голове. В злобе и слезах Ада спрыгнула с его колен, убежала и спряталась в последних рядах старшеклассников. Измерить ее обиду на Кирова обычными методами былоневозможно. Но долго сердиться по природе своей она не умела и искренне плакала в 1934 году, когда он был убит.

Что касается борьбы с религиозным дурманом, то и здесь впечатляющих результатов Ада не добилась. Бабушке, эрудитке и философу, Ада с ходу бухнула, что бога нет и в синагогу ходить не нужно. Бабушка спокойно ответила, что если Ада считает, что ее Бог — дедушка, сидящий на облаке в окружении ангелов, то она совсем не умная девочка. «Для меня, — сказала она, — Бог такая философская идея, нечто непознаваемое, но существующая в мироздании, как начало начал». Ада все запомнила, ничего не поняла, кроме того, что бабушку превратить в атеистку ей не дано. Второй конфуз на ниве борьбы за атеизм произошел через два-три дня, когда дядя Сима проверял ее уроки и в тетрадке обнаружил рисунок, где церковный колокол был сброшен с церкви, «потому что бога нет». Дядя поинтересовался ее ли это творчество в плане идеи. Узнав, что это было нарисовано на доске, а им было задано срисовать, а текст написать в своих тетрадках, Семен Ефимович сказал, что вера во всем личное дело каждого человека, что сбрасывать колокола с церкви равносильно плевку в душу верующего, все равно, как сорвать с Ады галстук и

вывалять его в грязи или сжечь. Словом, здесь Ада тоже потерпела фиаско, но стала атеистом на всю оставшуюся жизнь.

Истоки махрового атеизма Ады еще в дошкольном периоде. В праздник Пурим бабушка накинула на свою красивую, величественную голову черный кружевной шарф, завязала Аде, семилетке, белый бант в стриженных с челочкой волосах и повела в хоральную синагогу. Вначале Аде казалось, что они в театре, благо сидели на балконе. (В прошлом месяце ее водили в Мариинку на детский спектакль «Кот в сапогах». Ада была зачарована зрелищем и до сих пор помнит начало спектакля: кот прыгает на задних лапах, а передними отмахивается от пчел.) Ада посмотрела с балкона вниз и увидела только сгорбленные спины, как попоной, покрытые черно-белой тканью. Началась служба. Через десять минут ей стало убийственно скучно и она решила разрядить обстановку. Ей пришла в голову великолепная идея: незаметно подвинуть на край барьера один из бабушкиных молитвенников и имитировать его «случайное» падение вниз на полосатые спины мужчин. Молитвенник попал в цель — слава Богу не на голову, а на спину одного из молящихся. Поднялся такой переполох и гвалт, как будто пострадали все. Видимо Ада действовала недостаточно конспиративно, ибо ее соседка закричала бабушке: «Послушайте! Что за мамзера вы привели в синагогу? Позор на вашу голову!» — Бабушка величественно поднялась, молча взяла Аду за руку, вывела на галерею и сказала: «Тебе могло быть скучно, но как ты осмелилась оскорбить молящихся! Жди меня здесь, а о наказании мы поговорим потом». — Ада тихо стояла у окна и думала о предстоящем наказании. Больше всего она боялась, что отнимут новые книжки и старую тряпичную куклу Машеньку, которая открывала и закрывала голубые глаза, и которой она сама стилем «веревочка» вышила слоника на передничке. По дороге домой Ада всячески каялась и умоляла не рассказывать о своем проступке родителям. К концу пути ей удалось растопить лед бабушкиного сердца — та обещала маме и папе ничего не говорить и что прощает ее условно. До первого следующего преступления. Ада обещала быть паинькой и какое-то время продержалась.

Итак, с иудейской религией было покончено. Но в начале лета был большой православный праздник и сосед, с дочкой которого Ниной Ада дружила, пригласил их пойти с ними в церковь. Лето было жарким, у мамы был пунктик, что тело ребенка должно дышать. По сему Ада бегала по двору в черных трусиках и белой косыночке. Кроме этой «одежды» на ней были сандалики. Нина была в длинной ситцевой «татьяночке», в

черных ботиночках с петлей сзади. До собора ехали на трамвае. В его дворе стояли подводы с подстилкой из сена. Они были покрыты яркими домотканными ковриками. На возах множество крестьянских семей из окрестных деревень. Когда они стали по ступенькам подыматься к дверям церкви, одна из служек подошла к Аде и сказала: «То, что ты не крещенная, значения не имеет. Бог принимает всех, а то, что ты голая Боженьке неугодно!» — Аду не впустили в церковь и она долго ждала Нину с родителями, слоняясь между возами. Так она была отвергнута и православным Богом.

И у нее остался только путь атеизма.

(по материалам Ариадны Бердичевской)

Спасший знамя

В конце двадцатых годов семья Мишнаевых перебралась из еврейского села Бережное в Чернигов. Маленьким Миша бегал в городской парк, где стояли старинные пушки, на берег Десны, куда водочный завод спускал неочищенные воды, и живые еще рыбки выпрыгивали из воды. Отец был ломовым извозчиком, имел лошадь, в гражданскую воевал у Буденного, умер рано, осталось трое детей, Миша старший. Семья перебралась в Керчь. В первый класс Миша пошел, не зная ни одного русского слова. Вышел к доске: «А дэ тра-почка?» — Все засмеялись.

В сороковом году стали создаваться ремесленные училища и окончивший к этому времени восемь классов Миша, поступил учиться на химика-лаборанта в ПТУ при заводе им. Войкова. Это было большим облегчением для матери: в училище кормили и одевали.

2 октября 1941 года училище эвакуировалось на Урал. Путь был неблизкий, натерпелись немало. До станицы Славянской доставили на катерах. В станице скопилось огромное количество эвакуированных. Здесь Михаил впервые увидел евреев с бородами. Один их них нес на руках ребенка и приговаривал: «Ой, Йоселе! Ой, Йоселе!» — А ребенок был уже мертв… Этих несчастных грабили местные, отнимали вещи, за кусок хлеба драли семь шкур…

От Сталинграда до Куйбышева (Самара) везли на баржах. Три дня не кормили. У Михаила от голода начались галлюцинации: смотрел в воду и видел плывущие булки. Много булок. И в Серове было ненамного лучше: хулиганы отнимали еду… После освобождения Керчи, написал письмо домой. Ответила соседка — все погибли: мать с двумя сестренками (она все говорила: «Немцы

нас не тронут, мы бедные»), дедушка с бабушкой, дядя с женой и тремя детьми…

Михаил пошел в военкомат проситься добровольцем на фронт. Ему еще не было восемнадцати, и его направили вЧеркасское военное училище, находившееся в Свердловске. Накануне Курской битвы многие училища, и в том числе Черкасское, были направлены на фронт. Офицерские звания не были присвоены и командир 1264-го стрелкового полка подполковник Цибульский — красавец еврей — сразу присвоил бывшим курсантам звания сержантов и назначил их заместителями командиров взводов. Во взводе были одни узбеки и командовать ими было нелегко. Имеющего образование Михаила направили на курсы радистов-телефонистов. Дивизия, которой командовал полковник, а потом и генерал Кустов, одной из первых вошла в Орел. Большая группировка противника была окружена. Пытаясь вырваться, немцы предпринимали по восемнадцать атак в день. Их не останавливали горы трупов. Но и наши потери были велики. На КП полка почти никого не осталось. Принявший полк после гибели Цибульского подполковник Пинегин — тоже неплохой мужик, сказал Михаилу: «Нет связи с батальоном. Пойди найди обрыв».

Взял провод в руку и пошел. Лес, тишина, птички поют. Красота. Нашел обрыв, соединил, нашел еще один. Вдруг шум, крики! Большая группа немцев, вырвавшихся из окружения, бежала прямо на него! Окружали с разных сторон. Ничего не успеть. Перепугался страшно. Молодой, едва стукнуло восемнадцать. Уже не мальчик, но еще не мужчина. Как было не растеряться. Но сообразил. На нем была новая немецкая плащ-накидка, трофейные сапоги, снятые с убитого немца, с широкими голенищами, за которые были заткнуты немецкие гранаты на длинной рукоятке. Быстро снял и спрятал пилотку, натянул на голову накидку, карабин сунул под нее и ПОБЕЖАЛ ВМЕСТЕ С НИМИ! И вместе с ними кричал: «Доннер ветер! Ферфлюхте швайн!».

Налетели наши штурмовики. Немцы сбились в кучу и залегли. Михаил швырнул в них одну гранату, вторую… И побежал. Оторвался.

Добежал до своего КП. И снова испугался. На КП не было никого! И СТОЯЛО ЗНАМЯ. Михаил быстро снял чехол, сорвал Знамя и только сунул его за пазуху — вбежали два немца! «Вас махст ду!»». — Договорить они не успели. Михаил развернулся и дал очередь из немецкого автомата, подобранного по пути. Потом увидел: под солдатскими шинелями офицерские мундиры.

Побежал дальше. Из ложбинки донеслись стоны. Спустился.

Это был раненый командир полка. Помог ему выбраться. Идти он мог. Добрались до КП батальона. Пинегин сразу включился в обстановку и стал отдавать приказы. Михаил достал и отдал ему знамя. Командир полка обнял его и расцеловал: «Ты меня спас! Я тебя не забуду!» (За утерю знамени его бы разжаловали и отправили в штрафную роту). Пинегин представил Михаила к званию Героя Советского Союза, в представлении он написал все, кроме того, что Михаил спас знамя полка. Это понятно: как бы он при этом выглядел? И Михаил был награжден орденом Красного Знамени.

Командир полка не был антисемитом, к Михаилу относился хорошо и было за что. После войны Степан Герасимович Пинегин, уже полковник, как и многие другие, привез из Германии вагон трофеев, построил в Ставрополе дом и пригласил Михаила в гости. В сущности, Михаил его спас.

В одном из боев Михаил разжился бричкой с конем. Однажды на лесной дороге наткнулся на лежащих на обочине немецких раненых. Политработники учили: к врагу надо относиться гуманно. Михаил уже знал о гибели родных, но все же решил взять раненых. Кто сам вскарабкался на бричку, кому Михаил помог. Встретился командир полка: «Ах ты!.. Твою мать! Ты кого везешь? Куда? Они твоих родителей расстреляли! Два автоматчика ко мне!» — Не успел Михаил рта раскрыть — раненых повыкидывали из брички и расстреляли…

Однажды на марше Михаил забрался в немецкий блиндаж. Там было полно журналов, ярко иллюстрированных, немало порнографических… Парень молодой, интересно… Засмотрелся. Вышел — никого. Все ушли. Выставил карабинвперед и пошел по лесу один. Вдруг слышит — хруст. Кто-то идет. Показался пожилой немецкий солдат, в руках винтовка: «Плен! Плен!». — Стал показывать фото: жена, дети. Дальше пошли вместе. Еврей и немец. Как друзья. По дороге нагнал студебеккер с артиллеристами, остановились, соскочили: «Куда ты его ведешь?» — И затоптали. Сапогами.

Вспоминать и писать об этом нелегко. О катастрофе Михаил узнал только после войны. Теперь жалеет, что мало их пало от его руки…

Тяжелое ранение Михаил получил в Польше, в боях за город Ломжа. Лежал в неглубоком окопчике, мина разорвалась на дереве. Осколками ранило в обе ноги и поясницу. Двигаться не мог. Подоспела санитарка, здоровая деваха, до самой санроты несла на руках, как ребенка. Привезли в Москву, в Яузовскую больницу. Поправлялся медленно, долго не ходил, любоваться салютами подтаскивали к окну. Пролежал восемь месяцев.

Выписали накануне Победы, в апреле сорок пятого, с записью: годен к нестроевой. Попал в 306-й рабочий батальон охранять немецких военнопленных, строивших в Домодедово домостроительный комбинат. Немецкие офицеры ходили в чистых мундирах, с наградами, смотрели на наших с презрением. Грубого слова не скажи — враз потащат к начальству. В смену Михаила одного из пленных неосторожно задели доской, пошла кровь. Михаил отсидел пять суток на гауптвахте — «не доглядел».

Охрану кормили баландой, ни крупинки не просматривалось. А у пленных — густая болтушка. Михаил перелезал на их сторону и повар-немец наливал и ему…

Побежденный — победителю…

Мишнаев Михаил Хаимович, 1925 года рождения, награжден орденами Красного Знамени, Отечественной войны 1-й степени, медалью «За отвагу», памятными и юбилейными медалями. Репатриировался в Израиль в феврале 1998 года.

На Сталинградском тракторном

Лева Ройтман родился в Каменец-Подольском в семье сапожника, где кроме него было еще трое детей, все младшие. В отличие от многих своих сверстников он закончил русскую, а не еврейскую семилетку и после ее окончания некоторое время учился парикмахерскому делу у «хозяина», то есть в одной из уцелевших после разгрома НЭПа частных парикмахерских.

В 1938 году он был призван в Красную Армию, вскоре получил звание ефрейтора, а затем и младшего сержанта. В 1939 году их дивизия участвовала в «освобождении» Западной Белоруссии. Здесь впервые пришлось вступить в бой с бандами националистов, как их тогда называли (теперь это борцы за свободу). Пуля по касательной прошла по виску, след остался на всю жизнь.

Наше поколение было воспитано таким образом, что не оставляло места для сомнений. Дальше, когда Гитлер напал на Польшу, стали «освобождать» Польшу: Катовицы, Жешув, Пшеурск, но затем отошли до согласованной с немцами линии. Новые «друзья» поляки стреляли в спину отходившим частям. Снова появились жертвы.

Срок службы кончился, но обстановка была напряженной и всех задержали.

22 июня немцы разбомбили дивизионные склады, но только в обед командир полка собрал личный состав и объявил: «Началась война!».

В полк стал прибывать призванный по мобилизации приписной состав — главным образом пожилые возраста. Ему, как уже имеющему опыт, дали отделение. Он их учил стрелять, окапываться, всему, что было нужно на войне пехотному солдату.

Наступающие немецкие войска прошли через его родной Каменец-Подольский. Еще до их прихода, когда город был уже оставлен нашими войсками, а немцев еще не было, украинские антисемиты выгнали его семью из дома. Друг детства и однокашник отца Виктор Бондаренко, тоже украинец, но из другого теста, взял всю семью — отца, мать, брата десяти лет и двух сестричек пяти и шести лет — к себе. Прятал и кормил их несколько месяцев! Каждый день рискуя собственной жизнью. Его подвиг, никем не отмеченный, достоин того, чтобы о нем написать. Но настал день, когда больше держать их он не мог. И ночью проводил в лес. К партизанам. Там их приняли — случай не такой уж частый. Евреев принимали неохотно. Отец сапожничал, ухаживал за коровой, мать стирала. В их отряде было много евреев. Мужчины воевали, женщины вели хозяйство. Стремясь уничтожить отряд, немцы бомбили лес. Потом пошла их пехота. Часть партизан сумела вырваться и перешла в другой лес. Семьи остались… Каратели устроили кровавую кашу. Отца и мать повесили, братика и сестричек расстреляли… Вместе с ними погибли и братья отца со своими детьми и еще около двухсот человек…

Зимой сорок второго года в районе Монастырище немцы загнали в церковь более семисот наших военнопленных и не успевших эвакуироваться евреев. Командир полка вызвал Леву и сказал: «Надо их во что бы то ни стало освободить. Но без шума. Без единого выстрела». Перевес был на стороне противника и ввязываться в бой полк не мог. Лева собрал свое отделение, сказал: «Жить или умереть. Но мы должны выполнить приказ — освободить пленных. Дело добровольное: кто хочет — пойдет, кто сомневается — остается». Вызвались все. Ни один не отказался.

В шесть утра скрытно подошли к церкви. Часовых было четверо. Один из них дремал. Он так и не проснулся. Сняли их ножами и прикладами. Ломиком сорвали с церкви замок и стали выпускать людей. Кто был покрепче и не ранен побежали в ближайший лес, где по слухам были партизаны. Но здесь была допущена оплошность. Надо было предупредить несчастных, что это еще не победа, что нужно соблюдать строжайшую тишину. Раненые стали кричать, дети — плакать. Немцы услышали подозрительный шум, движение, и кинулись к церкви. Отделение отошло без потерь. А фашисты облили церковь бензином и подожгли… Все же несколько сот человек удалось спасти от

верной смерти.

Полк отступал до Днепропетровска. Отделение Левы охраняло авиазавод возле села Каменка. Сдержать противника не удалось. Пришлось переправляться на левый берег. Переправлялись на лодке установленной на понтоне. На середине реки налетели вражеские самолеты и на бреющем полете стали расстреливать отступающих. Лодка перевернулась, пятеро из одиннадцати солдат были убиты или тяжело ранены и пошли ко дну. Одного втащили на понтон, но на подходе к берегу он умер. Там на берегу и похоронили.

Командиром батальона был украинец, кадровый майор, откровенный и наглый антисемит и пьяница Кравчук. В пьяном виде придирался, обзывал жидом, «мало вас расстреляли», а однажды достал пистолет и хотел застрелить, но Лева успел достать свой безотказный наган и быть беде, но один из товарищей ударил по руке: — Не связывайся, мы с ним сами справимся. — Связали. А через некоторое время комбат… исчез! Можно предположить, что сбежал к немцам или бандеровцам, потому что вслед за этим ЧП быстро сняли и отозвали командира полка, тоже украинца.

Но будем помнить, что был ведь и Виктор Бондаренко!

Новый командир полка был хороший мужик, москвич, образованный. Любил и понимал солдата.

На левом берегу закрепились и отражали ожесточенные атаки. Ствол пулемета раскалялся — стреляли до последнего патрона. Потрепанный полк отвели во второй эшелон, прислали пополнение. Леве дали полувзвод — шестнадцать человек. Снова стал с ними заниматься, чтобы не подвели в бою. Но удержаться не удалось и здесь. Отступили под Новомосковск. Стояли в лесу во втором эшелоне в резерве. На переправе понесли большие потери, теперь получили пополнение, которое снова надо было обучать. Выдали СВТ — из-за частых отказов дружно нелюбимую солдатами. У Левы кроме нагана был карабин. Много позже, уже в сорок третьем, он получил автомат.

Немцы обнаружили расположение полка, лес подвергся сильной бомбардировке, было много жертв. Лева получил мелкие осколочные ранения, но в медсанбат не пошел. С неделю полк зализывал раны и его срочно бросили под Сталинград, где создалось тяжелое, в сущности, критическое, положение, в район Сарепта-Бекетовка. Нужно было во что бы то ни стало очистить от немцев знаменитый Сталинградский тракторный завод. Полк вооружили до зубов. Заняли позиции на высотке и после артподготовки взяли завод в обхват с двух сторон. Подползли под стены цехов, заложили связки гранат и взорвали. Один танк

сожгли, два повредили, но и потери были большие. Из шестнадцати бойцов его полувзвода шестеро были убиты, один тяжело ранен. Продолжая очищать завод от немцев, потеряли еще двоих солдат.

Но и для Левы этот бой оказался последним. Напрочь перебило левую руку. Удар был такой, что он потерял сознание и много крови. Идти не мог. Двое из оставшихся от его отделения солдат километра два тащили его волоком на плащ-палатке. Потом его километров двадцать везли на бричке. В медсанбате оказали первую помощь, затем отправили в Баку, но там в госпиталях не оказалось мест и его перебросили в Тбилиси. Встал вопрос об ампутации. Замученный хирург грузин посмотрел на руку: «Придется ампутировать». Лева взмолился: «Сохраните мне руку!». — «Ты посмотри что делается, — сказал хирург, — люди на полу лежат, валяются в ожидании операции. Когда я буду с тобой возиться?».

У Левы были трофейные часы, он протянул их хирургу, тот взял, посмотрел: «Ну ладно. Приходи завтра утром». Срастил. Правда не очень удачно, но руку сохранил. Два месяца держали в гипсе, потом еще почти полгода лечили и выписали вчистую. Давали инвалидность, но он не захотел — кому охота в юные годы, молодому да неженатому быть инвалидом! Начальник госпиталя сказал: «Возьми. На старости лет тебе пригодится». — Как в воду глядел. Но старость была еще так далека…

Возвращаться в Каменец-Подольский не было смысла. Там не было никого и ничего. Одни могилы. Да и могил тоже не было… Он поехал в Баку, там познакомился с семьей эвакуированных из его родных мест евреев и женился на их дочери. Внимания к участникам войны еще не было, и ему, как инвалиду, военкомат предоставил однокомнатную квартиру. В Баку жил и работал парикмахером до самого отъезда в Израиль. И азербайджанцы, и армяне относились к евреям хорошо.

Может быть оттого, что сами были национальными меньшинствами?

Ройтман Лев Шулевич, 1920 года рождения, награжден орденом Отечественной войны 1-й степени, медалью «За отвагу», памятными и юбилейными медалями. Репатриировался в Израиль в сентябре 1990 года.

Командир стрелковой роты

Ярославу выпало родиться в семье православного священника, имевшего приход в селе Оленовка по соседству с

небольшим украинским городом Фастов на Киевщине. Естественно, в то непростое время профессия отца не могла остаться без пристального внимания власти и в 1928 году — Славе был годик — он «загремел» на семь лет в Архангельскую тюрьму. Где — это было другое время — закончил медицинский техникум и, освободившись в 1934 году, решил больше не искушать судьбу и стал работать сельским фельдшером.

Молодую попадью стали преследовать. Оставив ребенка на попечение сестры и родителей, она бежала на Дальний Восток, работала чернорабочей, познакомилась с человеком, служившим охранником в лагере, вскоре забрала на ДВК и сына, но через некоторое время все трое вернулись в Фастов.

С началом войны отчима призвали в армию и отправили на фронт. Он попал в плен, как-то сумел дать ей знать, она из Фастова добралась до Житомира, где был лагерь военнопленных, но удалось пообщаться лишь через проволоку. Добровольно или по принуждению — этого не узнать — он оказался у власовцев. Где-то на Западной Украине рота Ярослава занимала оборону напротив власовских позиций. В вечернем воздухе русская речь была отчетливо слышна и со стороны противника стали раздаваться голоса. Хотели дать о себе знать родным: называли местность, фамилии… Неожиданно Ярослав понял, что один из кричавших его отчим! Не отозвался. Это могло для него плохо кончиться. С войны отчим не вернулся…

Впоследствии мать вышла замуж за прекрасного человека, бухгалтера, отношения с отчимом были очень хорошими. Слава считал его отцом.

В июне 1941 года, за пять дней до войны, Слава закончил семилетку.

Партизаны появились под Фастовом еще до прихода немцев. В день прихода оккупантов Слава нес в лес соль для партизан. Стал на дороге, немцы покосились, но не тронули. Вскоре молодых ребят забрали рыть окопы, попал в эту группу и Ярослав. Через своего знакомого, профессора Буйко, отчиму удалось отхлопотать сына. Но и потом посылали на рытье, он убегал. А Буйко, который был связан с партизанами и помогал им, немцы расстреляли…

Фастов был освобожден 8 ноября 1943 года, на следующий день после Киева. В тот день Ярослав был у знакомых в соседнем селе. Решил вернуться домой. Нужно было пройти через оборону противника — впрочем, довольно редкую: возле моста стояло несколько танков и орудий, сколько-то германских солдат сидели в траншеях. Вид у них был подавленный. Видимо, они уже знали, что Киев взят и невесело ожидали своей участи. Не

отреагировали они и на крестьянского подростка, им уже было не до него.

Задержали его наши разведчики и привели в штаб полка. Ярослав хорошо запомнил оборону немцев, рассказал, и командир полка попросил: «Ты нас проводи, а сам не ходи. Иди домой». — Но ему было интересно и он пошел за ними. Группу немцев разгромили и Ярослав стал проситься в полк. Воевать. Отказали — семнадцать лет. Пошел к командиру дивизии, плакал: «Возьмите!». Комдив, генерал Пархоменко, которого все почему-то считали братом легендарного героя гражданской войны, сказал: «Ну, раз ты нам помог!..». Зачислили в полковую школу, стал сержантом.

Как-то с наблюдательного пункта заметил: к нашим позициям пробирается разведчик противника. Смело вышел навстречу, в рукопашной обезоружил и взял в плен немецкого унтер-офицера. По пути к штабу встретились наши разведчики, забрали языка — выдать за «своего», сняли с пленного сапоги и отобрали у Ярослава часы, которые тот взял у немца.

Ярослав прилично знал немецкий, учил в школе, сказались и два года оккупации. В штабе командир полка, подполковник Мардемшаев, спросил: «Кто взял языка?». — Пленный показал на Ярослава. — «Какую хочешь награду?». — Сказал про часы, часов у него никогда не было. Командир полка «выразился» достаточно убедительно, и разведчики быстренько вернули часы Ярославу. А Мардемшаев наградил его медалью «За отвагу».

Вскоре Ярослав закончил при дивизии краткосрочные курсы и стал младшим лейтенантом. Вначале командовал разведчиками, но из-за нехватки комсостава пришлось принять стрелковый взвод.

В селе Балабановка, на Киевщине, дивизия попала в окружение. Выходила тяжело, вся техника осталась у немцев, но знамена полка и дивизии вынесли и она не была расформирована. Вернулись в Белую Церковь, там дивизию пополнили, посадили в эшелон и бросили в бой под Шепетовку.

Вторую медаль «За отвагу» Ярослав получил в боях за село Денисив на Тернополыцине. Следующей наградой стал орден Красной Звезды, когда Ярослав, после гибели командира, взял командование на себя и отбил контратаку. После этих боев его, младшего лейтенанта, в восемнадцать лет (!) назначили командиром стрелковой роты. На Львовщине Ярослав со своей ротой в течение суток удерживал отвоеванный рубеж, был ранен, но оставался на поле боя до его завершения за что получил орден Отечественной войны 2-й степени.

В Польше Ярослав был ранен во второй раз.

Наиболее тяжелые бои завязались в Карпатах, на Дуклинском перевале. У противника была здесь сильно укрепленная линия обороны: заросшие лесом горы, крутые склоны, бурные реки, дождь, туман, глинистая почва затрудняли наше наступление.

Здесь Ярослав был ранен в третий раз. Ранен тяжело. Противопехотной миной оторвало часть ступни. В горах, в отсутствие дорог четверо суток везли на повозке в Перемышль, где был медсанбат и госпиталь. В пути раненые сами перевязывали друг друга. В Перемышле сделали первуюампутацию — всего их было пять… Но температура поднялась до сорока одного с половиной градуса! Гангрена! Ампутировали выше. Потом до колена… Понемногу стал выходить на костылях. Кормежка была неважной. Попытались с ходячими сбыть на барахолке пару простыней, одеяло. Встретился патруль, загнал обратно.

Нога все не заживала. Отправили в тыловой госпиталь в Баку. Всю дорогу везли на товарняке: как дернет — глаза на лоб полезут от боли. Налетел немецкий самолет, но увидев кресты на крышах вагонов, стрелять не стал. Госпиталь в Баку был с видом на море, кормили хорошо, офицеры получали доппаек. Жить было можно. Но уже без ноги… Рана не заживала. Опасаясь гангрены, оперировали еще два раза. Нога становилась все короче, дошли до паха, дальше резать некуда…

13 апреля 1945 года, в день рождения, выписали. Победу встретил дома, в Фастове. Ну, что делать — жить надо. Поступил в Черновицкий финансовый техникум, женился на еврейской девушке — студентке с соседнего курса, родился сын. Полгода проработал инспектором и назначили Управляющим районной конторой Госбанка в Сокиряны — райцентр Черновицкой области, недалеко от молдавской границы.

И сорок пять лет проработал Управляющим! Был не из последних — наградили орденом Трудового Красного Знамени — одной из самых высоких наград.

Большинство сотрудников были евреи. Все они сейчас в Израиле.

Впору создавать контору и здесь.

Олийниченко Ярослав Васильевич. 1927 года рождения, награжден орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степени, Трудового Красного Знамени, Красной Звезды, двумя медалями «За отвагу», памятными и юбилейными медалями. Репатриировался в Израиль в июне 1998 года.

Дважды рожденный

В маленьком местечке Ободовка на Винничине евреев было едва человек двести-двести пятьдесят. Отец был портным, мать домохозяйка. Было четыре брата, один погиб на фронте, другой попал в плен и спасся чудом: был смугл, до войны кадровую служил в Фергане, хорошо знал местный язык и выдал себя за узбека. В Фергану эвакуировались и родители Абрама, но тогда он об этом не знал — из Бугурусланского бюро ответили: «такие не значатся», и он всю войну считал их погибшими. Как и они его…

После школы мечтал учиться на авиаинженера, но отец слышать не хотел (незадолго произошла катастрофа самолета). Пока собирал деньги на дорогу в Одессу, набор в ВУЗы закончился, недобор был только в политпросвет. Поступил, год проучился, а тут и война.

Призвали в кавалерию. Постоянные насмешки и негативно-ироническое отношение к имени Абрам заставило его назваться Андреем. Так и привык. Отношения с конем тоже были непростыми, не раз оказывался на земле…

На Волховском фронте часть разгромили, перевели в пехоту и здесь, под Ржевом, ранило в первый раз. Лечился в Новом Иерусалиме, под Москвой. После госпиталя направили в Ворошиловград, участвовал в боях в Украине, Молдавии. На правом берегу Днестра был небольшой плацдарм, метрах в трехстах впереди траншеи находился НП артиллеристов-корректировщиков. Связь с корректировщиками огня прервалась. Командир роты накинулся на Абрама: «Ну, жиденок! — иначе он к нему и не обращался, — Покажи на что ты способен!». — «Я же не связист!». — «Иди! Не пойдешь — пристрелю!».

Нацепил катушку, пополз, связь восстановил. Командир роты сказал: «Молодец! Напишу на награду!» Но на следующий день комроты погиб. А с ним и награда…

В конце августа сорок четвертого года освободили Кишинев, двинулись на Румынию, оттуда в Польшу 12 августа началось наступление, а 14 ранило. Ранило тяжело. Напрочь перебило правую руку и правую ногу, ранило в левую ногу. Положение осложнялось общей контузией. Надежды на жизнь не было.

В феврале 1945 года мать получила похоронку…

Впервые очнулся в Брест-Литовске, оттуда на санитарном поезде повезли в Тбилиси. Три раза переливали кровь. Кровь давала девушка-студентка. Был лозунг: «Все для фронта, все для Победы», и многие стали донорами. В палате лежало девять человек, все ходячие, один Абрам лежачий. Рядом лежал Федя Почепа, он стал близким другом, толмачем-переводчиком. Сам Андрей-Абрам ни говорить толком, ни, тем более, писать не мог.

После третьего переливания хотел поблагодарить девушку-донора, но ни сказать, ни написать не сумел. Надпись на фото сделана рукой Феди.

В один прекрасный день вошла медсестра: «Спивак! Мама приехала!» Абрам был уверен, что родители погибли. От сильного волнения утратились остатки речи.

Но вошла не мама.

Вошла мать девушки-донора. (Она работала неподалеку от госпиталя поваром в детском саду НКВД, и звали ее Марго. Вообще-то, она была Маруся, в какие-то годы их раскулачили и выслали, и грузины назвали ее Марго). Приходила почти каждый день, приносила передачи.

Палата была на четвертом этаже, а на втором был клуб, где каждый вечер крутили кино. Охота пуще неволи: по углам подушки привязывал веревки, садился на это импровизированное сиденье, обвязывался и опираясь одной рукой «съезжал» по ступенькам вниз в клуб. Хуже было с подъемом — подымался спиной вперед, отталкиваясь поправившейся левой ногой.

Должны были делать еще одну операцию. Марго сказала:

«Откажись от операции, я тебя возьму домой, будем ухаживать». Договорилась с главврачом: 26 апреля 1945 года была комиссия, 30-го выписали.

1 Мая Марго накрыла стол, собрались друзья, соседи — праздник! А у Абрама рука в гипсе, нога не разгибается, под левой рукой костыль и говорить не может — заикается…

2 Мая дочка достала машину и повезла показывать Тбилиси. Подъехали к вокзалу. Решил посмотреть. Выполз. Никакой мысли не было. Подошел к кассе. Никого. Праздник. Достал документы. И выписал билет!

На этот день! 2-го мая!

Марго ни в какую: Нет! Нет! Пусть билет пропадет!

Абрам был уверен, что родители погибли. Сказал: «Съезжу, выясню, поклонюсь могилам и вернусь». — И верил, что так и сделает. По-видимому, у Марго были какие-то виды на Абрама: дочь невеста, а женихов война прибрала… На дорогу понадавали продуктов, пятьсот рублей денег. Поехал. В этот день, 2 мая, пал Берлин. Кругом был праздник, ликование.

От станции Тростянец до Ободовки двенадцать километров. Увидел почтальона, подошел. Тот спросил: «Ты чей?». — «Спиваков». — «Твои батьки живы!». — Он и не надеялся. — «Сидай!». — А он не может. Почтальон взял его на руки, как ребенка, и посадил на подводу. По пути встретились две женщины. Не узнали: «А говорили — ты убит!».

В войну дом и сарай Спиваков разобрали на дрова, и они

жили у деда, все в одной комнатке. Подъехали. Отец стоял на террасе. Увидел. Крикнул жене: «Мит гебрахт Абраму-ле!» (Привезли Абрамчика!). — Мать потеряла сознание… С подводы сняли на железную койку, так и занесли в комнату. Набежали соседи, облепили дом: «Гикумен фун енер велт!» (Вернулся с того света!)

Домой вернулся, как в кино: 9 Мая 1945 года, «В шесть часов вечера после войны» — был такой фильм.

Девушки праздновали Победу отдельно, приготовили вареники, достали бутылку вина. Кто-то крикнул: «Абрам вернулся!» — немая сцена. Как в «Ревизоре». Прибежали, смотрят в окно.

Врач посоветовал: «Больше ходи. И разговаривай сам с собой».

Стал по утрам провожать девушку на работу, вечером встречать с работы. Звали ее Броня. Пошли слухи. Ее отговаривали: инвалид, калека, ложку ко рту поднести не может, брюки расстегнуть… К тому же сумасшедший — сам с собой разговаривает.

Расписались, как тогда говорили, 1 января 1947 года. И шесть десятилетий живут в счастливом браке. До ста двадцати им.

…А осколки еще долго выходили из раненого тела.

Последний — через сорок лет…

Спивак Абрам Семенович, 1923 года рождения, награжден орденом Отечественной войны 1-й степени, памятными и юбилейными медалями. Репатриировался в Израиль в апреле 1990 года.

День рождения — 7 ноября!

Рая родилась в Нежине, но вскоре родители перебрались в Харьков, где отец работал на знаменитой до сих пор кондитерской фабрике «Красный Октябрь» (теперь просто «Октябрь»). Несмотря на то, что Харьков еще был в то время столицей Украины — город был, и отчасти остался, вполне русским. В 1930 году Рая поступила в русскую школу № 13 на улице Карла Маркса. Училась хорошо, сделалась активной комсомолкой и уже в 9 классе ее избрали секретарем комсомольской организации школы. Вместе с «должностью» к ней перешли и бумаги, в одной из которых она с удивлением прочла, что все школы-новостройки, возведенные в эти годы, получали одинаковый номер — 13, вероятно в пику существующему предрассудку. Новое время!

В субботу, 21 июня, в школе устроили бал по случаю окончания учебного года. Вечером бал, утром война! В последних числах июня Рая со своими комсомольцами отправилась рыть окопы в район станции Марефа под Харьковом. Там, на окопах, рано утром 3 июля услышала выступление Сталина: «Братья и сестры!». — После этого выступления многие родители кинулись забирать детей. За Раей и ее группой никто не приехал и 7 июля они пешком добрались до станции и на паровичке вернулись в Харьков. Здесь райком комсомола распределил девушек по госпиталям.

В первых числах сентября отца Раи, Исаака Марковича, призвали в армию и отправили на фронт. И он сгинул. Ни письма, ни похоронки. В конце концов удалось выяснить, что он пропал без вести в декабре 1944 года во время второго освобождения Харькова. Никаких следов найти не удалось. Ему было сорок два года…

Числа 10–12 сентября Рая с матерью, младшим братом и семьей маминого брата эвакуировались. Куда везут, не знали. Ехали месяц, все на восток и на восток, в Сибирь. На одной из станций близ Пензы Рая ухитрилась отстать от поезда: пока стояла с котелком в очереди за кипятком — поезд тронулся. Ей было уже шестнадцать лет, вполне самостоятельная девушка. Пошла к коменданту, сообщили по линии и через два дня, уже в Новосибирске, догнала своих.

В Красноярске их принял дальний родственник. Он жил на правом берегу Енисея, их поселили на левом, на промышленной стороне Красноярска, где размещались промышленные предприятия города и эвакуированные с запада заводы. Поначалу Рая работала библиотекарем в эвакогоспитале № 428, помогала ухаживать за ранеными, писала письма тем, кто не мог этого сделать сам. Но ей казалось, что для Родины, в этот тяжелый час, она делает мало и она перешла работать на военный завод им. Малышева, эвакуированный из Харькова. Проработала три-четыре месяца, Ленинский райком комсомола объявил мобилизацию девушек и Рая была призвана в армию.

Она была комсомольской активисткой и ее сразу назначили комсоргом 10-го ОЗАД (Отдельный Зенитно-Артиллерийский Дивизион). Прибыли под Сталинград в город Камышин. Камышин уже бомбили и в одной из бомбежек Рая была ранена в правую ногу. Их еще не успели обмундировать и так, в туфельках, лежала в медсанбате. Но тут всех девушек собрали и стали отправлять в Забайкалье. Рая не хотела расставаться с подругами и попросту сбежала из медсанбата. Никакой справки не взяла.

Прибыли в Читу в ЗАБВО (Забайкальский Военный Округ), в

873 зенитно-артиллерийский полк. Здесь, вместо четырех треугольников замполитрука она получила, на недавно введенные погоны три лычки сержанта и ее назначили командиром отделения. Некоторое время она была наводчицей орудия, но вскоре ее, как наиболее грамотную, перевели на СОНю (Станция Орудийной Наводки). Станция была английская, мощная, поражала своим оформлением, теперь бы сказали дизайном, работать на хорошо изолированном от излучения осциллографе было одним удовольствием. В обязанности Раи входила обработка полученных данных и их передача в 750-й авиаполк, стоявший неподалеку Станция действовала в радиусе 60 километров и размещалась в районе, где не было высоких сопок — вблизи маньчжурской границы, откуда постоянно проникали группы японских солдат, совершали диверсии, убийства. Нередко залетали и самолеты Квантунской армии.

СОНя размещалась недалеко от станции Борзя, на небольшом островке на реке Онон. Наступил праздник 7-го ноября — тогда почетный и значимый. По счастливой случайности Рая родилась именно в этот день.

По традиции на праздничные дежурства назначаются лучшие подразделения. Таким в этот день оказалось отделение Раи — семь девушек. Всем выдали полушубки, валенки, стеганные ватные штаны и караульную шубу для часового. Вообще говоря, существовали мостки для перехода с берега на островок, но они были далеко и чтобы ускорить смену караула перебросили канат и по двое ребят — один спереди, второй сзади — держась за него, перенесли девушек на островок, завалили дерево, зажгли его, чтобы девушки могли погреться, и вернулись на базу.

Все знали, что у Раи 7 ноября день рождения. Она поставила часовым Аню Мельникову, а сама села писать письмо маме. А Аня уснула…

Через какое-то время услышала запоздалый окрик часового: «Стой! Кто идет?!». — «Сейчас ты увидишь — кто идет! Где начальник караула?» — грозно спросил мужской голос. — Рая представилась. — «Начальнику караула десять суток, остальным по трое!». — Это был командир полка, латыш, фамилия которого, к сожалению, не сохранилась в памяти. В праздничный день он решил сам проверить посты и прошел по настилу. Сразу по рации передал приказ начальнику штабасрочно заменить караул. Подошел: «Кому пишешь?». — «Маме». — «Сообщаешь, где стоит СОНя!». — «Мне сегодня восемнадцать лет». — Остыл. Прочел письмо. Подобрел. Взял за плечи. Обнял: «Ничего, дочка! Ты еще будешь учиться! Отставить арест!». — И командиру роты: «Зачем таких девушек посылаете на такой ответственный пост!».

Ждал, пока по настилу перешли хлопцы и только тогда вернулся в расположение. Вместе с ним вернулись и девушки. Аня все волновалась: «Меня не арестуют?». Взыскание сняли со всех.

Еще до этого ЧП Рая была представлена к медали «За боевые заслуги», «за успешное освоение новой техники» и получила ее накануне Нового, 1944 года.

Во время японской войны часть оставалась в этом же районе.

В апреле 1945 года — война еще шла — Рае предоставили отпуск.

До Москвы, где была пересадка, ехала месяц. Поезд прибыл в столицу 2-го Мая — в день взятия Берлина! Вот было ликование!

Продовольственный аттестат у нее был на пятьдесят суток. В поезде ее подкармливал военврач, которому она приглянулась. Хлеб оставался. В Харькове хотела продать две зачерствевших буханки. Она и не знала, что в городе так голодно. Накинулись. Одну буханку вырвали из рук, вторую разорвали на куски. Еле вырвалась, едва успела добежать до вагона. А денег почти никто и не заплатил…

Мать уже была в Сумах, работала в Военторге. Вместе пошли в Военкомат хлопотать о демобилизации — война уже кончилась! Вручили медаль «За Победу над Германией» (указ от 9 мая 1945 года, видимо, заготовили заранее) и… отказали.

Вернулась в часть, снова на дежурство. В чудом сохранившейся красноармейской книжке запись: «Забайкальский фронт с 9 августа 1945 года по 13 сентября 1945 года». Воктябре сорок пятого демобилизовалась и вернулась в Сумы.

И началась новая жизнь. Работала секретарем в горисполкоме. В первые послевоенные выборы возглавляла группу агитаторов. Там познакомилась с молодым, красивым парнем. Они понравились друг другу. Но все было не так просто. У него был туберкулез. Естественно, все родственники были против. Она настояла и 26 апреля 1947 года вышла замуж. Муж служил в Красной Армии с 1939 года, участвовал в «освобождении» Западной Белоруссии, на фронте с первых дней войны, участвовал в обороне Москвы и Киева, был награжден медалью «За отвагу». Демобилизован из Вооруженных Сил в 1946 году по болезни.

Активная натура Раи не успокоилась и на гражданке. Пошла в рабочую школу, закончила десятилетку с серебряной медалью, поступила в Пединститут уже с ребенком и всю жизнь преподавала в школах математику. Была завучем, директором школы, завметодкабинетом. Выйдя на пенсию стала ответсекретарем комитета ветеранов войны и труда, много

внимания уделяла вдовам фронтовиков. И работала до отъезда в Израиль.

Мужа вылечила народными средствами. Но главным было не «средство», а большая любовь, которую она пронесла через всю жизнь.

Воспитала двух сыновей. Один имеет ученую степень, научные труды, второй — по специальности инженер, по призванию музыкант, бард. Есть внуки и правнуки.

Раиса Исааковна по праву считает себя по-настоящему причастной к войне.

Обыкновенная биография.

Айзенберг Раиса Исааковна, 1924 года рождения.

награждена орденом Отечественной войны 2-й ст., медалью «За боевые заслуги», памятными и юбилейными медалями.

Репатриировалась в Израиль в феврале 1997 года.

Девичья фамилия Зафранская.

Повстанец

Владек родился в 1918 году в Варшаве. Родителям приходилось нелегко — семья была семь человек и прокормить такую ораву было непросто. Дети их почти не видели, только по праздникам, которые отмечались неукоснительно. Жили в районе, который был населен и евреями и поляками и Владек хорошо владел обоими языками и это впоследствии ему пригодилось.

Подростком вступил в юношескую организацию Бунда «Цукунфт» («Будущее») — нечто вроде Комсомола. Вскоре его взгляды сформировались более отчетливо, и он перешел в основной, «взрослый» состав Бунда.

Нападение Германии на Польшу 1 сентября 1939 года застало Владека в туристическом походе в Карпатских горах. Встревоженные туристы кинулись по домам. Поезда брали штурмом, лезли в окна, на крыши. Восемь раз Владек безуспешно пытался сесть на поезд и лишь на девятый ему это удалось.

Родителей он застал испуганными, но все еще надеявшимися выжить…

Положение резко ухудшилось, когда евреев согнали в гетто. Наступил полный произвол. Нацисты вытворяли, что хотели: отбирали имущество, насиловали, убивали. Каждый день ловили

евреев и отправляли в лагеря уничтожения.

В гетто наступил тяжелый голод. Из-за отсутствия минимальных санитарных условий вспыхнула эпидемия тифа, люди умирали один за другим…

У кого были документы на право работать вне гетто, считались счастливчиками. Они меняли у поляков драгоценности и дорогие вещи на еду. К таким «счастливчикам» принадлежал и Владек. Проносить в гетто продукты питания строго запрещалось. За это сурово наказывали, лишали пропуска, могли и расстрелять. Еду прятали на себе и в сумках. Однажды Владек чуть не попался. При входе в гетто немцы приказали всем положить сумки на землю. С замиранием сердца Владек ослушался. Все решили, что ему пришел конец. Прошел с сумкой! На счастье его не обыскали, что было обычным делом. Он оказался единственным, кто прошел с сумкой. В сумке была мука.

В гетто Владек вступил в подпольную боевую организацию Бунда. Всех разбили на «пятерки», проводили тренировки, учили обращаться с оружием. Занятия проходили в траншеях, канавах, вдали от глаз. Внешне Владек не был похож на типичного еврея и благодаря «арийскому» виду и свободному владению польским языком, которым он владел в совершенстве, ему удавалось переходить на польскую сторону. Он доставал оружие и патроны и перекидывал их через стены гетто, где в условленном месте и в назначенное время его ждали товарищи по подполью.

Представившись поляком, Владек даже снял в городе квартиру. В комнате жили еще две польки. Это мешало его работе, но приходилось мириться. Одна из них вскоре потребовала, чтобы он на ней женился…

Однажды Владека чуть не поймали. Обедая в ресторане, он не сразу заметил, что его пристально рассматривают пятеро молодых поляков, так называемые «шмалцовники» («шмалц» — сало). Они выискивали в городе евреев и передавали их немцам, за что получали вознаграждение. Эти мерзавцы вышли вместе с Владеком и затащили его во двор: «А ну, жид! Давай деньги!». Но Владек не растерялся и решил пойти «ва-банк» — другого выхода не было. Он набросился на них с криком: «Сами вы жиды! Пойдемте в полицию, там разберемся!». Это подействовало и они отстали. Риск был смертельный. В полиции могли снять штаны…

В марте 1943 года Бунд, коммунисты и сионисты объединились и создали штаб восстания. К ним присоединилась молодежь.

Узнав, что 19 апреля немцы войдут в гетто, заранее разместились на крышах. Немцы не подозревали, что в гетто существует подполье и готовится восстание, и безбоязненно

вошли на территорию гетто. Но как только они появились — их обстреляли со всех сторон и забросали «коктейлями Молотова». В рядах карателей появились убитые и раненые, и они в панике отступили. Но это было только начало. Подошла их пехота и танки и разгорелась настоящая война.

В разгар боев заместитель Анилевича Марк Адельман приказал Владеку перейти на «арийскую» сторону, в «свою» квартиру и наладить связь с польским подпольем.

Шум боя доносился и сюда. Несколько раз Владек пробирался к стенам гетто и с ужасом видел, как из окон верхних этажей горящих домов выпрыгивали на верную смерть люди! Дети, женщины, мужчины…

Время не властно над этими страшными картинами.

Бои продолжались три недели. Большинство восставших погибли. Оставшиеся продолжали борьбу. Перебираясь с крыши на крышу, из дома в дом, они отстреливались до последнего, подрывали и поджигали немецкие танки.

В одну из ночей Владек вместе с членами польского подполья, с которыми ему удалось установить связь, пробрались в горящее гетто, принесли сражающимся два ящика патронов и кое-что из продуктов. Из гетто выбирались под утро, уже светало. Немецкий снайпер заметил группу и Владек был ранен. Польские друзья вытащили его из канавы и переправили в деревню, где его лечил врач из сельского подполья.

После выздоровления Владек вернулся в Варшаву. По молодости уверовав в свою безопасность, он утратил бдительность и свободно ходил по городу. Это было ошибкой. Немцы арестовали его прямо на улице и посадили в тюрьму «Павияк», известную еще с царских времен.

Просидел он довольно долго. Каждый день ожидая расстрела. Так бы, наверное, и было, но в один из дней, воспользовавшись оплошностью охраны, ему удалось спуститься вканализационный люк и по коллектору с нечистотами выбраться на волю. Мимо проходила колонна поляков, шедших на работу. Владек затесался в эту толпу. Так он спасся еще раз.

1 августа 1944 года началось восстание поляков. Ненависть к немцам была так велика, что Владек без колебаний примкнул к восставшим.

И здесь был ранен во второй раз. На этот раз — тяжело. Его перевезли в больницу в город Яблонка.

17 января 1945 года Красная Армия освободила Варшаву.

Через пять лет Владек осуществил свою мечту и прибыл в Израиль.

Владек Зильберберг, 1918–2002 г. Инвалид 2-й мировой войны.

Репатриировался в Израиль в 1950 году.

С «Червоной Украины» на «Красный Крым»

Голод двадцать первого года не обошел и Мариуполь. В тот год умер отец, мать осталась с пятью детьми, старший брат стал за отца, работал, но будучи не в состоянии прокормить семью, двух младших отдал в детский дом. В детдоме было не намного сытнее и через год Ханон с братом вернулись домой.

Мариуполь не был еврейским городом — жили и украинцы, и русские, много греков. Первые четыре года Ханон учился в еврейской школе, потом перевели в русскую семилетку. Еврейская школа была в одном дворе с синагогой, в праздники верующие евреи кричали мальчишкам: «Скотейрим! Куда вы бегаете без головного убора!» — Азовское море и река Кальмиус были рядом, мальчишки пропадали на воде и Ханон рано научился плавать. В соседнем рабочем клубе освоил барабан и альт и стал работать в оркестре цирка — еще застал знаменитого борца Поддубного. Чтобы заработать не гнушался и на похоронах играть. Стал членом союза Рабис (работников искусств).

В 1935 году Ханон поехал в Харьков поступать в физкультурный техникум. Физкультура входила в моду, поступало много ребят, требования были жесткие и, сдав все предметы, именно по физкультуре не получил проходного балла. Пошел работать разнорабочим в типографию им. Блакитного (до сих пор не знает кто такой) и стал учиться на рабфаке при Харьковском институте коммунального хозяйства. Общежитие на Шатиловке — огромный, как корабль, барак на триста сорок человек, общий зал с проходом посередине и множество коек справа и слева. Один из рабфаковцев обворовал товарищей, в том числе Ханона, украл одежду, обувь и бежал. Обнаружив в одежде документы, написал, что пришлет, но так и не прислал. Ребята подали в суд на институт за плохую охрану общежития и им выплатили какие-то деньги.

В 1937 году после четырех лет учебы, Ханой хотел поступить в этот институт на архитектурный факультет, но не прошел по рисованию. И это несмотря на то, что родной брат Яков был секретарем парторганизации института и об этом знали. Видимо, в те годы блат еще был в зачаточном состоянии…

Подал документы на исторический факультет Харьковского Университета. Приняли без экзаменов — засчитали оценки института коммунхозяйства. Был активным комсомольцем, играл в университетском оркестре, а по вечерам был ударником в джазе

харьковского ДИТОРа (дом инженерно-технических работников) — он уже был профессионалом. Так прошло два года.

В это время стали укреплять Советские Военно-Морские Силы. Комсомольцев, имевших подходящее образование, вызвали в райком и предложили учиться в Севастопольском Высшем Военно-Морском училище. Ханой и еще несколько человек дали согласие, их приняли без экзаменов. В 1940 году, получив первый отпуск, курсант Райхельсон заехал в Харьков, где последний раз видел брата Якова — будучи комиссаром стрелкового батальона он погиб в самом начале войны. В Мариуполе в последний раз увидел мать, сестру и братьев, старшего Исаака и младшего Михаила. Все они остались в оккупации и погибли…

В училище Ханон познакомился с офицерской жизнью, увидел ее вблизи. Она ему не понравилась: езжай куда пошлют, служи, где скажут. Возможно сказалось общение с работниками искусств, творческие люди с трудом приемлют дисциплину и ущемление своей свободы. Это тем более странно, что в те годы Красная Армия и Флот были очень популярны, многие ребята мечтали стать краскомами — красными командирами — и после восьмого класса наперебой стремилисьв обычные военные училища, а после десятого — в высшие. Тем не менее четверо харьковчан, из них один еврей — Ханон, подали начальнику училища рапорт об отчислении. Не обошлось без соответствующего разговора, но — куда деваться — списали на флот, отслужить срочную.

Двое — Ханон и его товарищ Геннадий, попали на крейсер «Червона Украина». Корабль имел в длину сто двенадцать метров, вооружение — шестнадцать орудийных башен с одним 120-и мм. орудием по восемь башен по каждому борту, два торпедных аппарата, на баке и на юте по зенитной пушке калибра 100 мм. и по два спаренных пулемета по левому и правому бортам, экипаж около тысячи человек. Крейсер стоял в Севастополе в Южной бухте. Ханон был зачислен старшим краснофлотцем, назначен сигнальщиком и причислен к муз-команде. По боевому расписанию был связным в боевой рубке и должен был находиться возле командира корабля. Играл в духовом оркестре.

На Графской площади по субботам по разнарядке по очереди играли флотские оркестры. Исполняли и классическую и военную музыку, играли и танцы. Вот и в эту субботу, 21 июня, пошли в увольнение, потанцевали, вернулись, как и положено, к 23 часам, легли спать. Часа в четыре ночи услышали стрельбу. Но еще ничего не поняли, не подозревали. Вызвал вахтенный офицер, приказал играть боевую тревогу. Играли тревогу и на других

кораблях. С этого момента и началась война. Но еще не догадывались, не верили.

Стремясь запереть Черноморский флот в Севастополе, немцы сбрасывали на фарватер мины и магнитные бомбы. Через некоторое время там подорвался наш минный тральщик. Крейсер «Червона Украина» выходил в море, чтобы не подпустить морской десант и предотвратить проход в бухту подводных лодок противника — корабль считался противолодочным. Ходили и подальше, курсировали у берегов Румынии и Болгарии, но близко не подходили. Под сильные бомбежки стали попадать, когда эвакуировали Одессу. Вместе с однотипным крейсером «Красный Крым» вывозили раненых, войска, набивали столько, что в кубрик было не войти. Но дисциплина и порядок были, командиры контролировали своих бойцов, паники не было. Массовый переход с одной палубы на другую мог бы иметь непредсказуемые последствия…

Немцы подошли к Севастополю. Крейсер вел огонь по скоплениям противника, вспахивал побережье так, что земля вставала дыбом. Все курсанты училища были брошены на оборону города, в пехоту. Почти никто из них не уцелел…

«Червона Украина» стояла у Графской пристани. К этому времени ближние аэродромы были захвачены немцами или уничтожены и флот остался без авиационного прикрытия. Оборонялись от вражеской авиации своими зенитными установками и береговой артиллерией. 10 ноября 1941 года примерно в двенадцать часов дня налетело шесть бомбардировщиков. «Червона Украина» стояла у причала одна. Две бомбы разорвались возле борта. Крейсер был еще дореволюционной постройки, на заклепках, швы разошлись. Решили отойти от причала. Но не успели. Налетела большая группа бомбардировщиков, два попадания были непосредственно в корабль.

Появились раненые, убитые, нескольких человек выбросило в воду. Крейсер получил разлом, в трюм начала поступать вода. «Червона Украина» стала быстро набирать воду и командир дал приказ оставить корабль. Ханой заскочил в кубрик, схватил свой фанерный чемоданчик, фотоальбом, кое-что из личных вещей и спрыгнул на берег. Крейсер не ушел под воду, у пирса было мелко и он сел на грунт. С него сняли орудия для обороны города, а корпус впоследствии разрезали на металлолом.

Подошли катера, подобрали моряков и переправили на Сухарную балку, где находился командный пункт, формировались части и пополнялись экипажи кораблей. Ханон был назначен на крейсер «Красный Крым». Корабля не было в

Севастополе, он пришел через три-четыре дня.

«Красный Крым» был спущен на воду в 1915 году в Ревеле (Таллинн) и назывался «Светлана». На Балтфлоте он стал «Профинтерном», а на Черном море получил наименование «Красный Крым». Командиром крейсера был старый моряк, капитан первого ранга Зубков. Благодаря его опыту и умению «Красный Крым» все время оставался в боевом расчете и экипаж не понес потерь. После освобождения Севастополя в мае 1944 года Зубкову присвоили звание контр-адмирала и забрали на повышение. Крейсер принял капитан первого ранга Чверткин — тоже неплохой командир. И здесь Ханой оставался связным и сигнальщиком.

Еще вместе с «Червоной Украиной» «Красный Крым» участвовал в высадке десанта в районе Григорьевки под Одессой. Прикрывал огнем и поддерживал своей артиллерией действия сухопутных войск. Из Поти крейсер сопровождал танкер в Севастополь. И на крейсере и на танкере было полно людей. В течение десяти часов «Красный Крым» отбивал своим огнем непрерывные атаки немецких бомбардировщиков, но в Севастополь пришли благополучно.

Под новый 1942 год, вместе с линкором «Парижская коммуна», крейсером «Красный Кавказ» и другими кораблями, «Красный Крым» участвовал в Керченско-Феодосийской операции. Из Поти погрузили на борт 238-ю стрелковую дивизию. Видимо, солдаты давно не ели горячего, только сухой паек, а на крейсере камбуз и морской приварок не чета сухопутному. Всех предупредили не наедаться — в море развезет. Но никто не послушал. Вышли в море — четыре балла, качка. Почти у всех началась морская болезнь. Два дня болтались в море пока поступил приказ идти на Феодосию. Подошли к Феодосии и началась высадка. Одним бортом стали к городу и поддерживали огнем десант. К другому подошли катера, баржи. Измученные морской болезнью солдаты не в состоянии были самостоятельно спуститься и первый помощник командира капитан третьего ранга Леут, командовавший разгрузкой, приказал просто сбрасывать их в плавсредства… А что было делать? Шел бой. Потом три дня драили палубу и другие помещения корабля…

За участие в этой операции крейсеру было присвоено гвардейское звание.

Как только освободили Севастополь крейсер вернулся и снова стал на бочку в Южной бухте. Сейчас «Красный Крым» в учебном отряде, а его место в боевом строю занял новый современный корабль с тем же названием.

Во время Ялтинской конференции в феврале 1946 года

группа моряков с «Красного Крыма» была приглашена на американский корабль. Дали концерт. Американцы спросили есть ли на корабле евреи. — «Есть. Вот один». — Среди американских моряков было несколько евреев, они подошли, заговорили с Ханоном на идиш. Уговаривали уехать в Америку. На корабле был магазин, сказали: «Бери, что хочешь, мы все оплатим». Перед этим предупредили: у них ничего не брать. Напихали мешочек шоколада.

Дали концерт и на английском корабле. Но там порядок был жестче. Когда один из матросов подошел к Ханону, офицер ему просто дал по морде. Был и банкет, но нижних чинов не пустили. То ли дело американцы — демократия!

Победу встретил в Севастополе. Как старослужащий получил отпуск и поехал в Москву, в которой никогда не был.

7-го ноября гулял по Красной Площади.

Райхельсон Ханой Абрамович, 1917 года рождения, награжден орденом Отечественной Войны 2 ст., медалью «За отвагу», памятными и юбилейными медалями. Репатриировался в Израиль в августе 1999 года.

Дед Бориса со стороны матери был очень уважаемым человеком — он был единственным в Любавичах переписчиком торы, сам выделывал из бараньих шкур пергамент, сам приготавливал чернила. На переписку одной Торы уходил год. Никакие ошибки и исправления не допускались, в этом случае нужно было начинать все сначала. Испорченный экземпляр не выбрасывался — Божье Слово — а хранился в специальном месте.

Отец был мастером головных уборов, но спрос на шапки в небольшом еврейском местечке был невелик и семья перебралась из Любавичей в Астрахань, где отец шил головные уборы для военных. Несмотря на то, что в годы НЭПа однажды пришли и описали все, что было в доме, оставив голые стены, он вступил в партию и стал правоверным коммунистом. Когда по настоянию родственников сыну делали обрезание — он ушел из дома.

Борис родился недоношенным, рос слабым ребенком, часто болел и пошел в школу только в десять лет. После семилетки поступил в Астраханский автодорожный техникум, но на последнем курсе автоотделение перевели доучиваться в Ленинград. Родители помогать не могли, было голодно и Борис с товарищами ходил на Московский вокзал разгружать вагоны — расчет был сразу.

По окончании техникума дали трехмесячный отпуск, присвоили звание младшего техника-лейтенанта запаса и направили в распоряжение Главного Управления дорожного строительства НКВД. Борис оказался в Читинской области, на пограничной станции Васильевка на строительстве военной дороги. Дорогу строили заключенные, гражданских, вольнонаемных было всего двое — начальник колонны и он. Стояли в тайге, болели малярией. На дорогу возили стройматериалы, обратно вывозили раненых из района озера Хасан и рекиХалхин-Гол, где были бои с японскими милитаристами — шли тревожные предвоенные тридцать восьмой — тридцать девятый годы. Начальником колонны был славный человек Василий Григорьевич Свищенко, выдаваемый от малярии спирт пили на пару. Отношения были хорошие и он отпустил Бориса, а то бы тот трубил на Дальнем Востоке и дальше.

Отпуск был четыре месяца, приехал в Астрахань, а вскоре и война началась. На третий день войны Бориса призвали и направили в Сталинград, оттуда в Москву, где в помещении 46-й

школы формировалась 20-я автобригада. Борис был назначен сначала командиром взвода, а затем помощником командира роты по технической части 794-го автотранспортного батальона. Батальон получил разнарядку мобилизовать бортовой автотранспорт на предприятиях и в учреждениях Москвы. Под шумок прибрали и несколько легковушек. Никто и не пикнул: немец стоял у стен столицы. Первым заданием батальону было вывезти из города детские сады в деревни по Горьковской дороге. Но основным его делом был подвоз боеприпасов и продовольствия на передовую. Обратно вывозили раненых в Москву и населенные пункты по той же Горьковской дороге.

Погнали немца. Вместе с фронтом передвигался и автобат. Нередко приходилось разгружать боеприпасы в поле. Машина задним колесом задела мину — похоже нашу. Взрывом полуторку разорвало пополам. Кабину, в которой находились водитель и Борис, отбросило метров на восемь-десять. Но они остались целы! Борис был слегка контужен и плохо слышал.

В другой раз закипел радиатор. Запас воды был и пожилой водитель-москвич вышел долить воду. На дороге они были одни, но это еще было время, когда немецкие летчики гонялись и за одним солдатом. Откуда ни возьмись вынырнул истребитель и на бреющем полете пулеметной очередью наповал скосил шофера… Борис посчитал неудобным везтис воего погибшего товарища в кузове машины, а самому ехать в кабине — усадил в кабину рядом с собой убитого, привязал пояс за спинку сиденья и так вернулся в батальон…

Обычно в голове колонны ехал командир взвода или отделения, а в последней машине Борис, чтобы в случае чего оказать техническую помощь или перегрузить боеприпасы с поврежденной или вышедшей из строя машины на другую, исправную. Основной парк батальона состоял из полуторок ГАЗ-АА и трехтонок ЗИС-5. Студебеккеры батальон получил уже во второй половине войны.

Среди водителей в части был молодой, лет двадцати пяти парень, похоже из московских жуликов, по фамилии Сарычев. «Профессионально» сметливый и живой он как-то раз пригнал машину живых кур, в другой раз угнал у зазевавшихся хозяев автомобиль с продуктами. Машину тут же перекрасили, поменяли номер и ни у кого не екнуло сердце, что кто-то, может быть дети, остался голодным…

Но и на боевые дела Сарычев тоже был горазд. Дороги развезло, их гатили бревнами, у водителей это называлось «поперечный асфальт». На этом «асфальте» рессоры полуторок сразу лопались. Шофера замучились. Рядом проходила железная

дорога. Непоседливый Сарычев разведал, что у немцев на этой дороге стоит мотовоз, взял с собой пару своих дружков, ночью пробрался в расположение противника. И угнал! Утром немцы хватились, слышно было, как кричали, стали стрелять. Куда там! На этом мотовозе и возили боеприпасы. А комбат отметил находчивость Сарычева в приказе и объявил ему благодарность.

Однажды случилась и совсем невероятная вещь. На Калининском фронте во время бомбежки колонны одна из бомб — крупная, пятисоткилограммовая «тетка» не разорвалась. Когда все успокоилось, солдаты подошли полюбопытствовать — вначале боялись, потом осмелели, вывернули взрыватель. Посыпалась махорка! У ребят глаза на лоб полезли! Стали ковырять дальше: никакой взрывчатки! Вся бомба была набита куревом! Факт абсолютно неправдоподобный, но Борис сам был свидетелем. Непостижимо. Как это возможно? Бомба изготавливается на заводе, это целый ряд операций, в них занято много людей, невозможно что-то сделать в тайне. Никогда и нигде не было слышно ни о чем подобном. Но вот — было. Впрочем, скорей всего это была не махорка — немцы и не знали что это такое, а эрзац-табак, который выдавался подневольным рабочим. Именно они это и сделали, отрывая от своей пайки, больше некому. Спасибо им.

Слух о бомбе, а вернее о дефицитном куреве, быстро распространился, стали приходить из других частей: «Как там насчет закурить?» Командир полка рассказал начальству, приходили смотреть большие командиры. С этой махоркой прогремели на весь фронт.

Невероятных случаев на войне много бывает, но о таком не помнит никто.

Войну Борис закончил в Чехословакии, в селе Иванка. Ночью началась стрельба — решили, что война продолжается. А это была Победа!

Началась война с Японией. Бригада погрузилась в эшелон и через всю страну, зацепив и часть Европы, поехали на Дальний Восток, так знакомый Борису. До Читы ехали месяц, там недолго задержались и на фронт. Шли проливные дожди, дороги развезло. ЗИСы не проходили, тонули в грязи. Боеприпасы и другие грузы перевозили на полуторках, надев на колеса цепи. Рядом с водителем в тесной кабине ехали еще один-два человека. Если полуторка застревала — вдвоем-втроем можно было ее вытащить, а ЗИС вручную не вытащишь, нужен буксир.

В эти дожди Борис сильно простудился, стало болеть сердце, с тяжелым бронхитом его положили в медсанчасть в Чите.

По окончании войны, в сорок шестом году, Борис

получилдесятидневный отпуск и приехал в Астрахань. Родители познакомили его с девушкой, которая заканчивала мединститут, с первого взгляда они понравились друг другу и решили пожениться. Надо было торопиться, короткий отпуск подходил к концу! 25 января Аня сдала последний госэкзамен, 2 февраля зарегистрировались. Тогда не нужно было подавать заявление и ждать три месяца. Аня взяла направление в Читу, по месту службы мужа и уже собралась ехать, как пришла телеграмма: «Воздержись, я демобилизуюсь». Вернулся в Астрахань, стал работать завгаром Астраханского аэропорта. Каждый день после работы выпивали — работа такая… Жена заставила перейти в училище механизации, а потом в школу, где Борис преподавал труд — в те годы был такой небесполезный предмет.

А тому счастливому браку шестьдесят пять лет!

Брусованский Борис Львович, 1915 года рождения, награжден орденами Отечественной войны 2 ст., Красной Звезды, памятными и юбилейными медалями. Репатриировался в Израиль в июле 1999 года.

Отказник

До революции Кременчуг был, по существу, еврейским городом. Погромов Лева не помнил. Дед со стороны матери, Аврум Мойше-Бер, был пьяница — явление в еврейской среде довольно редкое. Он брал литровую бутылку водки, раскручивал ее, открывал пасть и, к ужасу очевидцев, вливал содержимое в глотку… На внуке это, впрочем, не отразилось.

Помнил Лева другое. В годы военного коммунизма каждое утро со двора ЧК выезжали подводы крытые брезентом, из-под которого свисали руки, ноги и капала кровь…

Отцу удалось поступить в Харьковский технологический институт в счет еврейской нормы и получить диплом инженера, но специализировался он в области светотехники и еще до войны, когда велись пуско-наладочные работы на московском телецентре, ставил свет в первой студии телевидения. Среди его друзей был Пудовкин — в те годы оператор Эйзенштейновского «Броненосца Потемкин».

Еще в 1921 году отец написал письмо Ленину о необходимости перехода от продразверстки, когда у крестьянина все отбирали, к продналогу, т. е., по существу, к НЭПу После войны отец написал письмо Сталину, которое называлось «Давайте поговорим откровенно». Отца спас его друг профессор Лев Давидович Белкин. «Если вы хотите умереть в своей

постели, — сказал он, — ни в коем случае не посылайте». Отец умер в своей постели.

В 1930 году Наркомтяжпром вызвал отца для работы в МЭИ (Московский электротехнический институт). Через год к нему приехал Лева с сестрой. В это время на Украине начался страшный голод. С трудом достали буханку хлеба и банку повидла и всю дорогу этим питались.

Лева устроился работать в отцовскую лабораторию и стал учиться на рабфаке. С началом войны пошел в ополчение. В боях под Можайском был контужен, некоторое время лежалбез сознания, потерял винтовку, с трудом ее нашел. Это случилось в памятный день 16 октября 1941 года. В 1944 году его призвали в армию и направили на курсы радиоспециалистов. Получил звание лейтенанта и был направлен в танкоремонтные мастерские возле метро «Сокол». По окончании войны вернулся в институт, закончил в 1947 году и остался в нем работать.

Первые сомнения Лева стал испытывать еще в 1937–38 годах и появились они чисто арифметическим путем — не может быть такого количества шпионов! Сомнения усилились после ленинградского дела и, в особенности, после «дела врачей». Сестру, работавшую в закрытом НИИ, уволили с работы и она два года не могла нигде устроиться. В 1955 году во время Хрущевской «оттепели» Лев и его товарищ Борис Бакушев организовали кружок, в который входили несколько преподавателей, студентов и учениц старших классов. Читали стихи, запрещенную литературу, вели критические разговоры. Кто стукнул, Лев так и не узнал. В марте пятьдесят шестого его и Бориса взяли прямо из института. Повезли в Лефортовскую тюрьму. Уже не били. Инкриминировали антисоветчину — не получилось, развращение школьниц — тоже не вышло. Тогда пошли другим путем. За Львом числилось все оборудование лаборатории, которое разворовал его предшественник — проходимец и пьяница. Начальство обещало все это списать лишь бы от него избавиться, но дело затянулось. «Недостача» оказалась сто с лишним тысяч рублей (на старые деньги). На процессе судья делал знаки секретарю: когда свидетели говорили в его пользу — не записывать, а когда против — записывать. За «хищение в особо крупных размерах» дали 20 лет, Борису — за соучастие — 10… В камере рассчитанной на 24 человека, содержалось 85! В лагере царил беспредел. Начальство использовало воров для «вышибания» — буквально — плана. Крестьянам, на которых держался план, они оставляли один конверт и одну пачку махорки. Висевший через каждые несколько метров лозунг «Насвободу с чистой совестью» по своему цинизму можно

сравнить с гитлеровским «Арбайт махт фрай»…

Лев работал на электростанции. Однажды загорелся рубильник на главном щите. Выключать нельзя — остановятся пилорамы, отправят на дальний участок откуда никто не возвращался… В помещении воздух наэлектризован, малейшая искра вызовет молнию, почище грозовой. Браться двумя руками нельзя — убьет сразу. Надел резиновую перчатку, проволочным крючком вырвал рубильник, загасил и спас положение.

В сущности это был героический подвиг, которого, естественно, никто не заметил. На работу еще кое-как шел, с работы — полз. Долго бы не протянул. Помог случай. Зашел к фотографу, там оказался культорг, тоже из зэков, посмотрел на свои фотографии и заплакал: «я их послать жене не могу». Лева сказал: «Оставьте их мне и приходите через 15 минут». У Льва была кисточка, лезвие, ретушью он владел хорошо: поднял уголки рта и глаз, убрал морщины, уменьшил седину. Когда культорг вернулся — он потерял дар речи! А Льва перевели учителем в школу. Фотоаппарат подарил хороший человек Борис Фисенко. На заработанные за фотографии деньги Лев купил ящик тушенки. В первый день принес в столовую банку, и всю ее вывалил в кашу, в дальнейшем приносил по ложке… Мать прислала фотоаппарат со вспышкой. Жизнь пошла совсем другая. В лагере проводились разные мероприятия и начальство любило фотографироваться. В 1965 году мать добилась снижения срока с двадцати до двенадцати лет и Льву «за хорошее поведение» было разрешено выйти на поселение.

На поселении Лев тоже работал в школе. В 1968 году освободился окончательно и приехал в город Александровск, на сто первый километр от Москвы. В Александровске было много заводов, в том числе оборонных, работать было некому и брали всех. Лев работал в Центральной заводской лаборатории и проработал там до выхода на пенсию в 1974 году, после чего перешел в фотолабораторию несекретного завода легкой промышленности, получил комнату в общежитии, женился. Но жена вскоре заболела и умерла.

Снова занялся активной диссидентской деятельностью. Нащупал товарищей, собирались, читали «Континент», Солженицына, «Доктора Живаго», копировали, распространяли.

В ноябре 1980 года Лев был арестован снова Александровским КГБ. Здесь Лев имел возможность сравнить местное КГБ с московским — в столице были все-таки интеллигентные люди. Дали ему полтора года «за распространение заведомо ложных сведений и порочащих советский государственный и общественный строй слухов». Сидел

в Коврове Владимирской области. После освобождения женился на враче, на этот раз еврейке, и прописался в Москве. (Если судили бы за антисоветскую агитацию — не прописали бы).

На счастье он попал в семью, где все занимались сионистской деятельностью. Лев поступил работать в фотолабораторию филиала одного НИИ и там открыл подпольную фабрику по размножению сионистской и религиозной литературы. Печатал Жаботинского, Герцля, учебники иврита, Танах, снабжал ими весь Советский Союз: Ташкент, Тбилиси, Ереван и многие другие города. Не всегда знал куда посылают его продукцию. Работал день и ночь: надо было не только сделать фотокопию, но и сшить, переплести. В неделю выпускал от пяти до десяти книг, в зависимости от количества страниц.

Отношения были такие: его начальница дальше двери лаборатории не входила, а, стоя на пороге, спрашивала: «Лев Яковлевич! Вы не очень заняты? Вы не могли бы сделать то-то и то-то?». — «Очень занят! Но для Вас сделаю!».

Семья была в отказе шесть лет, он — семь.

Печатал до последнего дня. Уже вещи были уложены — все печатал.

Гейман Лев Яковлевич, 1914 года рождения.

Репатриировался в Израиль в ноябре 1989 года.

Почетный железнодорожник

Сейчас уже мало кто помнит, что в первые послереволюционные годы, а по существу и до самой войны, железная дорога, в отсутствии автомобильного и воздушного транспорта, была единственным общедоступным средством сообщения. Да и телефонная связь между городами осуществлялась по телеграфным линиям, идущим вдоль железнодорожного полотна.

В советское время протяженность железных дорог в СССР составляла треть от американских, а грузооборот превышал половину мирового.

ВИКЖЕЛЬ — Всероссийский Исполнительный Комитет Железнодорожников был мощной организацией и некоторое время возглавлялся таким крупным государственным и политическим деятелем, как Л. Б. Каменев (Розенфельд, расстрелян Сталиным в 1936 году).

Железнодорожники имели свои поликлиники и больницы, свои дома отдыха и санатории, свои школы и институты, свой театр и свою газету, свою железнодорожную форму.

До открытия концертного зала «Россия» ЦДКЖ — Центральный Дом Культуры Железнодорожников — был центром всей культурной жизни Москвы, где считали за честь выступить самые известные артисты и музыканты страны.

Быть железнодорожником считалось почетным делом.

При первых признаках голода на Украине семья Яновичей перебралась из небольшого села на Одессчине в «Ташкент — город хлебный» — название очень популярной в свое время повести Александра Неверова. Отец работал на хозяйственных должностях, одно время был метранпажем в газете «Правда Востока», мать работала бухгалтером. Она вообще была на все руки, хорошо рисовала, успевала учиться на юридическом факультете, закончить помешала война.

Ее старший сын окончил Ташкентское военное училище и погиб на фронте в феврале 1942 года.

Жили в одной комнате пять человек и собака… Потом пристроили вторую.

Было и свое хозяйство: коза, куры, потихоньку держали свинью… Жили на улице Гоголя, почти напротив ЦК, может быть поэтому узбеки и терпели свинью.

Саша учился в русской десятилетке, которая официально не называлась образцовой, но благодаря неуемной энергии и непростому характеру директрисы Анны Васильевны Крючковой, которую за глаза все называли классной дамой, по существу, ею была. Это был благополучный район и благополучная школа и никаких происшествий там не случалось. В школе учились дети Первого Секретаря ЦК Икрамова. Однажды, когда он пришел на родительское собрание — «классная дама» пожаловалась, что трудно работать. «А в чем дело?» — спросил Икрамов. — «Тесно».

И в течение летних каникул — за три месяца! — был надстроен второй этаж. Тоталитарный режим имел свои преимущества.

По окончании школы Саша пошел на железную дорогу и стал работать экспедитором по топливу. Это была ответственная работа — каждый грамм на вес золота. Оттуда направили на учебу в Ташкентский институт инженеров железнодорожного транспорта, который он закончил с красным дипломом в 1948 году. В институте познакомился со своей будущей женой Женей. Оба учились на одном курсе, но на разных факультетах: он — на эксплутационном, она — на механическом, и тоже закончила с красным дипломом.

Традицию продолжил сын, несмотря на свое еврейство, а может быть именно поэтому, стал ленинским стипендиатом, получил красный диплом и стал преподавать в своей альма-

матер. Увидев его, проректор по науке удивился: «Как ты сюда попал?». — Попасть можно было только по блату. — «По конкурсу!» — коротко ответил младший Янович.

По окончании института жених и невеста разъехались по направлениям, он — в Чарджоу поездным диспетчером, она — в Ашхабад, куда поступили первые американские тепловозы — своих еще не было — и на всю жизнь влюбилась в это чудо — так тогда казалось — техники. Впоследствии появились женщины-машинисты тепловозов, но она была первой и единственной женщиной-инженером с правом вождения тепловозов.

Евгения вернулась в Ташкент, куда стали поступать тепловозы, работала сначала в депо, а затем, до пенсии, в Управлении дороги заместителем начальника отдела эксплуатации и ремонта тепловозов. Она была крупным специалистом по тепловозам и звание Почетного железнодорожника было присвоено ей раньше, чем ему.

(Заметим в скобках, что современный и, говорят, лучший в мире израильский танк, который водит их младший внук, по мощности превосходит тогдашние американские тепловозы в два раза…)

Александра вскоре перевели замначальником станции Ташкент-товарная, а затем начальником отдела в Управление дороги.

Наркомат, а затем и Министерство путей сообщения в течение многих лет возглавлял блестящий организатор Лазарь Моисеевич Каганович (у которого кулак, кстати, был с голову ребенка…). Каганович избирался в Верховный Совет СССР от одного из ташкентских округов. На предвыборном митинге он выступал без бумажки. Народу было так много и стояли так плотно, что было не выбраться. Каганович был сильным руководителем, но и жестким — вспомним время — случалось, что снятого с работы за дверью уже ждали…

Он был природный трибун. За ним шли.

В начале своей деятельности он собрал в Москве всесоюзное совещание Главных кондукторов: «Что происходит? При царе поезда ходили быстрее и по расписанию, а у нас ходят медленнее и стоят в затылок друг другу!». — «Лазарь Моисеевич! — отозвался старый кондуктор, — при царе главным кондукторам выдавали часы!». — «Если выдать часы — поезда пойдут быстрее? — спросил Нарком». — «Да! — выдохнул зал». И к вечеру все главные кондукторы получили часы.

Глядя на витрины магазинов сейчас, трудно себе представить, что часы были редкостью и ценностью. «С часами!» с восхищением и завистью говорили об их обладателях.

На улице Гоголя жили многие руководители и ответственные работники. Запомнилось, что сам Акмаль Икрамов ходил на работу пешком. В нескольких шагах сзади шел, как тогда говорили, «комиссар». Но не в его воле было спасти своего шефа… Постепенно, один за другим люди стали исчезать. Когда в особняке предсовмина Файзулло Ходжаева, в ожидании ареста, застрелился его брат, министр торговли, хозяин перебрался подальше от этого рокового места, но это его не спасло…

А дети играли все вместе, по утрам сообщали друг другу кого ночью «взяли» и продолжали играть в футбол. В квартире зампреда Верховного Совета Манжары хранилось двадцать пар бутс. Уходя на работу, он говорил: «Ребята! Берите, играйте, только потом почистите и поставьте на место!».

Александру довелось быть свидетелем и участником начального этапа афганской операции — накопления войск для выполнения так называемого «интернационального долга», как «единодушно» стали называть эту войну. Эшелон за эшелоном непрерывно шли в затылок друг другу. Такого количества поездов Термез принять не мог. И тогда под Термезом срочно был расширен разъезд Усть-Кызыл. За две недели его развили в полностью боеспособную станцию готовую к приему войск, с военно-погрузо-выгрузными площадками, собранными из готовых металлических аппарелей.

Основные работы развернулись после 20 декабря (вторжение произошло 25 декабря 1979 года). До этого не было полной уверенности в окончательном решении политического руководства страны.

Хлынули поезда. Это было подобно землетрясению, которое Александр пережил в 1966 году. Он стал начальником отдела выгрузки, возглавлял и другие отделы. Операция массированная. Главная задача не забить дорогу, не растерять вагоны. Войска и техника разгружались быстро и уходили дальше. (Для примера — 50-тонная цистерна разгружалась за 15–20 минут). Нужно было успеть оформить и подписать перевозочные документы, забрать воинские требования, по которым военное ведомство оплачивало дороге расходы, деньги распределялись по маршруту следования.

(Гигантская диспетчерская работа была сосредоточена в руках человека, недавно репатриировавшегося в Израиль, который спустя столько лет, за тысячи километров и в другом веке не решается рассказать о своей огромной сверхсекретной работе).

Штат не был рассчитан на такую гигантскую работу. Оперативная группа, созданная по приказу начальника Средне-Азиатской железной дороги Азиза Кадырова, в которую входил

Александр, захлебывалась. Назревал кризис, чреватый непредсказуемыми последствиями. Александр попросил разрешения съездить на ночь в Душанбе, чтобы оттуда по спецсвязи доложить в Ташкент, в Управление дороги, обстановку. Начальство ответило: «Не паникуй!». (Средне-Азиатская дорога — это 130 тыс. человек, развернутая длинна 7 тыс. километров. Управление 550 человек). Все же ему удалось добиться связи и доложить начальнику дороги положение дел. Кадыров прислал своего заместителя разобраться на месте.

Окунувшись в реальную обстановку, тот пришел в ужас! Осознав серьезность положения, Кадыров позвонил Секретарю ЦК Рашидову, тот — Брежневу.

«Что нужно? — спросил Генеральный». — «Создать в Термезе отделение дороги».

И вопрос, на который в мирное время уходили месяцы, решился за 2 часа! Начальник отделения был утвержден в считанные минуты! Кто знаком с утверждением на номенклатурные должности, представляет сколько инстанций обычно проходит кандидатура, пока ее утвердят. С невиданной оперативностью был создан аппарат отделения. Начальником отдела движения был назначен великолепный специалист Юрий Уткин.

Но это было только начало.

Ведь воевали десять лет. Нужно было все: люди, техника, боеприпасы, продовольствие, медикаменты. Стали строить капитально. Вместо понтонного моста возвели стационарный, уникальный мост, приспособленный, как для железнодорожного, так и для автомобильного транспорта. Проектировал его Яшка Меламед. Вообще на железной дороге, как и во всех техниконасыщенных предприятиях, работало много евреев. Только на ответственных постах в Управлении дороги их было более тридцати. Вот некоторые из них: начальник финансового управления Бринер Г. Ш., начальник локомотивной службы Беленький А. Д., начальник планово-технического отдела Шульман А. М., зам. главного ревизора по безопасности движения Гроссман Я. М., начальник службы внешних сношений и маркетинга Давидович В. Л., главный инженер Ташкентского отделения Перельман Ю. З., замначальника службы связи, выпивоха и похабник Яшка Ременюк, пешком прошедший всю дорогу! И какие это были люди! Жаль, что всех нельзя перечислить.

Но мы отвлеклись. Построили и красивое здание таможни. Мост решил много проблем: отпала перевалка грузов на баржи,

уменьшилась нагрузка на авиацию. По ту сторону Амударьи, в 12 километрах от моста, была создана база Хайратон. Дальше поезда не шли. В Афганистане железных дорог не было и нет.

Вся работа делалась в тесном контакте с военными. За все время никаких нарушений и нареканий ни с одной из сторон не было. Это обеспечило успех операции.

Всеми перевозками, всем движением на дороге ведал начальник службы движения Азиз Адылович Адылов — прекрасный специалист и прекрасный человек. Своих евреев в обиду не давал.

Был создан и дублирующий вариант дороги в районе Кушки. Кушка — одни сопки. Весной горы становятся красными от маков. Через город протекает речка Куштинка, в обычное время — арык, но весной разливается до наводнения. На афганской стороне железнодорожная станция Тургунди, в послевоенные годы построенная советской стороной. Потом дорогу демонтировали, а станцию подарили Афганистану. К этому времени она находилась в полуразрушенном состоянии, старый мост развалился. О ней вспомнили. Но все было не так просто. Нужно в Москву: новая документация, пограничное соглашение, правила перевозки, таможня. Засели за документацию.

От Хайратона до Кабула недалеко, а от Кушки в пять раз дальше. Но дублирующий вариант был нужен. На станции Тургунди в короткий срок была создана высокотехничная строительная база. Все, что было нужно, давали без проволочки, никакой бюрократии. Шла уйма строительных материалов и дорожной техники для строительства автомобильной дороги Кушка-Кабул. Строительство велось с двух сторон: от Кушки — нами, от Кабула — американцами… А мы об этом и не знали.

Впрочем, цели были разные…

Вся жизнь Александра связана с железной дорогой, ее муки и горести, ее победы и радости это и его муки и его радости. На пенсию вышел, когда исполнилось семьдесят лет. И это было нелегко: пятьдесят один год из них, полвека! на руководящих должностях. Был и председателем Научно-технического общества Управления дороги.

Трудно представить себе человека, который больше, чем он, заслуживал бы звания «Почетный железнодорожник».

А Афганская операция до сих пор представляется ему, как маленький 41-й год.

Янович Александр Владимирович, 1923 года рождения, награжден званием «Почетный железнодорожник», медалью «Ветеран труда».

Как воевал, так и работал

Отец Матвея вернулся с первой мировой войны раненым и хоть не считался инвалидом, работать в полную силу уже не мог, подрабатывал охранником в пионерском клубе-форпосте, где мать работала уборщицей. Жили бедно. Как и полагается беднякам, бог одарил их детьми: три сына и три дочери — шестеро детей. Он — старший. Следующий брат был на семь лет моложе, к началу войны ему едва исполнилось пятнадцать лет, остальные мал-мала меньше, младшей сестренке было всего пять лет…

После второго класса Матвей оставил школу и стал помогать отцу содержать большую семью. Вдвоем подряжались к хозяевам заготавливать дранку для крыш и тем кормились. Вскоре Матвей устроился учеником пекаря в государственную пекарню и уже через полгода стал заправским пекарем. Никакой механизации не было. Стоял длинный ящик, в котором три-четыре человека месили тесто. Затем взвешивали, укладывали в формы и мастер сажал их в печь. Было шесть двухэтажных печей, но не дровяных, а на нефтяных форсунках — это уже было похоже на настоящий хлебозавод.

Семья девушки, за которой он тогда ухаживал и которая, впоследствии стала его первой женой, уехала в Биробиджан. Следом потянулся и он. Родители не препятствовали, думали, если там все хорошо устроится, перебраться и самим. Многие евреи связывали с Биробиджаном надежды на лучшее будущее. С 1936 по 1939 год Матвей работал в пекарне в самом Биробиджане. Хлебозавод еще только строился, пекарня была небольшая, на одну печь. Там, в Биробиджане, Матвей призывался в Красную Армию, но как старший в семье, считавшийся кормильцем, получил военный билет — «годен в военное время».

Семья, за которой он последовал, вскоре вернулась в Могилев-Подольский и в войну разделила трагическую участь всех евреев, оказавшихся на оккупированной территории…

Каким-то чудом спаслась его девушка, и когда наши войска освободили город, она добровольно пошла в армию, чтобы отомстить за своих близких.

Матвей стал тосковать, тянуло в родные места, к своим, и проработав четыре года в Биробиджане, в 1939 году вернулся в родной город и снова стал работать в пекарне.

Тут и застала война.

Могилев-Подольский от границы недалеко, город бомбили. Магазины стали раздавать хлеб и другие продукты бесплатно.

Началась паника. Семья перебралась в Копайгород, надеясь там переждать тяжелое время: «остановят, отбросят»… Там, в Копайгороде, Матвея и мобилизовали. На десяти подводах, по шесть-семь человек отправили на восток.

А семья осталась: родители, два брата и три сестры — семь человек. Никакой эвакуации не было и все они погибли в Печерском лагере смерти, неподалеку от Винницы. Расстреляли ли их или они умерли от голода — установить не удалось. После войны одна из местных женщин рассказала Матвею, что видела его мертвую мать, ворона клевала ее грудь… По рву, в котором лежали расстрелянные евреи, проехал танк. Кровь брызгала из земли…

Под Ворошиловградом группу новобранцев влили в пехотный полк, обмундировали (против обыкновения выдали не ботинки с обмотками, а кирзовые сапоги), вооружили винтовками, показали, как заряжать, как стрелять. Сказали: «Если ты не убьешь немца — он убьет тебя!».

И вся наука.

По редкому для начала войны стечению обстоятельств — полк наступал! И даже продвинулся вперед! Во время атаки, когда немцы открыли шквальный огонь по наступающим, Матвей залег, спрятал голову за камень, руки остались снаружи. Пуля перебила левую руку. (Вообще-то Матвей левша, но стрелял правой — так сподручней). Перекатился с пригорка вниз, там санитары перевязали, отправили в госпиталь. Госпиталь находился в Сталинграде, тогда это еще был глубокий тыл. Там прооперировали, извлекли пулю, хирург ему ее показал. Пролежал три месяца. К концу этого срока в госпитале появился «покупатель» — отобрал из выздоравливающих человек десять-пятнадцать ребят покрепче в 26-ю артиллерийскую бригаду 122 мм. дальнобойных пушек. Матвей попал в 305 артполк и стал артиллерийским наблюдателем. В этом полку и провоевал до конца войны. Все время на НП с командиром батареи капитаном, а потом и майором Ланцевым. Все время в боевых порядках пехоты. Со стереотрубой практически не расставался.

Под Севастополем, когда на Сапун-Горе еще сидели немцы, НП находился на одной из противоположных высоток, Матвей по вспышкам определял местонахождение огневых точек противника, записывал, обозначал на схеме, а командир батареи корректировал огонь своих орудий. Но и противник был не дурак. По блеску объектива засек корректировщиков и прямым попаданием снаряда полностью разрушил НП. Матвея сильно контузило и он потерял сознание. Через сколько времени его

откопали и кто — не знает. Очнулся в дивизионном медсанбате, месяц приходил в себя и — снова на передовую. Но контузия до сих пор дает о себе знать — слышит плохо, все переспрашивает: «что-что?».

В районе Кенигсберга только направились на НП — зазуммерил полевой телефон. Старшина батареи доложил: на огневые позиции батареи движутся немецкие танки и пехота! Откуда они взялись? Кругом наши! Комбат крикнул Матвею: «Пойдешь со мной!». — Быстро вернулись на батарею. Стояла редкая для этих мест и этого времени года жара, разделись до пояса. Ланцев был опытный артиллерист, выкатил орудия на прямую наводку, в считанные минуты открыли огонь, три танка, один за другим, были подбиты и загорелись, от немецкой пехоты ничего не осталось.

Уже ближе к Берлину, в тихий час, когда солдаты кто брился, кто мылся, а кто и подворотничок перешивал на «третью сторону», — появилась «рама». Это уж верный признак — сейчас авиацию наведет. И точно: показались пикирующие бомбардировщики и начался круг бомбежки. Все разбежались в разные стороны, попрятались в траншеи, в укрытия. На втором или третьем заходе от взрыва бомбы загорелся сухостой, трава. Огонь стал быстро приближаться к ящикам со снарядами. Если рванет — ничего и никого от батареи не останется… Матвей не растерялся, выскочил, схватил лопату, закидал землей, затушил огонь и — снова в траншею. Все вздохнули с облегчением.

Бригада участвовала в штурме Берлина. Матвей видел, как наши прожектора неожиданно осветили, ослепили немецкую оборону. Ничего подобного за всю войну не было. От неожиданности и необычности немцы в первые минуты растерялись. Это позволило нашим атакующим частям использовать элемент внезапности и продвинуться вперед. Но затем противник опомнился и открыл прицельный огонь по прожекторам…

На второй или третий день после Победы Ланцев решил съездить повидать американцев — что за люди такие. — И взял с собой Матвея. Подъехали к мосту, но «Встречи на Эльбе» не получилось — один из пролетов лежал в воде. Помахали друг другу и разъехались.

По дороге остановились покушать. К машине стали подходить голодные гражданские немцы, дети. Никакой злобы к ним не было. Покормили и их.

В 1946 году Матвей демобилизовался, вернулся в родной Могилев-Подольский и снова стал работать в пекарне. Но однообразная работа наскучила, хотелось чего-то более

существенного, солидного, он перешел в мастерские Общества слепых и 37 (тридцать семь!) лет, до выхода на пенсию, проработал там резчиком по металлу.

Не было праздника, чтобы не получил премии, не было отпуска, чтобы не дали путевку на отдых.

Как воевал, так и работал. От души.

Швец Матвей Шмулевич, 1919 года рождения, награжден орденами Отечественной войны 1-й степени, Славы 3-й степени, двумя медалями «За отвагу», памятными и юбилейными медалями. Репатриировался в Израиль в январе 1990 года.

«Много разговариваешь»

Когда началась война отец сказал: «Мы бедные люди, я маляр, за что немцы нас будут убивать? Мы никуда не поедем. Ехать некуда и не с чем». — И они остались. И разделили мученическую судьбу всех оставшихся в местечке евреев.

Но в отношении Арона судьба распорядилась иначе. 6 июля он получил повестку явиться на следующий день в военкомат «с кружкой-ложкой». Отец помчался к военкому:

— Ему же только пятнадцать лет!

— Есть повестка — пусть приходит.

Знал ли военком какая судьба уготована евреям, хотел ли спасти еврейского подростка-трудно сказать. Но он его спас.

Через два дня эта местность была оккупирована…

Собрали триста человек и на подводах повезли в сторону Кировограда. Руководил группой очень расторопный, решительный и энергичный капитан, фамилия которого за давностью лет забылась. С пистолетом в руках вырывал подводы, организовывал в колхозах питание. Все же кое-где пришлось потопать и пешком по пятьдесят-шестьдесят километров в день. Председатель одного из колхозов предупредил: Немцы захватили несколько кукурузников. Все думают: наши, радуются, машут. Колонну перед вами обстреляли, погибло несколько человек. Стали ходить ночью, днем отдыхали. Арон, самый младший в отряде, очень тосковал по родителям, плакал, не хотел от них далеко уходить…

В Кировограде капитан добился у начальника станции четырех, открытых платформ, посадил людей и четверо суток ехали до Ворошиловграда. И все эти четверо суток не переставая лил дождь…

В Ворошиловграде всех распределили по колхозам. Кто постарше — распределили на уборку, приставили к лошадям. А

его, как самого маленького — на птицеферму, на край села, к курам и гусям. Плакал целыми днями. Как-то увидел председатель: «Что ты, сынок, плачешь?». — «Скучаю за родителями».

Председатель перевел его пасти лошадей еще с двумя пареньками. Они научили его ездить верхом. Стало немного веселее.

Ворошиловградскую и Ростовскую области разделяла небольшая речушка. Иногда лошади во время водопоя переходили «границу» и уходили в пшеничные поля ростовчан. Лошадей задерживали. Выручать их посылали Арона: маленький, щупленький мальчик, из эвакуированных, его жалели и возвращали лошадей без штрафа за потраву.

О ребятах забыли. Никто ничего. Между тем фронт приближался и сюда. Трое друзей решили: чего ждать? Пока немцы придут? И пошли на станцию. За ночь отмахали шестьдесят километров, сели в первый попавшийся эшелон и поехали на восток. Не доезжая станции Лиски поезд остановили. На станции скопилось несколько эшелонов с эвакуированными, и в это время подошел состав с боеприпасами. По-видимому немцам кто-то сообщил. Налетели бомбардировщики и превратили все в кровавый ад.

Арон пошел в санпропускник помыться, а когда вышел — товарищи куда-то исчезли. На другой день поехал в Лиски. Даже после того, что удалось восстановить и убрать за эти сутки — картина была страшная. На расстоянии трехсот-четырехсот метров на деревьях еще висели части человеческих тел, обрывки одежды… Но продпункт работал и Арона покормили.

Документов у него не было никаких, только справка из школы об окончании восьми классов.

Подошел эшелон. Арон вскочил на подножку и поехал. Километра через три вышел мужчина: «Ты что, сынок, здесь мерзнешь? Зайди в вагон. Вот моя полка, садись, раздевайся, умойся, расскажи кто ты, куда едешь?». — Арон все ему рассказал. — «Теперь слушай, что я тебе скажу, — это был начальник цеха одного из Донецких (Сталино) заводов. Он сопровождал эшелон с оборудованием на Урал, вернулся за вторым и теперь вез станки и людей. Но пока его не было — город сильно бомбили, и в одной из бомбежек погибли его жена и сын… — Мы едем в Свердловск, — сказал он, — поедем со мной. Я тебя сделаю токарем, будешь работать на заводе».

Арон подумал: война скоро кончится. Из Свердловска до родных мест далеко будет возвращаться, ответил уклончиво. До Куйбышева ехали полтора месяца. Дядя Коля кормил.

Арон сказал: «У меня есть деньги. Мама дала на дорогу сто рублей». — «Они тебе еще пригодятся». — В Куйбышеве решился: «Дядя Коля! Я дальше не поеду. Война скоро кончится, — (он ли один так думал), — из Свердловска мне будет далеко возвращаться домой». — Дядя Коля — фамилии по молодости лет не спросил — хотел дать на дорогу денег, но Арон не взял.

Вышел с вокзала в пиджачке — холодно, да и заметно. Тут же подошел милиционер, взял за шкирку: «Пойдем со мной!». — «Отпусти. Я не жулик, пойду сам».

Привел в детприемник. Арона тут же искупали, переодели в казенную одежду, все его барахло сожгли. Две недели пролежал на койке, приходил в себя от усталости, от вшей. За эти две недели научился всем блатным играм — а играли или на деньги, или на пайку — и русскому мату… Каждый подходил: «Давай играть на пайку». Сначала проигрывал, а потом выучился и стал выигрывать. Появились два друга: Леня и Гриша. Через месяц отправили по колхозам. Трое друзей попали в один колхоз километрах в двадцати от Куйбышева. Здесь их разделили. Арон попал к очень славной женщине, сын которой, тяжело контуженный, лежал в госпитале. Сопровождавший их человек строго наказал председателю колхоза выдавать ребятам на месяц пуд муки, полпуда пшена, сколько-то мяса, керосина, а ребят предупредил: пока не дадут тулупы и валенки — на работу не ходить. Мороз-то под сорок градусов, а они в пиджачках и ботинках…

В апреле 1942 года всех собрали и направили в училище ФЗО кабельного завода, который в войну выпускал снаряды. Арон попал в группу столяров и вскоре стал старостой. Мастером был старик Жеребцов, хорошо знавший свое дело. Через пять месяцев выпустили. Всех разослали по Куйбышевской железной дороге, а Арона оставили в вагонном депо, в городе. Жили рядом, в мягком вагоне. Четыре купе мальчиков, пять — девочек. Девочки были из блокадного Ленинграда, рассказывали страшные вещи…

В 1943 году мастер стал собираться домой, в Киев. Вместо него прислали слесаря, партийного, но ничего не смыслящего в столярном деле. Вообще-то, слесарь считается интеллигентной профессией среди рабочих, но этот был тупой, как сибирский валенок. Зайдет после обеда, кричит: «Ты же ничего не сделал! Как ты будешь сдавать приемщику!». — «Вы не волнуйтесь. К семи часам все будет готово».

Свою работу Арон знал хорошо. Его ценили, он был членом комитета комсомола, стахановцем. В цеху работало несколько пенсионеров, которые пришли на завод, чтобы получить рабочую карточку. Все работали по двенадцать часов — с семи утра до

семи вечера. Они уходили в четыре часа и после них оставалось много недоделанной работы. Приходил бригадир и, глядя умоляющими глазами на Арона, говорил: «Сыночек! Иди, доделай». — Становилось темно в глазах, когда он видел, что предстоит сделать. А куда деваться? Делал. Зато, если на бригаду выделялся хоть один талон на дополнительное питание, а это еще двести граммов хлеба и мясное второе — бригадир давал этот талон ему.

Как-то зашел мастер, давай по привычке кричать. У Арона в руках был топор, он его запустил мимо мастера, попугать. Топор воткнулся во фрамугу, мастер побежал к начальству: «Он хотел отрубить мне голову!». — Вызвали. — «Пусть он выйдет, я все расскажу. Больше с ним работать не буду. Он тупой, работы не понимает. Вы имеете ко мне претензии? Спросите парторга, комсорга. Пусть ко мне не заходит. Или уеду». — Заходить — заходил. Но — молча.

Через несколько месяцев узнал, что для имевших восемьдесят классов образования объявлен набор в военно-морские училища. Вообще-то, у Арона была броня, но он подал заявление и через две недели получил повестку на медкомиссию. Из депо не отпускали. Военком написал бумагу: «Если вы не отпустите Линецкого на комиссию — пойдете вместо него на фронт». Подействовало. Комиссия была очень серьезная, длилась две недели. Как оказалось, отбирали для подготовки морских летчиков. Проходило много, а отобрали всего восемнадцать человек.

А дальше — молчание. Ни слуху. Ни духу. Лишь через два месяца вызвали в военкомат получить расчетный лист. Пришел в бухгалтерию — обычная история: денег нет. Все повторилось. Военком написал начальнику вагонного депо: «Если сегодня не рассчитаете курсанта военно-морского училища летчиков Линецкого — пойдете вместо него на фронт». — Очень убедительно. Деньги тут же нашлись. Но Арон не преминул сказать начальнику на прощанье: «Если останусь жив, к вам не вернусь. Вы человек ненадежный».

Всех собрали и под командованием не слишком разбиравшегося сержанта отправили в Ленинград. Вместо летного училища он их сдал во флотский экипаж, где они стали проходить курс молодого краснофлотца. Лишь через месяц разобрались, вызвал командир экипажа: «Вы не туда попали. Училище требует вас к себе». — Но за этот месяц ребята узнали, что во время учебы на летчиков нужно прыгать с парашютом, а они не всегда раскрываются… Это охладило их пыл, и так как они все писали заявление, как добровольцы — этого требовал

военкомат — так же добровольно они отказались и остались в экипаже.

Как-то возвращались с занятий усталые, мокрые. Старший матрос — они его называли ефрейтор — скомандовал: «Запевай!». — Никто не откликнулся. Полчаса гонял по плацу потом завел на камбуз. Длинные столы по двадцать человек с каждой стороны, четыре бачка, бачок на десять человек, по пять с обеих сторон. Крутанут половник: на кого покажет- тот и разливает. Пока муштровали — суп остыл. Один встал: «Кушать не буду. Обед холодный». — Отказ от пищи — ЧП! Прибежал замначальника. Дежурный доложил. — «Кто отказался первый?». — Он встал, но все его поддержали. Дело принимало серьезный оборот. Никто к пище не притрагивался. Прибыл вице-адмирал. Поднялся шум. — «Не все сразу. Кто-нибудь один». — Кто-то встал: «Условия невыносимые, в кубрике по восемьдесят человек, холодно, двенадцать-четырнадцать градусов, над нами издеваются, их всех надо на фронт отправить». — Кончилось тем, что командир экипажа, подполковник, стал майором…

Как водится в войсках — провинившиеся получали наряд вне очереди. Один раз получил его и Арон. Когда последовала команда: «Ложись!» — перед ним оказалась яма полная воды. Ляжешь — где потом обсушишься… И он лег рядом. На вечерней проверке объявили наряд вне очереди. Оставили после отбоя восемь человек чистить гальюн. Вычистили. Стали звать дежурного офицера. Он пришел в час ночи, вынул носовой платок, протер пол: «Грязно!» — и закрыл их опять. Но они уже ничего не делали. Спали, сидя на полу. В три часа ночи их выпустили. А в шесть — подъем… Больше Арон нарядов никогда не получал.

После окончания курса всех обмундировали, выдали винтовки, посадили на машины — и на Запад. Первая остановка — Рига. Ее только освободили. Все пошли на базар. Глаза разбежались! Здесь была совсем другая жизнь! Каравай белого хлеба стоил десять рублей, полкило масла — десятьрублей, все — десять рублей. Набили вещмешки. Кто платил, а кто и не платил…

Из Риги поехали в Гданьск. Город разбит. Недели две находились в порту, в пакгаузах, где немцы раньше ремонтировали танки.

Через две недели прибыли в Пиллау (Балтийск). Там и Победу встретили.

На одном из трофейных крейсеров в трюме возник пожар. На тушение отправили пять человек, в том числе Арона. Пожар потушили, но повозиться пришлось, и Арон был не из последних.

Всю группу представили к награждению медалью «За отвагу».

Только вместо фамилии Арона вписали кока, который не только не участвовал в тушении пожара, но вообще находился на берегу… — «В чем дело? — Ты, Линецкий, много разговариваешь». — Эта несправедливость больно уколола. Отвага не состыковалась со справедливостью.

Не тогда ли появилась мысль об отъезде?

Линецкий Арон Самойлович, 1926 года рождения, награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, памятными и юбилейными медалями. Репатриировался в Израиль в ноябре 1990-го.

…И никто не удивился

И здесь не обошлось без извечной еврейской истории с именами. По паспорту она Соня Менделевна, но со дня рождения мать называла ее Женей. Так и пошло. Родилась она в небольшом полуеврейском городе Васильков Киевской области. Но почти сразу после ее рождения они переехали в Ленинград, тогда еще Петроград, где жили братья отца. Был голод, многие петербуржцы разъехались, кто мог — бежал от революции за границу, город опустел, квартиры не были проблемой и они поселились на Казначейской улице. Характерно, что при всех режимах она сохранила свое название, «уцелела» во время массовых переименований, как в старое так и в новое время. Сама улица была небольшой — двести пятьдесят метров, и на ней было всего пятнадцать домов, в одном из которых размещалось казначейство.

Вообще, этот уголок старого Петербурга знаменит тем, что в одном из домов на Казначейской жил Достоевский, здесь он женился, здесь написал свои лучшие произведения, в другом — жил великий русский баснописец Крылов, рядом, в Столярном переулке — знаменитый путешественник Пржевальский. В нижних этажах и полуподвалах жили ремесленники: модистки, портные, сапожники, часовые мастера — Женя еще их застала.

Жили трудно. Еще учась в школе, Женя подрабатывала на переборке картошки, бутылок, даже досок. После восьмого класса оставила школу, работала в Союзпечати, затем счетоводом и бухгалтером в столовой Дома Культуры им. 1-й пятилетки. Здесь и застала ее война.

Послали под Кингисепп — рыть окопы и противотанковые рвы. Ехали эшелоном, взяли с собой продукты — вначале они еще были. Этот район немцы усиленно бомбили и обстреливали.

Работать приходилось ночью, днем прятались. Покарыли — немцы разбомбили этот участок железной дороги, продукты кончились, положение стало угрожающим. Обратно — сто двадцать километров — возвращались пешком. Вначале бежали, потом шли, под конец ползли… Все обносились, оборвались. Она была почти в невменяемом состоянии от напряжения, усталости и страха. Когда Женя вернулась домой, на ней были только лифчик — тогда не говорили «бюстгальтер» — и трусики… Так шла по городу. И никто не удивлялся.

Вскоре есть стало нечего, голод и холод, чернила замерзали. Через сутки дежурили на крыше Дома Культуры, тушили и сметали зажигалки — зажигательные бомбы, которыми немцы засыпали Ленинград. В марте 1942 года от голода умер отец. Положение осложнялось еще тем, что уже в блокаду у сестры родился ребенок. Съели всех собак, кошек.

Ели и трупы…

После смерти отца решили эвакуироваться. 12 апреля сорок второго года пошли, вернее приползли, на сборный пункт. Уже возле машины, на которую грузили эвакуировавшихся, умерла молодая женщина. По ней ползали два малыша и все звали: «Мама, мама…». А мама молчала. Этого не забыть.

Переправились через Ладожское озеро на станцию Кабона. Там почти неделю ждали эшелона. Как остались живы — одному богу известно. Ели папиросную бумагу. Каждый день машины вывозили штабеля трупов. Эшелон ехал три (!) месяца, пока добрался до Татарии. Разгрузились в городе Бугульма, там посоветовали ехать в село Акташ. Везли на подводе. Рано утром встретилась группа женщин-колхозниц, шедших на работу. Когда они увидели похожих на живые трупы людей, грязных, оборванных, умирающих — обступили телегу и все продукты, которые они взяли с собой в поле, отдали им. Такие они были страшные. Вокруг были хорошие, добрые люди, расселили, накормили, приютили. Затем перевезли в деревню Нолинку Сестра пошла работать на овощи, а Женяна молочную ферму. От бескормицы и болезней начался падеж скота. Женя свежевала умерших животных, запрягала лошадь, грузила шкуры и отвозила в Акташ.

Вскоре Женя записалась на курсы медсестер, но потом передумала и попросилась добровольцем на фронт. 7 июля 1943 года ее направили в Казань, где формировался 1874-й МЗАП — малокалиберный зенитно-артиллерийский полк ПВО. Командовал полком еврей Хавин Семен Михайлович.

Полк предназначался для защиты от немецких

бомбардировщиков железнодорожных станций и узлов. Бахмач, Нежин, Конотоп, Прилуки, Сумы, Шостка — всего не упомнишь. Сначала Женя была подносчиком снарядов, но, благодаря хорошему почерку и знакомству с бухгалтерией, ее вскоре взяли писарем в ПФС — продуктово-фуражный склад.

Но еще до этого, в один из сильнейших налетов, когда все кругом смешалось с землей, ей довелось участвовать со своей батареей в отражении налета и они сбили вражеский бомбардировщик. Вот было радости!

Приходилось подменять и телефонистку в штабе полка. Однажды в ее дежурство поступила страшная телефонограмма: командир одной из рот застрелил семнадцатилетнюю девушку за то, что она, якобы, не сразу выполнила приказание. Его отправили в штрафную роту, а ее матери послали обычную похоронку: «Пала смертью храбрых…».

Вообще, самодуров было достаточно. Таким был и ее непосредственный начальник Барчугов Анатолий. Как-то швырнул ей в лицо накладную: «Перепиши!». — «Здесь все правильно, — сказала она». — «Ах, ты еще мне возражаешь! На гауптвахту!». — Вызвал солдата и повели, но, не доходя до ямы, где размещалась гауптвахта, остыл, передумал: «Отставить!».

В Черновцах (тогда говорили «Черновицы») поселились за вокзалом, где раньше жили румыны. Из страха перед советской армией они побросали дома, вещи. Стояла осень — в садах полно фруктов: груши, яблоки, сливы, видимо-невидимо вишен.

В затишье стали заниматься художественной самодеятельностью. Женя пела, танцевала, в полку ее любили. Был в полку замечательный человек, начальник химчасти Петр Алексеевич Кучинский — он был душой всего этого дела. После войны он осел в Черновцах и преподавал там в университете. Танцы ставил Виктор Смороцкий — до войны солист одного из киевских ансамблей.

В полку Женя познакомилась со своим будущим мужем Дионисием Яковлевичем Литвиновым — начальником связи полка. Вскоре они поженились. После войны он служил в Киевском Военном Округе: Корсунь-Шевченсковский, Евпатория, Васильков и, наконец, Киев. Муж вышел в отставку в чине подполковника, но, к сожалению, долго не прожил, и скончался едва перевалив за шестьдесят.

Но говорят беда не приходит одна. Ее ждала и другая трагедия. Не дожив до сорока лет умерла ее старшая дочь… Ее сын, внук Жени, женился, собирался устроить свою личную жизнь и зять.

И она уехала в Израиль к младшей дочери, которая давно ее

звала.

Литвинова Евгения Михайловна, 1921 года рождения, награждена орденом Отечественной войны 2-й степени, памятными и юбилейными медалями. Все награды отобраны при выезде в Израиль. Репатриировалась в декабре 1988 года.

Четыре года над пропастью

Элиэзер — в просторечье Лазарь — родился в маленьком еврейском местечке Свислочь, которое до прихода Советских войск в 1939 году относилось к Польше, а с этого времени — к СССР, а точнее, к Белоруссии. Отец был портным и придерживался идей Бунда.

В местную еврейскую семилетку Лазарь пошел с пяти лет и был самым младшим, как и в польской гимназии, куда поступил после школы. В гимназии выучил французский, немецкий языки и латынь. В 1939 году с отличием окончил гимназию.

В сентябре 1939 года в Западную Белоруссию, как тогда говорили, вошла Красная Армия. Евреи встретили ее с восторгом и надеждой.

Нужно было продолжать учебу. Русского и белорусского языков никто не знал и всех перевели в 9-й класс белорусской школы, которую, тоже с отличием, Лазарь закончил в 1941 году.

За два дня до прихода немцев.

В школе был комсомольским активистом, командиром взвода допризывников, был рекомендован в летное училище. Но 22 июня началась война и все пошло прахом.

Местечко находилось в шести километрах от границы и в него сразу вошли немцы. Почти никто из евреев бежать не успел… Лазарю, как комсомольскому активисту, оставаться было нельзя и он ушел с последней воинской частью.

Но далеко уйти не удалось. В районе Слонима немцы выбросили десант, путь на восток был отрезан и Лазарь вместе с красноармейцами попал в плен. Это случилось возле села Озерницы, в семидесяти километрах от Свислочи 26 июня 1941 года.

На четвертый день войны…

Первая мысль — самоубийство. Лазарю недавно исполнилось восемнадцать лет. Жизнь еще и не начиналась…

Война только началась. Никто не предполагал, что она будет такой долгой и тяжелой. Еще теплилась надежда, что успех немцев временный. Вот-вот Красная Армия повернет и погонит их обратно.

Немцы объявили, что местные жители могут разойтись по домам. Для Лазаря это исключалось: в местечке все его знали, как комсомольского активиста…

Всех пленных загнали в церковь. Не кормили. Наутро выстроили и приказали евреям и комиссарам выйти из строя. Все знали, что это значит. Никто не вышел. Немцы несколько раз прошли по рядам, выволокли человек десять, заставили копать яму и тут же, возле церкви, на глазах у всех, расстреляли… Среди них было четверо соседей Лазаря.

Что он пережил в эти минуты описать не хватит слов… Его спасла славянская внешность. И не в последний раз.

Нужно было решить, как вести себя дальше. И Лазарь придумал легенду: у него отец русский, а мать француженка, отец которой, его дед, в конце 19 века приехал в Россию на заработки, как делали тогда многие французы, да так и остался. И Лазарь стал себя называть Лев Слапак-Дюбуа. Вот когда пригодился французский!

И началось хождение по мукам.

Первые месяцы войны пленных содержали во временном лагере возле Люблина под открытым небом. В лагере началась повальная дизентерия, многие умерли… В сентябре перевезли в постоянный лагерь в ста километрах восточнее Берлина, возле города Нойштатин. Рядом находился лагерь французских военнопленных, оставшийся еще от 1-й Мировой войны, в котором тогда содержались русские пленные…

В лагере командовали русские отморозки во главе с есаулом Рязанцевым, бывшим белогвардейцем, свирепствовавшим больше других. Лазарю и нескольким его товарищам удалось устроиться при картотеке лагеря и постепенно прижать и утихомирить Рязанцева.

Самыми трудными были первые месяцы. Боялся, что подведет знание немецкого. И тому были основания. Однажды на одном из построений к нему подошел пожилой немец, уловивший, по-видимому, в его немецком еврейские нотки, положил ему руку на плечо и тихо сказал: «Никогда не говори по-немецки». Не у всех немцев были каменные сердца.

Старался говорить мало, больше слушал. Рассчитывал каждый шаг. Чувство постоянной опасности не оставляло ни на минуту. Постепенно товарищи стали его уважать, но и он в любую минуту готов был прийти на помощь.

Осенью сорок первого года Лазарь заболел тифом. Спас его доктор Супрунов. После выздоровления Лазарь понял, что и сам доктор и кое-кто из медперсонала поняли, что он еврей. Никто не выдал. Но посоветовали при первой возможности перебраться в

другой лагерь, где его никто не знал. (С доктором Супруновым Лазарь встретился после войны и дружил с ним до его последнего часа).

Вскоре такая возможность представилась. В расположенном рядом французском лагере открывалось русское карантинное отделение и его направили туда переводчиком. Так он спасся еще раз.

В лагерной конторе Лазарь имел возможность общаться с французами. Они хорошо относились к своему «земляку», нашлись «однофамильцы»…

Французы хорошо относились к русским военнопленным. В канун Нового 1943 года передали для них по маленькой пачечке сигарет и галет.

Однажды всю группу переводчиков назначили на врачебный осмотр. Жизнь опять повисла на волоске. Спас руководитель группы, немец-офицер, с которым, как это ни странно, у Лазаря установились дружеские отношения. На время осмотра, видимо что-то заподозрив, он Лазаря куда-то отослал. В свободное время они азартно убеждали друг друга: немец — в правоте идей национал-социализма, Лазарь — коммунизма…

Лагерное начальство сделало попытку завербовать Лазаря в качестве секретного сотрудника. И ход придумали неглупый. Предложили по своим каналам связаться с семьей: живы ли, как поживают.

Это было смертельно опасно. Если ответят — погибли, его немедленно расстреляют. И отказаться нельзя. Два месяца ни жив, ни мертв, не сомкнул глаз. Но в Свислочи все поняли! Кто — не знает до сих пор. Ответили: «Родители живы, — они были расстреляны в ноябре 1942 года вместе со всеми евреями местечка, — того и ему желают».

И он спасся в очередной раз.

В лагерь приехала комиссия отбирать пленных для зенитной артиллерии вермахта, а, может, и власовцев. Работая переводчиком при этой комиссии Лазарь знал по каким болезням отбраковывают и помог нескольким сотням пленных избежать отправки.

После Сталинграда усилились побеги. Бежал и доктор Супрунов. Лазаря, как его близкого друга, арестовали. При обыске обнаружили портреты тогдашних руководителей СССР и красноармейское зеркальце. В официальной бумаге было сказано: «За устройство коммунистической пропаганды и хранение портретов Ленина, Сталина и Молотова». Но подозрения на еврейство не было и надежда на жизнь оставалась. Но и она повисла в воздухе! После обязательных двадцати пяти плетей

полагался врачебный осмотр! Самое страшное. И вот счастье! От осмотра спас все тот же доктор Супрунов, оказавшийся в этом концлагере после неудачного побега.

…В этом лагере постоянно дымила труба крематория…

Лазарю удалось устроиться «лошадью» в упряжке из десяти пленных, развозивших по лагерю пищу. Стало сытнее. Потом стал десятником. Позже и писарем.

В январе сорок четвертого в концлагерь привезли группу пленных из того лагеря, где Лазарь находился прежде. Среди них был старый еврей Флейшер. На следующий день его расстреляли… Лазарю очень хотелось помочь этим изможденным людям и с помощью знакомого повара удалось их подкормить. (С этим поваром после войны встретились в Польше). Но при этом Лазарь немного засветился и почувствовал опасность.

В феврале сорок четвертого года в лагере стали готовить команду для работы на заводе искусственного бензина в городе Пелиц. Лазарю удалось попасть в этот список и избежать разоблачения. Завод постоянно бомбила английская авиация и Лазарь был включен в команду «бомбензухер» — искать неразорвавшиеся бомбы. Команда искала бомбы и вокруг территории завода, но Лазаря почему-то перестали выпускать за пределы зоны, видимо что-то заподозрили.

Но и здесь повезло. Старший лагеря, из заключенных, взял его к себе писарем. И здесь удалось оказать помощь товарищу и спасти ленинградского студента Бориса Сапегина (впоследствии главного режиссера Костромского драмтеатра). Ему приказали нашить еврейскую шестиконечную звезду, хотя он не был евреем. Это означало расстрел. С помощью врача-поляка его удалось госпитализировать. Выписали его под фамилией умершего, а его показали умершим…

Начался сорок пятый год. Советские войска приближались. В середине апреля через лагерь уже летели снаряды.

25 апреля 1945 года всех заключенных вывели и погнали этапом. Ослабевших и больных расстреливали. Не пощадили и своего немца-коммуниста по фамилии Юльюс.

Вели к морю. Пошли слухи, что их хотят утопить. Сложилось впечатление, что охрана с ними возится, чтобы «освободившись» не попасть на фронт.

В этой обстановке Лазарь решился на побег. В сумерках, когда колонна проходила через лес, набросил свою шинель на винтовку ближайшего конвоира и кинулся бежать. Вслед стреляли, но пронесло. Шел всю ночь. На рассвете встретил советских кавалеристов. Это был 219 стрелковый полк.

От радости целовал лошадь.

Ему дали коня и с этим полком провоевал восемь дней. До Победы.

Вначале назначили заместителем коменданта города Росток. Потом переводчиком группы, которая демонтировала автоматическую телефонную станцию для Воронежа, и с ними он должен был вернуться. Но в СМЕРШе узнали, что он опытный переводчик и предложили перейти к ним с последующим присвоением офицерского звания.

Это было ошибкой. Не та это организация, с которой стоило связываться. Но Лазарь считал, что может принести пользу в разоблачении предателей и изменников Родины. И согласился.

Заметил, что одна из переводчиц при допросе немцев переводит неточно и не все. Стараясь как-то их выручить, обелить. И он сказал об этом начальнику. Но начальник уехал в командировку, остался его заместитель, сожительствовавший с этой девицей. Пришли два автоматчика и Лазаря арестовали. Его обвинили, ни более, ни менее, в убийстве двух военнопленных. Еще действовал закон военного времени и ему грозил расстрел. Но эти мерзавцы не учли, что у немцев учет был точным и в том лагере, который они указали, Лазарь никогда не был. И он отделался высылкой, как «спецконтингент», на север, в Печеру Но видимо эти сукины дети не успокоились и уже в Печере, в 1946 году его догнал приговор Особого Совещания: 8 лет лагерей.

Четыре года немецких, да восемь лет советских — двенадцать — вся молодость.

Отсидел почти весь срок — семь с половиной лет.

Освободился 5 марта 1953 года.

В тот день хоронили Сталина.

Слапак Элиэзер Борисович, 1923 года рождения, награжден медалью «За победу над Германией».

Репатриировался в Израиль в декабре 1990 года.

Приказ: «Дать связь!»

Отец Абрама, по профессии фармацевт, в дореволюционной России имел право жить вне черты оседлости, и они жили в Петербурге-Петрограде. В качестве военного врача отец участвовал в Первой мировой, гражданской и Великой Отечественной войнах.

Абрам родился уже в Ленинграде. В классе подобрались способные ребята, выпускали журнал, в котором критиковали

педагогов, могли и пошалить. Многие из них впоследствии стали учеными, докторами наук, профессорами.

В 1927 году отец закончил Военно-Медицинскую Академию.

В конце тридцатых годов отцу предложили перейти на службу в Штаб Ленинградского Военного Округа. Близкий друг отца сказал: «Ни в коем случае! Оттуда прямой путь в ГУЛАГ или под «вышку». — Отец отказался.

К началу войны Абрам закончил девять классов. Отец эвакуировался в Ярославль вместе с авиационными складами, где он служил, и взял с собой семью. До призыва в армию в августе 1942 года на этих складах работал и Абрам.

Направили в Муромское училище связи. Несмотря на тяжелое положение на Фронтах, обучали больше года, выпустили младшим лейтенантом, начальником радиостанции, в Отдельный батальон связи корпуса на Волховский фронт. Дали три дня отпуска. В Москве, в офицерском общежитии, из кармана гимнастерки вытащили четыреста рублей — деньги по тем временам небольшие. Но — офицеры! Не иначе как отреагировали на национальность. Еврея — как не обидеть. Пошел на толкучку и продал голенища от старых сапог (перед выпуском выдали новые) за триста рублей.

При передислокации в машину-рацию Абрама села ППЖ замкомбата Гурьянова с большим чемоданом и вещмешком.

По прибытии на новое место она попросила сержанта-радиста помочь перенести вещи. Тот отказался. Обратилась к Абраму: «Прикажите ему». — «Я не могу ему приказать! Он сержант, а ты ефрейтор!».

На следующий день Абрама перевели в стрелковый полк…

В полку Абрам принял взвод радиосвязи.

В марте 1944 года дивизия вела бои по освобождению города Луги. Абрам слышал, как по рации командир полка докладывал комдиву, где он ведет бой на подступах к городу. — «Где он там ведет бой, когда Москва уже объявила, что Луга освобождена!» — раздраженно бросил комдив.

В марте 1944 года полк форсировал Нарву. Лед еще держал. Через два дня переправился и командир полка и занял немецкий блиндаж. Как и почти во всех случаях, западный берег был выше восточного, и это давало противнику определенные преимущества.

Полк стал готовиться к наступлению. По-видимому, немцы что-то пронюхали, нанесли мощный удар артподготовкой и пошли в атаку прямо на КП командира полка. Им удалось прижать наших к берегу. Комполка вернулся на старый КП. В этом полуокружении находились с неделю. Артиллерийский

офицер-корректировщик, толковый и смелый офицер, остался. Две батареи были выдвинуты на берег и через головы блокированных батальонов снаряды не давали немцам подняться.

Ночью к осажденным попыталась пробиться кухня, но на середине реки попала под артобстрел, и лошадь провалилась вместе с кухней. Но две канистры со спиртом всплыли! Спирт легче воды! Ночью двое разведчиков ползком добрались до этого богатства и притащили.

Аккумуляторы радиостанции сели, и Абрам отправился на другой берег получить новые и отдать свои на подзарядку. Новые на всякий случай положили в резиновый мешок, и Арон затолкал их в противогазную сумку.

Возвращался в темноте. Из-за непрерывных артобстрелов лед на реке пестрел многочисленными полыньями. Они быстро затягивались тонким ледком и, припорошенные снегом, не были видны. Не заметив опасности, Абрам провалился. Место было глубокое. Вспомнил, как когда-то в пионерском турпоходе учили не хвататься руками за лед — он будет обламываться — а вылезать спиной. Больше всего боялся, что уйдет к немцам. Но обошлось. Разжигать костер, обсушиться — нельзя. Дали кружку спирта — сразу согрелся.

А аккумуляторы остались сухими.

Через неделю остатки полка деблокировали. На западный берег переправлялось более пятисот человек, обратно вернулись около ста…

Возвращаясь, наткнулись на два обгоревших до неузнаваемости трупа мужчины и женщины, связанных между собой колючей проволокой…

После этих боев командира полка и начальника штаба отозвали… (Начальник штаба — очень порядочный и блестяще эрудированный человек, окончивший сельскохозяйственную академию, в военном деле был полный профан).

В Эстонии, в боях по освобождению города Валка, с батальонами, форсировавшими реку Эмайыги, прервалась связь. Новый командир полка приказал Абраму: «Дать связь!». -Вышел на берег, стал ждать, пока какое-нибудь плавсредство пойдет за раненными. Снарядов Абрам не боялся, почему-то был уверен, что снаряд в него не попадет. Боялся он пули. Но разорвался снаряд. Осколком начисто перебило правую руку ниже локтя.

Кой-как добрался до санроты, там перевязали. Неожиданно в санроту прискакал на коне новый начальник штаба полка ленинградец Лаврентьев и привез Абраму орден Красной Звезды: «Потом не найдешь!».

В госпитале Абрам лежал в Пскове. Там оперировали. Но

мелкие осколки еще долго выходили из раны, и она не заживала. Стало известно, что госпиталь будет разгружаться, и один из эшелонов назначен в Ленинград. Начальник связи полка Корнилов, раненный на два дня раньше, сказал Абраму: «Пойди к начальнику госпиталя, скажи: «Я врач, сын врача» и попросись в Ленинград. И не забудь про меня». — Начальник госпиталя знал отца, и все устроилось.

Ранение было тяжелое, и на фронт Абрам больше не попал.

9 мая кончилась война, а 17-ого комиссовали. Сдал экстерном за 10 классов и поступил на истфак ЛГУ, где не проучился ни одного дня. Отец был против, а его друзья — видные ученые-медики, сказали: «Историей тебе все равно не дадут заниматься, как ты хочешь». — Один из них провел его по клиникам, он поступил на медицинский и никогда об этом не пожалел.

Где-то в Прибалтике разговорился с хозяином (старшее поколение знало русский). Тот спросил: «Что теперь будет?». — «Будут колхозы». — «У меня 12 коров». — «А у твоих батраков коров нет». — «Есть. У каждого по две». — «Но у них нет лошадей». — «Если они арендуют землю у меня — я им дам коней». — Абрам задумался.

В Ленинграде пожилой врач, сын Путиловского рабочего, рассказал: «Когда у моего отца родился четвертый ребенок, он две недели искал — и нашел — четырехкомнатную квартиру, — и ведь смог снять! — комната для мальчиков, для девочек, комната родителей и столовая».

В это время Абрам жил в одной комнате, вчетвером, в коммунальной квартире: он с женой, ребенок и теща…

Сомнения усилились.

Брайнин Абрам Самуилович, 1924 года рождения, награжден орденами Отечественной войны и Красной Звезды, памятными и юбилейными медалями.

Репатриировался в Израиль в январе 1992 года.

Одиссея Нафтали Юничмана

Небольшое еврейское местечко Торговица, в двадцати километрах от Луцка, со всех сторон было окружено украинскими селами. До 1939 года это была Польша. Особого достатка не знали, отец большую часть времени был безработным. Мать, Сарра Исааковна, да будет благословенна ее память, работала портнихой. Тем и держались.

Некоторое время Нафтали учился в местной йешиве, но ребе

знал только один способ обучения — нещадно бил своих учеников, и родители перевели сына в еврейскую гимназию в Луцк. Жил у родственников. Успел закончить четыре класса, когда в 1939 году пришли Советы. Нафтали послали на курсы ВНОС — Воздушное Наблюдение, Оповещение, Связь — аббревиатура, получившая на фронте ироническую расшифровку: Война Нас Обошла Стороной. Курсы закончил 18 июня 1941 года.

Нафтали мобилизовали связистом в городок Броды, неподалеку от Львова. В переполохе первых дней войны добрались до Ровно, где какой-то лейтенант сказал: Ребята! Кто как может, переправляйтесь через реку!» Нафтали плавал хорошо — во всем обмундировании, с винтовкой, переплыл! Над плывущими пронесся немецкий самолет, дал очередь, но пронесло. Красноармейцев из разрозненных частей собрали в Новгород-Волынском, выдали новенькие ППШ (пистолет-пулемет Шпагина), что в начале войны было большой редкостью — по-видимому, в Новгород-Волынском был арсенал. Заодно Нафтали переоделся в сухое.

Среди мобилизованных многие не знали русского языка, были и малограмотные. Случались курьезы. В расположении неожиданно появился полковник. Дежурный не разбиравшийся в званиях Красной армии, бодро скомандовал: «Смирно! Четырехшпальный пришел!» Полковник спросил, указывая на петлицу:

Сколько здесь шпал?

— Четыре!

— А здесь? — указал на вторую.

— И здесь четыре.

— Вместе сколько будет?

— Восемь.

— Восемь суток гауптвахты!

Комендант города сказал: «Ребята! Занимайте оборону! Мы город не оставим!»

Отступали до Чернигова. Здесь бросили в бой. Несмотря на общее отступление, на какое-то время немцев удалось отогнать. Но от близкого разрыва мины Нафтали был тяжело ранен: три осколка попали в живот. Двигаться не мог. Всю ночь пролежал без помощи, но в сознании. А наши вновь отступили… Утром увидел: из леса вышли четыре немецких солдата и стали пристреливать раненых. Простился с жизнью. Закрыл глаза. Подошли. Весь в крови, рану обсели мухи, глаза закрыты, решили — мертвый. Ушли.

Вдруг услышал: «Ура!» — наши вновь пошли в контратаку. Подошли два красноармейца. Он открыл глаза. «Живой!»

Подхватили под руки — носилок не было — и потащили в штаб, оттуда отправили в госпиталь в Мариуполь. Но немецкое наступление продолжалось, и госпиталь эвакуировали в Ростов-на-Дону. В лечение входил массаж. Место чувствительное, парень молодой, непроизвольно отреагировал…. Сестра сказала: «если так — будешь человеком!»

Но вскоре госпиталь эвакуировали снова, на этот раз в Орджоникидзе (Владикавказ). И тут было неспокойно — немцы дошли до Минвод.

В госпиталях пролежал около года. Весной сорок второго выписали, на полгода комиссовали и отправили в небольшой городок за двести километров от Алма-Аты. Через шестьмесяцев приехал в Алма-Ату на комиссию. Никто ничего не смотрел, ни его, ни документы: «Руки-ноги есть — годен к строевой!» Увидел на столе свои документы, по наивности спросил: «Можно забрать?» — «Они тебе не будут больше нужны…»

Нафтали завербовался на шахты в Караганду — бронь до окончания войны. На шахте проработал почти три года — все время запальщиком на взрывных работах. После Победы всех собрали в клубе, секретарь райкома сказал: «Война кончилась, но вы остаетесь еще на год. Нужно залечить раны, нанесенные фашистами!»

В 1946 году в Советском Союзе не знали о концлагерях. Об этом не писали и не говорили. Когда Нафтали узнал — не мог поверить. Не укладывалось в голове. Брат и сестра погибли в Луцке. Родителям «повезло» — они до этого не дожили. Дядя, брат отца, живший в Киеве, когда ему предложили эвакуироваться, сказал: «Я не поеду. Коммунисты мне надоели». Он погиб со всей семьей в Бабьем Яре.

На Ялтинской конференции союзники добились от Сталина разрешения тем, кто до 1939 года жил в Польше, вернуться. Но когда Нафтали узнал, что там творилось, не хотел даже выходит из поезда. Решил ехать в Германию. По пути некоторое время провел в Австрии. Там познакомился с молодой девушкой Раей — да будет благословенно ее имя, — чудом уцелевшей в Освенциме. Они поженились и в Германию приехали уже вдвоем. Три года Нафтали проработал в Германии в Сохнуте, собирая и отправляя через Марсель в Израиль оставшихся в живых евреев Восточной Европы. Особенно много было из Румынии. Анттонеску запретил уничтожение евреев на территории страны. Они с успехом это делали за ее границами. Но те, кого не успели этапировать, остались живы.

В 1949 году, через год после образования государства Израиль, перебрался сам.

По стопам отца пошла старшая дочь Эмма, работавшая представителем Сохнут в СССР: сначала в Харькове, а потом в Ленинграде. По каким-то делам поехала в Хельсинки, пошла в главную церковь и во время богослужения обратилась к прихожанам по-английски (был переводчик): «Куда вы все смотрели, кода немцы уничтожали евреев? Ведь вы все знали! Почему вы молчали?» Ответом было молчание.

По просьбе отца Эмма обратилась в Ленинградский военно-медицинский архив. Нафтали сказали: «Дай там пару долларов». Но это не помогло, сказали: «Только через Москву». Она оставила данные. Через какое-то время Нафтали пригласили в советское посольство в Тель-Авиве. Приехал. Охранник поставил ему на ладони номер 73. Решил не ждать, вернуться. Вышел сотрудник посольства: «Раненые есть?» И пропустил без очереди. Так он получил свои медицинские документы, и ему была установлена инвалидность.

В Израиле это были трудные годы. Государство только начинало самостоятельную жизнь. Не было работы. С трудом, с помощью приятеля, устроился на стройку.

… Нафтали Пинхасович Юничман живет в стране 57 лет, почти столько же, сколько существует и сам Израиль. У ветерана две дочери, сын, шесть внуков, правнучка. Свидетельствую: в свои 93 года он сохранил удивительную память и ясный ум. До ста двадцати!

Рост солдату не помеха

Александр Давидович Липник — в ту пору Нисан — закончил шесть классов еврейской школы в белорусском городе Кричеве. Вскоре еврейские школы были закрыты, он перешел в русскую, из восьмого класса был исключен «за неуплату платы за обучение» — не так уж часто встречающийся, почти неправдоподобный случай, подтвержденный соответствующей справкой.

Между прочим, перемена имени сыграла с ним злую шутку Когда братья стали его искать через Красный Крест, им отвечали: такой не числится. Они искали Нисана, а он уже был Александр.

… С началом войны бежали в Ростовскую область, работали в колхозе в селе Ледник Песчановского района. Саша пас скот. Но немец подошел и сюда, и беженцев на баржах эвакуировали в Западно-Казахстанскую область, в село Установка. Снова работали в колхозе, затем всех бросили на строительство секретной стратегически важной железной дороги Гурьев-Астрахань. С БАМа, строительство которого началось еще до

войны, привозили готовые участки полотна вместе со шпалами. Среди строителей свирепствовал тиф. От голода и болезней ежедневно умирали десятки рабочих. Саша стал харкать кровью. Воспользовавшись болезнью, забрал паспорт и пошел в военкомат проситься добровольцем на фронт. При росте 140 см и весе 40 кг его приняли за мальчишку, пришедшего кого-то провожать, и дали коленкой под зад. Убедил паспорт — 1924 год рождения. Военком ткнул пальцем в живот, зачем-то пощупал лоб — и вся медкомиссия. Направили в полк связи, выдали когти и послали чистить изоляторы по линии вдоль железной дороги Орск-Уфа. Через неделю — на фронт. Ехали в полуторке. Навстречу мчалась санитарная машина, светом своих фар она ослепила водителя полуторки, и та пошла под откос. Из восемнадцати человек двое погибли на месте, раненых отвезли в госпиталь, а Сашу с перевязанной рукой оставили охранять полуторку.

Когда все утряслось, связистов задержала маршевая рота, загнали на гумно, раздели, отобрали новое обмундирование, взамен дали свое старое. Саше досталась шинель, в которую при его росте «метр двадцать с кепкой» можно было завернуться с головой, и не в один оборот. (Заметим, что винтовка со штыком — 1,75 м). Он эту шинель обрезал, подрубил, получилось нечто похожее на гражданское полупальто. Из угла до угла гумна протянули полевой кабель, зажгли свет и стали писать письма домой. Кто-то из начальства сказал: «Пойте песню каждый на своем языке». Саша стал петь популярную еврейскую песню «Ву из ди гаселе, ву из ди штиб, ву из ди мейделе вое их об либ».

Распространился слух, что в районе Изюма немецкие танки прорвали нашу оборону. Стало тревожно…

Приехали «покупатели». Саша стал связистом 317-го отдельного линейного батальона связи, обслуживающего конно-механический корпус Плиева 7-й гвардейской армии. Здесь его приняли в комсомол.

Фронт подошел к границе. Откуда-то прибыл какой-то человек, сказали — профессор, и стал инструктировать, как наши военные должны вести себя за границей, как держать вилку, ложку…

Под Яссами захватили несколько десятков овец. Узбеки, которых в батальоне было немало, стали гнать отару в часть, а Саше поручили их встретить и показать дорогу. Вдруг он увидел, как проходившие неподалеку румын с сыном вошли в лес и через короткое время вывели оттуда несколько десятков вооруженных немецких солдат! Саша быстро спрятал винтовку среди снегозащитных щитов, складированных вдоль дороги, и кинулся бежать.

По пути попалась собачья будка. Она не была пуста, но собака испугалась больше Саши и уступила свою «жилплощадь». Вот где пригодился его несерьезный рост! Немцы застрелили собаку, но никому из них и в голову не пришло, что в собачьей конуре прячется советский солдат. Мысленно он впервые поблагодарил судьбу за свои метр сорок. Пожалуй, это единственный подобный случай. Вполне мог бы войти в книгу рекордов Гиннеса.

Командовал батальоном двадцатидвухлетний майор Соколов. В его подчинении были люди много старше его по возрасту, но они боялись его, как огня.

Батальон обеспечивал связь на семистах километрах по фронту, проходили по шестьдесят-семьдесят километров в день и не всегда на конях. Проверяя связь, Саша наткнулся однажды на группу немецких военнопленных, и они — в том числе генерал! — приветствовали его. Выглядело это довольно забавно.

…В Бухаресте встретились евреи, пригляделись: «Ду бист а ид?» Стали благодарить: «Спасибо, что вы пришли, румыны всех нас уничтожили бы». Пригласили в синагогу, потом домой, угостили гусиными шкварками — вкус Саша помнит до сих пор.

День Красной Армии, 23 февраля 1945 года, застали в Венгрии. На радостях связисты перепились, стали шуметь, стрелять. Пришел командир соседней части, Герой Советского Союза: «Что за пьяная банда?» Извинились, но кого-то и наказали. Война еще шла, батальон перебросили в Чехословакию, где бои шли и после 9 мая.

За участие в боях, обеспечение устойчивой связи в трудных условиях Саша Липник был награжден орденом Отечественной войны 2-й степени и почетной солдатской медалью «За отвагу».

И вправду: мал золотник, да дорог.

Война закончилась в день рождения!

До четвертого класса Нисан учился дома и только в пятый пошел в школу. Директором школы был человек по фамилии Тягнибеда, чью фамилию ученики, среди которых, естественно (Одесса!), было много евреев, немедленно переделали в Шлэпдицурес. И фамилия и кличка оказались пророческими: в один из дней в школу заявились двое в военном, забрали директора прямо из кабинета, посадили в бричку и увезли в неизвестность — шел 1937 год…

Как сын служащего Нисан не имел права подавать в институт, поэтому после седьмого класса он поступил в ФЗУ, где одновременно со специальностью токаря пятого и слесаря четвертого разряда получил среднее образование, после чего

пошел работать на завод им. Январского восстания, а по вечерам учился на рабфаке. Через год, уже как рабочий, поступил в Одесский Индустриальный (ныне политехнический) институт. Записался он на механический факультет, но там был перебор, а на химическом — недобор. И, учитывая, что он на вступительных экзаменах получил по химии пятерку, его, не спросив и не поставив в известность, зачислили на химфак. Ничего не подозревая, Нисан продолжал исправно посещать механический, пока не увидел на доске приказов, что отчислен из института за систематическое непосещение занятий…

В 1939 году Нисан был на практике в Березниках и там познакомился со своей будущей женой Еленой, студенткой мединститута, проходившей там преддипломную практику. Через год встретились в Москве и решили зарегистрироваться. Пошли в самый лучший ЗАГС и вернулись… неженатые. Нет московской прописки — нет и регистрации. Пошли к ее сестре, где остановились, дали десятку дворнику, он их прописал и они благополучно зарегистрировали свой брак в Таганском ЗАГСе. «Медовый месяц» продолжался один день: 4 февраля зарегистрировались, а 5-ого разъехались. Она — в Молотов, он — в Одессу. Обоим надо было заканчивать институт.

В том же сороковом году Нисан получил диплом и был направлен на Урал в Молотов (Пермь), на военный завод № 90, производивший жидкий фосфор. Работа была тяжелая и опасная. В цеху плавал белый туман, работали в противогазах, в шесть смен по четыре часа. Побочным продуктом производства был феррованадий. Когда началась война — из него стали делать гранулы в виде небольших шариков. Их немедленно забирали самолеты и разбрасывали над оккупированной территорией для уничтожения урожая, который не успели собрать.

Но производство было опасное — случались взрывы, гибель людей. Поэтому, когда в августе сорок первого Нисан получил повестку из военкомата, он спокойно пошел на призывной пункт: неизвестно где было опаснее — на фронте или на заводе.

Дивизия формировалась на кирпичном заводе в Кунгурском районе. 934-й артполк получил 122 мм. пушки-гаубицы прямо с завода в Молотове. Поначалу полк был на конной тяге, лошадей отбирали по колхозам. Среди них попадались жеребцы, как известно, к службе в армии не пригодные. Полковой врач их кастрировал, и лошадиные гениталии становились деликатесом в офицерской столовой…

Индустриальный институт имел военную кафедру. На первых курсах Нисан проходил двухмесячную подготовку в лагерях, по окончании института получил звание младшего лейтенанта

запаса и в полку был назначен командиром взвода управления: разведка и связь. Шел еще только третий месяц войны, но в дивизии уже были командиры, успевшие повоевать и после ранения и госпиталя направленные на формирование новых частей.

В конце сорок первого года дивизия прибыла под Москву и 5 декабря — начало нашего контрнаступления — вступила в бой. За двадцать шесть дней к 31-му декабря, дивизия прошла более двухсот километров. Шли буквально по трупам немцев. На дорогах лежали замерзшие, раздавленные в лепешку танками, убитые солдаты и офицеры противника.

В одном из горевших сел услышали страшные крики из запертого амбара. Кинулись к нему, освободили людей, уже утративших надежду на спасение, которых отступающие в панике фашисты, намеревались сжечь. Село полностью сгорело. Люди остались на пепелище без крыши, без куска хлеба и артиллеристы отдали им все свои запасы, что нашлись в вещмешках: «Мы себе еще добудем».

Встретился кавкорпус генерала Льва Доватора, совершивший рейд в тыл противника. Казаки были в бурках, на красавцах-конях. Они наводили ужас на противника. Среди них было немало головорезов. У Нисана они угнали коня, он потом его нашел, но доказать не смог — бирку срезали.

В ночь на 31 декабря развели костер, уселись вокруг, грелись, собирались встретить Новый Год. Мина ударила прямо в костер. Кого-то убило, многих ранило. Нисан был ранен осколками в голову и руку. В госпитале лежал в Солнечногорске. Ранения оказались не тяжелые и его вскоре направили в Ярославль, где на переформировке находилась 22-я гвардейская стрелковая дивизия. Нисан попал в 379-й артполк и был назначен старшим офицером батареи. В феврале сорок третьего года, ко дню Красной Армии, командир дивизии вручил ему вторую звездочку на погон и орден Отечественной войны 2-й степени, незадолго до этого учрежденный, что было особенно приятно и почетно.

Старший офицер батареи все время находился на огневых позициях и Нисан на себе ощутил, что значит сопровождать пехоту огнем и колесами. Дошли до Волоколамска, дальше начались сильные и долгие бои под Ржевом и Зубцовом. Затем дивизию перебросили под Ярцево.

Но все это были еще цветочки по сравнению с теми тяжелыми и изнурительными боями, которые развернулись под Оршей. Немцы отрыли на подступах к городу такой широкий и глубокий ров, что его никак не удавалось преодолеть. Кроме того они применили — Нисан считал впервые — особо крупные минометы,

мины из которых летели со странным звуком похожим на скрип, отчего получили у солдат название «скрипуны». Больше этих мин Нисан нигде не встречал (и автор тоже).

Орша — крупный железнодорожный узел, очень важный как для нас, так и для противника. В этих боях погибло около десяти тысяч человек, некоторые дивизии были, по существу, разгромлены и 30-я Армия была отведена для переформировки и пополнения во второй эшелон.

Командиром первого орудия в батарее был старший сержант Булавин Иван Григорьевич — сибиряк, мужик крепкий и основательный, заставлял расчет окапываться так, что никакие мины и снаряды не брали, землянку перекрывал в три наката, закапывал орудия. Тем, что Нисан остался жив он во многом обязан Булавину.

Некоторое время дивизия стояла у Пушкинских гор. В бинокли и стереотрубы можно было наблюдать движение противника, но был строгий приказ по селу Михайловскому — так Горы обозначались на карте — огня не открывать.

После Пушкинских Гор перешли на Латвию. Особых боев не было. Освободили Мадону потом Ригу. Рига удивила: идут танки, едет артиллерия, а дворники подметают улицы, как будто и нет войны.

В Прибалтике была отрезана от основных сил вермахта так называемая Курляндская группа войск противника. Нашей пехоты было мало, ее перебросили на основной театр военных действий и оборону держали в основном артиллеристы.

8 мая дивизия должна была начать наступление на Либаву (Лиепайя). В 12 часов вдруг объявили: Капитуляция! Педантичные немцы сразу же через каждые двести метров выставили белые флаги. Командир батареи капитан Анциз Борис Самойлович — человек исключительной отваги, но большой любитель выпить, что для еврея довольно странно, с несколькими бойцами пошел принимать капитуляцию.

И принесли Нисану подарок — прекрасные швейцарские часы. В этот день — 8 мая — был его день рождения! Солдаты шутили: «Товарищ старший лейтенант! Надо было вам раньше родиться — раньше бы и война кончилась!».

После Победы Нисан служил еще год. Приезжала в гости жена. Она тоже была на фронте — сначала в батальоне выздоравливающих, потом, до конца войны, главврачом передвижной станции переливания крови, получила орден Отечественной войны 2-й степени.

Поступило распоряжение — специалистов народного

хозяйства направить в промышленность. Но и армия стремилась сохранить опытные офицерские кадры. Некоторые офицеры устраивали попойки, чтобы в наказание их уволили из армии. Попробовал и Нисан — напился и не явился на дежурство. Но ограничились взысканием. Наконец, приехала комиссия, заставила демобилизовать. В апреле сорок шестого уволился и приехал к жене в Пермь (тогда еще Молотов), как раз к своему дню рождения — ему исполнилось тридцать лет.

В почти миллионном городе было всего шесть тысяч евреев. Антисемитизм здесь не ощущался. Евреи занимали солидные должности: были директорами заводов, главными инженерами, главврачами. Нисан организовал и многие годы был директором нефтяного института, занимавшегося разведкой, бурением и добычей нефти. Проработал двадцать лет, но пятый пункт все же сказался. Воспользовались тем, что по образованию он химик, а не нефтяник и предложили пойти заместителем к новому директору — профану и пьянице. Онотказался и принял техотдел. А выйдя на пенсию, устроился в мастерскую этого же института по своей первой специальности — токарем!

И этим добавил себе десять лет жизни.

Смилянский Нисан Эйзерович, 1916 года рождения, награжден орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степени, памятными и юбилейными медалями. Репатриировался в Израиль в октябре 1991 года.

В книге использованы фотографии из семейного архива автора, фотоальбома «Великий подвиг»

(М., Издательство политической литературы, 1966, составители А. Вольгемут, Т. Зельма) и других источников, указанных в подписях к фотографиям

Гольбрайх Ефим Абелевич

Гольбрайх Ефим Абелевич.

Фотография сделана в 1943 году и пробита осколком.

Е. Г. — Я родился в 1921 году, в городе Витебске. Мой отец, до революции, был членом боевой организации партии эсеров-революционеров. После 1917 года он отошел от какой-либо политической деятельности, трудился простым служащим. Осенью 1937 года, отца арестовали, и уже через неделю, после второго допроса, он был приговорен Особым Со-вещанием к расстрелу. Приговор привели в исполнение в январе 1938 года. Об этом я узнал совсем недавно. А тогда, получили уведомление, со стандартной фразой на бланке: «Осужден на 10 лет, без права переписки». Так, в один час, из комсомольца-патриота я превратился в изгоя, с клеймом: сын «врага народа». Из тридцати

моих одноклассников, у восьми был арестован один из родителей, а у Вани Сухова посадили и мать, и отца. Нашу семью не выслали, и меня даже не исключили из школы. Окончил десятилетку и работал инструктором детской технической станции. Пришел срок призыва в армию, но меня не призвали, лишь зачислили в запас второй категории. Это означало, что даже в военное время, мне нельзя давать в руки оружие. По своей наивности подал документы на поступление в Высшее Военно-Морское Училище. Помню только, как военком грустно покачал головой, не говоря ни слова, принимая мое заявление. К началу войны мои друзья служили в кадровой армии, а я работал и учился на первом курсе физмата Витебского пединститута. Когда объявили о начале войны, явился в военкомат. Сказали: «Жди повестки, о тебе не забыли». Из студентов института сформировали истребительный батальон, вооружили старыми бельгийскими винтовками без штыков и послали на патрулирование улиц. Уже через неделю приказали сдать оружие, и наш батальон расформировали. 3 июля 1941 года услышали обращение Сталина к советскому народу и впервые поняли всю серьезность нашего положения, почувствовали, что война будет долгой и тяжелой. Через город шли беженцы. 8 июля привел на вокзал мать с маленькой сестренкой и брата. На перроне стоял пассажирский поезд, оцепленный вооруженными красноармейцами, а в привокзальном сквере ожидали посадки на поезд семьи командиров Красной Армии. Все эти семьи посадили в вагоны, никого другого к поезду не подпустили. Появился немолодой, незнакомый майор, взял наши вещи и сказал: «Идите за мной». Провел мимо охраны, открыл дверь тамбура и буквально затолкал моих родных внутрь. Он сказал: «Никуда не выходите из поезда». Я не знаю имени этого благородного человека, но ему моя семья обязана жизнью, он спас моих родных от неминуемой смерти. Мать до конца своей жизни молила Бога за этого человека. Вернулся с вокзала, пошел платить за квартиру и электричество, сдал книги в библиотеку. Собрал дома какие — то пожитки и вновь пришел в военкомат. А там никого, все работники уже сбежали. Висит на стене сиротливо картина «Ворошилов и Горький в тире ЦДКА», ветер гоняет ворохи бумаг… Пошел в штаб 27-й Омской Краснознаменной дивизии, стоявшей в Витебске. Пусто… А на следующий день немцы несколько раз бомбили город. Я впервые увидел убитых женщин и детей, лежавших на городской мостовой… По всему городу полыхало зарево пожаров, а на другом берегу Двины, через виадук входили немецкие танки. Гремели взрывы, подорвали мост и электростанцию. На центральных улицах зияли разбитые

витрины продовольственных магазинов. Вдруг услышал цокот копыт. На городскую площадь въезжал крестьянский обоз. Мародеры… В своем большинстве женщины. На лицах смесь смущения и азарта…

Никакой обороны города не было. Только на одном из выходов из города, я увидел пулемет «максим» и старшего лейтенанта Сухоцкого, преподавателя военного дела в нашем институте. Он кричал: «Ничего! Встретим!». Рядом с ним стоял молоденький красноармеец и смотрел на лейтенанта умоляющими глазами. С пулеметом против танков… До войны в Витебске проживало почти сто восемьдесят тысяч человек, а когда наши войска в 1944 году освободили город, в нем оставалось всего несколько сотен людей.

Г. К. — Отступление на восток. Что запомнилось из тех событий?

Е. Г.. — Самое страшное, что навстречу фронту шли сотни мужчин в гражданской одежде. Нет, они не искали военкоматы… Это уже переодетые красноармейцы-дезертиры возвращались по домам. Никто из них этого не скрывал.

Я шел на восток всю дорогу с двумя гродненскими комсомольцами, но они не выдержали. Пошли к себе домой… Нам, на головы, с самолетов немцы кидали листовки. Мол, «Москва взята, Красная Армия разбита. Бей жидов-комиссаров»… Многие начали верить, написанному в листовках. Встретил еврейскую семью, возвращавшуюся в Витебск. Мать, отец и трое детей. Старший сын — паренек, лет семнадцати. Уговорил его родителей, отпустить сына со мной. Встретил его после войны. Он воевал, был несколько раз ранен, грудь в орденах. Спросил о семье… Все его родные расстреляны в гетто…

Еды у нас не было. Питались земляникой, да еще иногда в деревнях добрые люди давали хлеба. Мои ботинки разбились, и я шел босиком. Сердобольный дед в одной из деревень дал мне лапти. Вышли к своим в районе города Ярцево, там не было сплошной линии фронта. На станции выгружалась хорошо экипированная и вооруженная дивизия, прибывшая с Дальнего Восток. Это производило внушительное впечатление. Стал просить о зачислении меня в эту дивизию. Привели к начальнику особого отдела. Пожилой особист сказал: «Иди сынок, ты еще успеешь». Так, в лаптях, дошел до Москвы, к родственникам матери. Пришел в военкомат. Все командиры вокруг меня сгрудились, просят рассказать о увиденном. Показал на карте как шел, рассказываю, что творится на дорогах. Сразу же нашлась «добрая душа» и позвонила, «куда надо». Через полчаса в комнату вошли два сотрудника НКВД. Посадили меня в «эмку» и привезли

в свой райотдел. Там я снова пересказал всю свою «одиссею». Эти чекисты оказались порядочными людьми. Меня отпустили, на прощание сказали: никому ничего не говорить. Пришел в МГПИ к директору института Котлярову. Он зачислил меня на второй курс и дал место в общежитии института на Трубной площади. Вскоре нас переселили в другое здание, на Усачевке, а в нашем общежитии стали формироваться партизанские отряды для заброски в немецкий тыл. В эти отряды отбирали только тех, у кого не было родственников на оккупированных немцами территориях. Так что, диверсантом-партизаном я не стал. В военкомате сказали: «Жди, когда надо, вызовем». А вызвали меня только весной 1942 года.

Г. К. — Как выглядела Москва в середине октября 1941 года? Я имею в виду так называемую «московскую панику 16-го октября», день, который один из фронтовиков, участник обороны Москвы охарактеризовал так»… день доблести и позора, день величия человеческой души и глубочайшей низости..».

Е. Г.. — В ночь с 14-го на 15-е октября фронт под Москвой был прорван. Да еще Левитан, выступая со сводкой по радио, всего лишь один раз оговорился, сказал: «Говорит Куйбышев», вместо обычной фразы: «Говорит Москва». Начальство на многих предприятиях погрузило семьи в грузовики и оставило столицу. Вот тут и началось… Горожане стали грабить магазины. Идешь по улице, а навстречу красные самодовольные пьяные рожи, увешанные кругами колбасы и с рулонами мануфактуры под мышкой! Но больше всего меня поразило следующее — очереди в женские парикмахерские… Немцев, видимо, ждали… С улиц исчезли люди в шляпах, обнаглевшая чернь интеллигентов не жаловала… Полное безвластие. Происходило ранее немыслимое, даже открылось несколько «частных кафе»… На улицах можно было услышать, что Сталин вместе с правительством уже сбежали из Москвы, но я этому не верил. Но вот несколько лет тому назад вышли воспоминания Маленкова, в записи его сына, так там приводятся слова Маленкова, цитирую дословно: «В эти дни из всех членов Политбюро в Москве оставался я один. Да, один. Все остальные уехали в Куйбышев. Сталина в Москве не было 10 дней»…. Вся территория в радиусе несколько километров вокруг Казанского и Курского вокзалов, была забита людьми, машинами… паника, многие стремились уехать из города любой ценой. По Шоссе Энтузиастов, единственной дороге на Муром и Владимир, молча проходили десятки тысяч людей. 17 октября власти спохватились и постепенно навели порядок в Москве. На улицах появились усиленные патрули. В городе формировали добровольческие коммунистические дивизии. Навстречу своей

горькой и трагической судьбе под красными знаменами шли отряды гражданских людей, вооруженных старыми винтовками и охотничьими ружьями. Шли пожилые люди, семнадцатилетние юнцы и даже мужчины интеллигентного вида в очках (до войны «очкариков» в армию не призывали). Ополчение вставало за Москву.

Г. К. — Как начинался Ваш армейский путь?

Е. Г.. — Меня призвали 2-го мая 1942 года. Как только я переступил порог комнаты, где заседала призывная комиссия, военком, увидев еврейского парня, сразу начал спрашивать: «Студент? Факультет? В танки или в артиллерию?». В народе «бытовало мнение», что все евреи с десятилетним или с высшим образованием… Не дожидаясь ответов, председатель комиссии вынес «вердикт»: «Пойдешь в танкисты!». От военкоматов требовали направлять в эти части только образованных людей. Отправили меня в Казань, в 24-й учебный запасной танковый полк. Готовили меня на стрелка-радиста. Занимались мы подготовкой на танках «Валентайн». Все танки были выкрашены в грязно-желтый цвет, предназначались для боевых действий в пустыне. До сих пор с вспоминаю танковый пулемет конструкции Брена. Этот пулемет весил килограмм двадцать и, по тревоге, я был обязан хватать с собой эту «дубину» и бежать с ней дальше, имитируя атаку в пешем строю. За неделю до отправки на фронт, подошел ко мне комиссар полка: «Решили выбрать тебя комсоргом, через два часа митинг. Готовься выступить с обращением к бойцам». Честно говорю ему: «Мой отец осужден, как «враг народа»..». Лицо комиссара побелело, он молча развернулся и ушел. В тот же день меня вызвали в строевую часть и дали направление в запасной стрелковый полк дислоцировавшийся в поселке Суслонгер Марийской АССР. Многие вспоминали это место с тоской. Десятки длинных, землянок, каждая на целую роту, 2-х этажные нары, вместо постелей настилали лапник. Кругом дремучий лес. Обилие злых кусачих комаров. Народ в полку, почти поголовно полуграмотный, призван из лесной и таежной глубинки. Вся боевая подготовка заключалась в маршировке на плацу с деревянными палками в руках!!! Винтовок не было! В день давали 600 граммов клейкой массы под названием «хлеб». Баланду в обед нальют, было видно дно эмалированной миски, так что, не пользуясь ложками, пили баланду через край. Подошел ко мне командир батальона, пожилой человек, из «запасников». Предложил остаться в батальоне штатным писарем до конца войны. Я отказался, и, уже на девятый день пребывания в Суслонгере, ушел с маршевой ротой на фронт.

Г. К. — На какой фронт Вы попали? Где приняли боевое крещение?

Е. Г.. — Попал я под Сталинград, в донские степи. Наш 594 стрелковый полк 207 Стрелковой Дивизии, занимал оборону северо-западнее Сталинграда. Бои были настолько кровопролитными, что после недели пребывания на передовой я не верил, что еще жив и даже не ранен! Сделал «головокружительную карьеру», уже на третий день командовал отделением, в котором осталось четыре бойца вместе со мной. Остальные выбыли из строя уже в первых боях. А еще через пару недель стал сержантом.

Иногда было так тяжело, что смерть казалась избавлением. И это не пустые слова…

Бомбили нас почти круглосуточно. Люди сходили с ума, не выдерживая дикого напряжения. Бомбежка по площадям… За войну пришлось десятки раз бывать под бомбежкой. На так называемом «Миусском фронте», на Самбекских высотах, Матвеевом Кургане, Саур-Могиле, в Дмитровке, по ожесточению и упорству боев названной «малым Сталинградом»… Хуже нет кассетного бомбометания. Двухметровый цилиндр раскрывается, и десятки мелких бомб идут косяком на цель. Неба не видно. Если нет надежного укрытия или в поле попался — пиши пропало. Бомба, что над тобой отделилась от самолета, — эту пронесет. А вот та, что с недолетом — твоя… Истошный вой летящих бомб… Визг становиться нестерпимым. Лежишь и думаешь — если убьет, только бы сразу, чтоб без мучений…

Расскажу просто, об одном боевом дне лета 1942 года. Занимали оборону возле разъезда № 564. На путях стоял эшелон сгоревших и разбитых танков Т-34. Никто не знал, какая трагедия здесь разыгралась, и как погиб этот эшелон. Утром пошли в атаку, при поддержке танков и, просто фантастика для 1942 года, при поддержке огня «катюш». Отбросили немцев на километр, дело дошло до штыковой атаки. Мне осколок поцарапал губу, а я, в горячке боя, долго не мог понять, почему капает кровь… Наш танк намотал на гусеницы провод. Послали двух связистов, никто не вернулся. Командир полка подполковник Худолей посмотрел на меня: «Комсомол, личным примером!». Мою фамилию многие не могли выговорить, прозвали меня «Комсомол», поскольку к тому времени я уже был комсоргом роты. Пополз к подбитому танку, оба связиста убитые лежат. Работа немецкого снайпера. Чуть приподнялся — выстрел! Пуля снайпера попала в тело уже застреленного связиста. Лежу за убитыми, двинуться не могу, снайпер сразу убьет… Зажал концы проводов зубами. Есть связь! Мимо ползет комиссар полка Дынин. Это был уже пожилой

человек, который, будучи комиссаром медсанбата, сам напросился в стрелковый полк. Сердце патриота и совесть не позволили ему находиться в тылу. В атаку ходил наравне со всеми. Увидел меня, рукой мне махнул, и в тоже мгновение, его снайпер сразил. Тут началась заварушка, обрывки провода скрепил, и под «шумок» вскочил и добежал целым до наших окопов. Пришел на НП батальона, а комбат ухмыляется: «Прибыл к месту службы». По телефону, уже передали приказ: «сержант Гольбрайх назначается комиссаром батальона».

Дали мне в руки котелок, а в нем — макароны с тушенкой. Начался артиллерийско-минометный обстрел, я телом котелок закрыл, чтобы комья земли в еду не попали. Рядом окоп артиллерийских наблюдателей. Пару секунд я замешкался, а потом пополз, а в этот в окоп наблюдателей — прямое попадание… До ночи продержались. Когда стемнело, пришла кухня: каша и чай. Каждому наливали по половине котелка чая. Хочешь пей, хочешь руки от чужой крови отмывай… Стоит наш подбитый танк, внутри что-то горит и взрывается. Солдат, судя по внешности из Средней Азии, подходит к танку с котелком каши, подвешенным на штыке. С чисто восточной невозмутимостью он ставит котелок разогреть на догорающий танк…

Жизнь продолжается…

Г. К. — Вы много раз поднимали солдат в атаку личным примером. Что испытывает человек в эти мгновения?

Е. Г.. — Поднять бойцов в атаку… Надо вскочить первым, когда единственное и естественное желание — поглубже зарыться, спрятаться в землю, грызть бы ее и рыть ногтями, только бы слиться с ней, раствориться, стать незаметным, невидимым.

Вскочить, когда смерть жадно отыскивает именно тебя, чтобы обязательно убить, и хорошо если сразу. Подняться в полный рост под огнем, когда твои товарищи еще лежат, прижавшись к теплой земле, и будут лежать на земле еще целую вечность — несколько секунд… Иной раз посмотришь на небо и думаешь: в последний раз вижу… Нелегко подняться первым: Но НАДО! Есть присяга, о которой в эти минуты никто не вспоминает, есть приказ, есть долг!

Г. К. — Ваша дивизия почти полностью погибла в боях в августе-октябре 1942 года. Читал воспоминания бывшего переводчика, а затем начальника разведки Вашего полка Ивана Кружко. Он пишет, что в Вашем батальоне оставалось 11 «активных штыков». Неужели потери были так велики?

Е. Г.. — Дело дошло до того, что полком командовал старший лейтенант, а дивизией подполковник. Потери были страшными…

Присылали пополнение, в основном из Средней Азии. В ту пору была популярной одна фраза. Командир роты просит: «Меняю десять узбеков на одного русского солдата». Половина бойцов с трудом понимала русский язык… 19 ноября 1942 года я форсировал Дон в районе хутора Мало-Клетский, участвуя в наступлении, положившем начало окружению армии Паулюса в Сталинграде. Очень тяжелые бои были в декабре, когда танки Манштейна, идя на выручку к окруженным, прорвали оборону нашей дивизии на внешнем обводе кольца окружения. Задавили нас танками, отходим по огромному снежному полю, добежали до края поля, а там наши пушки стоят. Мы кинулись на них: «Мать-перемать! Почему не стреляете?!». А у них по три снаряда на орудие, и приказ: стрелять только прямой наводкой! Немцы нас обошли, и к ночи, я остался с группой из десяти бойцов. К тому времени у меня уже был один «кубарь» в петлицах. Бойцы говорят: «Командуй, младший лейтенант, выводи нас к своим». У меня пистолет, а у остальных только винтовки, и ни одной гранаты. Рядом дорога, и по ней интенсивное движение немецкой техники. А по полю, где мы лежим, немцы бродят. Понимаем, что это конец — или смерть, или плен. Обменялись адресами. Русские ребята к плену проще относились, мол, ну, что делать, на то и война, всякое может случиться. Но мне, еврею, в плен попадать нельзя! Стреляться не хочется… Жить хочется… Говорю солдатам: «Ребята, если в плен нас возьмут, не выдавайте, что я еврей». В ответ — молчание… Лежим в снегу, притворились мертвыми, мимо прошли два немецких связиста, ничего подозрительного не заметили. Мороз, градусов за двадцать, мы в шинелях и ватниках, оставаться дальше на снегу нельзя, замерзнем. Смотрю, идет в нашем направлении здоровенный немец, по карманам у убитых шарит. Немец приблизился к одному из нас, думая, чнато кругом лежат только убитые, поднял «у трупа» ухо шапки- ушанки, и увидел живые глаза, и в эту секунду у моего товарища нервы сдали, он в упор в него выстрелил. Сразу с дороги начали бить в нашу сторону. Побежали мы так, что олимпийским рекордсменам не снилось, откуда только силы взялись? Вбегаем в какое-то село, навстречу мне человек в белом масхалате. Кинулся к нему, хватаю левой рукой за карабин, а правой за грудки: «Ты кто!?!», а он перепугался и молчит. Хватаю за шапку и мне в ладонь впиваются острые уголки — звездочка. Еле руки разжал. Бойцы меня оттащили от него. Вот так, к своим пробились:

Г. К. — В 1943 году Вы командовали ротой в 999-м стрелковом полку. Кровавые бои на Миус-фронте, освобождение Донбасса… Но Вы не заканчивали пехотного училища,

офицерских курсов или полковой школы. Трудно командовать стрелковой ротой без специальной подготовки?

Е. Г.. — Я не думаю, что был идеальным ротным командиром. Но после года на передовой, приказ принять роту — я воспринял без особого страха. Тем более, что в роте, из-за постоянных потерь никогда не было больше сорока человек. Да и жизнь ротного на фронте очень короткая. Мне еще сильно повезло, что ротой командовал несколько месяцев, пока не выбыл из строя. Полковой «рекорд». А потом — контузия, лежал в госпитале в городе Шахты, подхватил вдобавок тиф. Долгая история… Вернулся на фронт и попал уже в 844-й СП 267 СД.

Г. К. — Что Вам запомнилось на Миус-фронте?

Е. Г.. — Бои там были тяжелейшие, но хотел бы рассказать о другом. На «Миусском фронте» я командовал 3-й стрелковой ротой. Первый, и может единственный раз за всю войну, природа сделала исключение, и в этом месте реки левый берег был выше и нависал над пологим, правым «немецким» берегом. Наши пулеметчики постоянно держали немцев на прицеле. В отместку, противник нас щедро бомбил, а также густо засыпал минами и снарядами. Потери, для обороны были довольно значительными, и мы постоянно просили о пополнении. Командир полка ругался: «Строевку подаете на полную роту, а воевать некому!». Но обещал прислать несколько человек. Строевка — это ежедневная строевая записка о наличии и убыли личного состава и лошадей. Строевка всегда подается вчерашняя — общеизвестная хитрость, чтобы получить на несколько порций больше водки и сахара. Под вечер, когда стало смеркаться и из траншеи по горизонту стало хорошо видно, появилась редкая, человек восемь, цепочка солдат. По тому, как идут, можно было издалека понять — пожилые. А куда их девать? Обоз и без них забит беззубыми стариками. Было этим «старикам», впрочем, не более пятидесяти лет, но на фронте зубов не вставляли, вырвут в медсанбате — и слава богу. Вот и размачивают сухари в котелке. А тут издалека заметно, как один солдат сильно припадает на ногу. Подошли. Спрашиваю: «Ты что? Ранен что ли? Недолечили?». Отвечает: «Нет, у меня с детства одна нога на семь сантиметров короче». Я опешил и говорю: «Да как же тебя в армию взяли?» — «Да так вот и взяли. С самой Сибири следую. Куда ни приду: да как же тебя взяли? И отправляют дальше. Там, мол разберутся. Вот и пришел».

А куда дальше? Дальше некуда… Передовая…

Г. К. — Бои на Сивашском плацдарме. О чем бы хотелось Вам рассказать?

Е. Г.. — Сивашский плацдарм, или как мы говорили: «На Сивашах». Плацдарм между Ай-гульским озером и собственно

Сивашем. Просидели несколько месяцев под постоянными обстрелами и бомбежкой. Переправа на плацдарм была длиной примерно три километра, простреливалась на всем протяжении. Снабжение и эвакуация раненых осуществлялись только ночью, тоже под огнем противника. Сидишь в блиндаже, вдруг снаряд влетает, а взрыва нет. Болванка… Воюем дальше… 7 апреля 1944 года получили приказ провести разведку боем. Пошли в роту с комсоргом полка Сашей Кисличко. Попали под артобстрел, меня землей засыпало. Земля спрессовалась, не отпускает. Кисличко только по шапке на земле меня нашел, начал откапывать. До плеч откопал, я еще живой был. Тут, по нам, новая «порция» снарядов. А у меня из земли только голова торчит, комья земли на нее падают, снова меня засыпает… Старшина мимо проходит, матом белый свет кроет, я кричу ему: «Помоги!», а он оглох от контузии, ничего не слышит, на голову мне наступил и дальше побрел. На мое счастье, в роту шел парторг полка капитан Нечитайло с сержантом Сидоренко. Увидели меня, откопали. Смотрим по сторонам, где Кисличко. А его тоже землей засыпало. Пока откопали, он уже был мертв… Пошли в атаку на высоту. Я шел в первой цепи, рядом со своим близким другом, командиром роты Васей Тещиным, по прозвищу «Чапай». Возле меня шел молоденький лейтенантик, и ему, тут же, мина попадает в грудь… Так получилось, что вместо разведки боем, мы взяли эту высоту. И даже два расчета «сорокапяток» умудрились закатить наверх свои пушечки, с десятком снарядов на ствол. На высоте два офицера: Тещин и я, и семнадцать бойцов со всего батальона, не считая артиллеристов. Немцы пустили на нас четыре танка, да человек двести пехоты. Одну из двух наших пушек — сразу вдребезги танковым снарядом… Начал стрелять из трофейного крупнокалиберного пулемета, а у него отдача непривычная меня назад отбрасывает. Немцы долину перед отбитой у них высоткой огнем своих орудий накрывают, к нам на помощь никто не может пробиться. До темноты продержались, а к ночи наши к нам прорвались. Выжило нас на высоте совсем немного. Никого за этот бой не наградили…

Г. К. — В воспоминаниях генерала Кошевого написано, что именно Ваша штурмовая группа водрузила знамя над Сапун-горой. Почему Вы не изображены на диораме «Взятие Сапун-горы»? Чем отмечено Ваше участие в штурме и освобождении Севастополя?

Е. Г.. — Первый вопрос не ко мне, а к художнику Мальцеву. За севастопольские бои получил орден Красной Звезды. Кстати, мало кто об этом пишет, но первая и очень неудачная попытка взять Севастополь штурмом, была предпринята 27 апреля 1944

года. Перед штурмом Сапун-горы в полку создали ударный батальон. В первом ярусе немецкой обороны против нас находились части из изменников — крымских татар. Помню, как наш лейтенант Муратов, командир второй роты, услышав татарские ругательства из немецких окопов, вскочил под пулеметным огнем в полный рост. Русским языком он владел неважно. Только успел крикнуть: «Впирод! Ебона мат!» и был сражен наповал. Знамя было в руках у парторга роты Смеловича, а когда его убило, знамя передали Яцуненко… Очень тяжелый бой был… Мы ведь даже до подножия горы дошли, только благодаря «пехоте неба» — штурмовикам ИЛ-2. Взяли Сапун-гору, я скатился вниз по склону с докладом к командиру батальона Иващуку. А возле него корреспонденты с блокнотами. Радостно докладываю: «Знамя установили!» И сдуру добавил: «Только в километре от нас еще одно знамя стоит!». Вокруг — полный конфуз. У Иващука сразу лицо «кислым» стало, он только одну фразу обронил: «Первый раз вижу еврея, такого дурака». Иващук, до самой своей гибели, не мог простить мне «неправильного доклада», считая, что по этой причине, он не получил звание Героя. С вопросом, кто первый установил знамя на вершине Сапун-горы? разбирались долго, и Яцуненко получил звание Героя Советского Союза только в 1954 году.

Г. К. — Вы были заместителем командира отдельной армейской штрафной роты 51-й Армии в 1944–1945 годах. Расскажите о штрафных частях. Как Вы попали служить в штрафную роту? Какова была структурная организация Вашего подразделения?

Е. Г.. — В штрафную роту я попросился сам. Солдат, как, впрочем, и офицер, на войне своей судьбы не выбирает, куда пошлют, туда и пойдешь. Но при назначении на должность в штрафную роту формально требовалось согласие. Штрафные роты были созданы по приказу Сталина № 00227 от 28 июля 1942 года, известному как приказ «Ни шагу назад», после сдачи Ростова и Новочеркасска. В каждой общевойсковой армии было три штрафных роты. Воздушные и танковые армии своих штрафных подразделений не имели и направляли своих штрафников в общевойсковые. На передовой находилось одномоментно две штрафных роты. В них из соседних полков ежедневно прибывало пополнение: один-два человека. Любой командир полка имел право отправить своим приказом в штрафную роту солдата или сержанта, но не офицера. Сопровождающий приносил выписку из приказа, получал «роспись в получении» — вот и все формальности. За что отправляли в штрафную роту? Невыполнение приказа,

проявление трусости в бою, оскорбление старшего начальника, драка, воровство, мародерство, самоволка, а может, просто ППЖ комполка не понравился… Штат роты: восемь офицеров, четыре сержанта и двенадцать лошадей, находится при армейском запасном полку и в ожидании пополнения потихоньку пропивает трофеи… Из тыла прибывает эшелон уголовников, человек четыреста и больше, и рота сразу становится батальоном, продолжая именоваться ротой. Сопровождают уголовников конвойные войска, сдают их нам по акту. Мы охрану не выставляем. Это производит дурное впечатление, тогда как проявленное доверие вызывает к нам некоторое расположение. Определенный риск есть. Но мы на это идем. Что за народ прибывал из тыла? Тут и бандиты, и уголовники-рецидивисты, и укрывающиеся от призыва, и дезертиры, и просто воры. Случалось, что из тыла прибывали и несправедливо пострадавшие. Опоздание на работу свыше двадцати минут считалось прогулом, за повторный прогул судили, и срок могли заменить штрафной ротой. С одним из эшелонов прибыл подросток, почти мальчик, таким, по крайней мере, казался. В пути уголовники отбирали у него пайку, он настолько ослабел, что не мог самостоятельно выйти из вагона. Отправили его на кухню.

Срок заключения заменялся примерно в следующей пропорции: до 3–4-х лет тюрьмы — месяц штрафной роты, до семи лет — два месяца, до десяти — выше этого срока не существовало — три месяца. В штрафные роты направлялись и офицеры, разжалованные по приговору Военного трибунала. Если этап большой и своих офицеров не хватало, именно из них назначались недостающие командиры взводов. И это были не худшие командиры. Желание реабилитироваться было у них велико, а погибнуть… Погибнуть и в обычной роте дело нехитрое. После войны статистики подсчитали: средняя продолжительность жизни командира стрелкового взвода в наступлении — не больше недели.

Штраф снимался по первому ранению. Или, гораздо реже, по отбытию срока. Бывало, вслед раненому, на имя военного прокурора посылалось ходатайство о снятии судимости. Это касалось, главным образом разжалованных офицеров, но за проявленное мужество и героизм иногда писали и на уголовников.

Очень редко, и, как правило, если после ранения штрафник не покидал поле боя или совершал подвиг — штрафника представляли к награде. О результатах своих ходатайств мы не знали, обратной связи не было. В фильме «Гу-Га» есть эпизод, где

старшина бьет, то есть «учит», штрафника, да еще по указанию командира роты. Совершенно невероятно, что такое могло произойти в действительности. Каждый офицер и сержант знают, что в бою, они могут оказаться впереди обиженного… Штрафники — не агнцы божьи. И в руках у них не деревянные винтовки. Другое дело, что командир роты имел право добавить срок пребывания в роте, а за совершение тяжкого преступления — расстрелять. И такой случай в нашей роте был. Поймали дезертира сами штрафники, расстреляли перед строем и закопали поперек дороги, чтобы сама память о нем стерлась. Сейчас говорить об этом нелегко, но тогда было другое время… Владимир Карпов, известный писатель, Герой Советского Союза, сам хлебнувший штрафной роты, пишет, что офицеры штрафных рот со своими штрафниками в атаку не ходили. И да, и нет. Если есть опытные командиры из штрафников, можно и не ходить. А если нет или «кончились» — надо идти самим. Большей частью именно так и бывало. Вот один из многих тому примеров. Два заместителя командира роты, старший лейтенант Василий Демьяненко и я, повели роту в атаку. Когда задача была уже почти выполнена, меня ранило осколком в грудь. До сих пор помню свою первую мысль в этот момент — «Не упал! Значит, легко!». Ни мы, ни немцы не ходили в атаку толпами, как в кино. Потери бы были слишком велики. Движется довольно редкая цепь, где бегом, а где и ползком. В атаке стараешься удержать боковым зрением товарища. Демьяненко был в шагах тридцати от меня, увидел, что меня шатнуло, и я прыгнул в воронку. Подбежал: «Куда?». Молча показываю на дырку в полушубке. «Скидай!». Весь диалог — два слова. Он же меня перевязал. Осколок пришелся по карману гимнастерки, в котором лежала пачка писем и фотографий из тыла (учитывая наш возраст — не только от мамы). Это и спасло, иначе осколок прошел бы навылет. В медсанбате ухватили этот осколок за выглядывающий из-под ребра кончик и выдернули. И я вернулся в роту. Как же я все-таки попал в штрафную роту? При очередной переформировке, я оказался в офицерском резерве 51-й Армии, которой командовал генерал-лейтенант Герой Советского Союза Яков Григорьевич Крейзер. В армейском тылу я был впервые. Поразило огромное количество офицеров всех рангов, сновавших мимо с папками и без. Неужели для них всех есть здесь работа?

Чем ближе к передовой, тем меньше народа. Сначала тыловые, хозяйственные и специальные подразделения, медсанбаты, артиллерия покрупнее, а потом помельче, ближе к передовой минометчики, подойдешь к переднему краю — охватывает сиротливое чувство, куда все подевались? На войне,

как и в жизни, каждый знает, чего он не должен делать… В офицерской столовой еду разносили в тарелках! Я был потрясен. По поселку парами прогуливались молодые женщины и девушки в госпитальных халатах. Не сразу сообразил, что меня в них озадачило — ни бинтов, ни костылей, ни рук на «каретке». Спросил у проходящего офицера: «Кто это?». В ответ услышал: «Ты что, дурной?! Это венерический госпиталь». Мужчин не лечили. Только, если попал по ранению в госпиталь — попутно… Скучно. Ни я никого не знаю, ни меня никто. К концу недели услышал, что погиб заместитель командира армейской штрафной роты. И я пошел в управление кадров. Не спешите записывать меня в герои. Я не храбрец. Скорей наоборот. Но я уже воевал в пехоте и знал, что большой разницы между обычными стрелковыми ротами и штрафными нет. Да, штрафные роты назначаются в разведку боем, на прорыв обороны противника или встают на пути его наступления. А обычные стрелковые батальоны не назначаются? Именно в рядовом стрелковом батальоне обычного стрелкового полка, назначенном в разведку боем, я должен был погибнуть. И когда объятое черным отчаянием сознание угасало, меня спас мой товарищ Саша Кисличко, погибший в следующую минуту. И все эти годы я мучительно думаю: если бы он не полез меня спасать, остался бы Саша жить? Так что, рисковал я немногим. Сыну «врага народа», кроме стрелкового батальона ничего не светило. Зато преимуществ много. Первое. Штрафные роты, как правило, в обороне не стоят. Пехотные солдаты поймут меня и без подробностей. Полное наше наименование: Отдельная Армейская Штрафная Рота-ОАШР. Последние две буквы послужили основанием к тому, что позывные штрафных рот на всех фронтах были одни и те же — «ШуРа». Но особое значение имели первые две буквы. Для обычной роты, кроме своих командиров, в батальоне было два заместителя, парторг и комсорг, да в полку три зама и те же политработники, еще и в дивизии — штабные и политотдел. И все они, поодиночке или скопом, в затишье, между боями, когда хочется написать письмо или просто отдохнуть, являются по твою душу занудствовать по поводу чистых подворотничков, боевого листка, партийного и комсомольского собрания, то в штрафную роту не придет никто. Мы — не их. У них своих забот хватает, и никто, тем более на фронте, не станет делать больше того что положено. А партийной или комсомольской организации у нас попросту нет. Штатные офицеры стоят на партучете в запасном полку и там изредка платят взносы. Командир штрафной роты, по своим правам приравнивается к командиру полка и подчиняется в оперативном

отношении тому командиру дивизии, которому будет придан для конкретной операции. Это входит в понятие — Отдельная. А Армии не до нас. У них дела поважнее. Был, правда, случай, когда приехал майор из Политуправления и говорит: «Вы кормите ваших штрафников похуже. Командиры жалуются: пригрозишь солдату штрафной ротой, а он тебе: «Ну и отправляйте! Там кормят хорошо». И это так. Обычная рота получает довольствие в батальоне, батальон — в полку, полк — с дивизионных складов, а дивизия — с армейских. Еще Карамзин заметил: «Если захотеть одним словом выразить, что делается на Руси, следует сказать: воруют». Не нужно думать, что за двести с лишним лет, что-нибудь изменилось. Во всех инстанциях, сколько-нибудь, да украдут. Полностью до солдата ничего не доходит. А у нас, как это ни странно, воровать некому. И здесь вступает в силу слово — «Армейская». Наш старшина получает довольствие непосредственно с армейских складов. Правда, и ему «смотрят в руки». Но мы не бедные, что-нибудь из трофеев и привезем. Продукты старшина получает полностью и хорошего качества, водку неразбавленную. Офицерам привезет полушубки длинные, и не суконные бриджи, а шикарные галифе синей шерсти. И обмундирование для штрафников получит не последнего срока, а вполне приличное. Кроме того, у нас есть неучтенные кони, вместо двенадцати лошадей — небольшой табун. При необходимости, забиваем коня помоложе, и что там твоя телятина! Кому-то и огород вспашем. Обеспечивали нас честно. Были и другие преимущества: полуторный оклад, ускоренная, даже против фронтовой, выслуга лет. Впрочем, я этого почти не ощутил. Курировал нас армейский отдел СМЕРШ. Но я не помню, чтобы они мешались под ногами или вообще нас навещали. У них в Прибалтике своих дел было невпроворот. Одним словом, «живи — не хочу». В штрафной роте хорошо.

Хорошо-то хорошо, да не очень. Ближе к концу войны, когда никто уже не хотел умирать, дезертировали сразу три человека. Мы с командиром роты предстали «пред светлые очи» Члена Военного Совета Армии, который в популярной форме, не употребляя «фольклорных выражений», чтобы было привычней и понятней, разъяснил, что мы, по его мнению, из себя представляем, достал из какой-то папки наградные листы на орден Александра Невского на командира и на орден Отечественной Войны на меня, изящным движением разорвал их и бросил под стол, одновременно сообщив, что присвоение нам очередных воинских званий задержано. И уже в спину бросил: «Найти! И расстрелять!». Не нашли. И очень жалели. Что не нашли. И не расстреляли. Тогда. Теперь не жалею. Случались и

многие другие эксцессы, за которые совсем не гладили по головке… В литературе утвердилось понятие — «Штрафные батальоны». Батальон — это звучит гордо. В самом слове есть что-то торжественно-печальное, какой-то внутренний ритм и романтика… А в бой идут штрафные роты! Были и штрафные батальоны. Это совсем другое. Штрафные батальоны создавались при фронтах, в конце войны их было в армии около семидесяти, практически по одному штрафному батальону на каждую общевойсковую армию. В них рядовыми бойцами воевали не разжалованные трибуналом офицеры, в чине до полковника. У каждого своя причина попадания в штрафбат. Оставление позиций без приказа, превышение власти, хищение и даже дуэль (!). Состав штурмовых батальонов — была и такая разновидность — вышедшие из окружения или бежавшие из плена командиры Красной Армии, прошедшие «чистилище» проверочных лагерей НКВД, где должны были доказать, что не бросили оружия и не перешли на сторону врага добровольно. Для них сроки не варьировались. Срок был один для всех: шесть месяцев! Численность переменного состава штрафных подразделений на практике строго не регламентировалась. Батальон мог иметь до тысячи бойцов, «активных штыков», как в обычном полку. Но могло и быть всего сто человек.

В управлении кадров на меня посмотрели с некоторым удивлением: «У нас там любители работают..». — «И я буду любитель, не в тыл прошусь». Получил предписание и задумался. Надо бы с чем-то в роту прийти. Выбор тут небольшой. Постучался в крестьянский дом, краснея, протянул солдатское белье. Хозяйка вынесла бутылку самогона, заткнутую бумажной пробкой. Вещмешка я не носил, бутыль в полевую сумку не влезает, запихнул в карман шинели, на подозрительно торчащее горлышко напялил руковицу. На попутных машинах быстро добрался до передовой. Минометчики, стоявшие на опушке леса, показали на одинокое дерево в поле — КП командира роты и сказали: «Ты, до вечера туда не ходи. Это место снайпер держит на прицеле». Помаялся я, помаялся, до вечера еще далеко. Дай, думаю, рискну, — и дернул, что было сил. Тихо… Снайпер, видно, задремал. В углу землянки сидел старший лейтенант, представился: Демьяненко Василий, зампострой. И подозрительно покосившись на мой карман, спросил: «Шо это в тэбэ рукавиця насупроти настромлена?». Достаю. Демьяненко сразу расцвел: «О! Це дило!. И командиру оставымо». Так я попал в штрафную роту.

Г. К. — Насколько сильной была мотивация штрафников «искупить кровью» свою вину?

Е. Г.. — Не следует думать, что все штрафники рвались в бой. Вот вам пример. Атака захлебывается. Оставшиеся в живых залегают среди убитых и раненых. Но нас было больше! Где остальные? Вдвоем с командиром роты, капитаном Щучкиным, возвращаемся к исходному рубежу. Так и есть! В траншее притаилась, в надежде пересидеть бой группа штрафников. И это, когда каждый солдат на счету! С противоположных концов траншеи, держа в каждой руке по пистолету, в левой — привычный ТТ, в правой — трофейный парабеллум, он тяжелее, чуть не разрываясь над траншеей — одна нога на одном брустверe, другая — на противоположном, двигаемся навстречу друг другу и сопровождая свои действия соответствующим текстом, стреляем над головами этих паразитов, не целясь и не заботясь о целости их черепов. Проворно вылезают и бегут в цепь. Сейчас, когда вспоминаю этот эпизод, думаю — Господи! Неужели это был я?!

В штрафных и штурмовых батальонах — подобного не может быть. Здесь все поставлено на карту. Эти офицеры не лишены званий и в большинстве случаев не имеют судимости. По ранению или отбытию срока они имеют право на прежние должности (право-то они имели, но, как правило, возвращались в части с понижением). В одном из таких батальонов, своей блестящей атакой, положившем начало Ясско-Кишиневской операции, воевал мой товарищ Лазарь Белкин. В день атаки выдали им по 200 (!) граммов водки, привезенной на передовую прямо в бочках, дали по полпачки махорки и зачитали приказ: «В пять часов утра, после залпа «катюш», батальон идет в атаку». В пять часов все приготовились. Тишина. В шесть часов — тишина. В семь утра сообщили: наступление отменяется. Разочарованные солдаты разбрелись по траншее. Через три часа новый приказ — Наступление ровно в десять! И никаких «катюш»!.. В десять часов батальон в полной тишине поднялся в атаку. Без криков «Ура!». Но это был не простой батальон, а батальон штрафников. Захватили три ряда траншей. Немецкие шестиствольные минометы развернули в сторону противника и дали залп. Навстречу Лазарю, бежал к пулемету немецкий офицер, Лег за пулемет… В упор! И вот счастье — осечка! Ленту перекосило или еще что. Офицер кинулся бежать. Поздно. Граната Лазаря уже летела… У противника создалось впечатление, что здесь наносится основной удар. Немцы стали поспешно подбрасывать технику и подкрепления. До позднего вечера батальон отбивал атаки и к ночи, остатки батальона вынуждены были вернуться на исходные позиции. Из почти тысячи человек, в живых, на ногах, осталось сто тридцать. Большинство участников атаки были

ранены, примерно треть — погибла.

Г. К. — В фильме «Гу-Га», например, заградотряд вызывает «симпатии» не больше, чем бы вызвал отряд немецких карателей. Ваше мнение о заградотрядах?

Е. Г.. — В этом кинофильме со странным названием есть много досадных погрешностей. Вранье в малом — вызывает недоверие и ко всему остальному. Я уже говорил, в атаку толпами не бегут, но таковы по видимому законы жанра, «массовость» — наш «конек». У командира роты погоны полевые, а пуговицы на шинели золотые и звездочка на фуражке красная, и это — на фронте! И звездочка и пуговицы были зелеными. Но особую досаду вызывает заградотряд. Заградотряды никогда не сопровождали штрафные роты на фронт и не стояли у них за спиной. Заградотряды располагаются не на линии фронта, а вблизи контрольно-пропускных пунктов, на дорогах, на путях возможного отхода войск. Хотя скорее побегут обычные подразделения, чем штрафные. Заградотряды — не элитные части, куда отбираются бойцы-молодцы. Это обычная воинская часть с несколько необычными задачами. А в этом фильме?! Всегда заградотрядовцев больше чем штрафников, так и напрашивается желание поменять их местами. Почему-то все одеты в новенькие! — откуда такая роскошь!? — шинели с красными вшивными погонами! Вшивные погоны полагались только генералам, все остальные, от рядового бойца до полковника, носили пристежные. И красные! На фронте?! Заградотряд в касках! Это ж додуматься надо. Каски и в боевых подразделениях не очень-то жаловали.

Г. К. — Вы сказали, что у Вас нет ни малейшего желания подробно разбирать сериал «Штрафбат». И, тем не менее, хоть несколько замечаний по сериалу.

Е. Г.. — У этого сериала есть только одно достоинство — прекрасная игра актеров. Все остальное — полный бред, простите за резкое выражение. Остановимся на главном.

Никогда офицеры, сохранившие по приговору трибунала свои воинские звания, не направлялись в штрафные роты — только в офицерские штрафные батальоны.

Никогда уголовники не направлялись для отбытия наказания в офицерские штрафбаты — только в штрафные роты, как и рядовые и сержанты… Никогда политические заключенные не направлялись в штрафные части, хотя многие из них, истинные патриоты, — рвались на фронт, защищать Родину. Их уделом оставался лесоповал…

Никогда штрафные роты не располагались в населенных пунктах. И вне боевой обстановки они оставались в поле, в

траншеях и землянках. Контакт этого непростого контингента с гражданским населением чреват непредсказуемыми последствиями.

Никогда, даже после незначительного ранения и независимо от времени нахождения в штрафном подразделении, никто не направлялся в штрафники повторно.

Никогда никто из штрафников не обращался к начальству со словом «гражданин», только — «товарищ». И солдатом не тыкали — «штрафник», все были «товарищи», на штрафные части распространялся устав Красной Армии.

Никогда командирами штрафных подразделений не назначались штрафники! Это уже не блеф, а безответственное вранье. Командир штрафного батальона, как правило, подполковник, и командиры его пяти рот — трех стрелковых, пулеметной, и минометной — кадровые офицеры, а не штрафники. Из офицеров-штрафников назначаются только командиры взводов. Благословление штрафников перед боем — чушь собачья, издевательство над правдой и недостойное заигрывание перед Церковью. В Красной Армии этого не было и быть не могло. Я понимаю, что художник или режиссер имеют право на творческую фантазию, но снять сериал о войне, в котором исторической правды нет ни на грош!..

Г. К. — Имел ли командир штрафной роты право отбирать себе солдат в подразделение?

Е. Г.. — Командиры штрафных рот не комплектуют своих подразделений, кого тебе при-шлют с теми и будешь воевать. Еще одна важная деталь. Не было принято расспрашивать штрафников за что они осуждены.

Г. К. — Существует довольно распространенное заблуждение, что все штрафники были пламенными патриотами. Были ли случаи перехода солдат из штрафных частей на сторону врага?

Е. Г.. — В нашей роте таких случаев не было зафиксировано. Куда переходить? К немцам в Курляндский «котел»? Социальная почва для переходов была, многих обидела советская власть. Бывшие раскулаченные, сыновья репрессированных считались потенциальными кандидатами на переход. Перебежчиков в конце войны было очень мало, но если быть предельно честным, то скажу, — что такое позорное явление, как дезертирство, было довольно распространненым… Мало кто знает, но с 1942 года действовала секретная директива — «…родственников и земляков, во избежание сговора и перехода на сторону врага — в одно подразделение не направлять». Только с середины 1944 года этот приказ строго не выполнялся. Я многократно был свидетелем приема пополнения в обычном стрелковом полку. Командир

полка сам лично «выдергивал» людей не по списку, а указывая пальцем. Рядом стояли командиры рот и составляли поименные списки. Если боец выживал после первых боев и хорошо себя в них зарекомендовал, он мог, в дальнейшем, попросить командиров о переводе в роту к земляку или родственнику, но это было редко, каждый уже привыкал к новым товарищам, да и заботы у людей уже были другие.

Г. К. — Женщины, были в штрафных ротах?

Е. Г.. — Женщин в штрафные роты не направляли. Для отбытия наказания они направлялись в тыл, в тюрьму. Впрочем, и случалось это крайне редко.

Нет в штрафных ротах и медработников. При получении задания присылают из медсанбата или соседнего полка медсестру. В одном из боев медсестра была ранена. Услышав женский крик на левом фланге, я поспешил туда. Ранена она была в руку, по видимому, не тяжело, ее уже перевязывали. Но шок, кровь, боль… Потом — это же еще передовая, бой еще идет, чего доброго, могут добавить. Сквозь слезы она произносила монолог, который может быть приведен лишь частично — «Как «любить» (она употребила другой глагол) — так всем полком ходите! А как перевязать, так некому! Вылечусь, никому не дам!». Сдержала ли она свою угрозу — осталось неизвестным.

Г. К. — Использовалось ли штрафниками трофейное вооружение и обмундирование?

Е. Г.. — Оружие трофейное использовалось повсеместно и было очень популярным. Старшине сдаем оружие выбывших из строя, а он спрашивает: «Чем вы там воюете? По ведомости все оружие роты давно сдали!». А без трофейного пистолета в конце войны — трудно представить любого пехотного командира. Это было повальное увлечение.

А вот с обмундированием — перебор. Никто не будет по передовой бегать в немецком кителе, особенно в бою. Сапоги у многих были немецкие, не век же в обмотках ходить.

Г. К. — Простите, что вновь напомню сериал «Штрафбат». Но эпизод с походом штрафников в разведку. Насколько он реален?

Е. Г.. — Повторяю, что это — полный бред. Представьте, ушла в разведку группа штрафников и не вернулась. Пропала без вести или перебита на «нейтралке», и никто не знает, кто погиб, а кто в плен попал. Что скажет на допросе в свое оправдание командир роты, когда особисты пришьют ему — «оказание помощи в умышленном переходе на сторону врага»? Где мы такого «камикадзе» найдем?…

Но больше всего бесит, что в этом сериале, штрафники немцев в плен берут, чуть ли не каждый божий день. Мы что, с

дебилами воевали? На фронте, пока одного «языка» добудут, немало разведгрупп в землю костьми ляжет. А тут!? Словно на танцы идут во Дворец культуры, а не за линию фронта. В офицерских штрафных батальонах в разведку ходили нередко, но там командиры доверяли штрафникам. А с нашей публикой — разговор особый…

Г. К. — Боялись ли Вы выстрела в спину в бою? Сводили ли таким образом штрафники счеты с командирами? Насколько это явление было распространено в штрафных частях?

Е. Г.. — Такое случалось нечасто. Во избежание подобных эксцессов к штрафникам и старались относиться как к обычным солдатам, с уважением говорили с каждым, но никто с ними не заигрывал и самогонку не «жрал». Им, штрафникам, терять нечего, там принцип — «умри ты сегодня, я завтра». Но были случаи… Да и в обычных стрелковых подразделениях такое иногда происходило на передовой. Я знаю достоверный случай, когда свои же солдаты «шлепнули» в бою комбата. Командир батальона был грубая тварь, унижавшая солдат и офицеров, гробившая людей зазря. Чтобы охарактеризовать эту гниду, приведу один пример. У него в батальоне, боец Гринберг подорвал гранатой себя и двенадцать немцев в захваченном им блиндаже. Ротный «заикнулся», мол, к Герою или к ордену посмертно надо представить. В ответ от комбата услышал: «Одним жидом меньше стало!»… Его свои бойцы застрелили, весь батальон знал и никто не выдал.

Не всегда солдат был безмолвной «серой скотиной», посланной на убой. Но мы, в штраф-ной роте, всегда старались завоевать доверие солдат и делили с ними вместе все лишения.

Г. К. — В штрафных частях в плен немцев брали или…?

Е. Г.. — К концу войны ожесточение достигло крайних пределов, причем с обеих сторон. В горячке боя, даже если немец поднял руки, могли застрелить, но, если немец, после боя выполз с траншеи с поднятыми руками, тут у него шансы выжить были довольно высоки. А если с ним сдалось еще человек двадцать «камрадов» — никто их, как правило, не тронет. Но…, снова пример. Рота продолжает бой. Нас остается человек двадцать и надо воевать дальше. Взяли восемь немцев в плен. Где взять лишних бойцов для конвоирования? Это пленных румын сотнями отправляли в тыл, без конвоя. А немцев…

Ротный отдает приказ — «В расход»… Все молчат… Через минуту идем дальше в атаку… И так бывало… «Власовцев» всегда убивали на месте.

То что фашисты творили на нашей земле — простить нельзя! Сколько раз видели тела растерзанных наших ребят, попавших к

немцам в плен….

Когда немцы выбили нас из Шауляя, то захватили наш госпиталь, расположившийся в двухэтажном здании. Нашу роту бросили на выручку пехоте. Но мы не могли пробиться! Танки перекрыли подступы и расстреливали нас в упор. Отошли на высотку и видели в бинокли, как фашисты выбрасывают наших раненых из окон… О каких пленных после этого может идти речь?! Штрафники в плен брали относительно редко… Это факт. У многих семьи погибли, дома разрушены. Люди мстили… А какой реакции следовало ожидать? У нас были солдаты, прошедшие немецкий плен. После всех ужасов, которые они испытали, все слова замполитов о гуманности, были для них пустой звук.

Еще страшный эпизод. В1943, году, летом, наш стрелковый батальон пошел в атаку. Брали село в лоб, шли на пулеметы. После боя в живых осталось совсем немного счастливчиков. На земле сидел и истекал кровью командир роты. Осколком ему оторвало ни-нюю челюсть. Подвели человек пять пленных немцев. Боец спрашивает: «Куда их». Ротный достал из полевой сумки блокнот, вырвал листок и кровью! на нем написал — «Убить»… Но был случай, там же, под Шауляем, который до сих пор не дает мне покоя.

Нашу оборону перешел человек, без оружия, в поношенной гражданской одежде. Никаких документов при нем не было. Быть может бежал из лагеря и пробирался домой. На свою беду он ни слова не понимал ни по-русски, ни по-немецки. Позвали литовца — то же самое. А он говорил и говорил, пытаясь, хоть что-то объяснить. Скорей всего это был латыш или эстонец, но никто не знал ни латышского, ни эстонского языка. Проще всего было отправить его в вышестоящий штаб. Но с ним надо было послать конвойного. Расстрелять — проще. Как говорил «великий вождь»: «нет человека — нет проблемы». Я пытался предотвратить расправу. Начальство посмотрело на меня с недоумением. Еще и обругали… Неоднократно, когда я пробовал остановить расстрел пленного, мне, мои же товарищи, говорили: «Ты почему их жалеешь?! Они твою нацию поголовно истребили!»…

Особенно грешили расстрелами не окопники, а штабные, тыловики. Тех же румын надо было по дороге в плен от «героев второго эшелона» охранять… Немцы всегда знали, кто стоит на передовой перед ними. Если знали, что перед ними штрафники, то дрались с нами более стойко и ожесточенно. Но, в принципе, немцам было глубоко плевать, кто на них идет в атаку. Психологически, наверное, немцам было тяжело воевать против штрафных офицерских батальонов, слишком велико желание

штрафбатовцев искупить свои «грехи». А воевали немцы толково, умело и храбро.

Г. К. — Как освобождались штрафники не получившие ранения в боях? Заседал трибунал для принятия решения о освобождении от наказания или их дела рассматривал кто-то другой?

Е. Г.. — Командир роты имел право отменить наказание за героизм, даже тем бойцам, у которых не истек срок пребывания в роте, указанный в приговоре. А на деле происходило так… После нескольких операций у нас осталось около двух десятков бойцов. Не ранены. Но в боях участвовали, и мы с полным основанием передаем их соседний стрелковый полк. В штаб идет только список «искупивших и проявивших» за подписью командира. Солдаты сдают оружие старшине. Они получат оружие в своих новых подразделениях. Никаких заседаний трибуналов или консультаций с особистами. До последнего солдата мы не воевали… Далее, кто из постоянного состава роты оставался живой, возвращался в армейский запасной полк в ожидании очередного эшелона с «уголовным пополнением». Привозят «каторжан», подписываем акт «о приемке», личный состав строится, и следует в расположение роты. Штрафники получали оружие уже непосредственно у нас. Получали обмундирование, распределялись по взводам. Все достаточно прозаично. Никто не ездил в тыл набирать штрафников.

Г. К. — Отличался ли национальный состав штрафных рот от обычных стрелковых?

Е. Г.. — Нацменов было меньше, чем в стрелковых подразделениях. В основном у нас были славяне. Евреев среди солдат нашей штрафной роты практически не было. За восемь месяцев моего пребывания в роте — на войне это очень большой срок — попался только один еврей, и меня немедленно позвали на него посмотреть. Это был портной из Прибалтики, и он не выглядел удрученным или несчастным. У евреев высоко развито чувство долга, если и попадали в штрафную то только случайно или за какую-нибудь мелочь. Ну и командир-антисемит мог «упечь» в штрафную. И такое бывало… Хотя Семен Ария в своих воспоминаниях упоминает нескольких евреев, своих товарищей по штрафной роте. Среди офицеров моей роты было трое украинцев и четверо русских.

Зато соседней штрафной ротой командовал еврей Левка Корсунский, с манерами одессита. Явившись в тихую минуту к нам в гости на шикарном трофейном фаэтоне, запряженном парой красавцев-коней, он снял с левой руки шикарные швейцарские часы и бросил налево, снял с правой и бросил

направо. Это был жест! Современному человеку трудно объяснить. Часы были предметом постоянного вожделения и нередко служили наградой. Не знавшие ни слова по-немецки наши солдаты быстро научились произносить — «вифиль из ди ур». Ничего не подозревающий немецкий обыватель охотно доставал карманные часы и они немедленно перекочевывали в карман к воину-победителю.

После войны долго разыскивал Корсунского и Тещина, но безуспешно. Как сложилась их судьба? Живы ли?

Г. К. — Доводилось ли Вам после войны встретиться с кем-нибудь из бывших штрафников Вашей роты?

Е. Г.. — После Победы я некоторое время служил в Вентспилсе. Однажды утром навстречу попалась группа моряков. Надо сказать, что отношения с моряками были не простыми и не всегда мирными. Один из моряков неожиданно кинулся ко мне и стал душить. Ввиду численного превосходства сопротивляться было бесполезно, оставалось лишь покорно ждать своей участи. Четверо других моряков стояли в стороне и почему-то улыбались. Прежде, чем я понял, что моей «драгоценной жизни» ничего не угрожает, мои новые, только накануне тщательно прилаженные погоны, оказались безнадежно смяты. Это был наш бывший штрафник, командир морского «охотника», отбывший штраф — по ранению или по сроку, уже не вспомнить, на корабль его вернули, но в офицерском звании еще не восстановили и он был в мичманских погонах. О свободе передвижения говорить уже не приходилось. Я был «взят под белы руки», и наша живописная группа — я в зеленом, остальные в черном — поволокла меня на пирс. Корабли стояли на другой стороне Венты. Один из моряков встал на скамейку и стал размахивать руками. Я понял — флажковая сигнальная азбука. С корабля заметили, что-то «написали» в ответ, быстро спустили шлюпку, и, вскоре, мы все очутились в тесном кубрике. Стол был уже накрыт. Дальнейшее вспоминается смутно…

Г. К. — Были ли в Вашей штрафной роте, случаи насилия или грабежей мирного населе-ния?

Е. Г.. — Наша рота заканчивала войну в Прибалтике, а тогда эта земля была советской территорией, а литовцы и латыши были советскими гражданами. По этой причине наша рота вела себя относительно пристойно. По закону военного времени за бандитизм предусматривался расстрел на месте. Жить хотели все. Но был один позорный инцидент, запятнавший нашу роту. В самом конце войны, наш штрафник, грузин по фамилии Миладзе изнасиловал несколько женщин в ближайших к месту дислокации роты хуторах. Поймали его уже после 9-го мая и, вместо вполне

заслуженной «высшей меры», он получил восемь лет тюрьмы.

Г. К. — Допустим штрафник искупил вину кровью и вернулся в обычную войсковую часть. Влиял ли факт его пребывания в штрафных подразделениях на дальнейшую карьеру или награждения?

Е. Г.. — Офицеров возвращали обычно с понижением в должности. Немало бывших офицеров-штрафников в конце войны командовали батальонами и полками. Я таких двоих знал лично. В наградах, за последующие боевые достижения, как правило, — ограничивали. В штабных канцеляриях перестраховщиков хватало всегда. Я слышал только о трех бывших штрафниках получивших впоследствии звание Героя Советского Союза. Это Карпов и командир саперного батальона из нашей 51-й Армии Иосиф Серпер. Оба получили звание Героя, если я не ошибаюсь, только после третьего представления к звезде Героя. Третий Герой, комполка из 16-й СД подполковник Лысенко, тоже был в свое время в штрафниках. Был еще, кажется, сержант-артиллерист, Герой Союза, успевший в свое время повоевать в штрафной роте. Возможно таких людей было немало. Я не обладаю полной информацией по этому вопросу. Одно знаю точно, что в официальных источниках эта тема никогда не затрагивалась.

Да и офицеров постоянного состава штрафных подразделений наградами баловали не особо щедро. Пишут, что только один командир штрафной роты, азербайджанец Зия Буниятов, стал Героем СССР. Но было еще несколько человек. В наградных листах на них писали — «командир ударного батальона» (или роты), избегая слово — «штрафной». Если в пехоте, комбата, прорвавшего укрепленную оборону противника, могли сразу представить к высокой награде, вплоть до высшего звания, то на нас, смотрели как на «специалистов по прорывам». Мол, «…это ваша повседневная работа и фронтовая доля. Чего вы еще хотите?»…

Г. К. — С «власовцами» приходилось сталкиваться? Как к ним относились солдаты?

Е. Г.. — Мы их люто ненавидели. Вот сейчас пишут, что почти миллион бывших советских граждан служил в германской армии. Пусть в основном во вспомогательных частях. Но эти люди предали Родину! Пытаются выставить бывших коллаборационистов борцами за «Свободную Россию»… Для нас, фронтовиков, они были и есть — предатели и изменники! Даже тех, кто пошел на службу к немцам, чтобы не умереть с голоду в концлагерях — не могу оправдать. Миллионы предпочли смерть, но остались верными своему долгу. Очень трудно установить критерий, по которому можно судить человека, когда его

собственная, один-разъединственный раз дарованная жизнь висит на волоске, да еще таком тонком, таком неверном и может оборваться каждое следующие мгновение, как только что на его глазах, оборвалась жизнь товарищей…

«Власовцами» называли всех бывших советских граждан служивших в немецкой армии. Приходилось и с ними сталкиваться. Разные были встречи…

Один раз взяли в плен бывшего майора РККА в немецкой форме. Начали его допрашивать, он молчит. А потом вдруг крикнул: «Стреляйте суки! Ничего вам не скажу! Ненавижу вас!». Из бывших раскулаченных крестьян оказался, Советскую власть ненавидел всей душой. До трибунала он не дожил…

Другой случай покажется в неправдоподобным… Мы стояли против немецкой линии обороны всего в семидесяти метрах. Нейтральной полосы фактически не было. В немецких окопах сидел батальон власовцев. Они кричали нам из траншей свои фамилии и места проживания родных, просили написать их домашним, что они еще живы. Рядом со мной стоял лейтенант, командир взвода. Я заметил, как его лицо передернуло судорогой, он резко развернулся и ушел по ходу сообщения в блиндаж. Уже в конце войны, он рассказал мне, что тогда услышал голос своего отчима, воспитывавшего его с пяти лет. А родного отца лейтенанта расстреляли в ЧК еще в 1921 году. Отец был священником… Что здесь добавить?… Когда через два дня, утром, мы пошли в атаку, в окопах сидели уже немцы, власовцев сменили предыдущей ночью. Некоторые из нас, наверное, были в душе этому рады. Мой товарищ, Женя Зеликман, при штурме Кенигсберга был командиром роты в 594 стрелковом полку, в котором мне пришлось хлебнуть лиха летом и осенью 1942 года. Мир тесен, как говорится. Он рассказал, что когда немцев прижали к морю на косе Фриш-Гаф, они ожесточенно сопротивлялись, но вскоре поняли, что это бессмысленно, и стали «пачками» сдаваться в плен. Вечером старшие офицеры стали сортировать пленных. Отделили большую группу русских, украинцев, белорусов, нацменов из Туркестанского легиона и началось настоящее побоище. Тех кто воевал против нас в гитлеровской армии, ненавидели больше, чем немцев. Пощады они не просили. Да вряд ли их тогда кто-нибудь бы пощадил…

Г. К. — В последние годы столько написано псевдоисторической «правды». И уже десантный отряд Цезаря Куникова состоял из штрафников. Отряд Ольшанского, высаженный десантом в Николаеве, тоже объявлен штрафным. А Саша Матросов стал и штрафником и татарином. И Зееловские высоты брали штурмовые батальоны, да и вообще, иной раз такое

напишут, что хоть стой, хоть падай, мол, войну выиграли вчерашние заключенные, гонимые безоружными на немецкие пулеметы. И Рокоссовский стал в иных публикациях — «главный штрафник страны». Кто сейчас расскажет что было на самом деле?

Е. Г.. — Отряды Куникова и Ольшанского состояли из моряков-добровольцев, знавших, что идут на почти верную смерть. Кстати, три человека из куниковского батальона, за послед-ние годы, переехали сюда на постоянное место жительства. Адрес, одного из них, Андрея Хирикилиса, я попробую вам достать… По поводу штурма Берлина. Штрафные части принимали в нем участие. Это факт. Бытует мнение, что штрафные части сыграли решающую роль в войне и они, чуть ли не главные творцы Победы. Это заблуждение.

Да, штрафники воевали отчаянно. Но обстановка была такой, что и обычным частям было не легче. Армия может занимать по фронту, в зависимости от обстановки от нескольких километров до нескольких десятков километров. В последнем случае, командование не станет перебрасывать на нужный участок штрафную роту. Передвижение этого, не совсем обычного подразделения вдоль линии фронта, в ближнем тылу, чревато неприятностями. В штрафные роты не набирались «лучшие из лучших». Совсем даже наоборот… И в разведку боем будет назначен обычный стрелковый батальон, свежий, либо с соседнего участка, и очень редко тот, который занимает здесь оборону. Чистая психология — солдат приживается к своей траншее, к своему окопу и ему труднее покинуть обжитое место и подняться в атаку. Это учитывается.

Штрафные роты и батальоны сыграли свою важную роль на войне. Но, утверждения, что у Рокоссовского воевали одни штрафники — глупость. Да и составляли штрафники не более одного процента от численности Действующей Армии.

Г. К. — По поводу особистов, что-нибудь скажете? И о приказе № 227?

Е. Г.. — Не надо «демонизировать» служивших в особых отделах. Последнее время, в любом кинофильме о войне, кроме «Август сорок четвертого», особистов показывают этакими садистами, бродящими с наганом в тылу и ищущими солдатский затылок. Надо просто уяснить, что часть армейских чекистов и контрразведчиков боролась со своим народом и является преступной, но большинство выполняли свой долг в соответствии с установками того непростого времени. Вам сейчас этого не понять… На фронте летом 1942 года, остатки полка отвели в тыл. Выстроили «покоем». Особист вывел незнакомого мне солдата на

середину, под охраной двух бойцов. Зачитал приговор. Солдат был самострелом. Помню только одну фразу из речи особиста — «Лучше погибнуть от немецкой пули, чем от своей!». Расстреляли этого солдата… В начале войны долго не церемонились. Расскажу еще трагический случай произошедший у меня на глазах. О приказе Сталина № 227 вы знаете. Бессмысленно спорить сейчас хороший или плохой был приказ. В тот момент — необходимый. Положение было критическим, а вера в победу — на пределе. Командиром минометной роты в нашем полку был 22-х летний Александр Ободов. Он был кадровым офицером и до войны успел окончить военное училище. Дело знал хорошо, солдат жалел и они его любили. Да и командир был смелый. Я дружил с ним… Саша вел роту к фронту, стараясь не растерять людей и матчасть. В роте было много солдат старших возрастов, идти в жару с тяжелыми 82-м минометами было трудно, приходилось часто отдыхать. Рота отстала от полка на сутки. Но война не жалеет и не прощает… В тот день мы несколько раз атаковали немцев и не продвинулись ни на шаг. Я сидел на телефоне, когда позвонил командир дивизии. Передал трубку командиру полка: «Почему не продвигаетесь?» — спросил командир дивизии. Комполка стал что-то объяснять: «А вы кого-нибудь расстреляли?»… Командир полка сразу все понял и, после некоторой паузы, произнес: «Нет» — «Так расстреляйте!» — сказал комдив. Это не профсоюзное собрание. Это война. И только что прогремел 227-й приказ. Вечером когда стемнело, командиры батальонов и рот и политруки были вызваны на НП командира полка. Веером сползлись вокруг. Заместитель командира стал делать перекличку. После одной из фамилий неостывший еще голос взволнованно ответил: «Убит на подходе к НП! Вот документы!» — из окопа протянулась рука, и кто-то молча принял пачку документов. Совещание продолжалось. Я только что вернулся с переднего края, старшина сунул мне в руки котелок с каким-то холодным варевом, и я доедал его сидя на земле. С НП доносились возбужденные голоса. После контузии я слышал плохо, слова разбирал с трудом. Из окопа НП, пятясь, стал подниматься по ступенькам Саша Ободов. Следом, наступая на него и распаляя себя гневом, показались с пистолетами в руках комиссар полка, старший батальонный комиссар Федоренко и капитан-особоотделец, фамилия которого в моей памяти не сохранилась. (Это было еще до введения единоначалия в армии, тогда комиссар и командир полка имели равные права, подпись была у командира, а печать у комиссара). «Товарищ комиссар!» — в отчаянии, еще не веря в происходящее, повторял Саша — «Товарищ комиссар! Я всегда был хорошим человеком!».

Раздались хлопки выстрелов. Заслоняясь руками, Саша отмахивался от пуль, как от мух. — «Товарищ комиссар! Това..».. После третьего выстрела Саша умолк на полуслове и рухнул на землю. Ту самую, которую так хотел защитить… Он ВСЕГДА был хорошим человеком. Было ему всего двадцать два года.

Немцы непрерывно освещали передний край ракетами и низко растилали над нашими го-ловами разноцветный веер трассирующих пуль. Время от времени глухо ухали мины. Ни-чего не изменилось… Война продолжалась… Кто-то крикнул — «На партсобрание!». Сползлись вокруг парторга. Долго, не глядя друг на друга, молчали. Не сразу заговорил и парторг. Буквально выкрикнул: «Товарищи коммунисты! Вы видели, что сейчас произошло! Лучше погибнуть в бою!». Так и записали в решении — «Биться до последней капли крови. Умереть в бою»… Особистами и Военными трибуналами расстреляно 150 тысяч человек… Никогда не узнаем, сколько из них — невинные жертвы… А сколько расстреляли без суда и следствия!.. Как определить ту меру жестокости, которая была необходима, чтобы победить?… Необходима ли?… Всегда ли?…

Г. К. — Вообще, нужно ли сейчас рассказывать всю горькую и тяжелую правду о войне?

Е. Г.. — Не знаю… Война вещь страшная… Сколько людей уже ушло из жизни так и не рассказав людям, что им пришлось испытать, не рассказав свою правду войны. А сколько еще живы, но молчат, думая, что никому это уже не нужно. Вот вам пара примеров, и вы сами подумайте, нужна ли людям такая правда о войне…

Мой товарищ Алексей Дуднев, командир пулеметной роты, раненый в голову, пуля попала под левый глаз и вышла в затылок, выползал из окружения. Полз по полю боя, вокруг свои и чужие убитые. На горизонте показалась редкая цепочка людей. Они шли к передовой, время от времени наклонялись. Санитары подумал он и пополз им навстречу. До слуха донесся пистолетный выстрел. Не обратил внимания. Раздалось еще два сухих хлопка. Насторожился, присмотрелся. Люди были в нашей форме, из «азербайджанской» дивизии. Мародеры! Пристреливают раненых и обирают убитых. Остаться в живых после смертельного ранения и погибнуть от рук своих! Но какие это «свои»?! Они хуже фашистов. Пристрелят! — горько думал он, но продолжал ползти. Встретились. С трудом повернув голову, он попросил: «Ребята! Пропустите!». И они его пропустили! То ли сжалились над его молодостью, то ли автомат, которым он все равно не мог воспользоваться, произвел впечатление, но пропустили! Еще не веря в свое второе спасение, пополз дальше,

и к утру приполз в медсанбат… Медсанбат был другой дивизии и его не приняли. Фронтовики знают, что в наступлении медсанбаты, как правило, принимали раненых только своей дивизии и очень неохотно из других соединений. Там такой поток раненых идет, что обрабатывать их не успевали. Это было ужасно обидно и казалось кощунством, сейчас можно возмущаться сколько угодно. Но так было нередко… Дали Алексею кусок хлеба. Есть он не мог. Отщипывал маленькие кусочки, проталкивал сквозь зубы и сосал. И полз дальше. Отдыхал и снова полз. Так дополз до госпиталя, там приняли и перевязали. На пятые сутки после ранения. И это не выдумка.

Солдат нашего батальона (не буду называть его фамилию, он прошел войну и возможно еще жив), парень 19-ти лет. Так случилось, что батальон освобождал его родное село, которое было взято без боя. Дом его находился на другой окраине. Пока до дома дошел, соседи рассказали, что мать при немцах открыла публичный дом и его невесту тоже вовлекла в эту грязь. Солдат весь затрясся. Зашел в дом и застрелил мать! Хотел и девушку свою застрелить, но не успел, комбат не позволил убить….

Г. К. — Часть своего фронтового пути Вы прошли в качестве политработника ротного и батальонного звена. Сейчас, только «ленивый не кинет камень в комиссаров». Что для Вас означало быть коммунистом и политруком на фронте?

Е. Г.. — Я не стесняюсь своего членства в партии. Я не был партийным функционером и не пользовался никакими номенклатурными благами. Я вступил в партию под Сталинградом. Ночью к моему окопу подползли комиссар и парторг полка, они дали мне рекомендации, третья — от комсомольского бюро полка. Никакого собрания не было. Политотдельский фотограф сидел у противоположной стены окопа до рассвета. Вспышки он сделать не мог, это была бы последняя вспышка в его жизни, да и в моей тоже. Щелкнул и поскорее уполз (только комсомольские билеты на фронте были без фотографий). Зато привилегию я получил сразу. Комиссар вызвал: «Ты теперь коммунист! Будет зеленая ракета — вскочишь первым — За Родину! За Сталина! И вперед! Личным примером!». Фраза — «личным примером» — была у начальства одной из любимых. Легко сказать… Вскакивать не хотелось Ни первым. Ни последним. Это после войны нашлось много желающих… А тогда их было почему-то во много крат меньше. У Александра Межирова есть стихи — Коммунисты! Вперед!». Так было. И вскакивал. Как будто внутри пружина заложена. И бежал в атаку. И кричал… Что? Не знаю. Наверное матерился. Все равно никто этого не слышал. И я тоже. Перед атакой призыв — «За Родину! За

Сталина!» — звучал только в речах политработников и командиров. А в самой атаке солдаты кричат «Ура!» и нечто среднее между «А» и «У», чтобы подбодрить себя и напугать противника, но никаких лозунгов «За Сталина!» никто в бою никогда не кричал.

А подлецов хватало и среди политработников, и среди простых командиров. Но в большинстве своем — это были патриоты, не жалевшие жизни во имя Победы.

Г. К. — Вы упомянули Межирова. У него есть еще известное стихотворение — «Мы под Колпиным скопом стоим, артиллерия бьет по своим..».. Такое у Вас случалось?

Е. Г.. — Конечно, иногда, и свои штурмовики, и свои артиллеристы, промахивались.

Была такая шутка — «Бей своих, чтобы чужие боялись!».

Как правило получали от своих только в наступлении, по причине несовершенства связи и быстро менющейся обстановки.

Г. К. — Наградной темы коснемся?

Е. Г.. — В 1942 году солдата нашего полка наградили медалью «За Отвагу». Полк вывели на митинг по поводу его награждения… Награждать начали щедро только с 1944 года. В принципе никакой справедливости в этом отношении не было никогда. Я видел солдата после шести(!) ранений с одинокой медалью на груди. В штаб приезжаешь — там «иконостасы» на кителях. В штрафную роту я пришел с двумя орденами Красной Звезды, а за последний фронтовой год получил орден Отечественной войны. Хотя в штрафной роте за каждую атаку можно было спокойно по ордену давать. Я за наградами не гонялся и у начальства не выпрашивал. Один раз только, в 1943 году, спросил у комполка, что слышно про орден Красного Знамени, к которому был представлен, а в ответа так и не услышал. Потом выяснилось. Был у нас писарь в штабе полка, некто Писаренко (полное соответствие должности и фамилии), так он мой наградной лист уничтожил, фамилия ему моя не понравилась. Потом мне в госпиталь письмо написал. Каялся, извинялся…

А что дали или что не дали — какая сейчас разница. Евреев в наградах очень часто ограничивали, я знаю много подобных случаев. Документально подтвержденные факты хотите? Сколько угодно. Чего только стоят примеры танкистов Миндлина, Фишельсона, Пергаменщика, пехотного комбата Рапопорта, летчиков Нихомина и Рапопорта, партизана Беренштейна, морского пехотинца Лейбовича, которых по три раза за время войны представляли к званию Героя Советского Союза, но этого звания они так и не получили. В пехоте, в отличие от танковых

или артиллерийских частей, антисемитизм был махровым, неприкрытым, и процветал. Не забывайте еще одну немаловажную деталь, я был сын «врага народа». В личном офицерском деле это было указано. Вот, например у Григория Поженяна, дважды представленному к званию Героя и не получившего этого звания, на личном деле было написао красным карандашом — «мать — еврейка, отец — враг народа». Тогда, подобная аннотация звучала совсем не смешно.

Г. К. — Беседую с фронтовиками, спрашиваю, что было самым трудным на войне? многие отвечают — фронтовые дороги. Опишите пехотного солдата на марше.

Е. Г.. — На пехотном солдате всего навешано, как на том ишаке. Иного, кто ростом не вышел не видно из-за снаряжения. И скатка, и вещмешок, и противогаз (будь он неладен), и каска, и саперная лопатка, и котелок, еще сумка полевая, два подсумка с патронами. В противогазную сумку гранату запихаешь. Ну, и, винтовка, или автомат. Пот льет ручьями. На просушенных солдатских гимнастерках проступают белые пятна соли, снимешь гимнастерку — коробом стоит. Пыль фронтовых дорог, истертых до центра земли… В освобожденных селах угощали семечками, немцы называли их «русский шоколад». Семечки помогали скоротать дорогу. Шинельный карман отщелкал — 10 километров прошел, вот такой был солдатский спидометр. Переходы по восемьдесят километров за двое суток вспоминаются как кошмар. Спали на ходу. Да еще по четыре 82-мм мины на шею повесят. С миной падать не рекомендуется, особенно во второй раз. От удара мина могла встать на боевой взвод. Идешь, все тело от пота и вшей зудит, желудок от голода к спине прилипает. Так и дошли до Победы.

Г. К. — Свой последний бой или последний фронтовой день помните?

Е. Г.. — Боем это не назовешь, но как я встретил последний день войны я вам сейчас расскажу. Курляндия. Уже сообщили, что Берлин взят. Готовимся к атаке, саперы сделали проходы в минных полях перед нами. Напротив немецкие доты и четыре вкопанных в землю танка. До немцев метров триста. День «не обещал быть приятным». Смотрим над немецкими траншеями шатаются белые флаги и исчезают. Все разочарованно вздыхают и матерятся. Вдруг белый флаг твердо возвысился над бруствером. На всякий случай, артподготовку отменили. К нашим окопам никто не идет, видно боятся получить в спину пулю от своих. Все смотрят на меня. В роте я один знал немецкий язык, и иногда приходилось допрашивать пленных. Боец стоявший рядом говорит: «Да если что, от них мокрое место оставим». И оставят…

Такое подразделение…Только я не увижу того самого мокрого места. Встаю демонстративно в полный рост на бруствер, снимаю пояс с пистолетом. Достаю носовой платок, цветом отдаленно напоминающий белый, и на негнущихся ногах иду в сторону противника по разминированной тропинке. Тишина. Фронт замер. Вдруг сзади шаги. Один из наших штрафников, молодой и здоровый парень, меня догнал. Пошли дальше вдвоем и добрались до немецкой обороны целыми. Спустились к немцам в траншею. А они митингуют, кричат, на нас кидаются. Мой солдат нервничает, да и я, тоже гранату в кармане «лакаю». И думаю про себя: «Это же надо, в последний день, так глупо погибнуть придется!..».. Немцы говорят быстро, я от волнения слов не разберу. Привели к оберсту. Я, сначала, кроме — «Сталин гут, Гитлер капут», не могу ничего внятно сказать. Овладел собой и заявляю: «Гарантируем жизнь, отберем только оружие». Оберст только головой кивает, понял, что я еврей, до разговора со мной не унижается. Пошли назад, я все эти метры ждал выстрела в спину. Обошлось. Когда немцы шли сдаваться, бойцы кричали «Ура!» и обнимались. Все понимали, что война для нас кончилась и мы остались живы!!! Пленных немцев разоружили, «освободили» от часов и отправили дальше в тыл.

По случаю завершения войны личный состав роты был амнистирован.

Г. К. — Пили на фронте много? Полагались ли штрафникам 100 грамм «наркомовских»?

Е. Г.. — Как и всему личному составу фронтовых частей. Зимой, а также в наступлении, вне зависимости от времени года. Я на фронте пил мало. Бутылку водки делили спичечным коробком, поставленным торцом. Пять коробков — бутылка поделена. Самогонку бойцы часто доставали. Бывало, и древесный спирт по незнанию выпьют и погибают в страшных муках. Очень много народу погибло на войне по «пьяному делу».

Немцы досконально знали нашу психологию, и, нередко, покидая оборонительные рубежи в каком-нибудь населенном пункте, оставляли нетронутую цистерну спирта на железнодорожных путях. А через пару часов отбивали этот пункт снова. У нас уже воевать было некому. Все были «в стельку»… Примеры… Любого фронтовика спросите. Чего стоит только первое взятие Шауляя. Но дикий случай произошел на станции Попельня. Взяли станцию, а там цистерна спирта. Начали отмечать успех. Через несколько часов на станцию прибыл эшелон немецких танков. Спокойно!!! разгрузились и выбили нас оттуда. Наши танки Т-34 стояли без экипажей. Танкисты изрядно приняли «на грудь«…Видел я однажды, как генерал застрелил

командира батареи за то, что тот осмелился возразить, получив гибельный приказ. Но был ли генерал пьян?

Мой комбат Иващук тоже погиб будучи пьяным. Выехал на белом коне на передний край и начал немцев матом крыть. Немцы кинули мину. Был бы Иващук трезвым, может бы развернулся и ускакал, но он продолжал что-то немцам кричать, угрожая в сторону их окопов кулаком. Следующей миной его накрыло. Нелепая смерть…

Г. К. — После всего пережитого на передовой, Вам никогда не хотелось «довоевывать во втором эшелоне»?

Е. Г.. — После госпиталя, я пару месяцев служил в батальоне связи. Отдыхал от войны, так сказать. Но и там люди погибали. Своей судьбы не знает никто.

Как то шли по полю с командиром роты связи. На мне катушки с проводом на 400 метров. Появился в небе немецкий пикировщик и стал за нами охотиться. Всего лишь за двумя! людьми в военной форме. Побежали к окопам. Я отстал, а старший лейтенант успел добежать и прыгнуть в окоп. Думаю — все… Метров двадцать до окопа оставалось, а туда бомба прямым попаданием. Вот такая бывает служба во втором эшелоне… Мой товарищ Генрих Згерский, командир радиороты, высокий широкоплечий красавец, погиб от случайной мины, находясь в километре от передовой. Гибель Саши Кисличко и Генриха Згерского — для меня самые горькие утраты на войне.

Осенью сорок второго года, когда в центре Сталинграда сложилась тяжелая обстановка, наша дивизия была переброшена северо-западнее города, с целью оттянуть на себя часть сил противника. Шли к передовой, чтобы с ходу вступить в бой. Проходили вдоль огромной балки, в которой сотни людей копали щели и «зарывались в землю». Штабы, санбат, артиллеристы, обозы, кого там только не было! Пологие склоны балки были сплошь изрыты щелями, возле которых копошились, что-то укрепляя и прилаживая солдаты. Некоторые сидели и снаслаждением курили разнокалиберные самокрутки, — день был теплый. Это ж сколько народу во втором эшелоне! А на передовой раз, два и обчелся…Через несколько часов, когда остатки батальона возвращались из боя, балки было не узнать… Война прошлась по ней, да видно не один раз. Скорей всего здесь поработали немецкие пикировщики. Все изрыто, исковеркано. Ни одной уцелевшей щели, ни одного окопа, узкая дорога по середине балки завалена разбитой техникой, перевернутыми, изломанными бричками. Еще дымились опрокинутые кухни с солдатскими щами. И трупы, трупы, трупы… Их еще не успели убрать. Уцелевшие, полуоглохшие, не пришедшие еще в себя от

дикого разгула войны, солдаты перевязывали раненых товарищей и пристреливали покалеченных лошадей. Подавленные увиденным, мы с трудом пробирались по балке, осторожно переступая через трупы людей и лошадей, как будто им можно было еще повредить. Я шел и думал: «Это ж сколько людей побито! Вот тебе и второй эшелон! Нет, на передовой лучше..»..

Г. К. — Почему люди Вашего поколения, хоть и звучит это странно, называют годы войны — лучшим временем своей жизни?

Е. Г.. — Для многих людей моего поколения война была лучшим временем нашей жизни. Война, с ее неимоверной, нечеловеческой тяжестью, с ее испытаниями на разрыв и излом, с ее крайним напряжением физических и моральных сил, и…все-таки — ВОЙНА. И дело не только в тоске по ушедшей молодости.

На войне нас заменить было нельзя… И некому…

Ощущение сопричастности с великими, трагическими и героическими событиями составляло гордость нашей жизни.

Я знал что нужен. Здесь. Сейчас. В эту минуту. И никто другой…

Интервью и лит. обработка: Г. Койфман

Наградные листы

(из базы данных podvignaroda.ru).

Все графы заполнять полностью

Наградной лист

1. Фамилия, имя и отчество Гольвайк Хаим Авелевич
2. Звание гвардии лейтенант 3. Должность, часть комсорг 1-го батальона 844 стр. полка, 267 Сивашской стр. дивз. 51 армии, 4 Укр. фр.

Представляется к ордену Красная Звезда

4. Год рождения 1921 5. Национальность еврей 6. Партийность член ВКП(б)
7. Участие в гражданской войне, последующих боевых действиях по защите СССР и отечественной войне (где, когда) Участ. Отеч. войны с 1943 года 4 Укр. фронт.
8. Имеет ли ранения и контузии в отечественной войне ранен один раз
9. С какого времени в Красной Армии с мая 1943 года 10. Каким РВК призван Фрунзенским РВК, гор. Москвы.
11. Чем ранее награжден (за какие отличия) Наград не имеет
12. Постоянный домашний адрес представляемого к награждению и адрес его семьи [redacted]

Для подписки

I. Краткое, конкретное изложение личного боевого подвига или заслуг

Гвардии лейтенант Гольвайк 7 мая 1944 года в бою за овладение господствующей высотой "Сапун-Гора" под отсосредственным огнем противника поднял бойцов в атаку и находясь в боевых порядках наступающей цепи пехоты, ворвался во вражеские траншеи, где гранатой уничтожил вражеского автоматчика. Он организовал вокруг себя группу комсомольцев, увлек их за собой на штурм "Сапун-Горы". Несмотря на сильный огонь с фланга и тыла (Сахарной Головы) эта группа во главе с гв. лейтенантом Гольвайком первой ворвалась на высоту и установила на ней Красное знамя. Вражеская высота была занята.

13 мая 1944 года Командир 844 сп подполковник Васильев

КОМАНДИР (НАЧАЛЬНИК) _____
(звание)

« » _____ 194 г.

II. Заключение вышестоящих начальников.

Награжден орденом КРАСНАЯ ЗВЕЗДА
Командир
ПОЛКОВНИК
"20" мая 1944г. /ТОЛСТОВ/

II. Заключение вышестоящих начальников

" " _____ 194 г. Командир (начальник) _____
звание

III. Заключение Военного Совета Армии

Командующий Армией _____ Член Военного Совета _____
звание звание

" " _____ 1944г. Начальник штаба _____
звание

IV. Заключение Военного Совета фронта (округа)

Командующий _____ Член Военного Совета _____
звание звание

" " _____ 194 г.

V. Заключение наградной комиссии НКО

Председатель _____

Члены 1.
2.
3.

" " _____ 194 г.

VI. Отметка о награждении

Приказом 267 Стр[illegible] от 21 мая 1944г.
награжден орденом КРАСНАЯ ЗВЕЗДА.
Начальник отделения кадров
Гв. ст. лейтенант / Неглов/

Наградной лист.

1. Фамилия имя и отчество. Гольбрайх Хаим Абелевич.
2. Звание Пб. Старший лейтенант 3. Должность, часть Агитатор 163 Отдельной Армейской Штрафной роты
Представляется к ордену „Отечественной войны первой степени"
4. Год рождения 1921 г. 5 Национальность. Еврей 6 Партийность. чл. ВКП(б) 1944 г. п/б. № 5686 94.
7. Участие в гражданской войне, последующих боевых действиях по защите СССР. и Отечественной войне (когда где) Сталинградский с июля 1942 г. 1-й Украинский 24.4.1945 г. Ленинградский с 26.6.1944 г.
8. Имеете ранения контузию в Отечественной войне ранен в сентябре 1942 г. ранен 21.08.43 г. ранен. 26.04.1944 г. ранен. 20.01.45 г.
9. С какого времени в Красной Армии 1942 г. Откуда по какому РВК призван. Фрунзенский РВК города Москва
11. Чем ранее награжден. Орденом „Красная Звезда" приказ № 13/н от 20.4.44 г. 267 сд. Орденом „Красная Звезда" приказ № 37/н от 21.5.44 г. 267 сд.
12. Постоянный домашний адрес представляемого к награждению и адрес его семьи.

За то что. Пб. Старший лейтенант Гольбрайх. находясь на посту агитатора рот, в наступательных боях за Советскую Прибалтику, проявил. большую политическо-воспитательную работу среди личного состава роты и личным примером вдохновлял бойцов на героические подвиги.

20 февраля 1945 года в наступательном бою в районе Огум Старший Старший лейтенант Гольбрайх находясь в боевых порядках роты, поднял роту в атаку устремился бойцов к выполнению поставленной задачи. Вечером 20 февраля. доминая высотка в районе огум. гв. старший лейтенант Гольбрайх. первым ворвался в траншеи второй обороны противника и уничтожил гранатой вратеского ручного пулеметчика.

В этом бою гв. ст. лейтенант получил проникающее осколочное ранение в области правой груди. но в тыл боя не ушел. и отказался Эвакуировано, нарушая на требования врача.

В мая 1945 г. гв. старший лейтенант. Гольбрайх первым из офицеров пошел парламентером во вратеское расположение и тоже переговоров привел первый на этом участке группу немцев в количестве 20 человек и одного офицера.

В этих боях рота уничтожила до 150 немецких солдат и офицеров. Захватили 3 пулеметных пушки. 3 минометов крупнокалиберных. Учитывая за личную храбрость смелость и отвагу достоен награждения Орденом „Отечественной войны первой степени"

Командир 163 ОШР
Капитан. /: Швецов :/

Заключение вышестоящих начальников.

Достоин награждения Орденом Отечественной войны первой степени

Командир 77 стр. Симферопольской кр.Зн.
Краснознаменной Дивизии им. Суворова
Героя Советского Союза
Генерал - Майор / РОДИОНОВ /

"12" июня 1945 года. Орденом Отечественной войны I ст.

НАЧ.ПОЛИТОТДЕЛА 68 СТРЕЛКОВОГО КОРПУСА
ГВ.ПОЛКОВНИК / ПИЛЮГИН /

"12" июня 1945 года.

ДОСТОИН НАГРАЖДЕНИЯ Орденом "ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА I СТЕПЕНИ"

КОМАНДИР 68 СТРЕЛКОВОГО КОРПУСА
ГЕНЕРАЛ -МАЙОР / ВАКУНИН /

" 12 "июня 1945 года.

Приказом войскам 51 армии № 212/Н от 15.6.45 г. награжден орденом "Отечественная война I степени".

Пом. Нач. 2 отд. ОК 51 армии
ст. лейтенант а/с / Шильбардт /

notes

Примечания

1

Существовало звание Герой труда, без ордена и звезды.

2

С 1980 года переход на летнее и зимнее время возобновился.

3

23 августа 1942 года

4

(Из статьи Б. Иофана к 70-летию Сталина

5

Украинцев и литовцев немцы из плена отпускали. И знали — зачем